

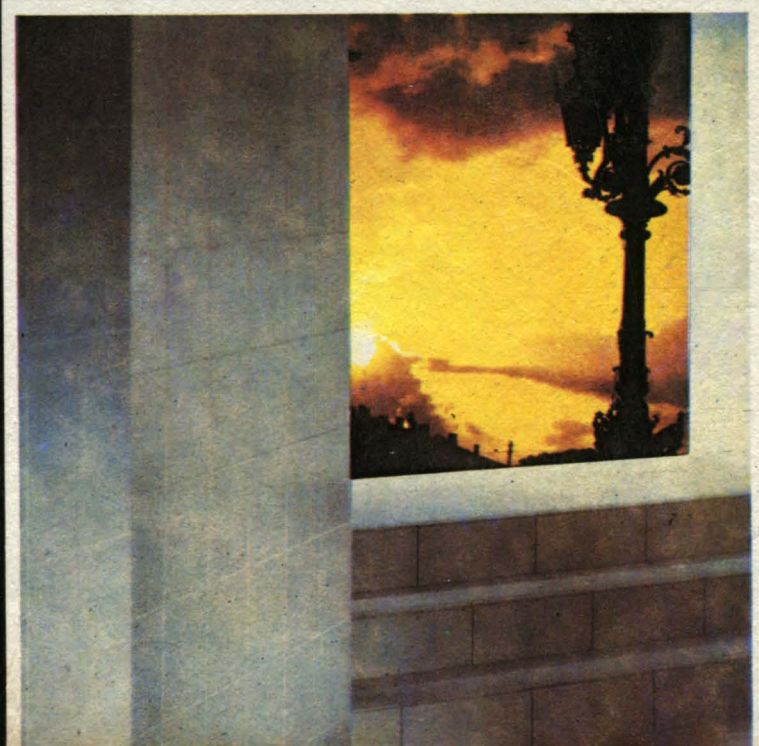
ДЭМ



Владимир Набоков

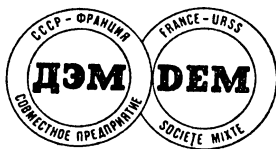
# TERRA INCOGNITA

Владимир Набоков TERRA INCOGNITA



DEM





Владимир Набоков

# TERRA INCOGNITA

МОСКВА  
«ДЭМ»  
1990

ББК 84.3Р7  
Н14

*Текст печатается по изданию:*

В. Набоков «Другие берега». — М.: «Книжная палата», 1988

**Набоков В.**

**Н14** Другие берега; Защита Лужина: Романы; Рассказы. — «ДЭМ», 1990. — 384 с.

ISBN 5—85207—011—4

В сборник вошли романы известного русско-американского писателя Владимира Набокова «Другие берега» и «Защита Лужина», а также несколько рассказов, написанных в разные годы.

Н  $\frac{4702010201-011}{\text{ДЭМ} - 90}$  Без объявл.

ББК 84.3Р7

ISBN 5—85207—011—4

© «Книжная палата», 1988  
© Составление и оформление «ДЭМ», 1990

**ДРУГИЕ  
БЕРЕГА**

## ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Предлагаемая читателю автобиография обнимает период почти в сорок лет — с первых годов века по май 1940 года, когда автор переселился из Европы в Соединенные Штаты. Ее цель — описать прошлое с предельной точностью и отыскать в нем полнозначные очертания, а именно: развитие и повторение тайных тем в явной судьбе. Я попытался дать Мнемозине не только волю, но и закон.

Основой и отчасти подлинником этой книги послужило ее американское издание «Conclusive Evidence»<sup>1</sup>. Совершенно владея с младенчества и английским и французским, я перешел бы для нужд сочинительства с русского на иностранный язык без труда, будь я, скажем, Джозеф Конрад, который, до того, как начал писать по-английски, никакого следа в родной (польской) литературе не оставил, а на избранном языке (английском) искусно пользовался готовыми формулами. Когда в 1940 году я решил перейти на английский язык, беда моя заключалась в том, что перед тем, в течение пятнадцати с лишком лет, я писал по-русски и за эти годы наложил собственный отпечаток на свое орудие, на своего посредника. Переходя на другой язык, я отказывался таким образом не от языка Аввакума, Пушкина, Толстого — или Иванова, няни, русской публицистики — словом, не от общего языка, а от индивидуального, кровного наречия. Долголетняя привычка выражаться по-своему не позволяла довольствоваться на новоизбранном языке трафаретами, — и чудовищные трудности предстоявшего перевоплощения, и ужас расставанья

---

<sup>1</sup> «Убедительное доказательство» (англ.).

с живым, ручным существом свергли меня сначала в состояние, о котором нет надобности распространяться; скажу только, что ни один стоящий на определенном уровне писатель его не испытывал до меня.

Я вижу невыносимые недостатки в таких моих английских сочинениях, как, например, «The Real Life of Sebastian Knight»<sup>2</sup>, есть кое-что удовлетворяющее меня в «Bend Sinister»<sup>3</sup> и некоторых отдельных рассказах, печатавшихся время от времени в журнале «The New Yorker». Книга «Conclusive Evidence» писалась долго (1946—1950), с особенно мучительным трудом, ибо память была настроена на один лад — музыкально недоговоренный, русский, — а навязывался ей другой лад, английский и обстоятельный. В получившейся книге некоторые мелкие части механизма были сомнительной прочности, но мне казалось, что целое работает довольно исправно — покуда я не взялся за безумное дело перевода «Conclusive Evidence» на прежний, основной мой язык. Недостатки объявились такие, так отвратительно тарасилась иная фраза, так много было и пробелов и лишних пояснений, что точный перевод на русский язык был бы карикатурой Мнемозины. Удержав общий узор, я изменил и дополнил многое. Предлагаемая русская книга относится к английскому тексту, как прописные буквы к курсиву, или как относится к стилизованному профилю в упор глядящее лицо. «Позвольте представиться, — сказал попутчик мой без улыбки. — Моя фамилия N.». Мы разговорились. Незаметно пролетела дорожная ночь. «Так-то, сударь», — закончил он со вздохом. За окном вагона уже дымился ненастный день, мелькали печальные перелески, белело небо над каким-то пригородом, там и сям еще горели, или уже зажглись, окна в отдаленных домах...

Вот звон путеводной ноты.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### 1

Колыбель качается над бездной. Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь — только щель слабого света между двумя идеаль-

<sup>2</sup> «Истинная жизнь Себастьяна Найта» (англ.).

<sup>3</sup> «Под знаком незаконнорожденных» (англ.).

но черными вечностями. Разницы в их черноте нет никакой, но в бездну преджизненную нам свойственно вглядываться с меньшим смятением, чем в ту, к которой летим со скоростью четырех тысяч пятисот ударов сердца в час. Я знал, впрочем, чувствительного юношу, страдавшего хронофобией и в отношении к безграничному прошлому. С томлением, прямо паническим, просматривая домашнего производства фильм, снятый за месяц до его рождения, он видел совершенно знакомый мир, ту же обстановку, тех же людей, но сознавал, что его-то в этом мире нет вовсе, что никто его отсутствия не замечает и по нему не горюет. Особенно навязчив и страшен был вид только что купленной детской коляски, стоявшей на крыльце с самодовольной косностью гроба; коляска была пуста, как будто «при обращении времени в мнимую величину минувшего», как удачно выразился мой молодой читатель, самые кости его исчезли.

Юность, конечно, очень подвержена таким наваждениям. И то сказать: коли та или другая добротная догма не приходит в подмогу свободной мысли, есть нечто ребячливое в повышенной восприимчивости к обратной или передней вечности. В зрелом же возрасте рядовой читатель так привыкает к непонятности ежедневной жизни, что относится с равнодушием к обоим черным пустотам, между которыми ему улыбается мираж, принимаемый им за ландшафт. Так давайте же ограничим воображение. Его дивными и мучительными дарами могут наслаждаться только бессонные дети или какая-нибудь гениальная развалина. Дабы восторг жизни был человечески выносим, давайте (говорит читатель) навяжем ему меру.

Против всего этого я решительно восстаю. Я готов, перед своей же земной природой, ходить с грубой надписью под дождем, как обиженный приказчик. Сколько раз я чуть не вывихивал разума, стараясь высмотреть малейший луч личного среди безличной тьмы по оба предела жизни! Я готов был стать единоверцем последнего шамана, только бы не отказаться от внутреннего убеждения, что себя я не вижу в вечности лишь из-за земного времени, глухой стеной окружающего жизнь. Я забирался мыслью в серую от звезд даль, но ладонь скользила все по той же совершенно непроницаемой глади. Кажется, кроме самоубийства, я перепробовал все выходы. Я отказывался от своего лица, чтобы проникнуть заурядным привидением в мир, существовавший до меня. Я мирился с унижительным соседством романисток, лепечущих о раз-



ных йогах и атлантидах. Я терпел даже отчеты о меду-мистических переживаниях каких-то английских полковников индийской службы, довольно ясно помнящих свои прежние воплощения под ивами Лхассы. В поисках ключей и разгадок я рылся в своих самых ранних снах — и раз уж я заговорил о снах, прошу заметить, что безоговорочно отметаю фрейдовщину и всю ее темную средневековую подоплеку, с ее маниакальной погоней за половой символикой, с ее угрюмыми эмбриончиками, подглядывающими из природных засад угрюмое родительское соитие.

В начале моих исследований прошлого я не совсем понимал, что безграничное, на первый взгляд, время есть на самом деле круглая крепость. Не умея пробиться в свою вечность, я обратился к изучению ее пограничной полосы — моего младенчества. Я вижу пробуждение самосознания, как череду вспышек с уменьшающимися промежутками. Вспышки сливаются в цветные просветы, в географические формы. Я научился счету и слову почти одновременно, и открытие, что я — я, а мои родители — они, было непосредственно связано с понятием об отношении их возраста к моему. Вот включаю этот ток — и, судя по густоте солнечного света, тотчас заливающего мою память, по лапчатому его очерку, явно зависящему от переслоений и колебаний лопастных дубовых листьев, промеж которых он падает на песок, полагаю, что мое открытие себя произошло в деревне, летом, когда, задав кое-какие вопросы, я сопоставил в уме точные ответы, полученные на них от отца и матери, — между которыми я вдруг появляюсь на пестрой парковой тропе. Всё это соответствует теории онтогенического повторения пройденного. Филогенически же, в первом человеке осознание себя не могло не совпасть с зарождением чувства времени.

Итак, лишь только добытая формула моего возраста, свежезеленая тройка на золотом фоне, встретила в солнечном течении тропы с родительскими цифрами, тенистыми тридцать три и двадцать семь, я испытал живительную встряску. При этом втором крещении, более действительном, чем первое (совершенное при воплях полуутопленного полувиктора, — звонко, из-за двери, мать успела поправить нерасторопного протоиерея Константина Ветвеницкого), я почувствовал себя погруженным в сияющую и подвижную среду, а именно в чистую стихию времени, которое я делил — как делишь, плещась, яркую морскую воду — с другими купающимися в ней существами. Тогда-

то я вдруг понял, что двадцатисемилетнее, в чем-то бело-розовом и мягком, создание, владеющее моей левой рукой, — моя мать, а создание тридцатитрехлетнее, в бело-золотом и твердом, держащее меня за правую руку, — отец. Они шли, и между ними шел я, то упруго семеня, то переступая с подковки на подковку солнца, и опять семеня, посреди дорожки, в которой теперь из смехотворной дали узнаю одну из аллей — длинную, прямую, обсаженную дубками, — прорезавших «новую» часть огромного парка в нашем петербургском имении. Это было в день рождения отца, двадцать первого, по нашему календарю, июля 1902 года: и, глядя туда со страшно далекой, почти необитаемой гряды времени, я вижу себя в тот день восторженно празднующим зарождение чувственной жизни. До этого оба моих водителя, и левый и правый, если и существовали в тумане моего младенчества, появлялись там лишь инкогнито, нежными анонимами; но теперь, при созвучии трех цифр, крепкая, облая, сдобно-блестящая кавалергардская кираса, обхватывавшая грудь и спину отца, взошла как солнце, и слева, как дневная луна, повис парасоль матери; и потом в течение многих лет я продолжал живо интересоваться возрастом родителей, справляясь о нем, как беспокойный пассажир, проверяя новые часы, справляется у спутников о времени.

Замечу мимоходом, что, отбыв воинскую повинность задолго до моего рождения, отец в тот знаменательный день, вероятно, надел свои полковые регалии ради праздничной шутки. Шутке, значит, я обязан первым проблеском полноценного сознания — что тоже имеет рекапитулярный смысл, ибо первые существа, почуввавшие течение времени, несомненно были и первыми, умевшими улыбаться.

## 2

Первобытная пещера, а не модное лоно, — вот (венским мистикам наперекор) образ моих игр, когда мне было три-четыре года. Передо мной встает большой диван, с клеверным крапом по белому кретону, в одной из гостиных нашего деревенского дома: это массив, нагроможденный в эру доисторическую. История начинается неподалеку от него, с флоры прекрасного архипелага, там, где крупная гортензия в объемистом вазоне со следами земли наполовину скрывает за облаками своих бледно-го-

лубых и бледно-зеленых соцветий пьедестал мраморной Дианы, на которой сидит муха.

Прямо над диваном висит батальная гравюра в раме из черного дерева, намечая еще один исторический этап. Стоя на пружинистом кретоне, я извлекал из ее смеси эпизодического и аллегорического разные фигуры, смысл которых раскрывался с годами; раненного барабанщика, трофеи, павшую лошадь, усачей со штыками и неуязвимого среди этой застывшей возни бритого императора в походном сюртуке на фоне пышного штаба.

С помощью взрослого домочадца (которому приходилось действовать сначала обеими руками, а потом мощным коленом) диван несколько отодвигался от стены (здравствуйте, дырочки штепселя). Из диванных валиков строилась крыша; тяжелые подушки служили заслонами с обоих концов. Ползти на четвереньках по этому беспросветно-черному туннелю было сказочным наслаждением. Делалось душно и страшно, в колено впивался кусочек ореховой скорлупы, но я все же медлил в этой давящей тьме, слушая тупой звон в ушах, рассудительный звон одиночества, столь знакомый малышам, вовлеченным игрой в пыльные, грустно-укромные углы. Темнота становилась слепотой, слепота искрилась по-своему; и, весь вспыхнув как-то снутри, в трепете сладкого ужаса, стуча коленками и ладошками, я торопился к выходу и сбивал подушку. Мечтательнее и тоньше была другая пещерная игра, — когда, проснувшись раньше обыкновенного, я сооружал шатер из простыни и одеяла и давал волю воображению среди бледного света, полотняных и фланелевых лавин, в складках которых мне мерещились томительные допотопные дали, силуэты сонных зверей. Заодно воскресает образ моей детской кровати, с подъемными сетками из пушистого шнура по бокам, чтобы автор не выпал; и, в свою очередь, этот образ направляет память к другому утреннему приключению. Как, бывало, я упивался восхитительно крепким, гранатово-красным, хрустальным яйцом, уцелевшим от какой-то незапамятной Пасхи! Пожевав уголок простыни так, чтобы он хорошенько намок, я туго заворачивал в него граненое сокровище и, все еще подлизывая спеленутые его плоскости, глядел, как горящий румянец постепенно просачивается сквозь влажную ткань со все возрастающей насыщенностью рдения. Непосредственнее этого мне редко удавалось питаться красотой.

Допускаю, что я не в меру привязан к самым ранним

своим впечатлениям, но как же не быть мне благодарным им? Они проложили путь в сущий рай осязательных и зрительных откровений. И все я стою на коленях — классическая поза детства! — на полу, на постели, над игрушкой, ни над чем. Как-то раз, во время заграничной поездки, посреди отвлеченной ночи, именно так я стоял на подушке у окна спального отделения: это было, должно быть, в 1903 году, между прежним Парижем и прежней Ривьерой, в давно не существующем тяжелозвонном *train de luxe*<sup>4</sup>, вагоны которого были окрашены по низу в кофейный цвет, а по верху — в сливочный. Должно быть, мне удалось отстегнуть и подтолкнуть вверх тугую тисненую шторку в головах моей койки. С неизъяснимым замираньем я смотрел сквозь стекло на горсть далеких алмазных огней, которые переливались в черной мгле отдаленных холмов, а затем как бы соскользнули в бархатный карман. Впоследствии я раздавал такие драгоценности героям моих книг, чтобы как-нибудь отделаться от бремени этого богатства. Загадочно-болезненное блаженство не изошло за полвека, если и ныне возвращаюсь к этим первичным чувствам. Они принадлежат гармонии моего совершеннейшего, счастливейшего детства, — и, в силу этой гармонии, они с волшебной легкостью, сами по себе, без поэтического участия, откладываются в памяти сразу перебеленными черновиками. Привередничать и корячиться Мнемозина начинает только тогда, когда доходишь до глав юности. И вот еще соображение: сдается мне, что в смысле этого раннего набирания мира русские дети моего поколения и круга одарены были восприимчивостью поистине гениальной, точно судьба в предвидении катастрофы, которой предстояло убрать сразу и навсегда прелестную декорацию, честно пыталась возместить будущую потерю, наделяя их души и тем, что по годам им еще не причиталось. Когда же все запасы и заготовки были сделаны, гениальность исчезла, как бывает оно с вундеркиндами в узком значении слова — с каким-нибудь кудрявым, смазливym мальчиком, управлявшим оркестром или крошавшим гремучий, громадный рояль у пальмы, на освещенной, как Африка, сцене, но впоследствии становящимся совершенно второстепенным лысоватым музыкантом, с грустными глазами и какой-нибудь редкой внутренней опухолью и чем-то тяжелым и смутно-уродливым в очерке егнушых бедер. Пусть так, но индиви-

---

<sup>4</sup> Поезда-люкс (фр.).

дуальная тайна пребывает и не перестает дразнить мемуариста. Ни в среде, ни в наследственности не могу нащупать тайный прибор, оттиснувший в начале моей жизни тот неповторимый водяной знак, который сам различаю, только подняв ее на свет искусства.

### 3

Чтобы правильно расставить во времени некоторые мои ранние воспоминания, мне приходится равняться по кометам и затмениям, как делает историк, датирующий обрывки саг. Но в иных случаях хронология ложится у ног с любовью. Вижу, например, такую картину: карабкаюсь лягушкой по мокрым, черным приморским скалам; мисс Норкот, томная и печальная гувернантка, думая, что я следую за ней, удаляется с моим братом вдоль взморья; карабаясь, я твержу, как некое истое, красноречивое, утоляющее душу заклинание, простое английское слово «чайльдхуд» (детство); знакомый звук постепенно становится новым, странным, и вконец завораживается, когда другие «худ»'ы к нему присоединяются в моем маленьком, переполненном и кипящем мозгу — «Робин Худ», и «Литль Ред Райдинг Худ» (Красная Шапочка), и бурый куколь («худ») горбуньи-феи. В скале есть впадинки, в них стоит теплая морская водица, и, бормоча, я как бы колдую над этими васильковыми купелями.

Место это, конечно, Аббатия, на Адриатике. Накануне в кафе у фиумской пристани, когда уже нам подавали заказанное, мой отец заметил за ближним столиком двух японских офицеров, и мы тотчас ушли; однако я успел схватить целую бомбочку лимонного мороженого, которую так и унес в набухающем небной болью рту. Время, значит, 1904 год, мне пять лет. Лондонский журнал, который выписывает мисс Норкот, со вкусом воспроизводит рисунки японских корреспондентов, изображающих, как будут тонуть совсем на вид детские — из-за стиля японской живописи — паровозы русских, если они вздумают провести рельсы по байкальскому льду.

У меня, впрочем, есть в памяти и более ранняя связь с этой войной. Как-то в начале того же года, в нашем петербургском особняке, меня повели из детской вниз, в отцовский кабинет, показаться генералу Куропаткину, с которым отец был в коротких отношениях. Желая позабавить меня, коренастый гость высypал рядом с собой

на оттоманку десяток спичек и сложил их в горизонтальную черту, приговаривая: «Вот это — море — в тихую погоду». Затем он быстро сдвинул углом каждую чету спичек, так чтобы горизонт превратился в ломаную линию, и сказал: «А вот это — море в бурю». Тут он смешал спички и собрался было показать другой — может быть, лучший — фокус, но нам помешали. Слуга ввел его адъютанта, который что-то ему доложил. Суетливо крикнув, Куропаткин, в полтора, как говорится, приема, встал с оттоманки, причем разбросанные на ней спички подскочили ему вслед. В этот день он был назначен Верховным Главнокомандующим Дальневосточной армии.

Через пятнадцать лет маленький магический случай со спичками имел свой особый эпилог. Во время бегства отца из захваченного большевиками Петербурга на юг, где-то, снежной ночью, при переходе какого-то моста, его остановил седобородый мужик в овчинном тулупе. Старик попросил огонька, которого у отца не оказалось. Вдруг они узнали друг друга. Дело не в том, удалось ли или нет опростившемуся Куропаткину избежать советского конца (энциклопедия молчит, будто набрав крови в рот). Что любопытно тут для меня, это логическое развитие темы спичек. Те давнишние, волшебные, которые он мне показывал, давно затерялись; пропала и его армия; провалилось всё; провалилось, как провалились сквозь слюду ледка мои заводные паровозы, когда, помнится, я пробовал пускать их через замерзшие лужи в саду висбаденского отеля зимой 1904—1905 года. Обнаружить и проследить на протяжении своей жизни развитие таких тематических узоров и есть, думается мне, главная задача мемуариста.

#### 4

Ездили мы на разные воды, морские и минеральные, каждую осень, но никогда не оставались так долго — целый год — за границей, как тогда, и мне, шестилетнему, довелось впервые по-настоящему испытать древесным дымом отдающий восторг возвращения на родину — опять же, милость судьбы, одна из ряда прекрасных репетиций, заменивших представление, которое, по мне, может уже не состояться, хотя этого как будто и требует музыкальное разрешение жизни.

Итак, переходим к лету 1905 года: мать с тремя детьми

в петербургском имении; политические дела задерживают отца в столице. В один из коротких своих наездов к нам, в Выру, он заметил, что мы с братом читаем и пишем по-английски отлично, но русской азбуки не знаем (помнится, кроме таких слов, как «какао», я ничего по-русски не мог прочесть). Было решено, что сельский учитель будет приходить нам давать ежедневные уроки и водить нас гулять.

Каким веселым звуком, под стать солнечной и соленой ноте свистка, украшавшего мою белую матроску, зовет меня мое дивное детство на возобновленную встречу с бодрым Василием Мартыновичем! У него было толстовского типа широконосое лицо, пушистая плешь, русые усы и светло-голубые, цвета моей молочной чашки, глаза с небольшим интересным наростом на одном веке. Рукопожатие его было крепкое и влажное. Он носил черный галстук, повязанный либеральным бантом, и люстриновый пиджак. Ко мне, ребенку, он обращался на вы, как взрослый к взрослому, то есть совершенно по-новому, — не с противной чем-то интонацией наших слуг и, конечно, не с особой пронзительной нежностью, звеневшей в голосе матери, когда мне случалось хватиться самого крохотного пассажира или оказывался у меня жар и она переходила на вы, словно хрупкое «ты» не могло бы выдержать груз ее обожания. Он был, как говорили мои тетки, шипением своего ужаса, как кипятком, ошпаривая человека, «красный»; мой отец его вытащил из какой-то политической истории (а потом, при Ленине, его, по слухам, расстреляли за эсерство). Брал он меня чудесами чистописания, когда, выводя «покой» или «люди», он придавал какую-то органическую густоту тому или другому сгибу, точно это были готовые ожить ганглии, чернилоносные сосуды. Во время полевых прогулок, завидя косарей, он сочным баритоном кричал им: «Бог помощь!» В дебрях наших лесов, горячо жестикулируя, он говорил о человеколюбии, о свободе, об ужасах войны и о тяжелой необходимости взрывать тиранов динамитом. Когда же он потчевал меня цитатами из «Долой оружие!» — благонамеренной, но бездарной Берты Зуттнер, я горячо восставал в защиту кровопролития, спасая свой детский мир пружинных пистолетов и Артуровых рыцарей.

С помощью Василия Мартыновича Мнемозина может следовать и дальше по личной обочине общей истории. Спустя года полтора после Выборгского воззвания (1906) отец провел три месяца в Крестах, в удобной камере,

со своими книгами, мюллеровской гимнастикой и складной резиновой ванной, изучая итальянский язык и поддерживая с моей матерью незаконную корреспонденцию (на узких свиточках туалетной бумаги), которую переносил преданный друг семьи А. И. Каминка. Мы были в деревне, когда его выпустили; Василий Мартынович руководил торжественной встречей, украсив проселочную дорогу арками из зелени — и откровенно красными лентами. Мать ехала с отцом со станции Сиверской, а мы, дети, выехали им навстречу; и, вспоминая именно этот день, я с праздничной ясностью восстанавливаю родной, как собственное кровообращение, путь из нашей Выры в село Рождествено, по ту сторону Оредежи: красноватую дорогу, — сперва шедшую между Старым парком и Новым, затем колоннадой толстых берез, мимо некошеных полей; — а дальше: поворот, спуск к реке, искрящейся промеж парчовой тины; мост, вдруг разговорившийся под копытами; ослепительный блеск жестянки, оставленной удильщиком на перилах; белую усадьбу дяди на муравчатом холму; другой мост, через рукав Оредежи; другой холм, с липами, розовой церковью, мраморным склепом Рукавишниковых; наконец, — шоссеюную дорогу через село, окаймленную по-русски бобриком светлой травы с песчаными проплешинами да сиреневыми кустами вдоль замшелых изб; флаги перед новым, каменным, зданием сельской школы рядом со старым, деревянным; и, при стремительном нашем проезде, черную, белозубую собачонку, выскочившую откуда-то с невероятной скоростью, но в совершенном молчании, сберегавшую лай до того мгновения, когда она очутится вровень с коляской.

## 5

В это первое необыкновенное десятилетие века фантастически перемешивалось новое со старым, либеральное с патриархальным, фатальная нищета с фаталистическим богатством. Не раз случалось, что во время завтрака в многооконной, орехом обшитой столовой вырского дома буфетчик Алексей наклонялся с удрученным видом к отцу, шепотом сообщая (при гостях шепот становился особенно шепеляв), что пришли мужики и просят его выйти к ним. Быстро переведя салфетку с колен на скатерть и извинившись перед моей матерью, отец покидал стол. Одно из восточных окон выходило на край сада



у парадного подъезда; оттуда доносилось учтливое жужжанье, невидимая гурьба приветствовала барина. Из-за жары окна были затворены, и нельзя было разобрать смысл переговоров: крестьяне, верно, просили разрешения скосить или срубить что-нибудь, и если, как часто бывало, отец немедленно соглашался, гул голосов поднимался снова, и его, по старинному русскому обычаю, дюжие руки раскачивали и подкидывали несколько раз.

В столовой между тем братцу и мне велено было продолжать есть. Мама, готовясь снять двумя пальцами с вилки комочек говядины, заглядывала вниз, под воланы скатерти, там ли ее сердитая и капризная такса. «Un jour ils vont le laisser tomber»<sup>5</sup>, — замечала m-lle Golay, чопорная старая пессимистка, бывшая гувернантка матери, продолжавшая жить у нас в доме, всегда кислая, всегда в ужасных отношениях с детскими англичанками и французенками. Внезапно, глядя с моего места в восточное окно, я становился очевидцем замечательного случая левитации. Там, за стеклом, на секунду являлась в лежачем положении, торжественно и удобно раскинувшись на воздухе, крупная фигура моего отца; его белый костюм слегка зыбился, прекрасное невозмутимое лицо было обращено к небу. Дважды, трижды он возносился, под уханье и ура незримых качальщиков, и третий взлет был выше второго, и вот в последний раз вижу его покоящимся навзничь и как бы навек на кубовом фоне знойного полдня, как те внушительных размеров небожители, которые, в непринужденных позах, в ризах, поражающих обилием и силой складок, парят на церковных сводах в звездах, между тем как внизу одна от другой загораются в смертных руках восковые свечи, образуя рой огней в мнении ладана, и иерей читает о покое и памяти, и лоснящиеся траурные лилии застыт лицо того, кто лежит там, среди плывучих огней, в еще не закрытом гробу.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### 1

Я всегда был подвержен чему-то вроде легких, но неизлечимых галлюцинаций. Одни из них слуховые, другие зрительные, а проку от них нет никакого. Вещие голоса,

<sup>5</sup> Когда-нибудь они его уронят (фр.).

останавливавшие Сократа и понукавшие Жанну Д'Арк, сводятся в моем случае к тем обрывочным пустякам, которые, подняв телефонную трубку, тотчас прихлопываешь, не желая подслушивать чужой вздор. Так, перед отходом ко сну, но в полном еще сознании, я часто слышу, как в смежном отделении мозга непринужденно идет какая-то странная однобокая беседа, никак не относящаяся к действительному течению моей мысли. Присоединяется, иначе говоря, неизвестный абонент, безличный паразит; его трезвый, совершенно посторонний голос произносит слова и фразы, ко мне не обращенные и содержания столь плоского, что не решаюсь привести пример, дабы нечаянно не заострить хоть слабым смыслом тупость этого бубнения. Ему есть и зрительный эквивалент — в некоторых предсонных образах, донимающих меня, особенно после кропотливой работы. Я имею в виду, конечно, не «внутренний снимок» — лицо умершего родителя, с телесной ясностью возникающее в темноте по приложении страстного, героического усилия; не говорю я и о так называемых *muscae volitantes*<sup>6</sup> — тенях микроскопических пылинок в стеклянистой жидкости глаза, которые проплывают прозрачными узелками наискось по зрительному полю и опять начинают с того же угла, если перемигнешь. Ближе к ним — к этим гипногическим увеселениям, о которых идет неприятная речь, — можно, пожалуй, поставить красочную во мраке рану продленного впечатления, которую наносит, прежде чем пасть, свет только что отсеченной лампы. У меня выростали из рубиновых оптических стигматов и Рубенсы, и Рембрандты, и целые пылающие города. Особого толчка, однако, не нужно для появления этих живописных призраков, медленно и ровно развивающихся перед закрытыми глазами. Их движение и смена происходят вне всякой зависимости от воли наблюдателя и, в сущности, отличаются от сновидений только какой-то клейкой свежестью, свойственной переводным картинкам, да еще тем, конечно, что во всех их фантастических фазах отдаешь себе полный отчет. Они подчас уродливы: привяжется, бывало, средневековый, грубый профиль, распаленный вином карла, нагло растущее ухо или нехорошая ноздря. Но иногда, перед самым забытием, пухлый пепел падает на краски, и тогда фотизмы мои успокоительно расплываются, кто-то ходит в пла-

---

<sup>6</sup> Перелетающих мух (лат.).

ще среди ульев, лиловеют из-за паруса дымчатые острова, валит снег, улетают тяжелые птицы.

Кроме всего, я наделен в редкой мере так называемым *audition colorée* — цветным слухом. Тут я мог бы невероятными подробностями взбесить самого покладистого читателя, но ограничусь только несколькими словами о русском алфавите: латинский был мною разобран в английском оригинале этой книги.

Не знаю, впрочем, правильно ли тут говорить о «слухе»: цветное ощущение создается, по-моему, осязательным, губным, чуть ли не вкусовым путем. Чтобы основательно определить окраску буквы, я должен букву просмаковать, дать ей набухнуть или излучиться во рту, пока воображаю ее зрительный узор. Чрезвычайно сложный вопрос, как и почему малейшее несовпадение между разноязычными начертаниями единозвучной буквы меняет и цветовое впечатление от нее (или, иначе говоря, каким именно образом сливаются в восприятии буквы ее звук, окраска и форма), может быть как-нибудь причастен понятию «структурных» красок в природе. Любопытно, что большей частью русская, инакописная, но идентичная по звуку, буква отличается тускловатым тоном по сравнению с латинской.

Черно-бурую группу составляют: густое, без галльского глянца, А; довольно ровное по сравнению с рваным Р; крепкое каучуковое Г; Ж, отличающееся от французского J, как горький шоколад от молочного; темно-коричневое, отполированное Я. В белесой группе буквы Л, Н, О, Х, Э представляют, в этом порядке, довольно бледную диету из вермишели, смоленской каши, миндального молока, сухой булки и шведского хлеба. Группу мутных промежуточных оттенков образуют клистирное Ч, пушисто-сизое Ш и такое же, но с прожелтью, Щ.

Переходя к спектру, находим: красную группу с вишнево-кирпичным Б (гуще, чем В), розово-фланелевым М и розовато-телесным (чуть желтее, чем V) В; желтую группу с оранжевым Ё, охряным Е, палевым Д, светло-палевым И; золотистым У и латуновым Ю; зеленую группу с гуашевым П, пыльно-ольховым Ф и пастельным Т (все это суше, чем их латинские однозвучия); и наконец, синюю, переходящую в фиолетовое, группу с жестяным Ц, влажно-голубым С, черничным К и блестяще-сиреневым З. Такова моя азбучная радуга (ВЁЕПСКЗ).

Исповедь синэстета назовут претенциозной те, кто защищен от таких просачиваний и смещений чувств более

плотными перегородками, чем защищен я. Но моей матери все это показалось вполне естественным, когда мое свойство обнаружилось впервые: мне шел шестой или седьмой год, я строил замок из разноцветных азбучных кубиков — и вскользь заметил ей, что покрашены они неправильно. Мы тут же выяснили, что мои буквы не всегда того же цвета, что ее; согласные она видела довольно неясно, но зато музыкальные ноты были для нее как желтые, красные, лиловые стеклышки, между тем как во мне они не возбуждали никаких хроматизмов. Надобно сказать, что у обоих моих родителей был абсолютный слух: но, увы, для меня музыка всегда была и будет лишь произвольным нагромождением варварских звучаний. Могу по бедности понять и принять цыгановатую скрипку или какой-нибудь влажный перебор арфы в «Богеме», да еще всякие испанские спазмы и звон, но концертное фортепиано с фалдами и решительно все духовые хоботы и анаконды в небольших дозах вызывают во мне скуку, а в больших — оголение всех нервов и даже понос.

Моя нежная и веселая мать во всем потакала моему ненасытному зрению. Сколько ярких акварелей она писала при мне, для меня! Какое это было откровение, когда из легкой смеси красного и синего вырастал куст персидской сирени в райском цвете! Какую муку и горе я испытывал, когда мои опыты, мои мокрые, мрачно-фиолетово-зеленые картины ужасно коробились или свертывались, точно скрываясь от меня в другое, дурное, измерение! Как я любил кольца на материнской руке, ее браслеты! Бывало, в петербургском доме, в отдаленнейшей из ее комнат, она вынимала из тайника в стене целую грудку драгоценностей, чтобы позанять меня перед сном. Я был тогда очень мал, и эти струящиеся диадемы и ожерелья не уступали для меня в загадочном очаровании табельным иллюминациям, когда в ватной тишине зимней почти гигантские монограммы и венцы, составленные из цветных электрических лампочек — сапфирных, изумрудных, рубиновых, — глухо горели над отороченными снегом карнизами домов.

## 2

Частые детские болезни особенно сближали меня с матерью. В детстве, до десяти, что ли, лет, я был отягощен исключительными, и даже чудовищными, способностями

к математике, которые быстро потускнели в школьные годы и вовсе пропали в пору моей, на редкость бездарной во всех смыслах, юности (от пятнадцати до двадцати пяти лет). Математика играла грозную роль в моих ангидах и скарлатинах, когда, вместе с расширением термометрической ртути, беспощадно пухли огромные шары и многозначные цифры у меня в мозгу. Неосторожный губернёр поторопился объяснить мне в восемь лет логарифмы, а в одном из детских английских журналов мне попала статья про феноменального индуса, который ровно в две секунды мог извлечь корень семнадцатой степени из такого, скажем, приятного числа, как 3529471145760275132301897342055866171392 (кажется, 212, но это не важно). От этих монстров, откормленных на моем бреде и как бы вытеснявших меня из себя самого, невозможно было отделаться, и в течение безнадежной борьбы я поднимал голову с подушки, силясь объяснить матери мое состояние. Сквозь мои смещенные логикой жара слова она узнавала все то, что сама помнила из собственной борьбы со смертью в детстве, и каким-то образом помогала моей разрывающейся вселенной вернуться к Ньютону классическому образцу.

Будущему узкому специалисту-словеснику будет безынтересно проследить, как именно изменился при передаче литературному герою (в моем романе «Дар») случай, бывший и с автором в детстве. После долгой болезни я лежал в постели, размаанный, слабый, как вдруг нашло на меня блаженное чувство легкости и покоя. Мать, я знал, поехала купить мне очередной подарок: планомерная ежедневность приношений придавала медленным выздоравливаниям и прелесть и смысл. Что предстояло мне получить на этот раз, я не мог угадать, но сквозь магический кристалл моего настроения я со сверхчувственной ясностью видел ее санки, удалявшиеся по Большой Морской по направлению к Невскому (ныне Проспекту какого-то Октября, куда вливается удивленный Герцен). Я различал всё: гнедого рысака, его храп, ритмический щелк его мошны и твердый стук комьев мерзлой земли и снега об передок. Перед моими глазами, как и перед материнскими, ширился огромный, в синем сборчатом ватнике, кучерской зад, с путевыми часами в кожаной оправе на кушаке; они показывали двадцать минут третьего. Мать, в вуали, в котиковой шубе, поднимала муфту к лицу грациозно-гравюрным движением нарядной петербургской дамы, летящей в открытых санях; петли мед-

вежьем полости были сзади прикреплены к обоим углам низкой спинки, за которую держался, стоя на запятках, выездной с кокардой.

Не выпуская санок из фокуса ясновидения, я остановился с ними перед магазином Треймана на Невском, где продавались письменные принадлежности, аппетитные игральные карты и безвкусные безделушки из металла и камня. Через несколько минут мать вышла оттуда в сопровождении слуги: он нес за ней покупку, которая показалась мне обыкновенным фаберовским карандашом, так что я даже удивился и ничтожности подарка, и тому, что она не может нести сама такую мелочь. Пока выездной запахивал опять полость, я смотрел на пар, выдыхаемый всеми, включая коня. Видел и знакомую ужимку матери: у нее была привычка вдруг надуть губы, чтобы отлепилась слишком тесная вуалетка, и вот сейчас, написав это, нежное сетчатое ощущение ее холодной щеки под моими губами возвращается ко мне, летит, ликуя, стремглав из снежно-синего, синеоконого (еще не спустили штор) прошлого.

Вот она вошла ко мне в спальню и остановилась с хитрой полуулыбкой. В объятиях у нее большой удлинненный пакет. Его размер был так сильно сокращен в моем видении оттого, может быть, что я делал подсознательную поправку на отвратительную возможность, что от недавнего бреда могла остаться у вещей некоторая склонность к гигантизму. Но нет: карандаш действительно оказался желто-деревянным гигантом, около двух аршин в длину и соответственно толстый. Это рекламное чудовище висело в окне у Треймана, как дирижабль, и мать знала, что я давно мечтаю о нем, как мечтал обо всем, что нельзя было или не совсем можно было за деньги купить (приказчику пришлось сначала снестись с неким доктором Либнером, точно дело было и впрямь врачебное). Помню секунду ужасного сомнения: из графита ли острие, или это подделка? Нет, настоящий графит. Мало того, когда несколько лет спустя я просверлил в боку гиганта дырку, то с радостью убедился, что становой графит идет через всю длину: надобно отдать справедливость Фаберу и Либнеру, с их стороны это было сущее «искусство для искусства».

«О, еще бы, — говаривала мать, когда, бывало, я делился с нею тем или другим необычайным чувством или наблюдением, — еще бы, это я хорошо знаю...» И с жутковатой простотой она обсуждала телепатию, и сны, и потрескивающие столики, и странные ощущения «уже раз виденного» (*le déjà vu*). Среди отдаленных ее пред-

ков, сибирских Рукавишниковых (коих не должно смешивать с известными московскими купцами того же имени), были староверы, и звучало что-то твердо-сектантское в ее отталкивании от обрядов православной церкви. Евангелие она любила какой-то вдохновенной любовью, но в опоре догмы никак не нуждалась; страшная незащитность души в вечности и отсутствие там своего угла просто не интересовали ее. Ее проникновенная и невинная вера одинаково принимала и существование вечного, и невозможность осмыслить его в условиях временного. Она верила, что единственно доступное земной душе — это ловить далеко впереди, сквозь туман и грезу жизни, проблеск чего-то *настоящего*. Так люди, дневное мышление которых особенно неуимчиво, иногда чувствуют и во сне, где-то за щекочущей путаницей и нелепицей видений, — стройную действительность прошедшей и предстоящей яви.

### 3

Любить всей душой, а в остальном доверяться судьбе — таково было ее простое правило. «Вот запомни», — говорила она с таинственным видом, предлагая моему вниманию заветную подробность: жаворонка, поднимающегося в мутно-перламутровое небо бессолнечного весеннего дня, вспышки ночных зарниц, снимающих в разных положениях далекую рощу, краски кленовых листьев на палитре мокрой террасы, клинопись птичьей прогулки на свежем снегу. Как будто предчувствуя, что вещественная часть ее мира должна скоро погибнуть, она необыкновенно бережно относилась ко всем вешкам прошлого, рассыпанным и по ее родовому имени, и по соседнему поместью свекрови, и по земле брата за рекой. Ее родители оба скончались от рака, вскоре после ее свадьбы, а до этого умерло молодыми семеро из девяти их детей, и память обо всей этой обильной далекой жизни, мешаясь с веселыми велосипедами и крокетными дужками ее девичества, украшала мифологическими виньетками Выру, Батово и Рождествено на детальной, но несколько несбыточной карте. Таким образом я унаследовал восхитительную фата-моргану, все красоты неотторжимых богатств, призрачное имущество — и это оказалось прекрасным закалом от предназначенных потерь. Материнские отметины и зарубки были мне столь же дороги, как и ей, так что теперь в моей памяти представлена и комна-

та, которая в прошлом отведена была ее матери под химическую лабораторию, и отмеченный — тогда молодой, теперь почти шестидесятилетней липою подъем в деревню Грязно, перед поворотом на Даймищенский большак, — подъем столь крутой, что приходилось велосипедистам спешиваться, — где, поднимаясь рядом с ней, сделал ей предложение мой отец, и старая теннисная площадка, чуть ли не каренинских времен, свидетельница благопристойных перекидок, а к моему детству заросшая плетелями и поганками.

Новая теннисная площадка — в конце той узкой и длинной просади черешчатых дубков, о которых я уже говорил, — была выложена по всем правилам грунтового искусства рабочими, выписанными из Восточной Пруссии. Вижу мать, отдающую мяч в сетку и топающую ножкой в плоской белой туфле. Майерсовское руководство для игры в лоун-теннис перелистывается ветерком на зеленой скамейке. С добросовестными и глупыми усилиями бабочки-белянки пробивают себе путь в проволочной ограде вокруг корта. Воздушная блуза и узкая пикейная юбка матери (она играет со мной в паре против отца и брата, и я сержусь на ее промахи) принадлежат к той же эпохе, как фланелевые рубашки и штаны мужчин. Поодаль, за цветущим лугом, окружающим площадку, проезжие мужики глядят с почтительным удивлением на резвость господ, точно так же, как глядели на волан или серсо в восемнадцатом веке. У отца сильная прямая подача в классическом стиле английских игроков того времени, и, сверяясь с упомянутой книгой, он все справляется у меня и у брата, сошла ли на нас благодать — отзывается ли драйв у нас от кисти до самого плеча, как полагается.

Мать любила и всякие другие игры, особенно же головоломки и карты. Под ее умело витающими руками из тысячи вырезанных кусочков постепенно складывалась на ломберном столе картина из английской охотничьей жизни, и то, что казалось сначала лошадиной ногой, оказывалось частью ильма, а никуда не входившая пупочка (материнское слово для всякой кругловатой штучки) вдруг приходилась к крапчатому крупу, удивительно ладно восполняя пробел — вернее просинь, ибо ломберное сукно было голубое. Эти точные восполнения доставляли мне, зрителю, какое-то и отвлеченное и осязательное удовольствие.

В начале второго десятилетия века у нее появилась страсть к азартным играм, особенно к покеру; последний



был занесен в Петербург радением дипломатического корпуса, но, по пути из далекой Америки пройдя через сравнительно близкий Париж, он пришел к нам оснащенный французскими названиями комбинаций, как, например, *brelan* и *couleur*<sup>7</sup>. Технически говоря, это был так называемый *draw poker*<sup>8</sup> с довольно частыми *jackpot*-ами и с джокером, заменяющим любую карту. Мать иногда играла до четырех часов утра и впоследствии вспоминала с наивным ужасом, как шофер дождался ее всю морозную ночь; на самом деле чай с ромом в сочувственной кухне значительно скрашивал эти вигилии<sup>9</sup>.

Любимейшим ее летним удовольствием было хождение по грибы. В оригинале этой книги мне пришлось подчеркнуть само собою понятное для русского читателя отсутствие гастрономического значения в этом деле. Но, разговаривая с москвичами и другими русскими провинциалами, я заметил, что и они не совсем понимают некоторые тонкости, как, например, то, что сыроежки или там рыжики и вообще все низменные агарики с пластиночной бухтармой совершенно игнорировались знатоками, которые брали только классически прочно и округло построенные виды из рода *Boletus*, боровики, подберезовики, подосиновики. В дождливую погоду, особенно в августе, множество этих чудных растений вылезало в парковых дебрях, насыщая их тем сырым, сытным запахом — смесью моховины, прелых листьев и фиалкового перегноя, — от которого вздрагивают и раздуваются ноздри петербуржца. Но в иные дни приходилось подолгу всматриваться и шарить, покуда не сыщется семейка боровичков в тесных чепчиках, или мрамористый «гусар», или болотная форма худосочного белесого березовика.

Под морозящим дождиком мать пускалась одна в долгий поход, запасаясь корзинкой — вечно запачканной лиловым снутри от чьих-то черничных сборов. Часа через три можно было увидеть с садовой площадки ее небольшую фигуру в плаще с капюшоном, приближавшуюся из тумана аллеи; бисерная морось на зеленовато-бурой шерсти плаща образовывала вокруг нее подобие дымчатого ореола. Вот, выйдя из-под капающей и шуршащей сени парка, она замечает меня, и немедленно лицо ее принимает странное, огорченное выражение, которое, каза-

---

<sup>7</sup> Масть покера (фр.).

<sup>8</sup> Покер (англ.).

<sup>9</sup> Вигилии — бдения (от лат *vigil* — бдительный).

лось бы, должно означать неудачу, но на самом деле лишь скрывает ревниво сдержанное упоение, грибное счастье. Дойдя до меня, она испускает вздох преувеличенной усталости, и рука и плечо вдруг обвисают, чуть ли не до земли опуская корзинку, дабы подчеркнуть ее тяжесть, ее сказочную полноту.

Около белой, склизкой от сырости садовой скамейки со спинкой она выкладывает свои грибы концентрическими кругами на круглый железный стол со сточной дырой посередине. Она считает и сортирует их. Старые, с рыхлым исподом, выбрасываются; молодым и крепким уделяется всяческая забота. Через минуту их унесет слуга в неведомое и неинтересное ей место, но сейчас можно стоять и тихо любоваться ими. Выпадая в червонную бездну из ненастных туч, перед самым заходом, солнце, бывало, бросало красочный луч в сад, и лоснились на столе грибы: к иной красной или янтарно-коричневой шляпке пристала травинка; к иной подштрихованной, изогнутой ножке прилип родимый мох; и крохотная гусеница геометриды, идя по краю стола, как бы двумя пальцами детской руки все мерила что-то и изредка вытягивалась вверх, ища никому не известный куст, с которого ее сбили.

#### 4

Всё, что относилось к хозяйству, занимало мою мать столь же мало, как если бы она жила в гостинице. Не было хозяйственной жилки и у отца. Правда, он заказывал завтраки и обеды. Этот ритуал совершался за столом, после сладкого. Буфетчик приносил черный альбомчик. С легким вздохом отец раскрывал его и, поразмыслив, своим изящным, плавным почерком вписывал меню на завтра. У него была привычка давать химическому карандашу или перу-самотеку быстро-быстро трепетать на воздухе, над самой бумагой, покуда он обдумывал следующую зыбельку слов. На его вопросительные наименования блюд мать отвечала неопределенными кивками или морщилась. Официально в экономках числилась Елена Борисовна, бывшая няня матери, древняя, очень низенького роста старушка, похожая на унылую черепаху, большеногоя, малоголовая, с совершенно потухшим, мутно-карим взглядом и холодной, как забытое в кладовой яблочко, кожей. Про Бову она мне что-то

не рассказывала, но и не пила, как пивала Арина Родионова (кстати, взятая к Оленьке Пушкиной с Суйды, неподалеку от нас). Она была на семьдесят лет старше меня, от нее шел легкий, но нестерпимый запах — смесь кофе и тлена, и за последние годы в ней появилась патологическая скупость, по мере развития которой был потихоньку от нее введен другой домашний порядок, учрежденный в лакейской. Ее сердце не выдержало бы, узнай она, что власть ее болтается в пространстве, с ее же ключничьего кольца, и мать старалась лаской отогнать подозрение, заплывавшее в слабеющий ум старушки. Та правила безраздельно каким-то своим, далеким, затхлым, маленьким царством — вполне отвлеченным, конечно, иначе бы мы умерли с голоду; вижу, как она терпеливо топает туда по длинным желтым коридорам, под насмешливым взглядом слуг, унося в тайную кладовую сломанный пети-бер, найденный ею где-то на тарелке. Между тем, при отсутствии всякого надзора над штатом в полсотни с лишком человек, и в усадьбе и в петербургском доме шла веселая воровская свистопляска. По словам пронырливых старых родственниц, заправилами были повар Николай Андреевич да старый садовник Егор. Оба необыкновенно положительные на вид люди, в очках, с седеющими висками — словом, прекрасно загримированные под преданных слуг. Доносам старых родственниц никто не верил, но, увы, они говорили правду. Николай Андреевич был закупочным гением и, как выяснилось однажды, довольно известным в петербургских спиритических кругах медиумом; Егор (до сих пор слышу его черноземно-шпинатный бас, когда он на огороде пытался отвести мое прожорливое внимание от ананасной земляники к простой клубнике) торговал под шумок господскими цветами и ягодами так искусно, что нажил новенький дом на Сиверской. Мой дядя Рукавишников как-то ездил посмотреть и вернулся с удивленным выражением. При ровном наплыве чудовищных и необъяснимых счетов мой отец испытывал, в качестве юриста и государственного человека, особую досаду от неумения разрешить экономические нелады у себя в доме. Но всякий раз, как обнаруживалось явное злоупотребление, что-нибудь непременно мешало расправе. Когда здравый смысл велел прогнать жулика-камердинера, тут-то и оказывалось, что его сын, черноглазый мальчик моих лет, лежит при смерти, — и всё заслонялось необходимостью консилиума из лучших докторов столицы. Отвлекаемый то тем, то другим, мой отец

оставил в конце концов хозяйство в состоянии неустойчивого равновесия и даже научился смотреть на это с юмористической точки зрения, между тем как мать радовалась, что этим потворством спасен от гибели сумасшедший мир старой ее няньки, уносящей в свою вечность по темнеющим коридорам уже даже не бисквит, а горсть сухих крошек. Мать хорошо понимала боль разбитой иллюзии. Малейшее разочарование принимало у нее размеры роковой беды. Как-то в Сочельник, месяца за три до рождения ее четвертого ребенка, она оставалась в постели из-за легкого недомогания. По английскому обычаю, гувернантка привязывала к нашим кроваткам в рождественскую ночь, пока мы спали, по чулку, набитому подарками, а будила нас по случаю праздника сама мать и, деля радость не только с детьми, но и с памятью собственного детства, наслаждалась нашими восторгами при шуршащем развертывании всяких волшебных мелочей от Пето. В этот раз, однако, она взяла с нас слово, что в девять утра непочатые чулки мы принесем разбирать в ее спальню. Мне шел седьмой год, брату шестой, и, рано проснувшись, я с ним быстро посоветовался, заключил безумный союз, — и мы оба бросились к чулкам, повешенным на изножье. Руки сквозь натянутый уголками и буторками шелк нащупали сегменты содержимого, похрустывавшего афишной бумагой. Всё это мы вытащили, развязали, развернули, осмотрели при смугло-снежном свете, проникавшем сквозь складки штор, — и, снова запаковав, засунули обратно в чулки, с которыми в должный срок мы и явились к матери. Сидя у нее на освещенной постели, ничем не защищенные от ее довольных глаз, мы попытались дать требуемое публикой представление. Но мы так перемяли шелковистую розовую бумагу, так уродливо перевязали ленточки и так по-любительски изображали удивление и восторг (как сейчас, вижу брата, закатывающего глаза и восклицającego с интонацией нашей француженки «Ah, que c'est beau!»<sup>10</sup>), что, понаблюдавши нас с минуту, бедный зритель разразился рыданиями.

Прошло десятилетие. В первую мировую войну (Пуанкаре в крагах, слякоть, здоровья желаем, бедняжка-наследник в черкеске, крупные, ужасно одетые его сестры в больших застенчивых шляпах, с тысячей своих частных шуточек) моя мать очень добросовестно, но довольно неумело

---

<sup>10</sup> «Ах, какая красота!» (фр.).

соорудила собственный лазарет, по примеру других петербургских дам. И вот помню ее, в ненавистной ей форме сестры, рыдающей теми же детскими слезами над фальшью модного милосердия, над мучительной, каменной, совершенно непроницаемой кротостью искалеченных мужиков. И еще позже — о, гораздо позже, — перебирая в изгнании прошлое, она часто винила себя (по-моему, несправедливо), что менее была чутка к обилию человеческого горя на земле, чем к бремени чувств, спихиваемому человеком на все безвинно-безответное, как, например, старые аллеи, старые лошади, старые псы.

Мои тетки критиковали ее пристрастие к коричневым таксам. В фотографических альбомах, подробно иллюстрирующих ее молодые годы, среди пикников, крокетов, это не вышло, спортсменов в рукавах буфами и канотье, старых слуг с руками по швам, ее в колыбели, каких-то туманных елок, каких-то комнатных перспектив, — редкая группа обходилась без таксы, с расплывшейся от темперамента задней частью гибкого тела и всегда с тем странным, психопатически-звездным взглядом, который у этой породы бывает на семейных снимках. В раннем детстве я еще застал на садовом угле Лулу и Бокса Первого, мать и сына, столь дряхлых, что давно забылся кровосмесительный их союз, озадачивший бывших детей. Около 1904 года отец привез с Мюнхенской выставки рыжего щенка, из которого выросла удивительной таксичьей красоты Трэйни. В 1915 году у нее отнялись задние ноги, и, пока мать не решилась ее усыпить, бедная собака уныло ездил по паркетам, как *cul-de-jatte*<sup>11</sup>. Затем кто-то подарил нам внука или правнука чеховских Хины и Брома. Этот окончательный таксик (представляющий одно из немногих звеньев между мною и русскими классиками) последовал за нами в изгнание, и еще в 1930 году в Праге, где моя овдовевшая мать жила на крохотную казенную пенсию, можно было видеть ковыляющего по тусклой зимней улице далеко позади своей задумчивой хозяйки этого старого, все еще сердитого Бокса Второго, — эмигрантскую собаку в длинном проволочном наморднике и заплатанном пальтеце.

Я жил далеко от матери, в Германии или Франции, и не мог часто ее навещать. Не было меня при ней и когда

---

<sup>11</sup> Безногая (фр.).

она умерла, в мае 1939 года. Всякий раз, что удавалось посетить Прагу, я испытывал в первую секунду встречи ту боль, ту растерянность, тот провал, когда приходится сделать усилие, чтобы нагнать время, ушедшее за разлуку вперед, и восстановить любимые черты по нестарющему в сердце образцу. Квартира, которую она делила с внуком и Евгенией Константиновной Г., самым близким ее другом, была донельзя убогой. Клеенчатые тетради, в которые она списывала в течение многих лет нравившиеся ей стихи, лежали на кое-как собранной ветхой мебели. Ужасно скоро треплющиеся томики эмигрантских изданий соседствовали со слепком отцовской руки. Около ее кушетки, ночью служившей постелью, ящик, поставленный вверх дном и покрытый зеленой материей, заменял столик, и на нем стояли маленькие мутные фотографии в разваливающихся рамках. Впрочем, она едва ли нуждалась в них, ибо оригинал жизни не был утерян. Как бродячая труппа всюду возит с собой, поскольку не забыты реплики, и дюны под бурей, и замок в тумане, и очарованный остров, — так носила она в себе все, что душа отложила про этот серый день. Совершенно ясно вижу ее, сидящую за чайным столом и тихо созерцающую, с одной картой в руке, какую-то фазу в раскладке пасьянса; другой рукой она облокотилась об стол и в ней же, прижав сгиб большого пальца к краю подбородка, держит близко ко рту папиросу собственной набивки. На четвертом пальце правой руки — теперь опускающей карту — горит блеск двух золотых колец: обручальное кольцо моего отца, слишком для нее широкое, привязано черной ниточкой к ее собственному кольцу.

Когда мне снятся умершие, они всегда молчаливы, озабочены, смутно подавлены чем-то, хотя в жизни именно улыбка была сутью их дорогих черт. Я встречаюсь с ними без удивления, в местах и обстановке, в которых они никогда не бывали при жизни — например, в доме у человека, с которым я познакомился только потом. Они сидят в сторонке, хмуро опустив глаза, как если бы смерть была темным пятном, постыдной семейной тайной. И, конечно, не там и не тогда, не в этих косматых снах, дается смертному редкий случай заглянуть за свои пределы, а дается этот случай нам наяву, когда мы в полном блеске сознания, в минуты радости, силы и удачи — на матче, на перевале, за рабочим столом... И хоть мало различаешь во мгле, все же блаженно верится, что смотришь туда, куда нужно.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### 1

Восемнадцать лет покинув Петербург, я (вот пример галлицизма) был слишком молод в России, чтобы проявить какое-либо любопытство к моей родословной; теперь я жалею об этом — из соображений технических: при отчетливости личной памяти неотчетливость семейной отражается на равновесии слов. Уже в эмиграции кое-какими занятыми сведениями снабдил меня двоюродный мой дядюшка Владимир Викторович Голубцов, большой любитель таких изысканий. У него получалось, что старый дворянский род Набоковых произошел не от каких-то псковичей, живших как-то там в сторонке, *на обочье*, и не от кривобокого, *набокого*, как хотелось бы, а от обрусевшего шестьсот лет тому назад татарского князька по имени Набок. Бабка же моя, мать отца, рожденная баронесса Корфф, была из древнего немецкого (вестфальского) рода и находила простую прелесть в том, что в честь предка-крестоносца был будто бы назван остров Корфу. Корффы эти обрусели еще в восемнадцатом веке, и среди них энциклопедии отмечают много видных людей. По отцовской линии мы состоим в разнообразном родстве или свойстве с Аксаковыми, Шишковыми, Пушиными, Данзасами. (Думаю, что было уже почти темно, когда по скрипучему снегу внесли раненого в геккернскую карету.) Среди моих предков много служилых людей; есть усыпанные бриллиантовыми знаками участники славных войн; есть сибирский золото-промышленник и миллионщик (Василий Рукавишников, дед моей матери Елены Ивановны); есть ученый президент медико-хирургической академии (Николай Козлов, другой ее дед); есть герой Фридляндского, Бородинского, Лейпцигского и многих других сражений, генерал от инфантерии Иван Набоков (брат моего прадеда), он же директор Чесменской богадельни и комендант С.-Петербургской крепости — той, в которой сидел супостат Достоевский (рапорты доброго Ивана Александровича царю напечатаны — кажется, в Красном Архиве); есть министр юстиции Дмитрий Николаевич Набоков (мой дед); и есть, наконец, известный общественный деятель Владимир Дмитриевич (мой отец).

Набоковский герб изображает собой нечто вроде шашечницы с двумя медведями, держащими ее с боков:

приглашение на шахматную партию, у камина, после об-  
лавы в майоратском бору; рукавишниковский же, поновее,  
представляет стилизованную домну. Любопытно, что  
уральские прииски, Алапаевские заводы, аллитеративные  
пай в них — все это давно уже рухнуло, когда, в тридца-  
тых годах сего века, в Берлине, многочисленным потом-  
кам композитора Грауна (главным образом каким-то  
немецким баронам и итальянским графам, которым чуть  
не удалось убедить суд, что все Набоковы вымерли) доста-  
лось, после всех девальваций, кое-что от замаринованных  
впрок доходов с его драгоценных табакерок. Этот мой  
предок, Карл-Генрих Граун (1701—1759), талантливый  
карьерист, автор известной оратории «Смерть Иисуса»,  
считавшейся современными ему немцами непревзойденной,  
и помощник Фридриха Великого в писании опер, изобра-  
жен с другими приближенными (среди них — Вольтер)  
слушающим королевскую флейту, на пресловутой картине  
Менцеля, которая преследовала меня, эмигранта, из одно-  
го берлинского пансиона в другой. В молодости Граун об-  
ладал замечательным тенором; однажды, выступая в ка-  
кой-то опере, написанной брауншвейгским капельмейсте-  
ром Шурманом, он на премьере заменил не нравившиеся  
ему места ариями собственного сочинения. Только тут  
чувствую какую-то вспышку родства между мной и этим  
благополучным музыкальным деятелем. Гораздо ближе  
мне другой мой предок, Николай Илларионович Козлов  
(1814—1889), патолог, автор таких работ, как «О развитии  
идеи болезни» или «Сужение яремной дыры у людей умо-  
помешанных и самоубийц», — в каком-то смысле служа-  
щих забавным прототипом и литературных и лепидо-  
птерологических моих работ. Его дочь Ольга Николаевна  
была моей бабушкой; я был младенцем, когда она умерла.  
Его другая дочь, Прасковья Николаевна, вышла за знаме-  
нитого сифилидолога Тарновского и сама много писала  
по половым вопросам; она умерла в 1913 году, кажется,  
и ее странные, ясно произнесенные последние слова были:  
«Теперь понимаю: всё — вода». О ней и о разных дико-  
винных, а иногда и страшных Рукавишниковых у матери  
было много воспоминаний... Я люблю сцепление времен:  
когда она гостила девочкой у своего деда, старика  
Василья Рукавишника, в его крымском имении, Айвазов-  
ский, очень посредственный, но очень знаменитый мари-  
нист того времени, рассказывал в ее присутствии, как он,  
юношей, видел Пушкина и его высокую жену, и пока он  
это рассказывал, на серый цилиндр художника белилами



испражнилась пролетающая птица. Его моря темно сизели по разным углам петербургского (а после — деревенского) дома, и Александр Бенуа, проходя мимо них, и мимо мертвечины своего брата-академика Альберта, и мимо «Проталины» Крыжицкого, где не таяло ничего, и мимо громадного прилизанного Перовского «Прибоя» в зале, делал шоры из рук и как-то музыкально-смугло мычал: «Non, non, non, c'est affreux<sup>12</sup>, какая чушь, задерните чем-нибудь» — и с облегчением переходил в кабинет моей матери, где его действительно прелестные дождем набухшая «Бретань» и рыже-зеленый «Версаль» соседствовали с «вкусными», как тогда говорилось, «Турками» Бакста и сомовской акварельной «Радугой» среди мокрых берез.

## 2

Две баронессы Корф оставили след в судебных летописях Парижа: одна, кузина моего прапращура, женатого на дочке Грауна, была та русская дама, которая, находясь в Париже в 1791 году, одолжила и паспорт свой и дорожную карету (только что сделанный на заказ, великолепный, на высоких красных колесах, обитый снутри белым утрехтским бархатом, с зелеными шторами и всякими удобствами, шестиместный берлин) королевскому семейству для знаменитого бегства в Варенн (Мария-Антуанетта ехала как Мадам де Корф или как ее камеристка, король — не то как губернёр ее двух детей, не то как камердинер). Другая моя прабабка полвека спустя была причастна менее трагическому маскараду, а вычитал я эту историю из довольно пошлого французского журнала «Illustration» за 1859 год (С. 251). Граф де Морни давал бал-маскарад; на него он пригласил — цитирую источник: «...une noble dame que la Russie a prêtée cet hiver à la France»<sup>13</sup>, баронессу Корф с двумя дочками. Мужа, Фердинанда Корфа (1805—1869) — праправнука Грауна по женской линии, по-видимому, не было близко, но зато тут находился друг дома и жених одной из дочек — Марии Фердинандовны (1842—1926), а мой будущий дед — Дмитрий Набоков (1827—1904). Для девиц были заказаны к балу

<sup>12</sup> «Нет, нет, нет, это ужасно!» (фр.).

<sup>13</sup> «...Благородную даму, которую Россия одолжила на эту зиму Франции» (фр.).

костюмы цветочниц, по 225 франков за каждый, что тогда представляло, по явно подрывательно-марксистскому замечанию репортера, шестьсот сорок три дня «de nourriture, de loyer et d'entretien du père Crépin» (стоимости пропитания, жилья и обуви); видимо, рабочему человеку жилось тогда дешево. Однако баронессе костюмы показались слишком открытыми, и она отказалась принять их. Портниха прислала «huissier» — судебного пристава, после чего моя прабабка, женщина страстного нрава (и не столь добродетельная, как можно было бы заключить из ее возмущения низким вырезом), подала на портниху в суд, жалуясь, что наглые мамзели, принесшие наряды, в ответ на ее слова, что такие декольте не подходят благородным девицам — «se sont permis d'exposer des théories égalitaires du plus mauvais goût», — позволили себе высказать превульгарные демократические теории. К этому она добавляла, что поздно было заказывать другие костюмы, — и рыдающие дочери не пошли на бал; что пристав и его сподручные развалились в креслах, предоставив дамам стулья; а главное, что этот пристав смел грозить арестом господину Набокову — «Conseiller d'Etat, homme sage et plein de mesure» — статскому советнику, человеку рассудительному и уравновешенному, только потому, что тот попробовал пристава выбросить из окна. Не знаю, как это случилось, но портниха дело проиграла, причем ей не только пришлось вернуть деньги за костюмы, но еще отвалить истице тысячу франков за моральный ущерб. Счет же за дивную колымагу, поданный каретником весной 1791 года (5944 ливров), так и остался неоплаченным.

В 1878 году Дмитрий Николаевич был назначен министром юстиции. Одной из заслуг его считается закон 12 июня 1884 года, который на время прекратил натиск на суд присяжных со стороны реакционеров. Когда в 1885 году он вышел в отставку, Александр Третий предложил ему на выбор либо графский титул, либо денежное вознаграждение; благоразумный Набоков выбрал второе. В том же году «Вестник Европы» выразился о его деятельности так: «Он действовал как капитан корабля во время сильной бури — выбросил за борт часть груза, чтобы спасти остальное», — что в отношении контрапункта изящно перекликается с началом его карьеры, когда будущий законник чуть не выбросил сгоряча представителя закона за окно.

К концу жизни рассудок Дмитрия Николаевича помутился. Он понимал, что тяжело болен, но верил, что все

образуется, коль скоро он останется жить на Ривьере; врачи же полагали, что ему нужен горный или северный климат. Где-то в Италии он бежал из-под надзора доктора и довольно долго блуждал, как некий Лир, понося детей своих на радость случайным прохожим. В 1903 году моя мать, единственный человек, с чьим присмотром он мирился, ходила за ним в Ницце; брат и я — ему шел четвертый, а мне пятый год — жили там же, с англичанкой мисс Норкот. Помню, как в блеске утра оконницы дребезжали на упругом морском ветру, и какая это была чудовищная, ни с чем не сравнимая боль, когда капля растопленного сургуча упала мне на руку. При помощи свечки, пламя которой было изумительно бледно на солнце, заливавшем каменные плиты, я только что так хорошо занимался превращением плавких колоритных брусков в дивно пахнущие карминовые, изумрудные, бронзовые кляксы. Мисс Норкот была в саду с братом; на мой истошный рев прибежала, шурша, мама, и где-то поодаль, на той же или смежной террасе, мой дед в двухколесном кресле бил концом трости по звонким плитам. Ей приходилось с ним нелегко. Он бранился похабными словами. Служителя, катавшего его по *Promenade des Anglais*<sup>14</sup>, он все принимал за нелюбимого сослуживца — Лорис-Меликова, умершего пятнадцать лет тому назад в той же Ницце. «*Qui est cette femme? Chassez-la!*»<sup>15</sup> — кричал он моей матери, указывая трясущимся перстом на бельгийскую или голландскую королеву, остановившуюся, чтобы справиться о его здоровье. Смутно вижу себя подбегающим к его креслу, чтоб показать ему красивый камушек, который он медленно осматривает и медленно кладет себе в рот. Ужасно жалею, что мало расспрашивал мать впоследствии об этой странной поре на начальной границе моего сознания и на конечном пределе сознания дедовского.

Всё дольше и дольше становились припадки забывтья. Во время одного такого затмения всех чувств он был перевезен в Россию. Моя мать закамуфлировала комнату под его спальню в Ницце. Подыскали похожую мебель, наполнили вазы выписанными с юга цветами и тот уголок стены (мне особенно нравится эта подробность), который можно было наискось разглядеть из окна, покрасили в блестяще-белый цвет, так что при каждом временном

---

<sup>14</sup> Название набережной в Ницце (фр.).

<sup>15</sup> Кто эта женщина? Прогоните ее! (фр.).

прояснении рассудка больной видел себя в безопасности, среди блеска и мимоз иллюзорной Ривьеры, художественно представленной моей матерью, и умер он мирно, не слыша голых русских берез, шумящих мартовским прутяным шорохом вокруг дома.

### 3

Отец вырос в казенных апартаментах против Зимнего дворца. У него было три брата, Дмитрий (женатый первым браком на Фалыц-Фейн), Сергей (женатый на Тучковой) и Константин (к женщинам равнодушный, чем поразительно отличался ото всех своих братьев). Из пяти их сестер Наталья была за Петерсоном, Вера — за Пыхачевым, Нина — за бароном Раушем фон Траубенбергом (а затем за адмиралом Коломейцевым), Елизавета — за князем Витгенштейном, Надежда — за Вонлярлярским. К началу второго десятилетия века у меня было, так сказать, данных, то есть вошедших в сферу моего родового сознания и установившихся там знакомым звездным узором, тринадцать двоюродных братьев (с большинством из которых я был в разное время дружен) и шесть двоюродных сестер (в большинство из которых я был явно или тайно влюблен). С некоторыми из этих семейств, по взаимной ли симпатии или по соседству земель, мы виделись значительно чаще, чем с другими. Пикники, спектакли, бурные игры, наш таинственный вырский парк, прелестное бабушкино Батово, великолепные витгенштейновские имения — Дружно-селье за Сиверской и Каменка в Подольской губернии — всё это осталось идиллически гравюрным фоном в памяти, находящей теперь схожий рисунок только в совсем старой русской литературе.

### 4

Со стороны матери у меня был всего один близкий родственник — ее единственный оставшийся в живых брат Василий Иванович Рукавишников; был он дипломат, как и его свояк Константин Дмитриевич Набоков, которого я упомянул выше и теперь хочу подробнее воскресить в мыслях, — до вызова более живого, но в грустном и тайном смысле одностихийного образа Василья Ивановича.

Константин Дмитриевич был худощавый, чопорный, с тревожными глазами, довольно меланхоличный холостяк, живший на клубной квартире в Лондоне, среди фотографий каких-то молодых английских офицеров, и не очень счастливо воевавший с соперником по польскому первенству Саблиным. Ответив как-то «Нет, спасибо, мне тут рядом», а в другом случае изменив планы и возвратив билет, он дважды в жизни избег необыкновенной смерти: первый раз, в Москве, когда его предложил подвести вел[икий] кн[язь] Сергей Александрович, обреченный через минуту встретиться с Каляевым; другой раз, когда он собрался было плыть в Америку на «Титанике», обреченном встретиться с айсбергом. Умер он в двадцатых годах от сквозняка в продувном лондонском госпитале, где поправлялся после легкой операции. Он опубликовал довольно любопытные «Злоключения дипломата» и перевел на английский язык «Бориса Годунова». Однажды, в 1940 году, в Нью-Йорке, где сразу по прибытии в Америку мне посчастливилось окунуться в сущий рай научных исследований, я спустился на лифте с пятого этажа Американского музея естествознания, где проводил целые дни в энтомологической лаборатории, и вдруг — с мыслью, что, может быть, я переутомил мозг, — увидел свою фамилию, выведенную большими золотыми русскими литерами на фресковой стене в вестибюльном зале. При более внимательном рассмотрении фамилия приложилась к изображению Константина Дмитриевича: молодой, прикрашенный, с эспаньолкой, он участвует, вместе с Витте, Коростовцом и японскими делегатами, в подписании Портсмутского мира под благодушной эгидой Теодора Рузвельта, в память которого и построен музей. Но вот Василий Иванович Рукавишников нигде не изображен, и тут наступает его очередь быть обрисованным хотя бы моими цветными чернилами.

Его александровских времен усадьба, белая, симметричнокрылая, с колоннами и по фасаду и по антифронтону, высилась среди лип и дубов на крутом муравчатом холме за рекой Оредежь, против нашей Выры. В раннем детстве дядя Вася и всё, что принадлежало ему, множество фарфоровых пятнистых кошек в зеркальном предзальнике его дома, его перстни и запонки, невероятные фиолетовые гвоздики в его оранжерее, урны в романтическом парке, целая роща черешен, застекленная в защиту от климата петербургской губернии, и самая тень его, которую, при-

меня секретный, будто бы египетский, фокус, он умел заставлять извиваться на песке без малейшего движения со стороны собственной фигуры, — всё это казалось мне причастным не к взрослому миру, а к миру моих заводных поездов, клоунов, книжек с картинками, всяких детских одушевленных вещиц, и такое бывало чувство, как когда в нарядном заграничном городе, под лучистым от уличных огней дождем, вдруг набредешь, ребенком, в коричневых лайковых перчатках, на совершенно сказочный магазин игрушек или бабочек. Наезжал он в Россию только летом, да и то не всякий год, и тогда поднимался фантастических цветов флаг на его доме, и почти каждый день, возвращаясь с прогулки, я мог видеть, как его коляска прокатывает через мост на нашу сторону и летит вдоль ельника парка. За завтраком у нас всегда бывало много народу, потом все это переходило в гостиную или на веранду, а он, задержавшись в опустевшей солнечной столовой, садился на венский стул, стоявший на своем решетчатом отражении, брал меня на колени и со всякими смешными словечками ласкал милого ребенка. И почему-то я бывал рад, когда отец издали звал: «Вася, on vous attend<sup>16</sup>» — и тут же слуги с наглыми лицами убирали со стола, и, страдая, Елена Борисовна норовила из-под них вытащить, чтобы унести и спрятать, пол-яблока, булочку, одинокую в луже редиску. Как-то, после перерыва в полтора года, я с братом и губернатором поехал встречать его на станцию. Мне, должно быть, шел одиннадцатый год, и вот вздохнули и стали длинные карие вагоны Норд-экспресса, который дядя подкупал, чтобы тот останавливался на дачной станции, и страшно быстро из багажного выносилось множество его сундуков. И вот он сам сошел по приставленным ковровым ступенькам и, мельком взглянув на меня, проговорил: «Que vous êtes devenu jaune et laid, mon pauvre garçon!» — как ты пожелтел, как подурнел, бедняга! В день же пятнадцатых моих именин он отвел меня в сторону и довольно хмуро, на своем порывистом, точном, старомодном французском языке объявил меня своим наследником. Он добавил, что сожжет усадьбу до тла, ежели немцы — это было в 1914 году — когда-либо дойдут до наших мест. «А теперь, — сказал он, — можешь идти, аудиенция кончена, je n'ai plus rien à vous dire<sup>17</sup>».

---

<sup>16</sup> Вас ждут (фр.).

<sup>17</sup> Мне больше нечего вам сказать (фр.).

Вижу, как на картине, его небольшую, тонкую, аккуратную фигуру, смугловатое лицо, серо-зеленые со ржавой искрой глаза, темные пышные усы, темный бобрик; вижу и очень подвижное между крахмальными отворотцами адамово яблоко, и змеобразное, с опалом, кольцо вокруг узла светлого галстука. Опалы носил он и на пальцах, а вокруг черно-волосатой кисти — золотую цепочку. В петлице бледно-сизого, или еще какого-нибудь нежного оттенка, пиджака почти всегда была гвоздика, которую он, бывало, быстро нюхал — движением птицы, вздувавшей вдруг обшарить клювом плечевой пух. Как я уже говорил, он появлялся у нас в деревне только летом (помню не больше двух-трех заграничных с ним встреч), и сквозь этот-то жаркий перелив в дорогом камне минувшего времени мне теперь и представляется он — вот опустился на ступень веранды для еще одного снимка (как любили сниматься тогда, как пытались задержать уходящее!) и сидит с тенью лавров на белой фланели штанов, с руками, сложенными на набалдашнике трости, с солнцем на выпуклом, веснушчатом лбу в ореоле далеко назад сдвинутого канотье.

Осенью он возвращался за границу, в Рим, Париж, Биарриц, Лондон, Нью-Йорк; в свои южные имения — итальянскую виллу, пиренейский замок около Раи; и была знаменитая в летописях моего детства поездка его в Египет, откуда он мне ежедневно посылал глянцевитые открытки с большеногими фараонами, сидящими рядком, и вечерними отражениями силуэтных пальм в розовом Ниле, через который резко и неопратно шел его странно-некрасивый, весь в углах, дикий, *вопящий* какой-то, то есть совсем не похожий на него самого, почерк. И опять в июне, на восхитительном севере, когда весело цвела имени безумного Батюшкова млечная черемуха, и солнце припекало после очередного ливня, крупные, иссиня-черные с белой перевязью бабочки (восточный подвид тополовой нимфы) низко плавали кругами над лакомой грязью дороги, с которой их спугивала его мчавшаяся к нам коляска. С обещанием дивного подарка в голосе, жеманно переступая маленькими своими ножками в белых башмаках на высоких каблуках, он подводил меня к ближайшей липке и, изящно сорвав листок, протягивал его со словами: «*Pour mon neveu, la chose la plus belle au monde — une feuille verte*<sup>18</sup>». Или же из Нью-Йорка он мне привозил

---

<sup>18</sup> Моему племяннику — прекраснейшая вещь в мире: зеленый листок (*фр.*).

собранные в книжки цветные серии — смешные приключения Buster Brown'a, теперь забытого мальчика в красноватом костюме с большим отложным воротником и черным бантом; если очень близко посмотреть, можно было различить совершенно отдельные малиновые точки, из которых составлялся цвет его блузы. Каждое приключение кончалось для маленького Брауна феноменальной поркой, причем его мать, дама с осиной талией и тяжелой рукой, брала что попало — туфлю, щетку для волос, разламывающийся от ударов зонтик, даже дубинку услужливого полисмена, — и какие тучи пыли выколачивала она из жертвы, ничком перекинутой через ее колени! Так как меня в жизни никто никогда не шлепал, эти истязания казались мне диковинной, экзотической, но довольно однообразной пыткой — менее интересной, чем, скажем, закапывание врага с выразительными глазами по самую шею в песок кактусовой пустыни, как было показано на заглавном офорте одного из лондонских изданий Майн Рида.

## 5

Василий Иванович вел праздную и беспокойную жизнь. Дипломатические занятия его, главным образом при нашем посольстве в Риме, были довольно туманного свойства. Он говорил, впрочем, что мастер разгадывать шифры на пяти языках. Однажды мы его подвергли испытанию, и в самом деле, он очень быстро обратил «5.13 24.11 13.16 9.13.5 5.13 24.11» в начальные слова известного монолога Гамлета. В розовом фраке, верхом на взмывающей через преграды громадной гнедой кобыле, он участвовал в лисьих охотах в Италии, в Англии. Закутанный в меха, он однажды попытался проехать на автомобиле из Петербурга в По, но завяз в Польше. В черном плаще (спешил на бал) он летел на фанерно-проволочном аэроплане и едва не погиб, когда аппарат разбился о Бискайские скалы (я все интересовался, как реагировал, очнувшись, несчастный летчик, сдававший машину. «Il sanglotait»<sup>19</sup>, — подумавши, ответил дядя). Он писал романы — меланхолически-журчащую музыку и французские стихи, причем хладнокровно игнорировал все правила насчет учета

---

<sup>19</sup> «Он рыдал» (фр.).



немного «е». Он был игрок, и исключительно хорошо блефовал в покере.

Его изъяды и странности раздражали моего полнокровного и прямолинейного отца, который был очень сердит, например, когда узнал, что в каком-то иностранном притоне, где молодого Г., неопытного и небогатого приятеля Василья Ивановича, обыграл шулер, Василий Иванович, знавший толк в фокусах, сел с шулером играть и преспокойно передернул, чтобы выручить приятеля. Страдая нервным заиканьем на губных звуках, он не задумался переименовать своего кучера Петра в Льва — и мой отец обозвал его крепостником. По-русски Василий Иванович выражался с нарочитым трудом, предпочитая для разговора замысловатую смесь французского, английского и итальянского. Всякий его переход на русский служил средством к издевательствам, заключавшемуся в том, чтобы исковеркать или некстати употребить простонародный оборот, прибаутку, красное словцо. Помню, как за столом, подытоживая всяческие свои горести — замучила сенная лихорадка, улетел один из павлинов, пропала любимая борзая, — он вздыхал и говорил: «Je suis comme une<sup>20</sup> — былинка в поле!» — с таким видом, точно и впрямь могла такая поговорка существовать.

Он уверял, что у него неизлечимая болезнь сердца и что для облегчения припадка ему необходимо бывает лечь навзничь на пол. Никто, даже мнительная моя мать, этого не принимал всерьез, и когда зимой 1916 года, всего сорока пяти лет от роду, он действительно помер от грудной жабы — совсем один, в мрачной лечебнице под Парижем, — с каким щемящим чувством вспомнилось то, что казалось пустым чудачеством, глупой сценой — когда, бывало, входил с послеобеденным кофе на расписанном пионами подносе непредупрежденный буфетчик и мой отец косился с досадой на распростертое посреди ковра тело шурина, а затем, с любопытством, на начавшуюся пляску подноса в руках у всё еще спокойного на вид слуги.

От других, более сокровенных терзаний, донимавших его, он искал облегчения — если я правильно понимаю эти странные вещи — в религии: сначала, кажется, в какой-то отрасли русского сектантства, а потом, по-видимому, в католичестве; лет за пять до его смерти моя мать и кузина отца Екатерина Дмитриевна Данзас однажды

---

<sup>20</sup> Я как... (фр.).

не могли заснуть в своем отделении от рокота и рева латинских гимнов, заглушавших шум поезда, — и несколько опешили, узнав, что это поет на сон грядущий Василий Иванович в смежном купе. А помощь ему с его натурой была, верно, до крайности нужна. Его красочной неврастениии подобало бы совмещаться с гением, но он был лишь светский дилетант. В юные годы он много натерпелся от Ивана Васильевича — его странного, тяжелого, безжалостного к нему отца. На старых снимках это был благообразный господин с цепью мирового судьи, а в жизни тревожно-размашистый чудак с дикой страстью к охоте, с разными затеями, с собственной гимназией для сыновей, где преподавали лучшие петербургские профессора, с частным театром, на котором у него играли Варламов и Давыдов, с картинной галереей, на три четверти полной всякого темного вздора. По позднейшим рассказам матери, бешеный его нрав угрожал чуть ли не жизни сына, и ужасные сцены разыгрывались в мрачном его кабинете. Рождественская усадьба — купленная им собственно для старшего, рано умершего сына — была, говорили, построена на развалинах дворца, где Петр Первый, знавший толк в отвратительном тиранстве, заточил Алексея. Теперь это был очаровательный, необыкновенный дом. По истечении почти сорока лет я без труда восстанавливаю и общее ощущение и подробности его в памяти: шашечницу мраморного пола в прохладной и звучной зале, небесный сверху свет, белые галерейки, саркофаг в одном углу гостиной, орган в другом, яркий запах тепличных цветов повсюду, лиловые занавески в кабинете, рукообразный предметик из слоновой кости для чесания спины — и уже относящуюся к другой главе в этой книге незабвенную колоннаду заднего фасада, под романтической сенью которой сосредоточились в 1915 году счастливейшие часы моей счастливой юности.

После 1914 года я больше его не видал. Он тогда в последний раз уехал за границу и спустя два года там умер, оставив мне миллионное состояние и петербургское свое имение Рождествено с этой белой усадьбой на зеленом холму, с дремучим парком за ней, с еще более дремучими лесами, синеющими за нивами, и с несколькими стами десятин великолепных торфяных болот, где водились замечательные виды северных бабочек да всякая аксаково-тургенево-толстовская дичь. Не знаю, как в настоящее время, но до второй мировой войны дом, по донесениям путешественников, все еще стоял на художествен-

но-исторический показ иностранному туристу, проезжающему мимо моего холма по Варшавскому шоссе, где — в шестидесяти верстах от Петербурга — расположено за одним рукавом реки Оредежь село Рождествено, а за другим — наша Выра. Река местами подернута парчой нитчатки и водяных лилий, а дальше, по ее излучинам, как бы врастают в облачно-голубую воду совершенно черные отражения еловой глуши по верхам крутых красных берегов, откуда вылетают из своих нор стрижи, и веет черемухой; и если двигаться вниз, вдоль высокого нашего парка, достигаешь, наконец, плотины водяной мельницы — и тут, когда смотришь через перила на бурно текущую пену, такое бывает чувство, точно плывешь все назад да назад, стоя на самой корме времени.

## 6

В сем месте американской и великобританской версий нынешней книги, в назидание беспечному иностранцу, получившему в свое время через умных пропагандистов и дураков-попутчиков чисто советское представление о нашем русском прошлом (или просто потерявшему деньги в каком-нибудь местном банковском крахе и потому полагающему, что «понимает» меня), я позволил себе небольшое отступление, которое привожу здесь только для полноты; суть его покажется слишком очевидной русскому читателю — по крайней мере свободному русскому читателю моего поколения:

«Мое давнишнее расхождение с советской диктатурой никак не связано с имущественными вопросами. Презираю россиянина-зубра, ненавидящего коммунистов потому, что они, мол, украли у него деньжата и десятины. Моя тоска по родине лишь своеобразная гипертрофия тоски по утраченному детству».

И еще:

Выговариваю себе право тосковать по экологической нише — в горах Америки моей вздыхать по северной России.

## 7

Мне было семнадцать лет; вторая любовь и первые паузики занимали все мои досуги, о материальном строе жизни я не помышлял — да и на фоне общего благополу-

чия семьи никакое наследство не могло особенно выделиться; но теперь мне вчуже странно, и даже немного противно, думать, что в течение короткого года, пока я владел этим обреченным наследством, я слишком был поглощен общими местами юности — уже терявшей свою первородную самоцветность, — чтобы испытать какое-либо добавочное удовольствие от вещественного владения домом и дебрями, которыми и так владела душа, или какую-либо досаду, когда большевистский переворот это вещественное владение уничтожил в одну ночь. Мне это противно — точно я поступил неблагодарно по отношению к дяде Васе, взглянул на него, чудака, с улыбкой снисхождения, с которой на него смотрели даже те, кто его любил. И уже с совершенной обидой вспоминаю, как наш швейцарец-гувернер, коренастый и обычно добродушный Нуазье, брызгал ядовитым сарказмом, разбирая однажды французские стихи и музыку дяди — «*Octobre*», — лучший его романс. Он сочинил эту, может быть, и банальную, но певуче-ручьистую вещь как-то осенью, в своем замке около По, в Нижних Пиренеях, недалеко, помнится, от имения Ростана, мимо которого мы проезжали по дороге из Биаррица. Имение называлось Перпинья, — он его завещал какому-то итальянцу. Глядя с террасы на виноградники, желтеющие внизу по скатам, на горы, лиловеющие вдаль, терзаемый астмой, сердечными перебоями, ознобом, каким-то прустовским обнажением всех чувств (он лицом несколько походил на Пруста), бедный Рука — как звали его друзья-иностранцы — отдал мучительную дань осенним краскам — «*chapelle ardente de feuilles aux tons violents*»<sup>21</sup>, как выпелось у него, — и единственный, кто запомнил романс от начала до конца, был мой брат, непривлекательный тогда увалень в очках, которого Василий Иванович едва замечал и который за смертью не может ныне помочь мне восстановить забытые мною слова.

*L'air transparent fait monter de la plaine...*<sup>22</sup> —

высоким тенором пел Василий Иванович, приехавший к завтраку, а пока что присевший у белого рояля, наполовину отраженного в палевом паркете вырской гостиной, — и ежели я, со своей рампеткой из зеленой кисеи, шел в эту минуту домой через парк (вдоль которого по ломаной

<sup>21</sup> «Часовня из огнецветных листьев» (фр.).

<sup>22</sup> Прозрачный воздух доносит с равнины... (фр.).

линии молодого ельника только что пронесся ассирийский профиль дядиного кучера, — бархатный бюст, малиновые рукава, — и дядино канотье), ужасно жалобные и переливчатые звуки:

un vol de tourterelles strie le ciel tendre,  
Les chrysanthèmes se parent pour la Toussaint...<sup>23</sup> —

доплывали до меня в петлистых тенях дышащей в такт аллеи, и в ее конце открывался мне красный песок садовой площадки с углом зеленой усадьбы, из бокового окна которой, как из раны, лилась эта музыка, это пенье.

## 8

Заклинать и оживлять былое я научился Бог весть в какие ранние годы — еще тогда, когда, в сущности, никакого былого и не было. Эта страстная энергия памяти не лишена, мне кажется, патологической подоплеки — уж чересчур ярко воспроизводятся в наполненном солнцем мозгу разноцветные стекла веранды, и гонг, зовущий к завтраку, и то, что всегда тронешь, проходя, — пружинистое круглое место в голубом сукне карточного столика, которое при нажатии большого пальца с приятной спазмой мгновенно выгоняет тайный ящик, где лежат красные и зеленые фишки и какой-то ключик, отделенный навеки от всеми забытого, может быть, и тогда уже не существовавшего замка. Полагаю, кроме того, что моя способность держать при себе прошлое — черта наследственная. Она была и у Рукавишниковых, и у Набоковых. Было одно место в лесу на одной из старых троп в Батово, и был там мосток через ручей, и было подгнившее бревно с края, и была точка на этом бревне, где пятого по старому календарю августа 1883 года вдруг села, раскрыла шелковисто-багряные с павлиньими глазками крылья и была поймана ловким немцем-гувернером этих предыдущих набоковских мальчиков исключительно редко попадавшаяся в наших краях ванесса. Отец мой как-то даже горячился, когда мы с ним задерживались на этом мостике, и он перебирал и разыгрывал всю сцену с начала, как бабочка сидела, дыша, как ни он, ни братья не решались

---

<sup>23</sup> Голубиная стая штрихует нежное небо, Хризантемы наряжаются к Празднику Всех Святых... (фр.).

ударить рампеткой и как в напряженной тишине немец ошупью выбирал у него из рук сачок, не сводя глаз с благородного насекомого.

На адриатической вилле, которую летом 1904 года мы делили с Петерсонами (я узнаю ее до сих пор по большой белой башне на видовых открытках Аббатии), предаваясь мечтам во время сиесты, при спущенных шторах, в детской моей постели, я, бывало, поворачивался на живот, — и старательно, любовно, безнадежно, с художественным совершенством в подробностях (трудно совместимым с нелепо малым числом сознательных лет), пятилетний изгнанник, чертил пальцем на подушке дорогу вдоль высокого парка, лужу с сережками и мертвым жуком, зеленые столбы и навес подъезда, все ступени его и непременно почему-то блестящую между колеями драгоценную конскую подкову вроде той, что посчастливилось мне раз найти, — и при этом у меня разрывалась душа, как и сейчас разрывается. Объясните-ка вы, нынешние шуты-психологи, эту пронзительную репетицию ностальгии!

А вот еще помню. Мне лет восемь. Василий Иванович поднимает с кушетки в нашей классной книжку из серии *Bibliothèque Rose*. Вдруг, блаженно застонав, он находит в ней любимое им в детстве место: «*Sophie n'était pas jolie...*»<sup>24</sup>; и через сорок лет я совершенно так же застонал, когда в чужой детской случайно набрел на ту же книжку о мальчиках и девочках, которые сто лет тому назад жили во Франции тою стилизованной *vie de château*<sup>25</sup>, на которую *m-me de Ségur, née Rastopchine*<sup>26</sup> добросовестно перекладывала свое детство в России, — прочему и налаживалась, несмотря на вульгарную сентиментальность всех этих «*Les Malheurs de Sophie*», «*Les Petites Filles Modèles*», «*Les Vacances*»<sup>27</sup>, тонкая связь с русским усадебным бытом. Но мое положение сложнее дядиного, ибо, когда читаю опять, как Софи остригла себе брови или как ее мать в необыкновенном кринолине на приложенной картинке необыкновенно аппетитными манипуляциями вернула кукле зрение и потом с криком утонула во время кораблекрушения по пути в Америку, а кузен Поль под необитаемой пальмой высосал из ноги капитана яд

<sup>24</sup> «Соня не была хороша собой...» (фр.).

<sup>25</sup> Усадебной жизнью (фр.).

<sup>26</sup> Мадам де Сегюр, рожд. Растопчина (фр.).

<sup>27</sup> «Сониных проказ», «Примерных девочек», «Каникул» (фр.).

змеи, — когда я опять читаю всю эту чепуху, я не только переживаю щемящее упоение, которое переживал дядя, но еще ложится на душу мое воспоминание о том, как он это переживал. Вижу нашу деревенскую классную, бирюзовые розы обоев, угол изразцовой печки, отворенное окно: оно отражается вместе с частью наружной водосточной трубы в овальном зеркале над канапе, где сидит дядя Вася, чуть ли не рыдая над растрепанной розовой книжкой. Ощущение предельной беззаботности, благоденствия, густого летнего тепла затопляет память и образует такую сверкающую действительность, что по сравнению с нею паркерово перо в моей руке и самая рука с гляncем на уже веснушчатой коже кажутся мне довольно аляповатым обманом. Зеркало насыщено июльским днем. Лиственная тень играет по белой с голубыми мельницами печке. Влетевший шмель, как шар на резинке, ударяется во все лепные углы потолка и удачно отскакивает обратно в окно. Все так, как должно быть, ничто никогда не изменится, никто никогда не умрет.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### 1

В обиходе таких семей, как наша, была давняя склонность ко всему английскому: это слово, кстати сказать, произносилось у нас с классическим ударением (на первом слоге), а бабушка М. Ф. Набокова говорила уже совсем по старинке: аглицки. Дегтярное лондонское мыло, черное как смоль в сухом виде, а в мокром — янтарное на свет, было скользким участником ежеутренних обливаний, для которых служили раскладные резиновые ванны — тоже из Англии. Дядька намыливал всего мальчика от ушей до пят при помощи особой оранжево-красной губки, а затем несколько раз обливал теплой водой из большого белого кувшина, вокруг которого обвивалась черная фаянсовая лоза. Этот мой резиновый tub я взял с собой в эмиграцию, и он, уже заплатанный, был мне сущим спасением в моих бесчисленных европейских пансионах: грязнее французской общей ванной нет на свете ничего, кроме немецкой.

За завтраком яркий паточный сироп, golden syrup, наматывался блестящими кольцами на ложку, а оттуда спол-

зал змеей на деревенском масле намазанный русский черный хлеб. Зубы мы чистили лондонской пастой, выходящей из тубочки плоскою лентой. Бесконечная череда удобных, добротных изделий, да всякие ладные вещи для разных игр, да снедь текли к нам из Английского магазина на Невском. Тут были и кексы, и нюхательные соли, и покерные карты, и какао, и в цветную полоску спортивные фланелевые пиджаки, и чудные скрипучие кожаные футболы, и белые, как тальк, с девственным пушком, теннисные мячи в упаковке, достойной редкостных фруктов. Эдемский сад мне представлялся британской колонией.

Я научился читать по-английски раньше, чем по-русски; некоторая неприятная для непетербургского слуха — да и для меня самого, когда слышу себя на пластинке, — брезгливость произношения в разговорном русском языке сохранилась у меня и по сей день (помню, при первой встрече, в 1945-м, что ли, году, в Америке, биолог Добжанский наивно мне заметил: «А здорово, батенька, вы позабыли родную речь»). Первыми моими английскими друзьями были незамысловатые герои грамматики — коричнево-книжки с синяком кляксы во всю обложку: Ben, Dan, Sam и Ned. Много было какой-то смутной возни с установлением их личности и местопребывания. «Who is Ben?», «He is Dan», «Sam is in bed», «Is Ned in bed?»<sup>28</sup> и тому подобное. Из-за того, что в начале составителю мешала необходимость держаться односложных слов, представление об этих лицах получилось у меня и сбивчивое и сухое, но затем воображение пришло на помощь, и я увидел их. Туполицые, плоскоступые, замкнутые оболтусы, болезненно гордящиеся своими немногими орудиями (Ben has an axe), они вялой подводной походкой медленно шагают вдоль самого заднего задника сценической моей памяти; и вот перед дальнозоркими моими глазами вырастают буквы грамматики, как безумная азбука на таблице у оптика.

Классная разрисована ломаными лучами солнца. Брат смиренно выслушивает отповедь англичанки. В запотевшей стеклянной банке под марлей несколько пестрых, с шипами, гусениц методично пасется на крапивных листьях, изредка выделяя интересные зеленые цилиндрики помета. Клетчатая клеенка на круглом столе пахнет клеем. Черни-

---

<sup>28</sup> «Кто такой Бэн?», «Это — Дэн», «Сэм в постели», «В постели ли Нэд?» (англ.).



ла пахнут черносливом. Виктория Артуровна пахнет Викторией Артуровной. Крово-красный спирт в столбике большого наружного градусника восхищенно показывает 24 Реомюра в тени. В окно видать поденщиц в платках, выпалывающих ползком, то на корточках, то на четвереньках, садовые дорожки: до рытья государственных каналов еще далеко. Иволги в зелени издают свой золотой, торопливый, четырехзвучный крик.

Вот прошел Ned, посредственно играя младшего садовника. На дальнейших страницах слова удлинялись, а к концу грамматики настоящий связный рассказец развивался взрослыми фразами в награду маленькому читателю. Меня сладко волновала мысль, что и я могу когда-нибудь дойти до такого блистательного совершенства. Эти чары не выдохлись, — и когда ныне мне попадается учебник, я первым делом заглядываю в конец — в будущность прилежного ученика.

## 2

Летние сумерки («сумерки» — какой это томный сиреневый звук!). Время действия: тающая точка посреди первого десятилетия нашего века. Место: пятьдесят девятый градус северной широты, считая от экватора, и сотый восточной долготы, считая от кончика моего пера. Июньскому дню требовалась вечность для угасания: небо, высокие цветы, неподвижные воды — все это как-то повисало в бесконечном замирании вечера, которое не разрешалось, а продлевалось еще и еще грустным мычанием коровы на далеком лугу или грустнейшим криком птицы за речным низовьем, с широкого туманного мохового болота, столь недосягаемого и таинственного, что еще дети Рукавишниковы прозвали его: Америка.

Брата уже уложили; мать, в гостиной, читает мне английскую сказку перед сном. Подбираясь к страшному месту, где Тристана ждет за холмом неслышанная, может быть роковая, опасность, она замедляет чтение, многозначительно разделяя слова, и, прежде чем перевернуть страницу, таинственно кладет на нее маленькую белую руку с перстнем, украшенным алмазом и розовым рубином; в прозрачных гранях которых, кабы зорче тогда гляделось мне в них, я мог бы различить ряд комнат, людей, огни, дождь, площадь — целую эру эмигрантской

жизни, которую предстояло прожить на деньги, вырученные за это кольцо.

Были книги о рыцарях, чьи ужасные — но удивительно свободные от инфекции — раны омывались молодыми дамами в гротах. Со скалы, на средневековом ветру, юноша в трико и волнистоволосая дева смотрели вдаль на круглые Острова Блаженства. Была одна пугавшая меня картинка с каким-то зеркалом, от которой я всегда так быстро отворачивался, что теперь не помню ее толком! Были нарочито трогательные, возвышенно аллегорические повести, скроенные малоизвестными англичанками для своих племянников и племянниц. Особенно мне нравилось, когда текст, прозаический или стихотворный, лишь комментировал картинки. Живо помню, например, приключения американского Голивога. Он представлял собою крупную, мужского пола куклу в малиновых панталонах и голубом фраке, с черным лицом, широкими губами из красной байки и двумя бельевыми пуговицами вместо глаз. Пять деревянных, суставчатых кукол составляли его скромный гарем. Из них две старшие смастерили себе платья из американского флага: Пегги взяла себе матронистые полоски, а Сарра Джейн — грациозные звезды, и тут я почувствовал романтический укол, ибо нежно-голубая ткань особенно женственно облекала ее нейтральный стан. Две другие куклы, близнецы, и пятая, крохотная Миджет, остались совершенно нагими и, следовательно, бесполоыми.

В рождественскую ночь проснулись игрушки и так далее. Сарру Джейн испугал и, по-видимому, ушиб какой-то лохматый наглец, взвившийся на пружинах из своей разукрашенной коробки, и это было неприятно (бывало, в гостях нравившаяся мне какая-нибудь девочка, прищемив палец или шлепнувшись, вдруг превращалась в страшного багрового уroda — ревуший рот, морщины). Затем им попался навстречу печальный восточный человечек, тосковавший в чужой Америке. Выйдя на улицу, наши друзья бросались снежками. В других сериях они совершали велосипедную поездку в страну бежевых каннибалов или катались на проглотившем аршин красном автомобиле тех времен (около 1906 года), причем Сарра Джейн была наряжена в изумрудную вуаль, окончательно меня покорившую. Однажды Голивог построил себе и четверем из своих кукол дирижабль из желтого шелка, а миниатюрному Миджету — собственный маленький воздушный шар. Как ни было увлекательно путешествие голивогской группы, меня

волновало другое: со страстной завистью я смотрел на лилипутского аэронавта, ибо в губительной черной бездне, среди снежинок и звезд, счастливцев плыл совершенно отдельно, совершенно один.

### 3

Затем вижу: посреди дома, вырастая из длинного залоподобного помещения или внутренней галереи, сразу за вестибюлем, поднимается на второй этаж, широко и полого, чугунная лестница; паркетная площадка второго этажа, как палуба, обрамляет пролет с четырех сторон, а наверху — стеклянный свод и бледно-зеленое небо. Мать ведет меня к лестнице за руку, и я отстаю, пытаюсь ехать за нею, шаркая и скользя по плитам зала; смеясь, она подтягивает меня к балюстраде; тут я любил пролезать под ее заворот между первым и вторым столбиком, и с каждым летом плечам и хребту было теснее, больше: ныне и призрак мой, пожалуй бы, не протиснулся.

Следующая часть вечернего обряда заключалась в том, чтоб подниматься по лестнице с закрытыми глазами: «Step» (ступенька), — приговаривала мать, медленно ведя меня вверх. «Step, step», — и в самодельной темноте лунатически сладко было поднимать и ставить ногу. Очарование становилось все более щекотным, ибо я не знал, не хотел знать, где кончается лестница. «Step», — говорила мать все тем же голосом, и, обманутый им, я лишний раз — высоко-высоко, чтоб не споткнуться, — поднимал ногу, и на мгновение захватывало дух от призрачной упругости отсутствующей ступеньки, от неожиданной глубины достигнутой площадки. Страшно подумать, как «растолковал» бы мрачный кретин-фрейдист эти тонкие детские вдохновения.

С удивительной систематичностью я умел оттягивать укладыванье. На верхней площадке, по четырем сторонам которой белелись двери многочисленных покоев, мать сдавала меня Виктории Артуровне или француженке. В доме было пять ваннных комнат, а кроме того много старомодных комодообразных умывальников с педалями: помню, как, бывало, после рыданий, стыдясь красных глаз, я отыскивал такого старца в его темном углу и как, при нажатии на ножную педаль, слепой фонтанчик из крана нежно нащупывал мои опухшие веки и заложенный нос. Клозеты, как везде в Европе, были отдельно от ванн, и один из них,

внизу, в служебном крыле дома, был до странности роскошен, но и угрюм, со своей дубовой отделкой, тронной ступенью и толстым пурпурово-бархатным шнуром: потянешь книзу за кисть, и сдержанно-музыкально журчало и переглатывало в глубинах; в готическое окно можно было видеть вечернюю звезду и слышать соловьев в старых неэдемичных тополях за домом; и там, в годы сирени и тумана, я сочинял стихи — и впоследствии перенес все сооружение в первую свою повесть, как через океан перевозится разобранный замок. Но в раннюю пору, о которой сейчас идет речь, мне отведено было значительно более скромное место на втором этаже, довольно случайно расположенное в нише коридорчика, между плетеной бельевой корзиной с крышкой (как вспомнился ее скрип!) и дверью в ванную при детской. Эту дверь я держал полуотворенной и играл ею, глядя сонными глазами на пар, поднимающийся из приготовленной ванны, на расписное окно за ней с двумя рыцарями, состоящими из цветных прямоугольников, на долинеевскую ночницу, ударявшуюся о жестяной рефлектор керосиновой лампы, желтый свет которой, сквозь пар, сказочно озарял флотилью в ванне: большой, приятный, плавучий градусник в деревянной оправе, с отсыревшей веревкой, продетой в глазок ручки, целлулоидового лебедя, лодочку, меня в ней с тристановой арфой. Наклоняясь с насиженной доски, я прилаживал лоб к удивительно удобной краевой грани двери, слегка сдвигая ее туда-сюда своей прижатой головой. Сонный ритм проникал меня всего; капал кран, барабанила бабочка; и, впрок сопрягая звуковые узоры со зрительными, я упирался взглядом в линолеум и находил в ступенчатом рисунке его лабиринта щиты, и стяги, и зубчатые стены, и шлемы в профиль. Обращаюсь ко всем родителям и наставникам: никогда не говорите ребенку: «Поторопись!»

Последний этап моего путешествия наступал, когда, вымытый, вытертый, я доплывал наконец до островка постели. С веранды, где шла без меня обольстительная жизнь, мать поднималась проститься со мной. Стоя коленями на подушке, в которой через полминуты предстояло потонуть моей звенящей от сонливости голове, я без мысли говорил английскую молитву для детей, предлагавшую — в хореических стихах с парными мужскими рифмами — кроткому Иисусу благословить малого дитя. В соединении с православной иконкой в головах, на которой виднелся смуглый святой в прорези темной фольги, все это составляло довольно поэтическую смесь. Горела одна свеча, и передо мной,

над иконкой, на зыбкой стене кольхалась тень камышовой ширмы, и то туманился, то летел ко мне акварельный вид — сказочный лес, через стройную глушь которого вилась таинственная тропинка; мальчик в сказке перенесся на такую нарисованную тропинку прямо с кровати и углубился в глушь на деревянном коньке; и, дробя молитву, присаживаясь на собственные икры, млея в припудренной, преддремной, блаженной своей мгле, я соображал, как перелезу с подушки в картину, в зачарованный лес — куда, кстати, в свое время я и попал.

#### 4

Несоразмерно длинная череда английских бонн и гувернанток — одни бессильно ломая руки, другие загадочно улыбаясь — встречает меня при моем переходе через реку лет, словно я бодлеровский Дон-Жуан, весь в черном. Был я трудный, своенравный, до прекрасной крайности избалованный ребенок (балуйте детей побольше, господа, вы не знаете, что их ожидает!). Могу себе представить, как этим бедным воспитательницам иногда бывало скучно со мной, какие длинные письма писали они в тишине своих скучных комнат. Я теперь читаю курс по европейской литературе в американском университете тремстам студентам.

Мисс Рэчель, простую толстуху в переднике, помню только по английским бисквитам (в голубой бумагой оклеенной жестяной коробке, со вкусными, миндальными наверху, а пресно-сухаристыми — внизу), которыми она нас — трехлетнего и двухлетнего — кормила перед сном (а вот, кстати, слово «корм», «кормить» вызывает у меня во рту ощущение какой-то теплой сладкой кашицы — должно быть, совсем древнее, русское няньковское воспоминание). Я уже упоминал о довольно строгонькой мисс Клэйтон, Виктории Артуровне: бывало, разваливаюсь или горблюсь, а она тык меня костяшками руки в поясицу, или еще сама противно расправит и выгнет стан, показывая, значит, как надобно держаться. Была томная, черноволосая красавица с синими морскими глазами, мисс Норкот, однажды потерявшая на пляже в Ницце белую лайковую перчатку, которую я долго искал среди всякой пестрой гальки, да ракушек, да совершенно округленных и облагороженных морем бутылочных осколков; она оказалась лесбиянкой, и с ней расстались в Аббации. Была небольшая, кислая, малокровная и близорукая мисс Хант, чье недолгое

у нас пребывание в Висбадене окончилось в день, когда мы, пятилетний и четырехлетний, бежали из-под ее надзора и каким-то образом проникли в толпе туристов на пароход, который унес нас довольно далеко по Рейну, покада нас не перехватили на одной из пристаней. Потом была опять Виктория Артуровна. Помню еще ужасную старуху, которая читала мне вслух повесть Марии Корелли «Могучий атом» о том, что случилось с хорошим мальчиком, из которого нехорошие родители хотели сделать безбожника. Были и другие. Их черед заходит за угол и пропадает, и воспитание мое переходит во французские и русские руки. Немногие часы, оставшиеся на английскую стихию, посвящались урокам с мистером Бэрнесом и мистером Куммингсом, которые не жили у нас, а приходили на дом в Петербурге, где у нас был на Морской (№ 47) трехэтажный, розового гранита, особняк с цветистой полоской мозаики над верхними окнами. После революции в него вселилось какое-то датское агентство, а существует ли он теперь — не знаю. Я там родился — в последней (если считать по направлению к площади, против номерного течения) комнате, на втором этаже — там, где был тайничок с материнскими драгоценностями: швейцар Устин лично повел к нему восставший народ через все комнаты в ноябре 1917 года.

## 5

Бэрнес был крупного сложения, светлоглазый шотландец с прямыми желтыми волосами и с лицом цвета сырой ветчины. По утрам он преподавал в какой-то школе, а на остальное время набирал больше частных уроков, чем день мог вместить. При переезде с одного конца города в другой он всецело зависел от несчастных, шлепающих рысцой ванек и хорошо, если попадал на первый урок с опозданием в четверть часа, а на второй опаздывал вдвое; к четырехчасовому он добирался уже около половины шестого. Все это отягощало ожидание; уроки его были прескучные, и я всегда надеялся, что хоть на этот раз сверхчеловеческое упорство запоздалого ездока не одолеет серой стены бурана, сгущающейся перед ним. Это было всего лишь свойственное восьмилетнему возрасту чувство, возобновление которого едва ли предвидишь в зрелые лета; однако мне пришлось испытать нечто очень похожее спустя четверть века, когда в чужом, ненавистном Берлине, будучи сам вынужден преподавать английский язык, я, бывало, сидел у себя

и ждал одного особенно упрямого и бездарного ученика, который с каменной неизбежностью наконец появлялся (и необыкновенно аккуратно складывал пальто на добротной подкладке таким пакетом на стуле), несмотря на все баррикады, которые я мысленно строил поперек его длинного и трудного пути.

Самая темнота зимних сумерек, заволакивающих улицу, казалась мне побочным продуктом тех усилий, которые делал мистер Бэрнес, чтобы добраться до нас. Приходил камердинер, звучно включал электричество, неслышно опускал пышно-синие шторы, с перестуком колец затягивал цветные гардины и уходил. Крупное тиканье степенных стенных часов с медным маятником в нашей классной постепенно приобретало томительную интонацию. Короткие штаны жали в паху, а черные рубчатые чулки шерстили под коленками, и к этому примешивался скромный позыв, который я ленился удовлетворить. Мне было — как выражалась няня сестер, следовавшая их англичанке в технических вопросах, — необходимо «набаван» (number one, в отличие от более основательного «набатү», number two — да не посетует чопорный русский читатель на изобилие гигиенических подробностей в этой главе: без них нет детства). Нудно проходил целый час — Бэрнеса все не было. Брат уходил в комнату Mademoiselle, и она ему там читала уже знакомого мне «Генерала Дуракина». Покинув верхний, «детский», этаж, я лениво обнимал лаковую балюстраду и в мутном трансе, полуразинув рот, соскальзывал вдоль по накалявшимся перилам лестницы на второй этаж, где находились апартаменты родителей (интересно, клюнет ли тут с гнилым мозгом фрейдист). Обычно они в это время отсутствовали — мать много выезжала, отец был в редакции или на заседании, — и в сумеречном оцепенении его кабинета молодые мои чувства подвергались — не знаю, как выразиться, — телеологическому, что ли, «целеобусловленному» воздействию, как будто собравшиеся в полутьме знакомые предметы сознательно и дальновидно стремились создать тот определенный образ, который у меня теперь запечатлен в мозгу; эту тихую работу вещей надо мной я часто чувствовал в минуты пустых, неопределенных досугов. Часы на столе смотрели на меня всеми своими фосфорическими глазками. Там и сям, бликом на бронзе, беломом на черном дереве, блеском на стекле фотографий, глянецом на полотне картин, отражался в потемках случайный луч, проникавший с улицы; где уже горели лунные глобусы газа. Тени, точно тени самой метели, ходили по потолку. Нервы застав-

лял «полыхнуть» сухой стук о мрамор столика — от падения лепестка пожилой хризантемы.

У будуара матери был навесный выступ, так называемый фонарь, откуда была видна Морская до самой Мариинской площади. Прижимая губы к тонкой узорчатой занавеске, я постепенно лакомился сквозь тюль холодом стекла. Всего через одно десятилетие, в начальные дни революции, я из этого фонаря наблюдал уличную перестрелку и впервые видел убитого человека: его несли, и свешивалась нога, и с этой ноги норовил кто-то из живых стащить сапог, а его грубо отгоняли; но сейчас нечего было наблюдать, кроме приглушенной улицы, лилово-темной, несмотря на линию ярких лун, висящих над нею; вокруг ближней из них снежинки проплывали, едва вращаясь каким-то изящным, почти нарочито замедленным движением, показывая, как это делается и как это все просто. Из другого фонарного окна я заглядывался на более обильное падение освещенного снега, и тогда мой стеклянный выступ начинал подыматься, как воздушный шар. Экипажи проезжали редко; я переходил к третьему окну в фонаре, и вот извозчицы сани останавливались прямо подо мной, и мелькала неприличная лисья шапка Бэрнеса.

Предупреждая его набег, я спешил вернуться в классную и уже оттуда слышал, как по длинному коридору приближаются энергичные шаги испытанного скорохода. Какой бы ни был мороз на дворе, его лоб весь блестел перловым потом. Урок состоял в том, что в продолжение первой четверти он молча исправлял заданное в прошлый раз упражнение, вторую четверть посвящал диктовке, исправлял ее, а затем, лихорадочно сверив свои жилетные часы со стенными, принимался писать быстрым, округлым почерком со страшной энергией нажимая на плюющееся перо, очередное задание. Перед самым его уходом я выпрашивал у него любимую пытку. Держа в своем похожем на окурочулаке мою небольшую руку, он говорил лимерик (нечто вроде пятистрочной частушки весьма строгой формы) о lady from Russia, которая кричала, screamed, когда ее сдавливали, crushed her, и прелесть была в том, что при повторении слова «screamed» Бэрнес все крепче и крепче сжимал мне руку, так что я никогда не выдерживал лимерика до конца. Вот перифразировка по-русски:

Есть странная дама из Кракова:  
орет от пожатия всякого,  
орет наперед

и все время орет —  
но орет не всегда одинаково.



Тихий, сутулый, бородатый, со старомодными манерами, мистер Куммингс, носивший вместо демисезонного пальто зеленовато-бурый плащ-лодэн, был когда-то домашним учителем рисования моей матери и казался мне восьмидесятилетним старцем, хотя на самом деле ему не было и сорока пяти в те годы — 1907—1908, — когда он приходил мне давать уроки перспективы (небрежным жестом смахивая оттертыш гуттаперчи и необычайно элегантно держа карандаш, который волшебными штрихами стягивал в одну бесконечно отдаленную точку даль дивной, но почему-то совершенно безмебельной залы). В Россию он, кажется, попал в качестве иностранного корреспондента-иллюстратора лондонского Graphic'a. Говорили, что его личная жизнь омрачена несчастьями. Грусть и кротость скрадывали скудость его таланта. Маленькие его акварели — полевые пейзажи, вечерняя река и тому подобное, — приобретенные членами нашей семьи и домочадцами, прозябали по углам, оттесняемые все дальше и дальше, пока их совсем не скрывала холодная компания копенгагенских зверьков или новообрамленные снимки. После того что я научился тушевать бок куба и при стирании резинкой не превращать с треском бумагу в гармонику, симпатичный старец довольствовался тем, что просто писал при мне свои райски яркие виды. Впоследствии, с десяти лет и до пятнадцати, мне давали уроки другие художники: сперва известный Яремич, который заставлял меня посмелее и порасплывчатее, «широкими мазками», воспроизводить в красках какие-то тут же кое-как им слепленные из пластилина фигурки: а затем — знаменитый Добужинский, который учил меня находить соотношения между тонкими ветвями голого дерева, извлекая из этих соотношений важный, драгоценный узор, и который не только вспоминался мне в зрелые годы с благодарностью, когда приходилось детально рисовать, окунувшись в микроскоп, какую-нибудь еще никем не виданную структуру в органах бабочки, — но внушил мне кое-какие правила равновесия и взаимной гармонии, быть может пригодившиеся мне и в литературном моем сочинительстве. С чисто же эмоциональной стороны, в смысле *веселости* красок, столь сродной детям, старый Куммингс пребывает у меня в красном углу памяти. Еще лучше моей матери умел он все это делать — с чудным проворством наворачивал на мокрую черную кисточку несколько красок сряду, под аккомпанемент быстрого дребезжания белых эмалевых чашечек, в которых

некоторые подушечки, красные, например, и желтые, были с глубокими выемками от частого пользования. Набрав разноцветного меда, кисточка переставала витать и тыкаться и двумя-тремя сочными обмазами пропитывала брестоль ровным слоем оранжевого неба, через которое, пока оно еще было чуть влажно, прокладывалось длинное акулье облако фиолетовой черноты: «And that's all, dearie, — и это всё, голубок мой, никакой мудрости тут нет».

Увы, однажды я попросил его нарисовать мне международный экспресс. Я наблюдал через его угловатое плечо за движениями его умелого карандаша, выводившего веерообразную снегочистку или скотоловку, и передние слишком нарядные фонари такого паровоза, который, пожалуй, мог быть куплен для Сибирской железной дороги после того, что он пересек Америку через Ютаху в шестидесятых годах. За этим паровиком последовало пять вагонов, которые меня сильно разочаровали своей простотой и бедностью. Покончив с ними, он вернулся к локомотиву, тщательно отделил обильный дым, валивший из преувеличенной трубы, склонил набок голову и, полюбовавшись на свое произведение, протянул мне его, приятно смеясь. Я старался казаться очень довольным. Он забыл тендер.

Через четверть века мне довелось узнать две вещи: что покойный Бэрнес, который, кроме диктанта да глупой частушки, казалось, не знал ничего, был весьма ценным эдинбургскими знатоками переводчиком русских стихов, тех стихов, которые уже в отрочестве стали моим алтарем, жизнью и безумием; и что мой кроткий Куммингс, которому я щедро давал в современники самых дремучих Рукавишниковых и дряхлого слугу Казимира с бакенбардами (того, который умел и любил откусывать хвосты новорожденным щенкам-фокстерьерам), счастливо женился *dans la force de l'âge*<sup>29</sup>, то есть в моих теперешних летах, на молодой эстонке около того времени, когда я женился сам (в 1925 году). Эти вести меня странно потрясли, как будто жизнь покусилась на мои творческие права, на мою печать и подпись, продлив свой извилистый ход за ту личную мою границу, которую Мнемозина провела столь изящно, с такой экономией средств.

---

<sup>29</sup> В расцвете сил (фр.)

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### 1

В холодной комнате, на руках у беллетриста умирает Мнемозина. Я не раз замечал, что, стоит мне подарить вымышленному герою живую мелочь из своего детства, и она уже начинает тускнеть и стираться в моей памяти. Благополучно перенесенные в рассказ целые дома рассыпаются в душе совершенно беззвучно, как при взрыве в немом кинематографе. Так вкрапленный в начало «Защиты Лужина» образ моей французской гувернантки погибает для меня в чуждой среде, навязанной сочинителем. Вот попытка спасти что еще осталось от этого образа.

Мне было шесть лет, брату пять, когда, в 1905 году, к нам приехала Mademoiselle. Показалась она мне огромной, и в самом деле она была очень толста. Вижу ее пышную прическу, с непризнанной сединой в темных волосах, три, — и только три, но какие! — морщины на суровом лбу, густые мужские брови над серыми — цвета ее же стальных часиков — глазами за стеклами пенсне в черной оправе; вижу ее толстые ноздри, зачаточные усы и ровную красноту большого лица, сгущающуюся, при наплыве гнева, до багровости в окрестностях третьего и обширнейшего ее подбородка, который так величественно располагается прямо на высоком скате ее многосборчатой блузы. Вот, готовясь читать нам, она придвигает к себе толчками, незаметно пробуя его прочность, верандовое кресло и приступает к акту усадки: ходит студень под нижнюю челюстью, осмотровально опускается чудовищный круп с тремя костяными пуговицами на боку, и напоследок она разом сдает всю колышимую массу камышовому сиденью, которое со страху раздражается скрипом и треском.

Зима, среди которой она приехала к нам, была единственной проведенной нами в деревне, и все было ново и весело — и валенки, и снеговики, и гигантские синие сосульки, свисающие с крыши красного амбара, и запах мороза и смолы, и гул печек в комнатах усадьбы, где в разных приятных занятиях тихо кончалось бурное царство мисс Робинсон. Год, как известно, был революционный, с бунтами, надеждами, городскими забастовками, и отец правильно рассчитал, что семье будет покойнее в Выре. Правда, в окрестных деревнях были, как и везде, и хулиганы, и пьяни-

цы, — а в следующем году даже так случилось, что зимние озорники вломились в запертый дом и выкрали из киотов разные безделицы, — но в общем отношения с местными крестьянами были идиллические: как и всякий бескорыстный барин-либерал, мой отец делал великое количество добра в пределах рокового неравенства.

Я не поехал встречать ее на Сиверскую, железнодорожную остановку в девяти верстах от нас; но теперь высылаю туда призрачного представителя и через него вижу ясно, как она выходит из желтого вагона в сумеречную глушь небольшой оснеженной станции в глубине гиперборейской страны и что она чувствует при этом. Ее русский словарь состоял из одного короткого слова — того же, ничем не обросшего, неразменного слова, которое спустя десять лет она увезла обратно, в родную Лозанну. Это простое словечко, «где», превращалось у нее в «гиди-э», и, полнясь магическим смыслом, звуча граем потерявшейся птицы, оно набирало столько вопросительной и заклинательной силы, что удовлетворяло всем ее нуждам. «Гиди-э, гиди-э?» — заливалась она, не только добиваясь определения места, но выражая бездну печали — одиночество, страх, бедность, болезнь и мольбу доставить ее в обетованный край, где ее наконец поймут и оценят.

Бесплотный представитель автора предлагает ей невидимую руку. На ней пальто из поддельного котика и шляпа с птицей. По перрону извивается заметить. Куда идти? Изредка дверь ожидальни отворяется с дрожью и воем в тон стуже; оттуда вырывается светлый пар, почти столь же густой, как тот, который валит из трубы шумно ухающего паровоза. «Et je me tenais là abandonnée de tous, pareille à la Comtesse Karénine»<sup>30</sup>, — красноречиво, если и не совсем точно, жаловалась она впоследствии. Но вот появляется настоящий спаситель, наш кучер Захар, рослый, выщербленный оспой человек, в черных усах, похожий на Петра Первого, чудака, любитель прибауток, одетый в нагольный овечий тулуп, с рукавицами, засунутыми за красный кушак. Слышу, добросовестно скрипит под его валенками снег, пока он возится с багажом «мадмазели», с упряжью, позвякивающей в темноте, и с собственным носом, который, обходя сани, он мощно облегчает отечественным приемом зажима и стряха. Медленно, грузно, томимая мрачными предчувствиями, путешественница, держась за помощника,

---

<sup>30</sup> «И вот я стояла, всеми брошенная, совсем как графиня Каренина» (фр.).

усаживается в утлые сани. Вот она всунула кулаки в плюшевую муфту, вот чмокнул Захар, вот переступили, напрягая мышцы, вороные Зойка и Зинка, и вот Mademoiselle подалась всем корпусом назад — это дернулись сани, вырываясь из мира вещей и плоти, чтобы плавно потечь прочь, едва касаясь отрешенной от трения снежной стези.

Мимолетом, благодаря свету провожающего нас фонаря, чудовищно преувеличенная тень — с муфтой и в шляпе, похожей на лебедя, — несется в обгон по сугробу, затем обгоняется вторичной тенью, там, где перенимает санки другой, последний, фонарь, и всё исчезает: путешественницу поглощает то, что потом, рассказывая свои приключения, она называла с содроганьем «степью». И действительно, чем не *la jeune Sibérienne*?<sup>31</sup> В неведомой мгле желтыми волчьими глазами кажутся переменчивые огни (сейчас мы проедем ветхую деревеньку в овраге, перед которой четко стоит — с 1840 года, что ли, — на слегка подгнившей, но крепкой доске: 116 душ, — хотя и тридцати не наберется). Бедная иностранка чувствует, что замерзает «до центра мозга» — ибо она взмывает на крыльях глупейших гипербола, когда не придерживается благоразумнейших общих мест. Порою она оглядывается, дабы удостовериться, что другие сани, с ее черным сундуком и шляпной картонкой, следуют сзади, не приближаясь и не отставая, как те компанейские призраки кораблей, которые нам описали полярные мореходы.

Не забудем и полной луны. Вот она — легко и скоро скользит, зеркалистая, из-под каракулевых тучек, тронутых радужной рябью. Дивное светило наводит глазурь на голубые колеи дороги, где каждый сверкающий ком снега подчеркнут вспухнувшей тенью.

Совершенно прелестно, совершенно безлюдно. Но что же я-то тут делаю, посреди стереоскопической феерии? Как попал я сюда? Точно в дурном сне, удалились сани, оставив стоящего на страшном русском снегу моего двойника в американском пальто на викуньевом меху. Саней нет как нет; бубенчики их — лишь раковинный звон крови у меня в ушах. Домой — за спасительный океан! Однако двойник медлит. Все тихо, все околдовано светлым диском над русской пустыней моего прошлого. Снег — настоящий на ощупь; и, когда наклоняюсь, чтобы набрать его в горсть, полвека жизни рассыпается морозной пылью у меня промеж пальцев.

---

<sup>31</sup> Юная сибирячка (фр.)

В гостиную влывает керосиновая лампа на белом лепном пьедестале. Она приближается — и вот опустилась. Рука Мнемозины, теперь в нитяной перчатке буфетчика Алексея, ставит ее, в совершенстве заправленную, с огнем, как ирис, посредине круглого стола. Ее венчает розовый абажур с воланами, кругосветно украшенный по шелку полупрозрачными изображеньицами маркизовых зимних игр. Дверь отворена в проходной кабинетик, и оттуда низвергается желтый паркет из овального зеркала над карельской березы диваном (всем этим я не раз меблировал детство героев). За столом мы рисуем. На шкафчике в простенке лоснистым хребтом горбится бледно-серая обезьяна из фарфора с бледно-серым фруктом в руке, необыкновенно похожая на А. Ф. Кони, поедающего яблоко. Подвески люстры изредка позвякивают, вероятно, оттого, что наверху передвигают что-то в будущей комнате Mademoiselle. Старая Робинсон, которой я не терплю (но *всё* лучше неизвестной француженки), отложив книгу, смотрит на часы: навалило много снега, и вообще много чего ждет заместительницу.

Лиловый карандаш стал так короток от частого употребления, что его трудно держать. Синий проводит горизонт любого моря. Голубой ужасно ломок: его шатающийся молочный кончик подпирается выступом выщепки. Зеленый спиральным движением производит липу — или дым из домишки, где варят шпинат. Желтый безнадежно сломан. Оранжевый создает солнце, садящееся за морской горизонт. Красный малыш едва ли не короче лилового. И из всех карандашей только белый сохранял свою девственную длину — пока я не догадался, что этот альбинос, будто бы не оставляющий следа на бумаге, на самом деле орудие идеальное, ибо, водя им, можно было вообразить незримое запечатление настоящих, взрослых картин, без вмешательства собственной младенческой живописи. Увы, эти карандаши я тоже раздарил вымышленным детям. Как всё размазалось, как всё поблекло! Не помню, одалживал ли я кому Бокса Первого, любимца ключницы, пережившего свою Лулу-Иокасту. Он спит на расшитой подушке, в углу козетки. Седоватая морда с таксичьей бородавкой у рта заткнута под бедро, и время от времени его всё еще крутенькую грудную клетку раздувает глубокий вздох. Он так стар, так устлан изнутри сновидениями о запахах прошлого, что не шевелится, когда сани с путешественницей и сани с ее багажом подъезжают к дому и оживает гулкий, в чугунных узорах вестибюль. А как я надеялся, что она не доедет!

Совсем другой, не комнатный, пес, благодушный родоначальник свирепой, но продажной семьи цепных догов, выпускаемых только по ночам, сыграл приятную для него роль в происшествии, имевшем место чуть ли не через день после прибытия Mademoiselle. Случилось так, что мы с братом Сергеем оказались на полном ее попечении. Мать неосторожно уехала на несколько дней в Петербург, — она была встревожена событиями того года, а кроме того ожидала четвертого ребенка и была очень нервна. Робинсон, вместо того, чтобы помочь Mademoiselle утрястись, не то уехала тоже, не то была унаследована трехлетней моей сестрой — у нас мальчики и девочки воспитывались совершенно отдельно, как в старину. Чтобы показать наше недовольство, я предложил покладистому брату повторить висбаденскую эскападу, когда, шурша подошвами в ярких сухих листьях, мы так удачно бежали к пристани от мисс Хант и потом ввали Бог знает что каким-то американкам на рейнском пароходике. Но теперь, вместо нарядной осени, кругом расстилалась снежная пустыня, и не помню, как я себе представлял переход из Выры на Сиверскую, где, по-видимому (как нахожу, порывшись заново у себя в памяти), я замыслил сесть с братом в петербургский поезд. Дело было на склоне дня, мы только что вернулись с первой нашей прогулки в обществе Mademoiselle и кипели негодованием и ненавистью. Бороться с малознакомым нам языком да еще быть лишенными всех привычных забав — с этим, как я объяснил брату, мы примириться не могли. Несмотря на солнце и безветрие, она заставила нас нацепить вещи, которых мы не носили и в пургу — какие-то страшные гетры и башлыки, мешавшие двигаться. Она не позволила нам ходить по пухлым, белым округлостям, заменившим летние клумбы, или подлезать под волшебное бремя елок и трясти их. La bonne promenade<sup>32</sup>, которую она нам обещала, свелась к чинному хождению взад и вперед по усыпанной песком снежной площадке сада. Вернувшись с прогулки, мы оставили ее пыхтеть и снимать ботинки в парадной, а сами промчались через весь дом к противоположной веранде, откуда опять выбежали на двор, правильно рассчитав, что она будет долго искать нас за шкафами и диванами еще мало ей известных комнат. Упомянутый дог как раз примеривался к ближнему сугробу, но его желтые глаза нас за-

<sup>32</sup> Славная прогулка (фр.).

метили — и, радостно скача, он присоединился к нам.

Втроем пройдя по полупротоптанной тропинке, мы вскоре свернули через пушистый снег к проезжей дороге и двинулись окружным путем по направлению так называемой Песчанки, откуда можно было пройти к станции, минуя село Рождествено. Меж тем солнце село, и очень скоро стало совсем темно. Братец стал жаловаться, что продрог и устал, и я помог ему сесть верхом на дога, единственного члена экспедиции, который был по-прежнему весел. Брат в совершенном молчании все сваливался со своего неудобного коня, и, как в страшной сказке, лунный свет пересекался черными тенями придорожных гигантов-деревьев. Вдруг нас нагнал слуга с фонарем, посадил на дровни и повез домой. Mademoisellë стояла на крыльце и выкликала свое безумное «гиди-э». Я скользнул мимо нее. Брат расплакался и сдался. Дог, которого, между прочим, звали Турка, вернулся к своим прерванным исследованиям в отношении удобных и осведомительных сугробов. В детстве мы лучше видим руки людей, ибо они, эти знакомые руки, витают на уровне нашего роста; мадемуазелины были неприятны мне каким-то лягушечьим лоском тугой кожи по тыльной стороне, усыпанной уже старческой горчицей. До нее никто никогда не трепал меня по щеке — это было отвратительное иностранное ощущение, — она же именно с этого и начала — в знак мгновенного расположения, что ли. Все ее ужимки, столь новые для меня после довольно однообразных и сдержанных жестов наших англичанок, ясно вспоминаются мне, как только воображаю ее руки: манера чинить карандаш к себе, к своей огромной бесплодной груди, облеченной в зеленую шерсть безрукавной кофточки поверх блузы; способ чесать в ухе — вдруг совала туда мизинец, и он как-то быстро-быстро там трепетал. И еще — обряд, соблюдавшийся при выдаче чистой тетрадки: со всегдашним легким астматическим пыхтением, округлив по-рыбы рот, она наотмашь раскрывала тетрадку, делала в ней поле, т. е. резко проводила ногтем большого пальца вертикальную черту и по ней сгибала страницу, после чего тетрадка одним движением обращалась вокруг оси, чтобы поместиться передо мной. В любимую мою сердоликовую ставку она для меня всовывала новое перо и с сырым присвистом слюнула его блестящее острие, прежде чем деликатно обмакнуть его в чернильницу. Ручка с еще чистосеребряным, только наполовину посиневшим, пером наконец передавалась мне, и, наслаждаясь отчетливостью выводимых букв — особенно потому, что предыдущая тетрадь безнадежно кон-



чилась всякими перечеркиваниями и безобразием, — я надписывал «Dictée», покамест Mademoiselle выискивала в учебнике что-нибудь потруднее да подлиннее.

## 5

Декорация между тем переменилась. Инеистое дерево и кубовый сугроб убраны безмолвным бутафором. Сад в бело-розово-фиолетовом цвету, солнце натягивает на руку ажурный чулок аллеи — всё цело, всё прелестно, молоко выпито, половина четвертого, Mademoiselle читает нам вслух на веранде, где циновки и плетеные кресла пахнут из-за жары вафлями и ванилью. Летний день, проходя сквозь ромбы и квадраты цветных стекол, ложится драгоценной росписью по беленым подоконникам и оживляет арлекиновыми заплатами сизый коленкор одного из длинных диванчиков, расположенных по бокам веранды. Вот место, вот время, когда Mademoiselle проявляет свою сокровенную суть.

Какое невероятное количество томов и томиков она перечла нам на этой веранде, у этого круглого стола, покрытого клеенкой! Ее изящный голос тек да тек, никогда не ослабевая, без единой заминки; это была изумительная чтецкая машина, никак не зависящая от ее больных бронхов. Так мы прослушали и мадам де Сегюр, и Додэ, и длиннейшие, в распадающихся бумажных переплетах, романы Дюма, и Жюль Верна в роскошной брошюровке, и Виктора Гюго, и еще много всякой всячины. Она сливалась со своим креслом столь же плотно, столь же органически, как, скажем, верхняя часть кентавра с нижней. Из неподвижной горы струился голос; только губы да самый маленький — но настоящий — из ее подбородков двигались. Ее чеховское пенсне окружало черными ободками два опущенных глаза с веками, очень похожими на этот подбородок-подковку. Иногда муха садилась ей на лоб, и тогда все три морщины разом подскакивали; но ничто другое не возмущало этого лица, которое, таясь, я так часто рисовал, ибо его простая симметрия гораздо сильнее притягивала мой карандаш, чем ваза с анютиными глазками, будто служившая мне моделью.

Мое вниманье отвлекалось — и тут-то выполнял свою настоящую миссию ее на редкость чистый и ритмичный голос. Я смотрел на крутое летнее облако — и много лет спустя мог отчетливо воспроизвести перед глазами очерк

этих сбитых сливок в летней синеве. Запоминались навек длинные сапоги, картуз и расстегнутая жилетка садовника, подпирающего зелеными шестиками пионы. Трясогузка пробегала несколько шажков по песку, останавливалась, будто что вспомнив, и семенила дальше. Откуда ни возмись, бабочка-полигония, сев на верхнюю ступень веранды, расправляла плашмя на припеке свои вырезные бронзовые крылья, мгновенно захлопывала их, чтобы показать белую скобочку на аспидном исподе, вспыхивала опять — и была такова. Постояннейшим же источником очарования в часы чтения на вырской веранде были эти цветные стекла, эта прозрачная арлекинада! Сад и опушка парка, пропущенные сквозь их волшебную призму, исполнялись какой-то тишины и отрешенности. Посмотришь сквозь синий прямоугольник — и песок становился пеплом, траурные деревья плавали в тропическом небе. Сквозь зеленый параллелепипед зелень елок была зеленее лип. В желтом ромбе тени были как крепкий чай, а солнце как жидкий. В красном треугольнике темно-рубиновая листва густела над розовым мелом аллеи. Когда же после всех этих роскошеств обратишься, бывало, к одному из немногих квадратиков обыкновенного пресного стекла, с одиноким комаром или хромой карамарой в углу, это было так, будто берешь глоток воды, когда не хочется пить, и трезво белела скамья под знакомой хвоей; но из всех оконеч в него-то мои героинизгнанники мучительно жаждали посмотреть.

Mademoiselle так и не узнала никогда, как могущественны были чары ее ровно журчавшего голоса. В дальнейшем, по возвращении ее в Швейцарию, ее притязания на минувшее оказались совсем другими: «Ah, comme on s'aimait!»<sup>33</sup> — вздыхала она, вспоминая: «Как мы веселились вместе! А как, бывало, ты поверял мне шепотом свои детские горести» (Никогда!), «А уютный уголок в моей комнате, куда ты любил забиваться, так тебе было там тепло и покойно...».

Комната Mademoiselle, и в Выре и в Петербурге, была странным и даже жутким местом. В едком тумане этой теплицы, где глухо пахло, из-под прочих испарений, ржавчиной яблок, тускло светилась лампа, и необыкновенные предметы поблескивали на столиках: лаковая шкатулка с лакричными брусками, которые она распиливала перочинным ножом на черные кусочки — одно из любимых ее лакомств; самой Помоной украшенная округлая жестянка

<sup>33</sup> «Ах, как мы любили друг друга!» (фр.).

со слипшимися монпансье — другая ее страсть; толстый слоистый шар, слепленный из серебряных бумажек с тех несметных шоколадных плиток и кружков, которые она ела в постели; цветной снимок — швейцарское озеро и замок с крупными перламутра вместо окон; несколько кабинетных фотографий — покойного племянника, его матери (расписавшейся «Mater Dolorosa»<sup>34</sup>), таинственного усача, Monsieur de Marante, которого семья заставила жениться на богатой вдове; главенствовал же над ними портрет в усыпанной поддельными камнями рамке: на нем была снята вполоборота стройная молодая брюнетка в плотно облегавшем бюст платье, с твердой надеждой в глазах и гребнем в роскошной прическе. «Коса до пят и вот такой толщины», — говорила с пафосом Mademoiselle — ибо эта бодрая матовая барышня была когда-то ею, но тщетно недоверчивый глаз силился извлечь из ее теперешних стереоптических очертаний ими поглощенный тонкий силуэт. Нам с братом, увы, были даны как раз обратные откровения: то, чего не могли видеть взрослые, наблюдавшие лишь облаченную в непроницаемые доспехи, дневную Mademoiselle, видели мы, всезнающие дети, когда, бывало, тому или другому из нас приснится дурной сон, и, разбуженная звериным воплем, она появлялась из соседней комнаты, босая, простоволосая, подняв перед собою свечу, миганьем своим обращавшую в чешую золотые блески на ее кроваво-красном капоте, который не прикрывал ее чудовищных колыханий: в эту минуту она казалась сущим воплощением Иезавели из «Athalie», дурацкой трагедии Расина, куски которой мы, конечно, должны были знать наизусть вместе со всяким другим лжеклассическим бредом.

## 6

Всю жизнь я засыпал с величайшим трудом и отвращением. Люди, которые, отложив газету, мгновенно и как-то запросто начинают храпеть в поезде, мне столь же непонятны, как, скажем, люди, которые куда-то баллотируются, или вступают в масонские ложи, или вообще примыкают к каким-либо организациям, дабы в них энергично раствориться. Я знаю, что спать полезно, а вот не могу привыкнуть к этой измене рассудку, к этому еженощному, довольно анекдотическому разрыву со своим сознанием. В зрелые

<sup>34</sup> «Скорбящая мать» (фр.).

годы у меня это свелось приблизительно к чувству, которое испытываешь перед операцией с полной анестезией, но в детстве: предстоявший сон казался мне палачом в маске, с топором в черном футляре и с добродушно-бессердечным помощником, которому беспомощный король прокусывает палец. Единственной опорой в темноте была щель слегка приоткрытой двери в соседнюю комнату, где горела одна лампочка из потолочной группы и куда Mademoiselle из своего дневного логовища часов в десять приходила спать. Без этой вертикали кроткого света мне было бы не к чему прикрепиться в потемках, где кружилась и как бы таяла голова. Удивительно приятной перспективой была мне субботняя ночь, та единственная ночь в неделе, когда Mademoiselle, принадлежавшая к старой школе гигиены и видевшая в наших английских привычках лишь источник простуд, позволяла себе роскошь и риск ванны — чем продлевалось чуть ли не на час существование моей хрупкой полоски света. В петербургском доме ей отведенная ванная находилась в конце дважды загибающегося коридора, в каких-нибудь двадцати ударах сердца от моего изголовья, и, разрываясь между страхом, что ей вздумается сократить свое торжественное купанье, и завистью к мирному посапыванию брата за ширмой, я никогда не успевал воспользоваться лишним временем и заснуть, пока световая щель в темноте все еще оставалась залогом хоть точки моего я в бездне. И наконец они раздавались, эти неумолимые шаги: вот они тяжело приближаются по коридору и, достигнув последнего колена, заставляют невесело брякать какой-нибудь звонкий предметик, деливший у себя на полке мое бдение. Вот — вошла в соседнюю комнату. Происходит быстрый пересмотр и обмен световых ценностей: свечка у ее кровати скромно продолжает дело лампы, которая, со стуком взбежав на две ступени дивного добавочного света, тут же отменяет его и с таким же стуком тухнет. Моя вертикаль еще держится, но как она тускла и ветха, как неприятно содрогается всякий раз, что скрипит мадемуазелина кровать... Наступает период упадка: она читает в постели Бурже. Слышу серебристый шелест оголяемого шоколада и чирканье фруктового ножа, разрезающего страницы новой *Revue des Deux Mondes*<sup>35</sup>.

Я даже различаю знакомый зернистый присвист ее дыханья. И всё время, в ужасной тоске, я стараюсь прима-

---

<sup>35</sup> «Ревю де де монд» — название французского толстого журнала.

нить ненавистный сон, ибо знаю, что сейчас будет. Ежеминутно открываю глаза, чтобы проверить, там ли мой мутный луч. Рай — это место, где бессонный сосед читает бесконечную книгу при свете вечной свечи! И тут-то оно и случается: защелкивается футляр пенсне; шуркнув, журнал перемещается на ночной столик; Mademoiselle бурно дует; с первого раза подшибленное пламя выпрямляется вновь; при втором порыве свет гибнет. Бархатный убийственный мрак ничем не прерван, кроме моих частных беззвучных фейерверков, и я теряю направление, постель тихо вращается, в паническом трепете сажусь и всматриваюсь в темноту. Господи, ведь знают же люди, что я не могу уснуть без точки света, — что бред, сумасшествие, смерть и есть вот эта совершенно черная чернота! Но вот, постепенно принаравливаясь к ней, взгляд отделяет действительное мерцание от энтоптического плака, и продолговатые бледноты, которые, казалось, плывут куда-то в беспомыслии, пристают к берегу и становятся слабо, но бесценно светящимися вогнутостями между складками гардин, за которыми бодрствуют уличные фонари.

Непонятными, ничтожными казались эти ночные невзгоды в те восхитительные утра, когда не только ночь, но и зима проваливалась в мокрую синь Невы, и веяло в лицо лирической шероховатой весной северной палеарктики, и можно было с полушубка на бобровом меху перейти на синее пальто с якорьками на медных пуговицах. Сияли крыши, гремел Исакий, и нигде я не видел такой фиолетовой слякоти, как на петербургских мостовых. On se promenait en voiture — или en équipage<sup>36</sup>, как говорилось по-старинке в русских семьях. Черносливового цвета плюш величественно холмится на груди у Mademoiselle, расположившейся на заднем сиденье открытого ландо с моим торжествующим и заплаканным братцем, которого я, сидя напротив, иногда напоследок лягаю под общим пледом — мы еще дома повздорили; впрочем, обижал я его не часто, но и дружбы между нами не было никакой — настолько, что у нас не было даже имен друг для друга — Володя, Сережа, — и со странным чувством думается мне, что я мог бы подробно описать всю свою юность, ни разу о нем не упомянув. Ландо катится, машисто бегут лошади, свежо шее, и немного поташнивает; и, надуваясь ветром высоко над улицей, на канатах, поперек Морской, у Арки,

<sup>36</sup> Ездил кататься в коляске — или в экипаже (фр.).

три полосы полупрозрачных полотнищ — бледно-красная, бледно-голубая и просто линиялая — усилиями солнца и беглых теней лишаются случайной связи с каким-то не-присутственным днем, но зато теперь, в столице памяти, несомненно празднуют они пестроту того весеннего дня, стук копыт по торцам, начало кори, распушенное невским ветром крыло птицы, с одним красным глазком, на шляпе у Mademoiselle.

7

Она провела с нами около восьми лет, и уроки становились всё реже, а характер ее всё хуже. Незыблемой скалой кажется она по сравнению с приливом и отливом английских гувернанток и русских воспитателей, перебивавших у нас; со всеми ними она была в дурных отношениях. Предпосылки ее обид отличались тончайшими оттенками. Летом редко садилось меньше двенадцати человек за стол, а в дни именин и рождений бывало по крайней мере втрое больше, и вопрос, где ее посадят, был для нее жгуч. Из Батова в тарантасах и шарабанах приезжали Набоковы, Лярские, Рауши, из Рождествена — Василий Иванович, держась за кушак кучера (что отец мой считал неприличным), из Дружноселья — Витгенштейны, из Митюшина — Пыхачевы; были тут и разные отцовские и материнские дальние родственники, компаньонки, управляющие, гувернантки и гувернеры. Рождественский доктор прикатывал на своих легоньких дрожках, запряженных крутошеей цирковой понькой с гривкой, как зубная щетка; и в прохладном вестибюле звучно сморкался и всё это упаковывал в платок, и проверял в высоких зеркалах свой белый шелковый галстук милый Василий Мартынович, принесший, в зависимости от сезона, любимые цветы матери или отца — зеленоватые влажные ландыши в туго скрипучем букете или крупный пук словно синенных васильков, перевязанных алой лентой. Интересно, кто заметит, что этот параграф построен на интонациях Флобера.

Особенно зорко следила Mademoiselle за одной из беднейших набоковских родственниц, Надеждой Ильиничной Назимовой, старой девой, кочевавшей всякое лето из одного поместья в другое и слывшей художницей, — она выжигала цветные русские тройки по дереву и переписывалась славянской вязью с сочленами какого-то черносотенного союза. Жидковолосая, с челкой, с громадным,

земляничного цвета, лицом, которое было столь скошено набок, вследствие застуженного в печальной молодости флюса, что речь ее, как бы рупорная, казалась направленной в собственное левое ухо, она была уродлива и очень толста, фигурой походя на снежную бабу, т. е. была менее хорошо распределена, чем Mademoiselle. Когда, бывало, эти две дамы плыли одна навстречу другой по широкой аллее парка и безмолвно разминались — Надежда Ильинична с лопухом, прищипленным ради свежести к волосам, а Mademoiselle под муаровым зонтиком, обе в кушачках и объемистых юбках, которые ритмично со стороны на сторону мели подолами по песку, они очень напоминали те два пузатых электрических вагона, которые так однообразно и невозмутимо расходились посреди ледяной пустыни Невы. «Je suis une sylphide à cotè de ce monstre»<sup>37</sup>, — презрительно говаривала Mademoisellè. Когда же той удавалось пересесть ее за праздничным столом, губы Mademoiselle от обиды складывались в дрожащую ироническую усмешку, и если при этом какой-нибудь простодушный ее визави отзывался любезной улыбкой, то она быстро мотала головой, будто выходя из глубокой задумчивости, и произносила: «Excusez-moi, je sougiais à mes tristes pensées»<sup>38</sup>.

Природа постаралась ее наградить всем тем, что обостряет уязвимость. К концу ее пребывания у нас она стала глохнуть. За столом, случалось, мы с братом замечали, как две крупные слезы сползают по ее большим щекам. «Ничего, не обращайтесь внимания», — говорила она и продолжала есть, пока слезы не затопляли ее; тогда, с ужасным всхлипом, она вставала и чуть ли не ощупью выбиралась из столовой. Добивались очень постепенно пустячной причины ее горя: она, например, всё более убеждалась, что если общий разговор временами и велся по-французски, то делалось это по сговору ради дьявольской забавы — не давать ей направлять и украшать беседу. Бедняжка так торопилась влиться в понятную ей речь до возвращения разговора в русский хаос, что неизменно попадала впросак. «А как поживает ваш парламент, Monsieur Nabokoff?» — бодро выпаливала она, хотя уж много лет прошло со времени Первой Думы. А не то ей покажется, что разговор коснулся музыки, и многозначительно она преподносила: «Помилуйте, и в тишине есть мелодия!

---

<sup>37</sup> Я сальфида по сравнению с этим чудовищем (фр.).

<sup>38</sup> Простите, я улыбалась своим грустным мыслям (фр.).

Однажды, в дикой альпийской долине, я — вы не поверите, но это факт — слышала тишину». Невольным следствием таких реплик — особенно когда слабеющий слух подводил ее и она отвечала на мнимый вопрос — была мучительная пауза, а вовсе не вспышка блестящей, легкой *causerie*<sup>39</sup>. Между тем сам по себе ее французский язык был так обаятелен! Неужто нельзя было забыть поверхностность ее образования, плоскость суждений, озлобленность нрава, когда эта жемчужная речь журчала и переливалась, столь же лишенная истинной мысли и поэзии, как стишки ее любимцев Ламартина и Коппе! Настоящей французской литературе я приобщился не через нее, а через рано открытые мною книги в отцовской библиотеке; тем не менее хочу подчеркнуть, сколь многим обязан я ей, сколь возбuditельно и плодотворно действовали на меня прозрачные звуки ее языка, подобного сверканью тех кристаллических солей, кои прописываются для очищения крови. Потому-то так грустно думать теперь, как страдала она, зная, что никем не ценится соловьиный голос, исходящий из ее слоновьего тела. Она зажилась у нас, все надеясь, что чудом превратится в некую *grande précieuse*<sup>40</sup>, царящую в золоченой гостиной и блеском ума чарующую поэтов, вельмож, путешественников.

Она бы продолжала ждать и надеяться, если бы не Ленский, розовый, полнолицый студент с рыжеватой бородкой, голубой обритой головою и добрыми близорукими глазами, который в десятых годах жил у нас в качестве репетитора. У него было несколько предшественников, ни одного из них *Mademoiselle* не любила, но про Ленского говорила, что это *le comble*<sup>41</sup> — дальше идти некуда. Он был довольно неотесанный одессит с чистыми идеалами и, преклоняясь перед моим отцом, откровенно осуждал кое-что в нашем обиходе, как, например, лакеев в синих livреях, реакционных приживалок, «снобичность» некоторых забав и, увы, французский язык, неуместный, по его мнению, в доме у демократа. *Mademoiselle*, которой за все время их совместного прозябания ни разу не пришло в голову, что Ленский не знает ни слова по-французски, решила, что если он на все ей отвечает мычанием (чудак, за неимением других прикрас, старался по крайней мере

---

<sup>39</sup> Беседы (фр.).

<sup>40</sup> Хозяйку светского салона (фр.).

<sup>41</sup> Переходит все границы (фр.).



его германизировать), то делает он это с намерением ее грубо оскорбить и осадить при всех — ведь никто за нее не заступится. Это были незабываемые сцены, и постоянное повторение их не делало чести уму ни той, ни другой стороне. Сладчайшим тоном, но уже со зловещим подрагиванием губ Mademoiselle просила соседа передать ей хлеб, а сосед кивал, бурча что-то вроде «их денке зо аух», и спокойно продолжал хлебать суп; при этом в Надежде Ильиничне, не жаловавшей Mademoiselle за сожжение Москвы, а Ленского за распятие Христа, злорадство боролось с сочувствием. Наконец, преувеличенно широким движением, Mademoiselle ныряла через тарелку Ленского по направлению к корзинке с французской булкой и втягивалась обратно через него же, крикнув «Merci, Monsieur!» с такой сокрушительной интонацией, что пушком поросшие уши Ленского становились алее герани. «Скот! Наглец! Нигилист!» — всхлипывая, жаловалась она моему брату, смиренно сидевшему на ее постели, которая давно переехала из смежной с нами комнаты в ее собственную.

В нашем петербургском особняке был небольшой водяной лифт, который вползал по бархатистому канату на третий этаж вдоль медленно спускавшихся подтеков и трещин на какой-то внутренней желтоватой стене, странно различающейся от гранита фронтона, но очень похожей на другой, тоже наш, дом со стороны двора, где были службы и сдавались, кажется, какие-то конторы, судя по зеленым стеклянным колпакам ламп, горящих среди ватной темноты в тех скучных потусторонних окнах. Оскорбительно намекая на ее тяжесть, этот лифт часто бастовал, и Mademoiselle бывала принуждена, со многими астматическими паузами, подниматься по лестнице. К ней навстречу по этим ступеням тяжело, но резво сбегал, бывало, Ленский, и в течение двух зим она доказывала, что, проходя, он непременно толкнет ее, пихнет, собьет с ног, растопчет ее безжизненное тело. Все чаще и чаще уходила она из-за стола, — и какой-нибудь пломбир или профитроль, о котором она бы пожалела, дипломатично посылался ей вдогонку. Из глубины как бы все удалявшейся комнаты своей она писала матери письма на шестнадцати страницах, и мать спешила наверх и заставляла ее трагически укладывающей чемодан в присутствии удрученного Сережи. И однажды ей дали доуложиться.

Она переехала куда-то, мы еще иногда виделись, а в самом начале первой мировой войны она вернулась в Швейцарию. Советская революция переместила нас на полтора года в Крым, а оттуда мы навсегда уехали за границу. Я учился в Англии, в Кембриджском университете, и как-то во время зимних каникул, в 1921 году, что ли, поехал с товарищем в Швейцарию на лыжный спорт — и на обратном пути, в Лозанне, посетил Mademoiselle.

Еще потолстевшая, совсем поседевшая и почти совершенно глухая, она встретила меня бурными изъявлениями любви. Ей, должно быть, было лет семьдесят — возраст свой она всегда скрывала с какой-то страстью и могла бы сказать «L'âge est mon seul trésor»<sup>42</sup>. Изображение Шильонского замка заменила аляповатая тройка, выжженная на крышке лаковой шкатулки. Она с таким жаром вспоминала свою жизнь в России, как если бы это была ее утерянная родина. И то сказать: в Лозанне проживала целая колония таких бывших гувернанток, ушедших на покой; они жались друг к дружке и ревниво щеголяли воспоминаниями о прошлом, образуя странно ностальгический островок среди чуждой стихии: «Аргентинцы изнасиловали всех наших молодых девушек», — уверяла все еще красноречивая Mademoiselle. Лучшим ее другом была теперь сухая старушка, похожая на мумию подростка, бывшая гувернантка моей матерй, M-lle Golay, которая тоже вернулась в Швейцарию. Причем они не разговаривали друг с другом, пока обе жили у нас. Человек всегда чувствует себя дома в своем прошлом, чем отчасти и объясняется как бы посмертная любовь этих бедных созданий к далекой и, между нами говоря, довольно страшной стране, которой они по-настоящему не знали и в которой никакого счастья не нашли.

Так как беседа мучительно осложнялась глухотой Mademoiselle, мы с приятелем решили принести ей в тот же день аппарат, на который ей явно не хватало средств. Сначала она неправильно приладила сложный инструмент, что, впрочем, не помешало ей сразу же поднять на меня влажный взгляд, посылно изображавший удивление и восторг. Она клялась, что слышит даже мой шепот. Между тем этого не могло быть, ибо, озадаченный и огорчен-

---

<sup>42</sup> «Годы — мое единственное сокровище» (фр.):

ный поведением машинки, я не сказал ни слова, а если бы заговорил, то предложил бы ей поблагодарить моего товарища, заплатившего за аппарат. Быть может, она слышала то самое молчание, к которому прислушивалась когда-то в уединенной долине: тогда она себя обманывала, теперь меня.

Прежде чем покинуть Лозанну, я вышел пройтись вокруг озера холодным, туманным вечером. В одном месте особенно унылый фонарь разбавлял мглу, и, проходя через его тусклую ауру, туман обращался в бисер дождя. Вспомнилось: «Il pleut toujours en Suisse»<sup>43</sup> — утверждение, которое некогда доводило Mademoiselle до слез. «Mais non, — говорила она, — il fait si beau, si beau»<sup>44</sup>, — и от обиды не могла определить точнее это «beau». За парашютом шла по воде крупная рябь, почти волна — когда-то поблизости чуть не погибла в бурю Жюли де Вольмар. Вглядываясь в тяжело плещущую воду, я различил что-то большое и белое. Это был старый, жирный, неуклюжий, похожий на удода лебедь. Он пытался забраться в причаленную шлюпку, но ничего у него не получалось. Беспомощное хлопанье его крыльев, скользкий звук его тела о борт, колыханье и чмокание шлюпки, клеенчатый блеск черной волны под лучом фонаря — всё это показалось мне насыщенным странной значительностью, как бывает во сне, когда видишь, что кто-то прижимает перст к губам, а затем указывает в сторону, но не успеваешь досмотреть и в ужасе просыпаешься.

Память об этой пасмурной прогулке вскоре заслонила другими впечатлениями; но когда года два спустя я узнал о смерти сироты-старухи (удалось ли мне вызволить ее из моих сочинений, не знаю), первое, что мне представилось, было не ее подбородки, и не ее полнота, и даже не музыка ее французской речи, а именно тот бедный, поздний, тройственный образ: лодка, лебедь, волна.

---

<sup>43</sup> «В Швейцарии всегда идет дождь» (фр.).

<sup>44</sup> Да нет же, погода там такая хорошая (фр.).

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### 1

Проснешься, бывало, летним утром и сразу, в отроческом трепете, смотришь: какова щель между ставнями? Ежели водянисто-бледна, то валишься назад на подушки: не стоит и растворять ставни, за которыми заранее видишь всю досадную картину — свинцовое небо, рябую лужу, потемневший гравий, коричневую кашицу опавших соцветий под кустами сирени и преждевременно блеклый древесный листок, плоско прилипший к мокрой садовой скамейке! Но если ставни щурились от ослепительно-росистого сверканья, я тотчас принуждал окно выдать свое сокровище: одним махом комната раскалывалась на свет и на тень. Пропитанная солнцем, березовая листва поражала взгляд прозрачностью, которая бывает у светло-зеленого винограда; еловая же хвоя бархатно выделялась на синеве, и эта синева была такой насыщенности, какою мне довелось опять насладиться только много лет спустя в горно-боровой зоне Колорадо.

Сыздетства утренний блеск в окне говорил мне одно, и только одно: есть солнце — будут и бабочки. Началось все это, когда мне шел седьмой год, и началось с довольно банального случая. На персидской сирени у веранды флигеля я увидел первого своего махаона — до сих пор аоническое обаяние этих голых гласных наполняет меня каким-то восторженным гулом! Великолепное бледно-желтое животное в черных и синих ступенчатых пятнах, с попугаячьим глазком над каждой из парных черно-палевых шпор, свешивалось с наклоненной малиново-лиловой грозди и, упиваясь ею, все время судорожно хлопало своими громадными крыльями. Я стонал от желанья. Один из слуг — тот самый Устин, который был швейцаром у нас в Петербурге, но почему-то оказался тем летом в Выре, — ловко поймал бабочку в форменную фуражку, и эта фуражка с добычей была заперта в платяной шкаф, где пленнице полагалось за ночь умереть от нафталина; но когда на другое утро Mademoiselle отперла шкаф, чтобы взять что-то, бабочка, с мощным шорохом, вылетела ей в лицо, затем устремилась к растворенному окну, и вот, ныряя и рея, уже стала превращаться в золотую точку, и все продолжала лететь на восток, над тайгой и тундрой, на Во-

логду, Вятку и Пермь, а там — за суровый Урал, через Якутск и Верхнеколымск, а из Верхнеколымска — где она потеряла одну шпору — к прекрасному острову Св. Лаврентия, и через Аляску на Доусон, и на юг, вдоль Скалистых Гор, где, наконец, после сорокалетней погони, я настиг ее и ударом рампетки «сбрил» с ярко-желтого одуванчика, вместе с одуванчиком, в ярко-зеленой роще, вместе с рощей, высоко над Боулдером.

Бывало, влетев в комнату, пускалась

цветная бабочка в шелку,  
порхать, шуршать и трепетать  
по голубому потолку —

цитирую по памяти изумительные стихи Бунина (единственного русского поэта, кроме Фета, «видевшего» бабочек). Бывало, большая глянцевито-красная гусеница переходила тропинку и оглядывалась на меня. А вскоре после шкапной истории я нашел крупного замшевого, с цепкими лапками, сфинкса на окне парадного крыльца, и моя мать усыпила его при помощи эфира. Впоследствии я применял разные другие средства, но и теперь малейшее дуновение, отдающее тем первым снадобьем, сразу распахивает дверь прошлого; уже будучи взрослым юношей и находясь под эфиром во время операции аппендицита, я в наркотическом сне увидел себя ребенком с неестественно гладким пробором, в слишком нарядной матроске, напряженно расправлявшим под руководством чересчур растроганной матери свежий экземпляр глазчатого шелкопряда. Образ был подчеркнута ярок, как на коммерческой картинке, приложенной к полезной забаве, хотя ничего особенно забавного не было в том, что расправлен и распорот был, собственно, я, которому снилось все это — промокшая, пропитанная ледяным эфиром вата, темнеющая от него, похожая на ушастую беличью мордочку, голова шелкопряда с перистыми сяжками, и последнее содроганье его расчлененного тела, и тугой хряск булавки, правильно проникающей в мохнатую спинку, и осторожное втыкание довольно увесистого существа в пробковую щель расправилки, и симметричное расположение под приколотыми полосками чертежной бумаги широких, плотных, густо опыленных крыльев, с матовыми оконцами и волнистой росписью орхидейных оттенков.

В петербургском доме была у отца большая библиотека; постепенно туда переходило кое-что и из вырского, где стены внутренней галереи, посреди которой поднималась лестница, были уставлены полками с книгами; добавочные залежи находились в одном из чуланов верхнего палубообразного этажа. Мне было лет восемь, когда, роясь там, среди Живописного обозрения и Graphic'a в мраморных переплетах, гербариев с плоскими фиалками и шелковистыми эдельвейсами, альбомов, из которых со стуком выпадали твердые, с золотым обрезом, фотографии неизвестных людей в орденах, и всяких пыльных разрозненных игр вроде хальмы, я нашел чудные книги, приобретенные бабушкой Рукавишниковой в те дни, когда ее детям давали частные уроки зоолог Шимкевич и другие знаменитости. Помню такие курьезы, как исполинские бурые фолианты монументального произведения Альбертуса Себа «*Locupletissimi Rerum Naturalium Thesauri Accurata Descriptio...*»<sup>45</sup> (Амстердам, около 1750 года): на их желтоватых, грубо шершавых страницах гравированы были и змеи, и раковины, и странно-голенастые бабочки, и в стеклянной банке за шею подвешенный зародыш эфиопского младенца женского пола; часами я разглядывал гидру на таблице СII — ее семь драконовых голов на семи длинных шеях, толстое тело с пупырьками и витой хвост. Из волшебного чулана я в объятиях нес к себе вниз, в угловой кабинетик, бесценные тома: тут были и прелестные изображения суринамских насекомых в труде Марии Сибиллы Мериан (1647—1717), и «*Die Schmetterlinge*» (Эрланген, 1777) гениального Эспера, и Буадювалева «*Icones Historiques de Lepidoptères ou Peu Connus*» (Париж, 1832 года и позже). Еще сильнее волновали меня работы, относящиеся ко второй половине девятнадцатого столетия — «*Natural History of British Butterflies and Moths*» Ньюмена, «*Die Gross-Schmetterlinge Europas*» Гофмана<sup>46</sup>, замечательные *Mémoires* вел[икого] кн[язя] Николая Михайловича и его сотрудников, посвященные русско-азиатским бабочкам, с несравненно-прекрасными иллюстрациями кисти Кавригина, Рыбакова, Ланга, и классический труд великого американца Скуддера, *Butterflies of New England*.

<sup>45</sup> Заглавие ученого труда по зоологии (лат.).

<sup>46</sup> Заглавия трудов по чешуекрылым (фр., англ., нем.).

Уже отроком я зачитывался энтомологическими журналами, особенно английскими, которые тогда были лучшими в мире. То было время, когда систематика подвергалась коренным сдвигам. До того, с середины прошлого столетия, энтомология в Европе приобрела великую простоту и точность, ставши хорошо поставленным делом, которым заведовали немцы: верховный жрец, знаменитый Штаудингер, стоял во главе крупнейшей из фирм, торговавших насекомыми, и в его интересах было не усложнять определений бабочек; даже и поныне, через полвека после его смерти, средневропейской, а также и русской лепидоптерологии (почти несуществующей, впрочем, при Советах) далеко не удалось сбросить гипнотическое иго его авторитета. Штаудингер был еще жив, когда его школа начала терять свое научное значение в мире. Между тем как он и его приверженцы консервативно держались видовых и родовых названий, освященных долголетним употреблением, и классифицировали бабочек лишь по признакам, доступным голому глазу любителя, англо-американские работники вводили номенклатурные перемены, вытекавшие из старого применения закона приоритета, и перемены таксономические, основанные на кропотливом изучении сложных органов под микроскопом. Немцы силились не замечать новых течений и продолжали снижать энтомологию едва ли не до уровня филателии. Забота штаудингерьянцев о «рядовом собирателе», которого не следует заставлять препарировать, до смешного похожа на то, как современные издатели романов пестуют «рядового читателя», которого не следует заставлять думать.

Обозначилась в ту пору и другая, более общая, перемена. Викторианское и штаудингеровское понятие о виде как о продукте эволюции, подаваемом природой коллекционеру на квадратном подносе, т. е. как о чем-то замкнутом и сплошном по составу, с кое-какими лишь внешними разновидностями (полярными, островными, горными), сменилось новым понятием о многообразном, текучем, тающем по краям виде, органически состоящем из географических рас (подвидов); иначе говоря, вид включил разновидности. Этими более гибкими приемами классификации лучше выражалась эволюционная сторона дела, и одновременно с этим биологические исследования чешуекрылых были усовершенствованы до неслыханной тонкости — и заводили в те тупики природы, где нам мерещится основная тайна ее. В этом смысле загадка «мимикрии» всегда пленяла меня — и тут английские и русские ученые делят лавры — я чуть не написал «ларвы» —

поровну. Как объяснить, что замечательная гусеница бумажной ночницы, наделенной во взрослой стадии странными членистыми придатками и другими особенностями, маскирует свою гусеничную сущность тем, что принимает «играть» двойную роль какого-то длинноногого, корчащегося насекомого и муравья, будто бы поедающего его, — комбинация, рассчитанная на отвод птичьего глаза? Как объяснить, что южноамериканская бабочка-притворщица, в точности похожая и внешнею и окраской на местную синюю осу, подражает ей и в том, что ходит по осиному, нервно шевеля сяжками? Таких бытовых актеров среди бабочек немало. А что вы скажете о художественной совести природы, когда, не довольствуясь тем, что из сложенной бабочки каллимы она делает удивительное подобие сухого листа с жилками и стебельком, она, кроме того, на этом «осеннем» крыле прибавляет сверхштатное воспроизведение тех дырочек, которые проедают именно в таких листьях жуки личинки? Мне впоследствии привелось высказать, что «естественный подбор» в грубом смысле Дарвина не может служить объяснением постоянно встречающегося математически невероятного совпадения хотя бы только трех факторов подражания в одном существе — формы, окраски и поведения (то есть костюма, грима и мимики); с другой же стороны, и «борьба за существование» ни при чем, так как подчас защитная уловка доведена до такой точки художественной изощренности, которая находится далеко за пределами того, что способен оценить мозг гипотетического врага — птицы, что ли, или ящерицы: обманывать, значит, некого, кроме разве начинающего натуралиста. Таким образом, мальчиком я уже находил в природе то сложное и «бесплезное», которого я позже искал в другом восхитительном обмане — в искусстве.

### 3

В отношении множества человеческих чувств — надежды, мешающей заснуть, роскошного ее исполнения, несмотря на снег в тени, тревог тщеславия и тишины достигнутой цели — полвека моих приключений с бабочками, и ловивенных, и лабораторных, стоит у меня на почетнейшем месте. Если в качестве сочинителя единственную отраду нахожу в личных молниях и сильном их запечатлении, а славой не занимаюсь, то — признаюсь — вскипаю



непонятым волнением, когда перебираю в уме свои энтомологические открытия — изнурительные труды, изменения, внесенные мной в систематику, революцию с казнями коллег в светлом кругу микроскопа, образ и вибрацию во мне всех редкостных бабочек, которых я сам и поймал и описал, и свою отныне бессмертную фамилию за придуманным мною латинским названием или ее же, но с малой буквы и с окончанием на латинское «i» в обозначении бабочек, названных в мою честь. И как бы на горизонте этой гордыни, сияют у меня в памяти все те необыкновенные, баснословные места — северные трясины, южные степи, горы в четырнадцать тысяч футов вышины, — которые с кисейным сачком в руке я исходил и стройным ребенком в соломенной шляпе, и молодым человеком на веревочных подошвах, и пятидесятилетним толстяком в трусиках.

Я рано понял то, что так хорошо поняла мать в отношении подберезовиков: что в таких случаях надо быть одному. В течение всего моего детства и отрочества я маниакально боялся спутников, и, конечно, ничто в мире, кроме дождя, не могло помешать моей утренней пятичасовой прогулке. Мать предупреждала гувернеров и гувернанток, что утро принадлежит мне всецело, — и они благо разумно держались в стороне. По этому поводу вспоминаю: был у меня в Тенишевском училище трогательный товарищ, мешковатый заика с длинным бледным лицом; другие дразнили его, а мне, с моими крепкими кулаками, нравилось защищать его из спортивного щегольства. Как-то летом, поздно вечером, весь в пыли, с разбитым коленом, он неожиданно явился к нам в Выру. Его отец недавно умер, семья была разорена, и за недостатком денег на железнодорожный билет, бедняжка проделал верст сорок на велосипеде. На другое утро, встав спозаранку, я сделал все возможное, чтоб покинуть дом без его ведома. Отчаянно тихо я собрал свои охотничьи принадлежности — сачок, зеленую жестянку на ремне, конвертики и коробочки для поимок — и через окно классной выбрался наружу. Углубившись в чащу, я почувствовал, что спасен, но все продолжал быстро шагать, с дрожью в икрах, со слезами в глазах, и сквозь жгучую призму стыда представлял себе кроткого гостя с его большим бледным носом и траурным галстуком, валандающим в саду, треплющим от нечего делать пыхтящих от зноя собак и старающимся как-нибудь оправдать мое жестокое отсутствие.

Кажется, только родители понимали мою безумную, угрюмую страсть. Бывало, мой столь невозмутимый отец вдруг с искаженным лицом врывался ко мне в комнату с веранды, хватал сачок и кидался обратно в сад, чтоб минут десять спустя вернуться с продолжительным стоном на «А-а-а-а» — упустил дивного эльальбума! Потому ли, что «чистая наука» только томит или смешит интеллигентного обывателя, но, исключив родителей, вспоминаю по отношению к моим бабочкам только непонимание, раздражение и глум. Если даже такой записной любитель природы, как Аксаков, мог в бездарнейшем «Собирании бабочек» (приложение к студенческим «Воспоминаниям») уснастить свою благонамеренную болтовню всякими нелепицами (не знаю, был ли он более сведущ насчет всяких славянофильских чирков и язей), можно себе представить темноту рядового образованного человека в этом вопросе. До сих пор вспоминаю с беспомощной досадой, как наш сельский врач, милейший доктор Розанов, которому, как человеку ученому, я, доверчивый десятилетний мальчик, оставил на попечение драгоценные синеватые куколки редкой совки (боялся взять их с собой в заграничное путешествие), преспокойно написал мне в Биарриц, что они отлично вылупились, — но на самом деле их, вероятно, пожрала мышь, ибо по моем возвращении обманщик торжественно преподнес мне каких-то потертых крапивниц, почему-то обложенных ватой, которых крестьянские ребята, верно, наловили ему в его же саду. Мне рано открылось и другое обстоятельство, а именно то, что энтомолог, смиренно занимающийся своим делом, непременно возбуждает что-то странное в своих ближних. Бывало, собираемся на пикник с кузенами, и я, памятуя, что рядом с избранной рощей есть замечательный заповедничек, тихо, никому не мешая, но уже чувствуя, что действую домашним на нервы, заранее несу свои скромные принадлежности в шарабан, отдающий дегтем, или красный автомобиль, отдающий чаем (так пах бензин в 1910 году), и какая-нибудь пожилая родственница или чужая гувернантка с усами говорит: «Vgraiment, Volodya<sup>47</sup>, оставил бы сетку дома хоть этот раз. Ведь будете играть в каш-каш и казаки-разбойники — при чем тут бабочки? Неужели тебе нравится портить всем удовольствие?» У придорожного знака «Nach Bodenlaube» в Бад Киссингене (Бавария), только что я догнал вышедших на

---

<sup>47</sup> Право, Володя... (фр.).

прогулку отца и монументального, бледнолицего Муромцева, недавнего председателя Первой Думы, как он обратился ко мне свою мраморную голову и важно проговорил: «Смотри, мальчик, только не гоняться за бабочками: это портит ритм прогулки». На тесной от душистых кустов тропинке, спускавшейся из Гаспры (Крым) к морю, ранней весной 1918 года какой-то большевицкий часовой, колченогий дурень с серьгой в одном ухе, хотел меня арестовать за то, что, дескать, сигнализирую сачком английским судам. Летом 1929 года, когда я собирал бабочек в Восточных Пиренеях, не было кажется, случая, чтобы, шагая с сачком через деревушку, я оглянулся и не увидел каменеющих по мере моего прохождения поселян, точно я был Содом, а они — жены Лота. Еще через десять лет, в Приморских Альпах, я однажды заметил, как за мной извилисто-тихо, позмеинному, зыблется трава, и, пойдя назад, наступил на жирного полевого жандарма, который полз на животе, уверенный, что я незаконно ловлю певчих птиц для продажи. Америка выказала, пожалуй, еще больше нездорового интереса по отношению ко мне. Угрюмые фермеры молчаливым жестом указывали мне на надпись «Удить воспрещается»; из проносившихся по шоссе автомобилей доносился издевательский рев; сонные собаки, равнодушные к зловоннейшему бродяге, настораживались и, рыча, шли на меня; малютки надрывно спрашивали — что же это такое? — у своих озадаченных мам; старые опытные туристы хотели знать, не рыболов ли я, собирающий кузнечиков для насадки; журнал «Лайф» звонил, спрашивая, не хочу ли я быть снятым в красках преследующим популярных бабочек, с популярным объяснительным текстом; и однажды, в пустыне, где-то в Новой Мексике, среди высоких юкк в лилейном цвету и натуженных кактусов, за мною шла в продолжение двух-трех миль огромная воронья кобыла.

#### 4

Когда, отряхнув погоню, я сворачивал с рыхлой красной дороги в парк, чтобы добраться через него до полей и леса, оживление и блеск молодого лета были как трепет сочувствия ко мне со стороны единоклюнной природы. Тут весной, высоко и слабо, между елок вился шелковисто-лазоревый аргиол; едва заметный, темный, на зеленой подкладке, хвостатик посещал цветущую чернику; мчалась

через прогалины белая, с оранжевыми кончиками, аврора; теперь же, в июне, тихо порхала, где тень и трава, вдоль троп и у мостиков, черная со ржавчиной эребия, появляющаяся с таинственным постоянством только каждый второй год; и тут же грелась, раскрывшись, на листьях молодых осинок, красно-черная, испещренная мелом, евфидриада. Вот сложилась полупрозрачная, в графитных жилках, боярышница, присевшая на расцветший от одного взгляда памяти придорожный репейник, и с него же снялись, стрельнув вверх один за другим, два самца червонной лицины: выше и выше поднимаются они, дерясь, а затем победитель возвращается на свой цветок, где уже боярышницу сменила резвая, рыжая, изумрудно-перламутровая с исподу, аглая. Все это были обыкновенные насекомые, но всякую минуту могло перебить стук сердца появление чего-нибудь давно мечтавшегося, необычайного. Помню, как однажды я заметил на веточке у калитки парка имевшуюся у меня только в купленных экземплярах, драгоценнейшую, темно-коричневую, украшенную тонким белым зигзагом с изнанки, тэклу. Ее наблюдали в губернии лишь раз до меня, и вообще это была прелестная редкость. Я замер. Ударить по ней мне было не с руки, — она сидела у самого моего правого плеча, и я с бесконечными предосторожностями стал переводить сачок за спиной из одной руки в другую; тэкла между тем ждала с хитреньким выражением крыльев: они были плотно сжаты, и нижние, снабженные усикоподобными хвостиками, терлись друг о дружку дискообразным движением — быть может, производя стрепет, слишком высокий по тону, чтобы человек мог его уловить. Наконец, с размаху, я свистнул по ней рампеткой. Мы все слышали стон теннисиста, когда, на краю победы промазав легкий мяч, он в ужасной муке вытягивается на цыпочках, откинув голову и приложив ладонь ко лбу. Мы все видали лицо знаменитого гроссмейстера, вдруг подставившего ферзя местному любителю, Борису Исидоровичу Шаху. Но никто не присутствовал при том, как я вытряхивал веточку из сетки и глядел на дырку в кисее.

## 5

Утреннюю неудачу иногда возмещала ловля в сумерки или ночью. На крайней дорожке парка лиловизна сирени, перед которой я стоял в ожидании бражников, переходила

в рыхлую пепельность по мере медленного угасания дня, и молоком разливался туман по полям, и молодая луна цвета Ю висела в акварельном небе цвета В. Во многих садах этак стаивал я впоследствии — в Афинах, Антибах, Атланте, Лос-Анджелесе, — но никогда, никогда не изнывал я от таких колдовских чувств, как тогда, перед сереющей сиренью. И вот начиналось: ровное гудение переходило от цветка к цветку, и мерцающим призраком повисал розово-оливковый сфинкс, как колибри, перед венчиком, который он с воздуха пытал длинным хоботком. Его красавица-гусеница, миниатюрная кобра с очковыми пятнами на передних сегментах, которые она умела забавно раздувать, водилась в августе в сырых местах, на высоких розовых цветах царского чая (эпилобия). Так всякое время дня и года отличалось другим очарованием. В угрюмые ночи, поздней осенью, под ледяным дождем, я ловил ночниц на приманку, вымазав стволы в саду душистой смесью патоки, пива и рома: среди мокрого черного мрака мой фонарь театрально освещал липко-блестящие трещины в дубовой коре, где, по три-четыре на каждый ствол, сказочно прекрасные катокалы впитывали пьяную сладость коры, нервно подняв, как дневные бабочки, крупные полураскрытые крылья и показывая невероятный, с черной перевязью и белой оборкой, ярко-малиновый атлас задних из-под лишаватых передних. «Катокала адультера!» — восторженно орал я по направлению освещенного окна и, спотыкаясь, бежал в дом показывать отцу улов.

## 6

Парк, отделявший усадьбу от полей и лесов, был дик и дремуч в приречной своей части. Туда захаживали лоси, что менее сердило нашего сторожа Ивана, степенного широкоплечего старика с окладистой бородой, чем незаконное внедрение случайных дачников. Были и прямые тропинки, и вьющиеся, и все это переплеталось, как в лабиринте. Еще в первые годы изгнания моя мать и я могли без труда обойти весь парк, и старую и новую его часть, по памяти, но теперь замечаю, что Мнемозина начинает плутать и растерянно останавливается в тумане, где там и сям, как на старинных картах, виднеются дымчатые, таинственные пробелы: терра инкогнита.

В некошенных полях за парком воздух переливался

бабочками среди чудного обилья ромашек, скабиоз, колокольчиков — все это скользит у меня сейчас цветным маревом перед глазами, как те пролетающие мимо широких окон вагона-ресторана бесконечно обольстительные луга, которых никогда не обследовать пленному пассажиру. А за полями поднимался, как темная стена, лес. Часами блуждая по трущобе, я любил выискивать мелких пядениц, принадлежащих к роду «евпитетий»: эти нежные ночные существа, размером с ноготок, днем плотно прикладываются к древесной коре, распластав бледные крыльца и приподняв крохотное брюшко. Видов их описано огромное количество, и если природа подтушевала этих бабочек под сероватые поверхности (точно обособив, впрочем, узорную ливрею каждого вида), зато их гусенички, живущие на низких растениях, окрашены в яркие тона цветочных лепестков. Медленно кружась в солнечной зелени, осматривая со всех сторон ствол за стволом, — о, как я мечтал в те годы открыть новый вид евпитетии! Мое пестрое воображение, как бы заискивая передо мной и потворствуя ребенку (а на самом деле, где-то за сценой, в заговорщичьей тиши, тщательно готовя распределение событий моего далекого будущего), преподносило мне призрачные выписки мелким шрифтом: «Единственный известный экземпляр *Eupithecia petropolitanata* был взят русским школьником (или «молодым собирателем...», или, еще лучше, «автором...») в Царскосельском уезде Петербургской губернии, в 1912., 1913., 1914 годах».

А затем наступило одно беспокойное июньское утро, когда я почувствовал потребность хорошенько исследовать обширную болотистую местность, простиравшуюся за Ордежью. Пройдя пять-шесть верст вдоль реки, я наконец перешел ее по узкому упруго-дощатому мостику, откуда видать было избенки по ближнему песчаному скату, черемуху, желтые бревна на зеленом берегу и красочные пятна одежд, скинутых деревенскими девчонками, которые, блестя и белея в мелкой воде, кричали, окунались, плескались, столь же мало заботясь о прохожем, как если бы он был моим нынешним бесплотным послом.

На противоположном низком берегу, где начиналась арктика, густое сборище мелких бабочек, состоявшее главным образом из самцов голубянок, пьянствовало на черной грязи, жирно растоптанной и унавоженной коровами, и весь лазоревый рой поднялся на воздух из-под моих ног и, померцав, снова опустился по моему прохождению.

Продравшись сквозь растрепанный, низкорослый сосняк, я достиг моего мохового, седого и рыжеватого рая. Не успел слух уловить характерный зуд двукрылых, кочковое чмокание, приглушенный крик дупеля, как я был уже окружен теми полярными бабочками, которых знал только по научным описаниям, ибо всякие шметтерлингсбухи с картинками для средневропейских простаков, если вообще упоминали эти северные редкости, не считали нужным их иллюстрировать, «потому что рядовой любитель вряд ли когда-либо на них набредет», — фраза, которая меня бесит и в пошлых ботанических атласах в применении к редким растениям. Теперь же я видел их не только воочию, не только вживе, а в естественном гармоническом взаимоотношении с их родимой средой. Мне кажется, что это острое и чем-то приятно волнующее ощущение экологического единства, столь хорошо знакомое современным натуралистам, есть новое или, по крайней мере, по-новому осознанное чувство и что только тут, по этой линии, парадоксально намечается возможность связать в синтез идею личности и идею общности.

Над кустиками голубики, как-то через зрение вяжущей рот матовостью своих дремных ягод; над карим блеском до боли холодных мочажек, куда вдруг погружалась нога; над мхом и валежником; над дивными, одиноко праздничными, стоящими как свечи, ночными фиалками темно-коричневая с лиловизной болория скользила низким полетом, пронеслась гонобоблевая желтянка, отороченная черным и розовым, порхали между корявыми сосенками великолепные смуглые сатириды-энеисы. Едва замечая укулы комаров, которые, как паюсной икрой, вдруг покрывали голую по локоть руку, я становился на одно колено, чтобы с мычанием сладчайшего удовлетворения сжать двумя пальцами сквозь кисею сачка трепетную грудку синей, с серебряными точками с исподу, диковинки и любовно высвободить сверкающего маленького мертвеца из складок сетки, — даже на нее садились обезумевшие от моей близости комары. Мои пальцы пахли бабочками — ванилью, лимоном, мускусом, — ноги промокли до пахов, губы запеклись, колотилось сердце, но я все шел да шел, держа наготове сачки. Наконец я добрался до конца болота. Подъем за ним весь пламенел местными цветами — лупином, аквилеией, пенстемоном; лилия-марипоза сияла под пондерозовой сосной; вдали и в вышине, над границей древесной растительности, округлые тени летних облаков бежали по тускло-зеленым горным лугам, а за

ними вздымался скалисто-серый, в пятнах снега, Longs Peak<sup>48</sup>.

Далеко я забрел, однако былое у меня всё под боком, и частица грядущего тоже со мной. В цветущих зарослях аризонских каньонов, высоко на рудоносных склонах Сан-Мигуэльских гор, на озерах Тетонского урочища и во многих других суровых и прекрасных местностях, где все тропы и яруги мне знакомы, каждое лето летают и будут летать мною открытые, мною описанные виды и подвиды. «Именем моим названа» — нет, не река, а бабочка в Аляске, другая в Бразилии, третья в Ютахе, где я взял ее высоко в горах, на окне лыжной гостиницы — та *Eurithesia nabokovi* McDunnough, которая таинственно завершает тематическую серию, начавшуюся в петербургском лесу. Признаюсь, я не верю в мимолетность времени — легкого, плавного, персидского времени! Этот волшебный ковер я научился так складывать, чтобы один узор приходился на другой. Споткнется или нет дорогой посетитель, это его дело. И высшее для меня наслаждение — вне дьявольского времени, но очень даже внутри божественного пространства — это наудачу выбранный пейзаж, все равно в какой полосе, тундровой, или полынной, или даже среди остатков какого-нибудь старого сосняка у железной дороги между мертвыми в этом контексте Олбани и Скенектеди (там у меня летает один из любимейших моих крестников, мой голубой *samuelis*) — словом, любой уголок земли, где я могу быть в обществе бабочек и кормовых их растений. Вот это — блаженство, и за блаженством этим есть нечто не совсем поддающееся определению. Это вроде какой-то мгновенной физической пустоты, куда устремляется, чтобы заполнить ее, все, что я люблю в мире. Это вроде мгновенного трепета умиления и благодарности, обращенной, как говорится в американских официальных рекомендациях, *to whom it may concern* — не знаю, к кому и к чему, — гениальному ли контрапункту человеческой судьбы или благосклонным духам, балующим земного счастливецца.

---

<sup>48</sup> Название горной вершины в Колорадо.



## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### 1

В железнодорожном агентстве на Невском была выставлена двухтарифная модель коричневого спального вагона: международные составы того времени красились под дубовую обшивку, и эта дивная, тяжелая с виду вещь с медной надписью над окнами далеко превосходила в подробном правдоподобии все мои, хорошие, но явно жестяные и обобщенные, заводные поезда. Мать пробовала ее купить; увы, бельгиец-служащий был неумолим. Во время утренней прогулки с гувернанткой или воспитателем всегда останавливался и молился на нее. Иметь в таком портативном виде, держать в руках так запросто вагон, который почти каждую осень нас уносил за границу, почти равнялось тому, чтобы быть и машинистом, и пассажиром, и цветными огнями, и пролетающей станцией с неподвижными фигурами, и отшлифованными до шелковистости рельсами, и туннелем в горах. Снаружи сквозь витрину модель была доступнее влюбленному взгляду, чем изнутри магазина, где мешали какие-то плакаты. Можно было разглядеть в проемах ее окон голубую обивку диванчиков, красноватую шлифовку и тисненую кожу внутренних стенок, вделанные в них зеркала, тюльпанообразные лампы... Широкие окна чередовались с более узкими, то одиночными, то парными. В некоторых отделениях уже были сделаны на ночь постели.

Тогдашний величественный Норд-экспресс (после первой мировой войны он уже был не тот), состоявший исключительно из таких международных вагонов, ходил только два раза в неделю и доставлял пассажиров из Петербурга в Париж; я сказал бы, прямо в Париж, если бы не нужно было — о, не пересаживаться, а быть переводимым — в совершенно такой же коричневый состав на русско-немецкой границе (Вержболово — Эйдкунен), где бокастую русскую колею заменял узкий европейский путь, а березовые дрова — уголь.

В памяти я могу распутать по крайней мере пять таких путешествий в Париж, с Ривьерой или Биаррицем в конце. Выбираю относящееся к 1909-му году. Мне кажется, что сестры — шестилетняя Ольга и трехлетняя Елена — остались в Петербурге под надзором нянь и теток. (По словам Елены, я не прав: они тоже участвовали в поездке.) Отец в дорожной кепке и замшевых перчатках

сидит с книгой в купе, которое он делит с Максом, тогдашним нашим губернатором. Брат Сергей и я отделены от них проходной туалетной камеркой. Следующее купе, смежное с нашим, занимает мать со своей пожилой горничной Наташей и расстроенной таксой. Нечетный Осип, отцовский камердинер (лет через десять педантично расстрелянный большевиками за то, что угнал к себе наши велосипеды, а не передал их народу), делит четвертое купе с посторонним — французским актером Фероди.

В апреле того года Пири дошел до Северного полюса. В мае пел в Париже Шаляпин. В июне, озабоченный слухами о новых выводах цеппелинов, американский военный министр объявил, что Соединенные Штаты намерены создать воздушный флот. В июле Блерио на своем монопланчике перелетел из Кале в Дувр (сделав лишний крюк — заблудился). Теперь был август. Ели и болота северо-западной России прошли своим чередом и на другой день, при некотором увеличении скорости, сменились немецкими соснами и вереском. На подъемном столике мать играет со мной в дурачки. Хотя день еще не начал тускнеть, наши карты, стакан, соли в лежачем флакончике и — на другом оптическом плане — замки чемодана демонстративно отражаются в оконном стекле. Через поля и леса, и в неожиданных оврагах, и посреди убегающих домишек, призрачные, частично представленные картежники играют на никелевые и стеклянные ставки, ровно скользящие по ландшафту. Любопытно, что сейчас, в 1953-м году, в Орегоне, где пишу это, вижу в зеркале отдельного номера эти же самые кнопки того же именно, теперь пятидесятилетнего, материнского несессера из свиной кожи с монограммой, который мать брала еще в свадебное путешествие и который через полвека вожу с собой: то, что из прежних вещей уцелели только дорожные, и логично и символично.

«Не будет ли? Ты ведь устал», — говорит мать, а затем задумывается, медленно тасуя карты. Дверь в коридор открыта, и в коридорное окно видны телеграфные проволоки — шесть тонких черных проволок на бледном небе, — которые поднимаются все выше, с трогательным упорством, вот-вот готовы достигнуть верхнего края оконницы, но всякий раз их сбивает одним махом злостный столб, и приходится им опять подниматься с самого низа.

Когда на таких поездках Норд-экспрессу случалось замедлить ход, чтобы величаво влачиться через большой немецкий город, где он чуть не задевал фронтонов домов,

я испытывал двойное наслаждение, которое тупик конечного вокзала мне доставить не мог. Я видел, как целый город, со своими игрушечными трамваями, зелеными липами на круглых земляных подставках и кирпичными стенами с лупящимися старыми рекламами мебельщиков и перевозчиков, всплывает к нам в купе, поднимается в простеночных зеркалах и до краев наполняет коридорные окна. Это соприкосновение между экспрессом и городом еще давало мне повод вообразить себя вон тем пешеходом и за него пьянеть от вида длинных карих романтических вагонов, с черными промежуточными гармониками и огненными на низком солнце металлическими буквами («Compagnie Internationale...»), неторопливо переходящих через будничную улицу и постепенно заворачивающих, со вспышкой всех окон, за последний ряд домов.

Иногда эта переслойка зрительных впечатлений мстила мне. За длинной чередой качких узких голубых коридоров, уклоняющихся от ног, нарядные столики в широкооконном вагоне-ресторане, с белыми конусами сложенных салфеток и аквамаринowymi бутылками минеральной воды, сначала представлялись прохладным и стойким убежищем, где все прельщало — и пропеллер вентилятора на потолке, и деревянные болванки швейцарского шоколада в лиловых обертках у приборов, и даже запах и зыбь глазчатого бульона в толстогубых чашках; но по мере того как дело подходило к роковому последнему блюду, все назойливее становилось ощущение, что прозрачный вагон со всем содержимым, включая потных кренящихся эквилибристов-лакеев (как ужасно напирал один на стол, пропуская сзади другого!), неряшливо и неосторожно вправлен в ландшафт, причем этот ландшафт находится сам в сложном многообразном движении, — дневная луна бойко едет рядом, вровень с тарелкой, плавным веером раскрываются луга вдаль, ближние же деревья несутся навстречу на невидимых качелях и вдруг совершенно другим аллюром ускакивают, превращаясь в зеленых кенгуру, между тем как параллельная колея сливается с другой, а затем с нашей, и за ней насыпь с мигающей травой томительно поднимается, поднимается — пока вся эта мешанина скоростей не заставляла молодого наблюдателя вернуть только что поглощенный им омлет с горячим вареньем.

Только ночью оправдывалось волшебное название: «Compagnie Internationale des Wagons-Litsetdes Grands Ex-

press Europèens»<sup>49</sup>. С моей постели под койкой брата (спал ли он? был ли он там вообще?) я наблюдал в полумраке отделения, как опасно шли и никуда не доходили предметы, части предметов, тени, части теней. Деревянное что-то потрескивало и скрипело. У двери в уборную покачивались на крюке одежда или тень одежды, и в такт ей моталась кисть синего двухстворчатого колпака, снизу закрывавшего потолочную лампу, которая бодрствовала за лазурью материи. Эти пошатывания и переборы, эти нерешительные подступы и втягивания было трудно совместить в воображении с диким полетом ночи вовне, которая — я знал — мчалась там стремглав, в длинных искрах.

Я и дома старался, бывало, заманить сон тем, что пускал сознание по привычному кругу, видя себя, скажем, водителем поезда, а тут и вправду мчало меня. Реалия, замыкаясь дремотой, блаженно обтекала сознание по мере того, как я все так хорошо устраивал, — и беззаботные пассажиры (забота была моя, забота меня дурманила) гордились властителем-машинистом, покуривали, обменивались знающими улыбками, ложились, дремали, а поездная прислуга (которую мне, собственно, некуда было деть) после них пиновала в вагоне-ресторане; сам же я, в гоночных очках и весь в масле и саже, высовывался из паровозной будки, стараясь высмотреть сквозь ветер рубиновую точку в черной дали. Но затем, уже во сне, я видел совсем-совсем другое — цветной стеклянный шарик, закатившийся под рояль, или игрушечный паровозик, упавший набок и все продолжавший работать бодро жужжащими колесами.

Течение моего сна иногда прерывалось тем, что ход поезда замедлялся. Тихо шагали мимо огни; проходя, каждый из них заглядывал в ту же щелку, и световой циркуль медленно мерил мрак купе. Поезд останавливался с протяжным вздохом вестингхаузовских тормозов. Сверху вдруг падало что-нибудь (например, братние очки). Необыкновенно интересно было подползти к изножию койки — в сопровождении вывороченного одеяла, — дабы осторожно отцепить шторку с нижней кнопки и откатить ее вверх до половины (далее не пускал край верхней койки). За стеклом был сказочный мир, — сказочный потому, что я его подглядывал нечаянно и беззаконно,

---

<sup>49</sup> Международное общество спальных вагонов и европейских экспрессов дальнего следования.

без малейшей возможности принять в нем участие. Как сателлиты огромной планеты, бледные ночные бабочки вращались вокруг газового фонаря. Разъединенная на части газета ехала, погоняемая толчками ветра, по выложенной скамье. Где-то в вагоне слышались глухие голоса, уютное покашливание. Ничего особенно замечательного не было в случайной части безымянной станции, невинно обнажившейся передо мной и стынущей, как мои ноги, но почему-то я не мог оторваться от нее, покуда она сама не уезжала.

Боже мой, как гладко снимался с места мой волшебный Норд-экспресс.

На другое утро уже белела и мчалась мимо мутная Бельгия; кафе-о-ле с отвратительными пенками как-то шло виду в окне, мокрым полям, искалеченным ивам по радиусу канавы, шеренге тополей, перечеркнутых полосой тумана. Поезд приходил в Париж в четыре пополудни, и, даже если мы там только ночевали, я всегда успевал купить что-нибудь, например маленькую медную Эйфелеву башню, грубовато покрытую серебряной краской, — прежде чем сесть в полдень на Зюйд-экспресс, который, по пути в Мадрид, доставлял нас к десяти вечера в Биарриц, в нескольких километрах от испанской границы.

## 2

Биарриц в те годы еще сохранял свою тонкую сущность. Пыльные кусты ежевики и плевелистые *terrains à vendre*<sup>50</sup>, полные прелестных геометрид, окаймляли белую дорогу, ведущую к нашей вилле. Карлтон тогда еще только строился, и суждено было пройти тридцати шести годам до того, как генерал Мак-Кроскей займет королевские апартаменты в Отель дю Пале, построенном на месте этого дворца, где в шестидесятых годах невероятно изгибчивый медиум Daniel Home был пойман, говорят, на том, что босой ступней («ладонью» вызванного духа) гладил императрицу Евгению по доверчивой щеке. На каменном променаде у казино выдавшая виды пожилая цветочница с лиловатыми бровями ловко продевала в петлицу какому-нибудь потентату в штатском тугую дулю гвоздики — он скашивал взгляд на ее жеманные пальцы, и слева у него вспухала складка подбородка. Вдоль променада, по задней линии пляжа, глядящего в блеск моря, парусино-

---

<sup>50</sup> Участки для продажи (фр.).

вые стулья заняты были родителями детей, играющих впереди на песке. Делегату-читателю нетрудно будет высмотреть среди них и меня: стою на голых коленях и стараюсь при помощи увеличительного стекла поджечь найденную в песке гребенку. Щегольские белые штаны мужчин показались бы сегодня комически ссевшимися в стирке; дамы же в летний сезон того года носили бланжевые или гри-перлевые легкие манто с шелковыми отворотами, широкополые шляпы с большими тульями, густые вышитые белые вуали, — и на всем были кружевные оборки — на блузках, рукавах, парасолях. От морского ветра губы становились солеными: пляж трепетал, как цветник, и безумно быстро через него проносилась залетная бабочка, оранжевая с черной каймой. Проходили продавцы разной соблазнительной дряни — орешков чуть слаще моря, витых золотых леденцов, засахаренных фиалок, нежно-зеленого мороженого и громадных, ломких, вогнутых вафель, содержащихся в красном жестяном бочонке: старый вафельщик с этой тяжелой штукой на согнутой спине быстро шагал по глубокому мучнистому песку, а когда его подзывали, он, рванув ее за ремень, сваливал с плеча на песок и ставил стойком свою красную посудину, затем стирал пот с лица и, получив один су, пальцем приводил в трескучее движение стрелку лотерейного счастья, вращающуюся по циферблату на крышке бочонка: фортуне полагалось определять размер порции, и чем больше выходил кусок вафли, тем мне жальче бывало торговца.

Ритуал купанья происходил в другой части пляжа. Профессиональные беньеры, дюжие баски в черных купальных костюмах, помогали дамам и детям преодолевать страх и прибой. Беньер ставил клиента спиной к накатывающей волне и держал его за ручку, пока вращающаяся громада, зеленея и пенясь, бурно обрушивалась сзади, одним мощным ударом либо сбив клиента с ног, либо вознеся его к мокрому разбитому солнцу вместе с тюленем-спасителем. После нескольких таких схваток со стихией глянцевиный беньер вел тебя — отдувающегося, влажно сопящего, дрожащего от холода — на укатанную отливами полосу песка, где незабвенная босоногая старуха с седой щетиной на подбородке, мифическая мать всех этих океанских банщиков, быстро снимала с веревки и накидывала на тебя ворсистый плащ с капюшоном. В пахнущей сосной купальной кабинке перенимал тебя другой прислужник, горбун с лучистыми морщинками; он помогал выйти из набухшего водой, склизкого, отяжелевшего от

прилипшего песка костюма и приносил таз с упойтельно горячей водой для омовения ног. От него я узнал и навеки сохранил в стеклянной ячейке памяти, что бабочка на языке басков «мизери-комлетея».

### 3

Как-то, играя на пляже, я оказался действующим лопаткой рядом с французской девочкой Колетт. Ей должно было исполниться десять в ноябре, мне исполнилось десять в апреле. Она важно обратила мое внимание на зазубренный осколок фиолетовой раковинки, оцарапавший ее узкую длиннопалую ступню. «Je suis Parisienne, — объявила она, — et vous — are you English?»<sup>51</sup> В ее светло-зеленоватых глазах располагались по кругу зрачка рыжие крапинки, словно переправляющаяся вплавь часть веснушек, которыми было усыпано ее несколько эльфое, изящное, курносенькое лицо. Оттого что она носила по тогдашней английской моде синюю фуфайку и синие узкие вязаные штаны, закатанные выше колен, я еще накануне принял ее за мальчика, а теперь, слушая ее порывистый щебет, с удивлением видел браслетку на худенькой кисти, шелковистые спирали коричневых локонов, свисавших из-под ее матросской шапочки.

Двумя годами раньше, на этом самом пляже, я был горячо увлечен другой своей однолеткой — прелестной, абрикосово-загорелой, с родинкой под сердцем, невероятно капризной Зиной, дочкой сербского врача; а еще раньше, в Болье, когда мне было лет пять, что ли, я был влюблен в румынскую темноглазую девочку со странной фамилией Гика. Познакомившись же с Колетт, я понял, что вот это — настоящее. По сравнению с другими детьми, с которыми я игрывал на пляже в Биаррице, в ней было какое-то трогательное волшебство; я понимал, между прочим, что она менее счастлива, чем я, менее любима, синяк на ее тонко заштрихованном пушком запястье давал повод к ужасным догадкам. Как-то она сказала по поводу упущенного краба: «Он так же больно щиплется, как моя мама». Я придумывал разные героические способы спасти ее от ее родителей — господина с нафабранными усами и дамы с овальным, «сделанным», словно эмалированным, лицом; моя мать спросила про них какого-то знакомого, и тот ответил, пожав плечом: «Ce sont des bourgeois de Paris»<sup>52</sup>.

<sup>51</sup> «Я из Парижа... а вы — вы, англичанин?» (фр.).

<sup>52</sup> «Они парижские буржуа» (фр.).

Я по-своему объяснил себе эту пренебрежительную оценку, зная, что они приехали из Парижа в Биарриц на своем сине-желтом лимузине (что не так уж часто делалось в 1909 году), а девочку с фокстерьером и английской гувернанткой послали в скучном «сидячем» вагоне обыкновенного *garide*<sup>53</sup>. Фокстерьер был экзальтированной сучкой с бубенчиком на ошейнике и виляющим задом. Из чистой жизнерадостности эта собачка, бывало, лакала морскую воду, набранную Колетт в синее ведро: вижу яркий рисунок на нем — парус, закат и маяк, — но не могу припомнить имя собачки, и это мне так досадно.

За два месяца пребывания в Биаррице моя страсть к этой девочке едва ли не превзошла увлечения бабочками. Я видел ее только на пляже, но мечталось мне о ней беспрестанно. Если она являлась заплаканной, то во мне вскипало беспомощное страдание. Я не мог перебить комаров, искушавших ее тоненькую шею, но зато удачно отколотил рыжего мальчика, однажды обидевшего ее. Она мне совала горсточками теплые от ее ладони леденцы. Как-то мы оба наклонились над морской звездой, витые концы ее локонов защекотали мне ухо, и вдруг она поцеловала меня в щеку. От волнения я мог только пробормотать: «*You little monkey*»<sup>54</sup>.

У меня была золотая монета, луидор, и я не сомневался, что этого хватит на побег. Куда же я собирался Колетт увезти? В Испанию? В Америку? В горы над По? «*Lá-bas, lá-bas, dans la montagne*»<sup>55</sup>, как пела Кармен в недавно слышанной опере. Помню странную, совершенно взрослую, прозрачно-бессонную ночь: я лежал в постели, прислушивался к покорному буханью океана и составлял план бегства. Океан приподнимался, слепо шарил в темноте и тяжело падал ничком.

О самом побеге мне почти нечего рассказать. В памяти только отдельные проблески: Колетт, с подветренной стороны хлопающей палатки, послушно надевает парусиновые туфли, пока я запикиваю в коричневый бумажный мешок складную рампетку для ловли андалузских бабочек. Убегая от погони, мы сунулись в крошечную темноту маленького кинематографа около казино, — что, разумеется, было совершенно незаконно. Там мы сидели, нежно соединив руки поверх фокстерьера, изредка позвякивав-

---

<sup>53</sup> Скорого поезда (*фр.*).

<sup>54</sup> «Ах ты обезьянка» (*фр.*).

<sup>55</sup> «Туда, туда, скорее — в горы» (*фр.*).



шого бубенчиком у Колетт на коленях, и смотрели судорожный, мигающий черным дождиком по белизне, но чрезвычайно увлекательный фильм — бой быков в Сан-Себастьяне. Последний проблеск: губернёр уводит меня вдоль променада: его длинные ноги шагают с грозной целеустремленностью; мой девятилетний брат, которого он ведет другой рукою, то и дело забегает вперед и, подобный совенку в своих больших очках, вглядывается с ужасом и любопытством в невозмутимого преступника.

Среди безделушек, накупленных перед отъездом из Биаррица, я любил больше всего не бычка из черного камня, с золочеными рогами, и не ассортимент гулких раковин, а довольно символический, как теперь выясняется, предметик, — вырезную пенковую ручку с хрусталиком, вставленным в микроскопическое оконце на противоположном от пера конце. Если один глаз зажмурить, а другой приложить к хрусталику, да так, чтобы не мешал лучистый перелив собственных ресниц, то можно было увидеть в это волшебное отверстие цветную фотографию залива и скалы, увенчанной маяком. И вот тут-то, при этом сладчайшем содрогании Мнемозины, случается чудо: я снова пытаюсь вспомнить кличку фокстерьера, — и что же, заклинание действует! С дальнего того побережья, с гладко отсвечивающих вечерних песков прошлого, где каждый вдавленный пяткой Пятницы след заполняется водой и закатом, доносится, летит, отзываясь в звонком воздухе: Флосс, Флосс, Флосс!

По дороге в Россию мы остановились на один день в Париже, куда уже успела вернуться Колетт. Там в рыжем, уже надевшем перчатки парке, под холодной голубишной неба, верно по сговору между ее гувернанткой и нашим Максом, я видел Колетт в последний раз. Она явилась с обручем, и все в ней было изящно и ловко, в согласии с осенней парижской tenue-de-ville-filletes<sup>56</sup>. Она взяла из рук гувернантки и передала моему довольному брату прощальный подарок — коробку драже, облитого крашеным сахаром миндаля, который, конечно, предназначался мне одному; и тотчас же, едва взглянув на меня, побежала прочь, палочкой подгоняя по гравию свой сверкающий обруч сквозь пестрые пятна солнца, вокруг бассейна, набитого листьями, упавшими с каштанов и кленов. Эти листья смешиваются у меня в памяти с кожей ее башмаков и перчаток, и была, помнится, какая-то подробность

---

<sup>56</sup> Городской наряд для девочек (фр.).

в ней — ленточка, что ли, на ее шотландской шапочке, или узор на чулках, — похожая на радужные спирали внутри тех маленьких стеклянных шаров, коими иностранные дети играют в агатики. И вот теперь я стою и держу этот обрывок самоцветности, не совсем зная, куда его приложить, а между тем она обегает меня все шибче, катя свой волшебный обруч, и, наконец, растворяется в тонких тенях, падающих на парковый гравий от переплета проволочных дужек, которыми огорожены астры и газон.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### 1

Сейчас тут будут показывать волшебный фонарь, но сперва позвольте сделать небольшое вступление.

Я родился 10-го апреля 1899-го года по старому стилю в Петербурге, брат мой Сергей родился там же, 28-го февраля следующего года. При переходе нашем в отрочество англичанок и француженок постепенно стали вытеснять отечественные воспитатели и репетиторы, причем, нанимая их, отец как будто следовал остроумному плану выбирать каждый раз представителей другого сословия или племени.

Доисторическим элементом в этом списке был милейший Василий Мартынович, сельский учитель, приходивший знакомить нас с русской грамотой летом 1905-го года. Он помогает мне связать всю серию, ибо мое последнее воспоминание о нем относится к пасхальным каникулам 1915-го года, когда брат и я приехали заниматься лыжным спортом в оснеженную нашу Выру с отцом и с неким Волгиным, последним и худшим нашим гувернером. Добрый Василий Мартынович пригласил нас «закусить»; закуска оказалась настоящим пиршеством, им самим приготовленным, вплоть до великолепного, желтоватого сливочного мороженого, для производства которого у него был особый снаряд. Ярko возникают у меня в памяти лепные морщины его раскрасневшегося лба и прекрасно подделанное выражение удовольствия на лице у моего отца при появлении мясного блюда — жаренного в сметане зайца, — которого он не терпел. Комната Василия Мартыновича в каменном здании образцовой школы, выстроенной отцом, была жарко натоплена. Мои новые лыжные сапоги оказывались

по мере оттаивания не столь непромокаемыми, как предполагалось, и чувство сырости, сжимавшей щиколотки, неприятно совмещалось с теплом шерстяной рубашки. Глазами, еще слезившимися от ослепительного снега, я старался разобрать висевший на стене так называемый «типোগрафический» портрет Льва Толстого, то есть портрет, составленный из печатного текста, в данном случае «Хозяина и работника», целиком пошедшего на изображение автора, причем получилось разительное сходство с самим Василием Мартыновичем. Мы уже приступили к злосчастному зайцу, как распахнулась дверь, и запыхавшийся, заиндевелый, закутанный в бабий оренбургский платок, батовский слуга Христофор внес боком, с глупой улыбкой, большую корзину с торчащими бутылками и всякий снедь, которую бабушка, зимовавшая в своем Батове, по бестактности сочла нужным послать нам на тот случай, если бы Василий Мартынович нас недокормил. Раньше чем хозяин мог успеть обидеться, отец велел лакею ехать обратно с нераспакованной корзиной и краткой запиской по-французски, удивившей, вероятно, бабушку, как удивляли ее все поступки сына. В кружевных митенках, пышном шелковом пеньюаре, напудренная, с округленной под мушку черной родинкой на розовой щеке, она казалась стилизованной фигурой в небольшом историческом музее, и таким же экспонатом казалась ее голубая кушетка, на которой она лежала целый день, обмахиваясь веером из слоновой кости, поглощая круглые леденцы-бульдегомы и все сетуя о том, что некие темные силы, опутав любимейшего из ее сыновей, отвлекли его от блестящей чиновной карьеры. Особенно недоумевала она, как это мой отец, столь ценивший радости, доступные только при большом состоянии, может богатством рисковать, сделавшись либералом, то есть поборником революции, которая (как она совершенно правильно предугадала) должна в конце концов привести его к нищете.

## 2

Василий Мартынович был сыном плотника. Следующая картинка в моем волшебном фонаре изображает молодого человека, которого назову А, сына дьякона. На прогулках с братом и со мной, в холодноватое лето 1907-го года, он носил черный плащ с серебряной пряжкой у шеи. В лесных дебрях, на глухой тропе под тем деревом, где

когда-то повесился таинственный бродяга, А нас забавлял довольно кощунственным представлением. Изображая нечто демоническое, хлопая черными, вампировыми крыльями, он медленно кружился вокруг старой угрюмой осины, прямой участницы драмы. Как-то сырым утром, во время этой пляски плаща, он ненароком смахнул с собственного носа очки, и, помогая их искать, я нашел у подножья дерева самца и самку весьма редкого в наших краях амурского бражника, — чету только что вылупившихся, восхитительно бархатистых, лиловато-серых существ, мирно висевших *in sorula* с травяного стебля, за который они уцепились шеншилевыми лапками. Осенью того же года А поехал с нами в Биарриц и там же внезапно покинул нас, оставив на подушке вместе с прощальной запиской безопасную бритву «жиллет» раннего типа, большую новинку, которую мы ему подарили на именины. Со мною редко бывает, чтобы я не знал, какое воспоминание мое собственное, а какое только пропущено через меня и получено из вторых рук; тут я колеблюсь: многими годами позже моя мать, смеясь, рассказывала о пламенной любви, которую она нечаянно зажгла. Как будто припоминаю полуотворенную дверь в гостиную и там, посредине зеленого ковра, нашего А на коленях, чуть ли не ломающего руки перед моей оцепеневшей от удивления матерью; однако то обстоятельство, что я вижу сквозь жестикулящую бедняги взмах его романтического плаща, наводит меня на мысль, не пересадил ли я лесной танец в солнечную комнату нашей биаррицской квартиры, под окнами которой, в отделенном канатом углу площади, местный воздухоплаватель Sigismond Lejoyeux занимался надуванием огромного желтого шара.

Следующим нашим гувернером — зимой 1907-го года — был украинец, симпатичный человек с темными усами и светлой улыбкой. От тоже умел показывать штуки — например, чудный фокус с исчезновением монеты. Монета, положенная на лист бумаги, накрывается стаканом и мгновенно исчезает. Возьмите обыкновенный стакан. Аккуратно заклейте отверстие кружком клетчатой или линованной бумаги, вырезанной по его периферии. На такую же бумагу посреди стола положите двугривенный. Быстрым движением накройте монету приготовленным стаканом. При этом смотрите, чтобы клетки или полоски на бумажном листе и на стакане совпали. Иначе не будет иллюзии исчезновения. Совпадение узоров есть одно из чудес природы. Чудеса природы рано занимали меня. В один из

его выходных дней с бедным фокусником случился на улице сердечный припадок, и, найдя его лежащим на тротуаре, неразборчивая полиция посадила его в холодную с десятками пьяниц.

Следующая картинка кажется вставленной вверх ногами. На ней виден третий губернёр, стоящий на голове. Это был могучий латыш, который умел ходить на руках, поднимал высоко на воздух много мебели, играл огромными черными гирями и мог в одну секунду наполнить обыкновенную комнату запахом целой роты солдат. Ему иногда приходилось наказывать меня за ту или другую шалость (помню, например, как однажды, когда он спускался по лестнице, я с верхней площадки ловко уронил каменный шарик прямо на его привлекательную, необыкновенно твердую на вид и на звук голову); выбирая наказание, он пользовался не совсем обычным педагогическим приемом: весело предлагал, что мы оба натянем боевые перчатки и попрактикуемся в боксе, после чего он ужасными, обжигающими и потрясающими ударами в лицо, похотывая, парировал мой детский натиск и причинял мне невозможную боль. Хотя в общем я предпочитал эти неравные бои системе нашей бедной мадемуазель, для которой до судороги в кисти приходилось раз двести подряд переписывать штрафную фразу, вроде *Qui aime bien, châtie bien*<sup>57</sup>, я не очень горевал, когда остроумный атлет отбыл после недолгого, но бурного пребывания.

Затем был поляк. Он был студент-медик, из родовитой семьи, щеголь и красавец собой, с влажными карими глазами и густыми гладкими волосами, — несколько похожий на знаменитого в те годы комика Макса Линдера, в честь которого я тут и назову его. Макс продержался с 1908-го по 1910-й год. Помню, какое восхищение он вызвал во мне зимним утром в Петербурге, когда внезапное площадное волнение перебило течение нашей прогулки: казаки с глупыми и свирепыми лицами, размахивая чем-то, вероятно нагайками, напирали на толпу каких-то людей, сыпались шапки, чернелась на снегу галоша, и была минута, когда казалось, один из конных дураков направляется на нас. Вдруг, с ребяческим наслаждением, я заметил, что Макс наполовину вытащил из кармана револьвер, но всадник повернул в переулок. Менее интересным был другой перерыв в одной из наших прогулок, когда он нас повел знакомить со своим братом,

<sup>57</sup> Кто крепко любит, тот строго карает (*фр.*).

изможденным ксендзом, чьи тонкие руки рассеянно витали над нашими православными вихрами, пока он с Максом обсуждал по-польски не то политические, не то семейные дела. Макс носил шелковые сиреневые носки и, кажется, был атеистом. Летом в Выре он состязался с моим отцом в стрельбе, решетя пулями ржавую вывеску «Охота воспрещается», прибитую прадедом Рукавишниковым к стволу вековой ели. Предприимчивый, ловкий и крепкий Макс участвовал во всех наших играх, и потому мы удивлялись, когда в середине лета 1909-го года он что-то стал ссылаться на мигрень и общую *lassitude*<sup>58</sup>, отказываясь кидать со мною футбольный мяч или идти купаться на реку. Гораздо позже я узнал, что летом у него завязался роман с замужней дамой, жившей за несколько верст от нас; он вдруг оказался страстным собачником: то и дело в течение дня улучал минуту, чтобы посетить псарню, где кормил и улещивал сторожевых догов. Их спускали с цепи при наступлении ночи, и ему приходилось встречаться с ними под покровом темноты, когда он пробирался из дома в жасминовую и спирейную заросль, где его земляк, камердинер моего отца, припрятывал для него «дорожный» велосипед Дукс со всеми аксессуарами — карбидом для фонаря, звонками двух сортов, добавочным тормозом, насосом, треугольным кожаным футляром с инструментами и даже зажимчиками для призрачно-белых Максовых панталон. Обочинами проселочных дорог и горбатыми от поперечных корней лесными тропами отважный и пылкий Макс катил к далекому месту свидания — охотничьему павильону — по славной традиции светских измен. Его встречали на обратном пути студены туманы трезвого утра и четверка забывчивых псов, а уже около восьми мучительно начинался новый воспитательский день. Полагаю, что Макс не без некоторого облегчения покинул место своих еженощных подвигов, чтобы сопутствовать нам в нашей второй поездке в Биарриц. Там он взял двухдневный отпуск, чтобы совершить покаянное путешествие в священный Лурд, куда поехал, впрочем, в обществе смазливой и бойкой молодой ирландки, состоящей в гувернантках при моей маленькой пляжной подруге Колетт. Он перешел от нас на службу в одну из петербургских больниц, а позднее был, по слухам, известным врачом в Польше.

На смену католику явился лютеранин, притом еврей-

---

<sup>58</sup> Утомление (фр.).

ского происхождения. Назову его Ленским. Он с нами ездил в Германию в 1910-м году, после чего я поступил в Тенишевское училище, а брат — в Первую гимназию, и Ленский оставался помогать нам с уроками до 1913-го года. Он родился в бедной семье и охотно вспоминал, как между окончанием гимназии на юге и поступлением в Петербургский университет зарабатывал на жизнь тем, что украшал морскими видами плоские, отшлифованные волнами булыжники и продавал их как пресс-папье. Приехал он к нам с большим портретом петербургского педагога Гуревича, которого он весьма искусно, по волоску, нарисовал карандашом, но который почему-то отказался портрет приобрести, и портрет остался у нас висеть где-то в коридоре. «Я, конечно, импрессионист», — небрежно замечал Ленский, рассказывая это.

Меня, как начинающего художника, Ленский сразу поразил контрастом между довольно, в общем, стройным передом фигуры и толстоватой изнанкой. У него было розовое овальное лицо, миниатюрная рыжеватая бородка, точеный нос, ущемленный голым пенсне, светлые и тоже какие-то голые глаза, тонкие малиновые губы и бледно-голубая бритая голова со стыдливо пухлыми складками кожи на затылке. Он не сразу привык ко мне, и с огорчением я вспоминаю, как, вырвав у меня из рук «отвратительную карикатуру», он шагал, удаляясь, через комнаты вырского дома по направлению к веранде (являя мне именно то карпообразное очертание бокастого тела, которое я только что так верно нарисовал) и, бросив мою картинку на стол перед моей матерью, восклицал: «Вот последнее произведение вашего дегенеративного сына!»

Внедрение новых наставников всегда сопровождалось у нас скандалами, но в данном случае мы с братом очень скоро смирились, открыв три основных свойства в Ленском: он был превосходный учитель; он был лишен чувства юмора; и в тонкое отличие от всех своих предшественников, он нуждался в особой нашей защите. В 1910-м году мы как-то с ним шли по аллее в Киссингене, а впереди шли два раввина, жарко разговаривая на жаргоне, — и вдруг Ленский, с какой-то судорожной и жесткой торжественностью, озадачившей нас, проговорил: «Вслушайтесь, дети, они произносят имя вашего отца!» У нас в доме Ленский чувствовал себя в «нравственной безопасности» (как он выражался), только пока один из наших родителей присутствовал за обеденным столом. Но когда они были в отъезде, это чувство безопасности могло

быть мгновенно нарушено какой-нибудь выходкой со стороны любой из наших родственниц или случайного гостя. Для теток моих выступления отца против погромов и других мерзостей российской и мировой жизни были прихотью русского дворянина, забывшего своего царя, и я не раз подслушивал их речи насчет происхождения Ленского, происков кагала и попустительства моей матери, и, бывало, я грубил им за это, и, потрясенный собственной грубостью, рыдал в клозете. Отрадная чистота моих чувств если отчасти и была внушена слепым обожанием, с которым я относился к родителям, зато подтверждается тем, что Ленского я совершенно не любил. Было нечто крайне раздражительное в его горловом голосе, педантичной правильности слога, изысканной аккуратности, манере постоянно подравнивать свои мягкие ногти какой-то особой машиночкой. Он жаловался моей матери, что мы с братом — иностранцы, барчуки, снобы и патологически равнодушны к Гончарову, Григоровичу, Мамину-Сибиряку, которыми нормальные мальчики будто бы зачитываются. Добившись разрешения навязать нашему детскому быту более демократический строй, он в Берлине меня с братом перевел из Адлона в мрачный, буржуазный пансион Модерн на унылой Приватштрассе (притоке Потсдамской улицы), а изящные, устланные бобриком, лаково-зеркальные, полные воспоминаний детства, страстно любимые мной Норд-экспресс и Ориент-экспресс были заменены гнусно-грязными полами и сигарной вонью укачливых и громких шнельцугов или вялым уютом русских казенных вагонов, с какими-то половыми вместо кондукторов. В заграничных городах, как, впрочем, и в Петербурге, он замирал перед утилитарными витринами, нисколько не занимавшими нас. Собираясь жениться и не имея ничего, кроме жалованья, он с невероятно тщательным расчетом старался перебороть против него настроенную судьбу, когда планировал свой будущий обиход. Время от времени необдуманные порывы нарушали его бюджет. В этом педанте жил и мечтатель, и авантюрист, и антрепренер, и старомодный наивный идеалист. Заметив на Фридрихштрассе какую-то потаскуху, пожирающую глазами шляпу с пунцовым плерезом в окне модного магазина, он эту шляпу тут же ей купил — и долго не мог отделаться от потрясенной немки. В собственных приобретениях он действовал более осмотрительно. Сергей и я терпеливо выслушивали его подробные мечтания, когда он, бывало, расписывал каждый уголок в комфортабельной, хоть и скром-



ной квартире, которую он меблировал в уме для жены и себя. Однажды его блуждающая мечта сосредоточилась на дорогой люстре в магазине Александра на Невском, торговавшем безвкунейшими предметами буржуазной роскоши. Не желая, чтобы приказчик догадался, какой именно товар он обхаживает, Ленский сказал нам, что возьмет нас посмотреть на люстру, только если мы обещаем воздержаться от восклицаний восторга и слишком красноречивых взглядов. Со всевозможными предосторожностями и нарочито восхищаясь какой-то посторонней этажеркой, он подвел нас под ужасающего бронзового осьминога с гранатовыми глазами и только тогда мурлычащим вздохом дал нам понять, что это и есть облюбованная им вещь. С такими же предосторожностями, понижая голос, дабы не разбудить враждебного рока, он сказал, что познакомит нас в Берлине, куда выписал ее, со своей невестой. Мы увидели небольшую, изящную барышню в черном, с глазами газели под черной вуалькой, с букетом фиалок, припиленным к груди. Это было, помнится, перед аптекой на углу Потсдамер и Приватштрассе, и тихим голосом Ленский просил не сообщать нашим родителям о присутствии Мирры Григорьевны в Берлине, и человечек на механической рекламе в витрине без конца повторял у себя на картонной щеке по розовой дорожке, расчищенной от нарисованного мыла, движение бритвы, и с грохотом проносились трамваи, и уже шел снег.

### 3

Мы теперь подходим вплотную к теме этой главы. Зимой 1911 или 12-го года Ленскому взбрела в голову дикая фантазия: нанять (у нуждающегося приятеля, Бориса Наумовича) волшебный фонарь («с длиннофокусным конденсатором», повторяет, как попугай, Мнемозина) и раза два в месяц по воскресеньям устраивать у нас на Морской сеансы общеобразовательного характера, обильно оснащенные чтением отборных текстов, перед группой мальчиков и девочек. Он считал, что демонстрация этих картин не только будет иметь воспитательное значение для всей группы, но, в частности, научит брата и меня лучше уживаться с другими детьми. Преследуя эту страшную и невоплотимую мечту, он собрал вокруг нас (двух замерших зайчиков — тут я брату был брат) рекрутов раз-

ных разрядов: наших кузенов и кузин; малоинтересных сверстников, с которыми мы встречались на детских балах и светских елках; школьных наших товарищей; детей наших слуг. Обслуживал аппарат таинственный Борис Наумович, очень грустный на вид человек, которого Ленский звучно звал «коллега». Никогда не забуду первого «сенса». Послушник, сбежав из горного монастыря, бродит в рясе по кавказским скалам и осыпям. Как это обычно бывает у Лермонтова, в поэме сочетаются невыносимые прозаизмы с прелестнейшими словесными миражами. В ней семьсот с лишним строк, и это обилие стихов было распределено Ленским между всего лишь четырьмя стеклянными картинками (неловким движением я разбил пятую перед началом представления). По соображениям пожарного порядка выбрана была довольно большая комната, в углу которой находились ванна и котел с водой. Как театральная зала, она оказалась мала, и стулья пришлось тесно сдвинуть. Слева от меня сидела десятилетняя непоседа с длинными бледно-золотистыми волосами и нежным цветом лица, напоминающим розовый оттенок раковин; она сидела так близко, что я чувствовал верхнюю косточку ее бедра при каждом ее движении — она то теребила медальон, то продевала ладонь между затылком и дымом душистых волос, то со стуком соединяла колени под шуршащим шелком желтого чехла, просвечивающим сквозь кружево платья, и это возбуждало во мне ощущения, на которые Ленский не рассчитывал. Впрочем, она скоро пересела. Справа от меня находился сын отцовского камердинера, совершенно неподвижный мальчик в матроске; он необыкновенно походил на Наследника и, по необыкновенному совпадению, страдал тем же трагическим недугом, гемофилией, так что по несколько раз в год синяя придворная карета привозила к нашему подъезду знаменитого доктора и подолгу ждала под косым снегом, который все шел да шел, и, если зацепиться взглядом за снежинку, спускающуюся мимо окна, можно было разглядеть ее грубоватую, неправильную форму и даже колыхание при тихом полете.

Потух свет. Ленский тоном бытовика-резонера приступил к чтению:

Немного лет тому назад  
там, где, сливаясь, шумят,  
обнявшись, будто две сестры,  
струи Арагвы и Куры,  
был монастырь.

Монастырь послушно появился на простыне и застыл там в красочном, но тупом оцепенении (хоть бы один стриж пронесся над ним!) на протяжении двухсот строк, после чего был заменен приблизительной грузинкой, обремененной этнографическим сосудом. Всякий раз, как невъдимый коллега убирал — без спеха — пластинку из проектора, картина соскальзывала с экрана очень даже прытко, как если бы общее увеличение влияло не только на изображение гор и грузин, но и на скорость их скольжения при изъятии. Этим ограничивалось волшебство фонаря. Деликатным движением палочки Ленский обращал внимание недоброжелательных зрителей на чрезвычайно вульгарные горы, даже не принадлежавшие системе пленительных лермонтовских высот, которые

...в час утренней зари  
курились, как алтари,

и когда молодой монах стал рассказывать другому затворнику постарше о своей борьбе с барсом, кто-то в публике иронически зарычал. Чем дальше трусил голос по мужским рифмам монотонного ямба, тем яснее становилось, что некоторая часть аудитории втихомолку глумится над Ленским и что мне предстоит услышать потом немало насмешливых отзывов по поводу всей затеи. Мне было и совестно и ужасно жаль героического комментатора — его упорного бубнения, очерка острого профиля и толстого затылка, иногда вторгавшегося в область озаренного полотна, и особенно его нервной палочки, на которую, при неосторожном ее приближении к экрану, съезжали световые краски, притрагиваясь к ее кончику с холодной игривостью кошачьей лапки. К концу сеанса скука разрослась донельзя; нерасторопный Борис Наумович долго искал последнюю пластинку, смешав ее с «просмотренными», и пока Ленский терпеливо ждал в темноте, некоторые из мальчишек стали довольно святотатственно отбрасывать на пустой светлый экран черные тени поднятых рук, а спустя еще несколько секунд один неприятный озорник (неужели это был я — невзирая на всю чувствительность?) ухитрился показать силуэт ноги, что, конечно, сразу вызвало шумное подражание. Но вот — пластинка нашлась и вспыхнула на полотне, — и неожиданно мне было пять лет, а не двенадцать, ибо случайная комбинация красок мне напомнила, как во время одной из ранних зарубежных поездок экспресс, словно скрывшись от горной грозы, углубился в Сен-Готард-

ский туннель, а когда с облегченной переменной шума вышел оттуда, —

о, как сквозили в вышине  
в зелено-розовом огне,  
где радуга задела ель,  
скала и на скале газель!

#### 4

За этим представлением последовали другие, еще более ужасные. Меня томили, между прочим, смутные отзвуки некоторых семейных рассказов, относящихся к дедовским временам. В середине восьмидесятых годов Иван Васильевич Рукавишников, не найдя для сыновей школы по своему вкусу, нанял превосходных преподавателей и собрал с десятков мальчиков, которым он предложил несколько лет бесплатного обучения в своем доме на Адмиралтейской набережной. Предприятие не имело большого успеха. Не всегда бывали сговорчивы те знакомые его, чьи сыновья подходили, по его мнению, в товарищи его собственным, Василью (неврастенику, которого он тиранил) и Владимиру (даровитому отроку, любимцу семьи, которому предстояло в шестнадцать лет умереть от чахотки), а некоторые из тех мальчиков, которых ему удалось набрать (подчас даже платя деньги небогатым родителям), вскоре оказались питомцами неприемлемыми. С безотчетным отвращением я представлял себе Ивана Васильевича упрямо обследующим столичные гимназии и своими странными невеселыми глазами, столь знакомыми мне по фотографиям, выискивающим мальчиков, наиболее привлекательных по наружности среди первых учеников. По существу, рукавишниковские причуды ничем не походили на скромную затею Ленского, но случайная мысленная ассоциация побудила меня воспрепятствовать тому, чтобы Ленский продолжал являться на людях в глупом и навязчивом виде, и, после еще трех представлений («Медный всадник», «Дон-Кихот» и «Африка — страна Чудес»), мать сдалась на мои мольбы и, заработав свои сто или двести рублей, товарищ нашего добряка исчез со своим громоздким аппаратом навеки.

Однако я помню не только убожество, аляповатость, желатиновую несъедобность в зрительном плане этих картин на мокром полотне экрана (предполагалось, что влага делает их глаже); я помню и то, как прелестны

были самые пластинки, вне всякой мысли о фонаре и экране, — если просто поднимешь двумя пальцами такое драгоценное стеклянное чудо на свет, чтобы в частном порядке, и даже не совсем законно, в таинственной оптической тишине, насладиться прозрачной миниатюрой, карманным раем, удивительно ладными мирками, проникнутыми тихим светом чистейших красок. Гораздо позже я вновь открыл ту же отчетливую и молчаливую красоту на круглом сияющем дне волшебной шахты — лабораторного микроскопа. Арарат на стеклянной пластинке уменьшением своим разжигал фантазию; орган насекомого под микроскопом был увеличен ради холодного изучения. Мне думается, что в гамме мировых мер есть такая точка, где переходят одно в другое воображение и знание, точка, которая достигается уменьшением крупных вещей и увеличением малых, — точка искусства.

## 5

Ленский был человек разносторонний, сведущий, умеющий разъяснить решительно все, что касалось школьных уроков; тем более нас поражали его постоянные университетские неудачи. Причиной их была, вероятно, совершенная его бездарность в области финансовой и государственной, то есть именно в той области, которую он избрал для изучения. Помню, в какой лихорадке он находился накануне одного из самых важных экзаменов. Я беспокоился не меньше его и в порыве деятельного сострадания не мог удержаться от соблазна подслушать у двери, как по его же просьбе мой отец проверяет в виде репетиции к экзамену его знание «Принципов политической экономии» Charles Gide. Листая книгу, отец спрашивал, например: в чем заключается разница между банкнотами и бумажными деньгами? — и Ленский как-то ужасно предприимчиво и даже радостно прочищал горло, а затем погружался в полное молчание, как будто его не было. После нескольких таких вопросов прекратилось и это его бойкое покашливание, и паузы нарушались только легким постукиванием отцовских ногтей по столу, и только раз с отчаянием и надеждой страдалец воскликнул: «Владимир Дмитриевич, я протестую. Этого вопроса в книге нет». Но вопрос в книге был. И наконец отец закрыл ее почти беззвучно и проговорил: «Голубчик, вы не знаете ничего». «Разрешите мне быть другого мнения», — ответил Ленский

с достоинством. Сидя очень прямо, он выехал на нашем «бенце» в университет, оставался там долго, вернулся в извозничьих санях, весь сгорбленный, среди невероятной снежной бури, и в немом отчаянии поднялся к себе.

В конце своего пребывания у нас он женился и уехал в свадебное путешествие на Кавказ, в лермонтовские места, после чего вернулся к нам на одну зиму. В его отсутствие, летом 1913-го года, Monsieur Noyer, коренастый швейцарец с пушистыми усами, читал нам «Sugano de Bergeras», виртуозно меняя голос сообразно с персонажами. Когда он первый раз поехал с нами верхом, его лошадь споткнулась, и он через ее голову упал в куст, как на старомодной карикатуре. Сервируя в теннисе, он считал нужным стоять на самой линии, широко расставив толстые ноги в смятых парусиновых штанах, затем как-то приседал и ударял по подброшенному мячу со страшной силой, но ничего не получалось, — мяч попадал либо в сетку, либо в некошеное поле за решетчатой оградой, сквозь которую упорным полетом... — но об этих белых бабочках я уже писал.

Весной 1914-го года, когда Ленский нас окончательно покинул, к нам поступил тот Волгин, которого я уже упоминал, сын обедневшего симбирского помещика, молодой человек обворожительной наружности, с задушевыми интонациями и прекрасными манерами, но с душой пошляка и мерзавца. К этому времени я уже не нуждался в каком-либо надзоре, учебной же помощи он не мог мне оказать никакой, ибо был безнадежный неуч (проиграл мне, помню, великолепный кастет, побившись со мной об заклад, что письмо Татьяны начинается так: «Увидя почерк мой, вы, верно, удивитесь»), и все, что от него я получил (кроме кастета), были рассказы, которыми я сначала заслушивался, о его похождениях с женщинами — рассказы, вскоре сменившиеся неприличными сплетнями о нашей семье: он их добывал у одной моложавой нашей родственницы, на которой впоследствии женился. При Советах этот бархатный Волгин был комиссаром — и вскоре устроился так, чтобы сбить жену в Соловки. Не знаю, чем кончилась его карьера.

Но Ленского я не совсем потерял из вида. Еще когда он был с нами, он основал на где-то занятые деньги довольно фантастическое предприятие для скупки и эксплуатации разных необыкновенных патентов. Эти изобретения он не то чтобы выдавал за свои, но усыновлял с такой нежностью, что отцовство его бросалось всем в глаза, хотя

было основано на чувствах, а не на фактах. Однажды он с гордостью пригласил нас испробовать на нашем автомобиле «изобретенный» им новый тип мостовой, состоявшей из каких-то переплетенных металлических полосок: мы попробовали — и лопнула шина. В первую мировую войну он поставил армии пробную партию лошадиного корма в виде плоских серых галет; он всегда носил с собой образчик, небрежно грыз его и предлагал грызть друзьям. От этих галет многие лошади тяжело болели. Затем, в 1918 году, когда мы уже были в Крыму, он нам писал, предлагая щедрую денежную помощь. Не знаю, успел ли бы он ее оказать, ибо какое-то наследство, им полученное, он вложил в увеселительный парк на Черноморском побережье, со скетинг-ринком, музыкой, каскадами, гирляндами красных и зеленых лампочек, но тут накатились большевики и потушили иллюминацию, а Ленский бежал за границу и в двадцатых годах, по слухам, жил в большой бедности на Ривьере, зарабатывая на жизнь тем, что расписывал морскими видами белые булыжники. Не знаю, что было с ним потом. Несмотря на некоторые свои странности, это был в сущности очень чистый, порядочный человек, тяжеловесные «диктанты» которого я до сих пор помню: «Что за ложь, что в театре нет лож! Колоколотеищики переколотили выкарабкавшихся выхухолей».

## 6

Когда воображаю чередование этих учителей, меня не столько поражают те забавные перебои, которые они вносили в мою молодую жизнь, сколько устойчивость и гармоническая полнота этой жизни. Я с удовлетворением отмечаю высшее достижение Мнемозины: мастерство, с которым она соединяет разрозненные части основной мелодии, собирая и стягивая ландышевые стебельки нот, повисших там и сям по всей черновой партитуре былого. И мне нравится представить себе, при громком ликующем разрешении собранных звуков, сначала какую-то солнечную пятнистость, а затем, в проясняющемся фокусе, праздничный стол, накрытый в аллее. Там, в самом устье ее, у песчаной площадки вырской усадьбы, пили шоколад в дни летних именин и рождений. На скатерти та же игра светотени, как и на лицах, под движущейся легендарной листвой лип, дубов и кленов, одновременно увеличенных

до живописных размеров и уменьшенных до вместимости одного сердца, и управляет всем праздником дух вечного возвращения, который побуждает меня подбираться к этому столу (мы, призраки, так осторожны!) не со стороны дома, откуда сошлись к нему остальные, а извне, из глубины парка, точно мечта, для того чтобы иметь право вернуться, должна подойти босиком, беззвучными шагами блудного сына, изнемогающего от волнения. Сквозь трепетную призму я различаю лица домочадцев и родственников, двигаются беззвучные уста, беззаботно произносятся забытые речи. Мреет пар над шоколадом, синим блеском отливают тарталетки с черничным вареньем. Крылатое семя спускается, как маленький вертолет, с дерева на скатерть, и через скатерть легла, бирюзовыми жилками внутренней стороны к переливчатому солнцу, голая рука девочки, лениво вытянувшаяся с раскрытой ладонью в ожидании чего-то — быть может, щипцов для орехов. На том месте, где сидит очередной гувернер, вижу лишь текучий, неясный, переменный образ, пульсирующий вместе с меняющимися тенями листвы. Вглядываюсь еще, и краски находят себе очертания, и очертания приходят в движение, точно по включении волшебного тока, врываются звуки: голоса, говорящие вместе, треск расколотаго ореха, полушаг небрежно переданных щипцов. Шумят на вечном вырском ветру старые деревья, громко поют птицы, а из-за реки доносится нестройный и восторженный гам купающейся деревенской молодежи, как дикие звуки растущих оаций.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### 1

Мне было одиннадцать лет, когда отец решил, что получаемое мною домашнее образование может с пользой пополняться школой. В январе 1911-го года я поступил в третий семестр Тенишевского училища: семестров было всего шестнадцать, так что третий соответствовал первой половине второго класса гимназии.

Учебный год длился с начала сентября до первой трети мая, с обычными праздничными перерывами, во время которых гигантская елка касалась своей нежной звездой



высокого, бледно-зелеными облаками расписанного потолка в одной из нижних зал нашего дома, или же сваренное вкрутую яйцо опускалось с овальным звуком в дымящуюся фиолетовую хлябь.

Когда камердинер, Иван Первый (затем забранный в солдаты) или Иван Второй (додержавшийся до тех времен, когда я его посылал с романтическими поручениями), будил меня, смуглая мгла еще стояла за окнами, жужжало в ушах, поташнивало, и электрический свет в спальне резал глаза мрачным йодистым блеском. За какие-нибудь полчаса надобно было подготовить скрытый накануне от репетитора урок (о, счастливое время, когда я мог сфотографировать мозгом десять страниц в столько же минут!), выкупаться, одеться, побрекфастать. Таким образом, утра мои были скомканы, и пришлось временно отменить уроки бокса и фехтованья с удивительно гуттаперчевым французом Лустало. Он продолжал приходить почти ежедневно, чтобы боксировать и биться на рапирах с моим отцом, и, проглотив чашку какао в столовой на нижнем этаже, я оттуда кидался, уже надевая пальто, через зеленую залу (где мандаринами и бором пахло так долго после Рождества), по направлению к «библиотечной», откуда доносились топот и шарканье. Там я находил отца, высокого, плотно сложенного человека, казавшегося еще крупнее в своем белом стеганом тренировочном костюме и черной выпуклой решетчатой маске: он необыкновенно мощно фехтовал, передвигаясь то вперед, то назад по наканифленному линолеуму, и возгласы проворного его противника — «Battez!», «Rompez!»<sup>59</sup> — смешивались с лязгом рапиры. Попыхивая, отец снимал маску с потного розового лица, чтобы поцеловать меня. В этой части обширной библиотеки приятно совмещались науки и спорт: кожа переплетов и кожа боксовых перчаток. Глубокие клубные кресла с толстыми сиденьями стояли там и сям вдоль книгами выложенных стен. В одном конце поблескивали штанги выписанного из Англии пунчинг-бола, — эти четыре штанги подпирали крышеобразную лакированную доску, с которой висел большой, грушевидный, туго надутый кожаный мешок для боксовых упражнений; при известной сноровке, можно было так по нему бить, чтобы производить пулеметное «ра-та-та-та» об доску, и однажды в 1917 году этот подозрительный звук привлек через сплошное окно ватагу до зубов вооруженных уличных бой-

---

<sup>59</sup> Фехтовальные термины (фр.).

цов, тут же удостоверившихся, впрочем, что я не урядник в засаде. Когда в ноябре этого пулеметного года (которым, по-видимому, кончилась навсегда Россия, как в свое время кончились Афины или Рим) мы покинули Петербург, отцовская библиотека распалась, кое-что ушло на папиросную завертку, а некоторые довольно странные остаточки и бездомные тени появлялись, — как на спиритическом сеансе, — за границей. Так, в двадцатых годах, найденный с нашим экслибрисом подвернулся мне на уличном лотке в Берлине, причем довольно кстати это оказалось «Войной миров» Уэллса. Прошли еще годы — и вот держу в руках обнаруженный в Нью-йоркской публичной библиотеке экземпляр каталога отцовских книг, который был отпечатан еще тогда, когда они стояли, плотные и полнокровные, на дубовых полках, и застенчивая старуха-библиотекарша в пенсне работала над картотекой в неприметном углу. Он снова надевал маску, и возобновлялись топ, выпад и стрепет. Я же спешил обратно тем же путем, что пришел, словно репетируя сегодняшнее посещение. После густого тепла вестибюля, где за тяжелой решеткой, которую одной рукой мог поднять здоровенный сынок швейцара, трещали в камине березовые дрова, наружный мороз ледяной рукой сжимал легкие. Прежде всего я смотрел, который из двух автомобилей, «бенц» или «уользлей», подан, чтобы мчать меня в школу. Первый из них состоял под управлением кроткого бледнолицего шофера Волкова; это был мышиноного цвета ландолет. (А. Ф. Керенский просил его впоследствии для бегства из Зимнего дворца, но отец объяснил, что машина и слаба и стара и едва ли годится для исторических поездок, — не то что дивный рыдван пращурки, одолженный Людовику для бегства в Варенн.) По сравнению с бесшумной электрической каретой, ему предшествовавшей, очерк этого «бенца» поражал своей динамичностью, но, в свою очередь, стал казаться старомодным и косно квадратным, как только новый длинный черный английский лимузин «роллс-ройсовых» кровей стал делить с ним гараж во дворе дома.

Начать день поездкой в новой машине значило начать его хорошо. Пирогов, второй шофер, был довольно независимый толстячок, покинувший царскую службу оттого, что не захотел быть ответственным за какой-то не нравившийся ему мотор. К рыжеватой комплекции пухлого Пирогова очень шла лисья шубка, надетая поверх его вельветиновой формы, и бутылообразные оранжевые краги. Если задержалка в уличном движении заставляла этого коротыша не-

ожиданно затормозить — упруго упереться в педали, — его затылок, отделенный от меня стеклом перегородки, наливался кровью, что, впрочем, случалось и тогда, когда, пытаюсь ему что-нибудь передать при помощи не очень разговорчивого рупора, Я сжимал писклявую, бледно-серой материей и сеткой обтянутую грушу, сообщавшуюся с бледно-серым шнуром, ведущим к нему. Этой драгоценной городской машине он откровенно предпочитал красный, с красными кожаными сиденьями, «торпедо-опель» которым мы пользовались в деревне; на нем он возил нас по Варшавскому шоссе, открыв глушитель, со скоростью семидесяти километров в час, что тогда казалось упоительным, и как гремел ветер, как пахли прибитая дождем пыль и темная зелень полей, — а теперь мой сын, гарвардский студент, небрежно делает столько же в полчаса, запросто катя из Бостона в Альберту, Калифорнию или Мексику. Когда в 1915-м году Пирогова призвали, его заменил корявый, кривоногий, черный, с каким-то диким выражением желтых глаз, Цыганов, бывший гонщик, участвовавший в международных состязаниях и сломавший себе три ребра в Бельгии. Летом или осенью 1917 года он решил, несмотря на энергичные протесты отца, спасти страстно полюбившийся ему «уользлей» от возможной конфискации, для чего разобрал его на части, а части попрятал в различные, одному ему известные места, и, вероятно, был бы привлечен моим отцом к суду, если бы не помешали более важные события. Не знаю почему, но на петербургских торцах снег и гололедица не мешали так езде, как, скажем, в асфальтированном Бостоне сорок лет спустя, — на параллели Неаполя и при гораздо более совершенных машинах. Не помню, чтобы когда-либо погода помешала мне доехать до училища всего в несколько минут. Наш розовый гранитный особняк был № 47 на Большой Морской. За ним следовал дом Огинского (№ 45). Затем шли итальянское посольство (№ 43), немецкое посольство (№ 41) и обширная Мариинская площадь, после которой номера домов продолжали понижаться по направлению к Дворцовой площади. Слева от Мариинской площади, между ней и великолепным, но приедающимся Исаакием, был сквер, там однажды нашли в листве невиннейшей липы ухо террориста, павшего при неряшливой до легкомыслия перепаковке смертоносного свертка в снятой им комнате недалеко от площади. Те же самые деревья (филигранный серебряный узор над горкой, с которой мы громко скатывались ничком на плоских санках в детстве) были

свидетелями того, как конные жандармы, укрощавшие первую революцию, сбивали удалыми выстрелами, точно хлопая по воробьям, ребяташек, вскарабкавшихся на ветки.

Повернув на Невский, автомобиль минут пять ехал по нему, и как весело бывало без усилия обгонять самых быстрых и храпливых коней, — какого-нибудь закутанного в шинель гвардейца в легких санях, запряженных парой вороных под синей сеткой. Мы сворачивали влево по улице с прелестным названием Караванная, навсегда связанной у меня с магазином игрушек Пето и с цирком Чинизелли, из круглой кремовой стены которого выпрастывались каменные лошадиные головы. Наконец за каналом мы сворачивали на Моховую и там останавливались у ворот училища. Перепрыгнув через подворотню, я бежал по туннельному проходу и пересекал широкий двор к дверям школы.

### 3<sup>60</sup>

Став одним из лидеров Конституционно-демократической партии, мой отец тем самым презрительно отверг все те чины, которые так обильно шли его предкам. На каком-то банкете он отказался поднять бокал за здоровье монарха — и преспокойно поместил в газетах объявление о продаже придворного мундира. Училище, в которое он меня определил, было подчеркнуто передовое. Как мне пришлось более подробно объяснить в американском издании этой книги, классовые и религиозные различия в Тенишевском училище отсутствовали, ученики формы не носили, в старших семестрах преподавались такие штуки, как законоведение, и по мере сил поощрялся всякий спорт. За вычетом этих особенностей, Тенишевское не отличалось ничем от всех прочих школ мира. Как во всех школах мира (да будет мне позволено подделаться тут под толстовский дидактический говорок), ученики терпели некоторых учителей, а других ненавидели. Как во всех школах, между мальчиками происходил постоянный обмен непристойных острот и физиологических сведений; и как во всех школах, не полагалось слишком выделяться. Я был превосходным спортсменом; учился без особых потуг, балансируя между настроением и необходимостью; не отдавал школе ни одной крупницы души, сберегая все свои

---

<sup>60</sup> В американском издании после 1-й части идет часть 3.

силы для домашних отряд, — *своих* игр, *своих* увлечений и причуд, *своих* бабочек, *своих* любимых книг, — и в общем не очень бы страдал в школе, если бы дирекция только поменьше заботилась о спасении моей гражданской души. Меня обвиняли в нежелании «приобщиться к среде», в надменном щегольстве французскими и английскими выражениями (которые попадали в мои русские сочинения только потому, что я валял первое, что приходило на язык), в категорическом отказе пользоваться отвратительно мокрым полотенцем и общим розовым мылом в умывальной, в том, что я брезговал захватанным серым хлебом и чуждым мне чаем, и в том, что при драках я пользовался по-английски наружными костяшками кулака, а не нижней его стороной. Один из наиболее общественно настроенных школьных наставников, плохо разбиравшийся в многостранных играх, хотя весьма одобрявший их группово-социальное значение, пристал ко мне однажды с вопросом, почему, играя в футбол, я (страстно ушедший в голкиперство, как иной уходит в суровое подвижничество) все стою где-то «на задворках», а не бегаю с другими ребятами. Особой причиной раздражения было еще то, что шофер «в ливрее» привозит «барчука» на автомобиле, между тем как большинство хороших тенишевцев пользуется трамваем. Наибольшее негодование возбуждало то, что уже тогда я испытывал непреодолимое отвращение ко всяким группировкам, союзам, объединениям, обществам. Помню, в какое бешенство приходил темпераментный В. В. Гиппиус, один из столпов училища, довольно необыкновенный рыжеволосый человек с острым плечом (тайный автор замечательных стихов), оттого что я решительно отказывался участвовать в каких-то кружках, где избиралось «правление» и читались исторические рефераты, а впоследствии происходили даже дискуссии на политические темы. Напряженное положение, создавшееся вследствие моего сопротивления этой скуке, этим бесплатным добавлениям к школьному дню, усугублялось тем, что мои общественно настроенные наставники — несомненно, прекраснейшие благонамеренные люди — с каким-то изуверским упорством ставили мне в пример деятельность моего отца.

Эту деятельность я воспринимал, как часто бывает с детьми знаменитых отцов, сквозь привычные семейные призмы, недоступные посторонним, причем в отношении моем к отцу было много разных оттенков, — безоговорочная, как бы беспредметная, гордость, и нежная снисхо-

дительность, и тонкий учет мельчайших личных его особенностей, и обтекающее душу чувство, что вот, независимо от его занятий (пишет ли он передовицу-звезду для «Речи», работает ли по своей специальности криминалиста, выступает ли как политический оратор, участвует ли в своих бесконечных собраниях), мы с ним всегда в заговоре, и посреди любого из этих внешне чуждых мне занятий он может мне подать — да и подавал — тайный знак своей принадлежности к богатейшему «детскому» миру, где я с ним связан был тем же таинственным ровесничеством, каким тогда был связан с матерью или как сегодня связан с сыном.

Заседания часто происходили у нас в доме, и о том, что такое заседание должно было состояться, всегда говорило доносившееся из швейцарской жужжанье особого снаряда, несколько похожего на зингеровскую машину, с колесом, которое за ручку вращал швейцар Устин, занимаясь бесконечной очинкой «комитетских» карандашей. Этот не раз мной упомянутый Устин казался — как столь многие члены нашей многочисленной челяди — примерным старым слугой, балагуром и добряком; женат он был на толстой эстонке, которая с пресмешным отрывистым шипом звала его из подвальной квартирки («Устя! Устя!»), откуда тепло пахло курицей. Но, по-видимому, постоянная нудная работа над этими красивыми карандашами незаметным образом повлияла на его нрав, до того его внутренне озлобив, что он, как впоследствии выяснилось, поступил на службу в тайную полицию и состоял в прибыльном контакте с безобидными, но надоедливими шпионами, всегда вертевшимися в соседстве нашего дома.

Около восьми вечера в распоряжении Устина поступали многочисленные галоши и шубы. Похожий несколько на Теодора Рузвельта, но в более розовых тонах, появлялся Милюков в своем целлулоидовом воротничке. И. В. Гессен, потирая руки и слегка наклонив набок умную лысую голову, вглядывался сквозь очки в присутствующих. А. И. Каминка, с иссиня-черными зачесанными волосами и выражением предупредительного испуга в подвижных, круглых карих глазах, уже что-то жарко доказывал однопартийцу. Постепенно переходили в комитетскую, рядом с библиотекой. Там, на темно-красном сукне длинного стола, были разложены стройные карандаши, блестяли стаканы, толпились на полках переплетенные журналы и стучали маятником высокие часы с вестминстерскими курантами. За этим помещением были сложные лабирин-

ты, сообщавшиеся с какими-то чуланами и другими дебрями, куда, бывало, надолго уходил страдавший животом Лустало и где, во время игр с двоюродным братом, Юриком Раушем, я добирался до Техаса, — и там однажды, по случаю какого-то особого заседания, полиция поместила удивительно нерасторопного агента, толстого, тихого, подслеповатого господина, в общем довольно приличного вида, который будучи обнаружен, неторопливо и тяжело опустился на колени перед старой нашей библиотечаршей, Людмилой Абрамовной Гринберг. Интересно, как бы я мог делиться всем этим с моими школьными товарищами и учителями.

#### 4

Реакционная печать беспрестанно нападала на кадетов, и моя мать, с беспристрастностью ученого коллекционера, собирала в альбом образцы бесталанного русского карикатурного искусства (прямого исчадья немецкого). На них мой отец изображался с подчеркнута «барской» физиономией, с подстриженными «по-английски» усами, с бобриком, переходившим в плешь, с полными щеками, на одной из которых была родинка, и с «набоковскими» (в генетическом смысле) бровями, решительно идущими вверх от переносицы римского носа, но теряющими на полпути всякий след растительности. Помню одну карикатуру, на которой от него и от многозубого котоусого Милюкова благодарное мировое еврейство (нос и бриллианты) принимает блюдо с хлеб-солью — матушку-Россию. Однажды (года точно не помню, вероятно 1911 или 1912-й) «Новое время» заказало какому-то проходимцу оскорбительную для отца статью. Так как ее автор (некто Снесарев, если память мне не изменяет) был личностью недугеспособной, мой отец вызвал на дуэль редактора газеты Алексея Суворина, человека, вероятно, несколько более приемлемого в этом смысле. Переговоры длились несколько дней; я ничего не знал, но однажды в классе заметил, что какой-то открытый на определенной странице журнальчик ходит по рукам и вызывает смешки. Я перехватил его: журнальчик оказался площадным еженедельником, где в кафешантаннх стишках расписывалась история вызова со всякими комментариями; из них я между прочим узнал, что в секунданты отец пригласил своего зятя, адмирала Коломейцева, героя японской войны: в Цусимском сраже-

нии капитану второго ранга Коломейцеву, командовавшему миноносцем, удалось пришвартоваться к горящему флагманскому броненосцу и снять с него начальника эскадры, раненного в голову адмирала Рожественского, которого лично мой дядя не терпел. По окончании урока я установил, что журнальчик был принесен одним из моих лучших друзей. Я обвинил его в предательстве. В последовавшей драке он, упав навзничь на парту, зацепился ногой обо что-то. У него треснула щиколотка, после чего он пролежал в постели несколько недель, причем благородно скрыл и от семьи и от школьных учителей мое участие в деле.

К ужасным чувствам, возбужденным во мне журнальчиком, болезненно примешивался образ бедного моего товарища, которого, как труп, нес вниз по лестнице другой товарищ, силач Попов, гориллообразный, бритоголовый, грязный, но довольно добродушный мужчина-гимназист, — с ним даже боксом нельзя было совладать, — который ежегодно «оставался», так что, вероятно, вся школа, класс за классом, прозрачно прошла бы через него, если бы в четырнадцатом году он не убежал на фронт, откуда вернулся гусаром. Как назло, в тот день автомобиль за мной не приехал, пришлось взять извозчика, и во время непривычного, невероятно медленного унылого и холодного путешествия с Моховой на Морскую я многое успел передумать. Я теперь понимал, почему накануне мать не спустилась к обеду и почему уже третье утро приходил Тернан, фехтовальщик-тренер, считавшийся еще лучше, чем Лустало. Это не значило, что выбор оружия был решен, — и я мучительно колебался между клинком и пулей. Мое воображение осторожно брало столь любимую, столь жарко дышащую жизнью фигуру фехтующего отца и переносило ее, за вычетом маски и защитной байки, в какой-нибудь сарай или манеж, где зимой дрались на шпажных дуэлях, и вот я уже видел отца и его противника в черных штанах, с обнаженными торсами, яростно бьющимися, — видел даже и тот оттенок энергичной неуклюжести, которой элегантнейший фехтовальщик не может избежать в настоящем поединке. Этот образ был так отвратителен, так живо представлял я себе спелую наготу бешено пульсирующего сердца, которое вот-вот проткнет шпага, что мне на мгновение захотелось, чтобы выбор пал на более механическое оружие. Но тотчас же мое отчаяние еще усилилось.

Пока сани, в которых я горбился, ползли толчками по



Невскому, где в морозном тумане уже зажглись расплывчатые огни, я думал об увесистом черном браунинге, который отец держал в правом верхнем ящике письменного стола. Этот обольстительный предмет, к которому как на поклон я водил Юрика Рауша, был так же знаком мне, как остальные, более очевидные, украшения кабинета: модный в те дни брик-а-брак из хрусталя или камня; многочисленные семейные фотографии; огромный, мягко освещенный Перуджино; небольшие отливающие медвяным блеском под своими собственными лампочками голландские полотна; цветы и бронза; и, прямо за чернильницей огромного письменного стола, приделанный к его горизонту, розовато-дымчатый пастельный портрет моей матери работы Бакста: художник написал ее вполоборота, изумительно передав нежные черты, высокий зачес пепельных волос, сизую голубизну глаз, округлый очерк лба, изящную линию шеи. Но когда я просил дряхлого, похожего на тряпичную куклу возницу ехать скорее, я наткнулся на сложный, сонный обман: старик привычным полувзмахом руки обманывал лошадь, показывая, будто собирается вытащить кнутышко из голенища правого валенка, а лошадь обманывала его тем, что, тряхнув головой, притворялась, что ускоряет трусцу. Я же в снежном оцепенении, в которое меня привела эта тихая езда, переживал все знаменитые дуэли, столь хорошо знакомые русскому мальчику. Грибоедов показывал свою окровавленную руку Якубовичу. Пистолет Пушкина падал дулом в снег. Лермонтов под грозовой тучей улыбался Мартынову. Я даже воображал, да простит мне Бог, ту бездарнейшую картину бездарного Репина, на который сорокалетний Онегин целится в кучерявого Собинова. Кажется, нет ни одного русского автора, который не описал бы этих английских дуэлей *à volonté*<sup>61</sup>, и покамест мой дремотный ванька сворачивал на Морскую и полз по ней, в туманном моем мозгу, как в магическом кристалле, силуэты дуэлянтов сходились — в рощах старинных поместий, на Волковом поле, за Черной Речкой на белом снегу. И, как бы промеж этих наносных образов, бездной зияла моя нежная любовь к отцу — гармония наших отношений, теннис, велосипедные прогулки, бабочки, шахматные задачи, Пушкин, Шекспир, Флобер и тот повседневный обмен скрытыми от других семейными шутками, которые составляют тайный шифр счастливых семей.

---

<sup>61</sup> Дуэль со стрельбой не по команде (фр.).

Предоставив Устину заплатить рупь извозчику, я кинулся в дом. Уже в парадной донеслись до меня сверху громкие веселые голоса. Как в нарочитом апофеозе, в сказочном мире все разрешающих совпадений, Николай Николаевич Коломейцев в своих морских регалиях спускался по мраморной лестнице. С площадки второго этажа, где безрукая Венера высилась над малахитовой чашей для визитных карточек, мои родители еще говорили с ним, и он, спускаясь, со смехом оглядывался на них и хлопал перчаткой по балюстраде. Я сразу понял, что дуэли не будет, что противник извинился, что мир мой цел. Минувя дядю, я бросился вверх на площадку. Я увидел спокойное всегдашнее лицо матери, но взглянуть на отца я не мог. Мне удалось, в виде психологического алиби, пролепетать что-то о драке в школе, но тут мое сердце поднялось, — поднялось, как на зыби поднялся «Буйный», когда его палуба на мгновенье сровнялась со срезом «Князя Суворова», и у меня не было носового платка.

Все это было давно, — задолго до той ночи в 1922 году, когда в берлинском лекционном зале мой отец заслонил Милюкова от пули двух темных негодяев и, пока боксовым ударом сбивал с ног одного из них, был другим смертельно ранен выстрелом в спину; но ни тени от этого будущего не падало на нарядно озаренную лестницу петербургского дома, и, как всегда, спокойна была большая прохладная ладонь, легшая мне на голову, и несколько линий игры в сложной шахматной композиции не были еще слиты в этюд на доске.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### 1

Как известно, книги капитана Майн Рида (1818—1883), в упрощенных переводах, были излюбленным чтением русских мальчиков и после того, как давно увяла его американская и англо-ирландская слава. Владея английским с колыбельных дней, я мог наслаждаться «Безглавым всадником» (перевожу точно) в несокращенном и довольно многословном оригинале. Двое друзей обмениваются одеждами, шляпами, конями, и злодей ошибается жертвой — вот главный завиток сложной фабулы. Бывшее у меня издание (вероятно, лондонское) осталось стоять на

полке памяти в виде пухлой книги в красном коленкоровом переплете, с водянисто-серой заглавной картинкой, глянец которой был сначала подернут дымкой папиросной бумаги, предохранявшей ее от неизвестных посягательств. Я помню постепенную гибель этого защитного листика, который сперва начал складываться неправильно, по уродливой диагонали, а затем изорвался; самую же картинку, как бы выгоревшую от солнца жаркого отроческого воображения, я вспомнить не могу: верно, на ней изображался несчастный брат Луизы Пойндекстер, два-три койота, кактусы, колючий мескит, — и вот, вместо той картины, вижу в окно ранчо всамделишную юго-западную пустыню с кактусами, слышу утренний, нежно-жалобный крик венценосной Гамбелевой куропаточки и преисполняюсь чувством каких-то небывалых свершений и наград.

Из Варшавы, где его отец, барон Рауш фон Траубенберг, был генерал-губернатором, мой двоюродный брат Юрий приезжал гостить летом в наше петербургское имение, и с ним-то я играл в общеизвестные майнридовские игры. Сначала для наших лесных поединков мы пользовались пружинными пистолетами, стреляющими с порядочной силой палочками длиной с карандаш, причем для пущей резвости мы сдирали с металлического кончика резиновую присоску; позднее же мы перешли на духовые ружья разнообразных систем и били друг в друга из них маленькими стальными ярко оперенными стрелами, производившими неглубокие, но чувствительные ранки, если попадали в щеку или руку. Читатель легко может себе представить все те забавы, которые два самолюбивых мальчика могли придумать, пытаясь перещеголять друг друга в смелости; раз мы переправились через реку у лесопилки, прыгая с одного плавучего бревна на другое; все это скользило, вертелось под ногами, и черно синела глубокая вода, и это для меня не представляло большой опасности, так как я хорошо плавал, между тем как не отстававший от меня Юрик плавать совершенно не умел, скрыл это и едва не утонул в двух сажнях от берега.

Летом 1917 года, уже юношами, мы забавлялись тем, что каждый по очереди ложился навзничь на землю под низкую доску качелей, на которых другой мощно реял, проскальзывая над самым носом лежащего, и покусывали в затылок муравьи, а через полтора года он пал во время конной атаки в крымской степи, и его мертвое тело привезли в Ялту хоронить: весь перед черепа был сдвинут

назад силой пяти пуль, убивших его наповал, когда он один поскакал на красный пулемет. Может быть, я невольно подгоняю прошлое под известную стилизацию, но мне сдается теперь, что мой так рано погибший товарищ, в сущности, не успел выйти из воинственно-романтической майнридовой грезы, которая поглощала его настолько полнее, чем меня, во время наших не таких уже частых и не очень долгих летних встреч.

## 2

Недавно в библиотеке американского университета я достал этого самого «The Headless Horseman», в столетнем, очень непривлекательном издании без всяких иллюстраций. Теперь читать это подряд невозможно, но проблески таланта есть, и намечается местами даже какая-то гоголевская красочность. Возьмем для примера описание бара в бревенчатом тexasском отеле пятидесятых годов. Франт-бармен, без сюртука, в атласном жилете, в рубашке с рюшами, описан очень живо, и ярусы цветных графинов, среди которых «антикварно тикают» голландские часы, «кажутся радугой, блистающей за его плечами, и как бы венчиком окружают его надушенную голову» (очень ранний Гоголь, конечно). «Из стекла в стекло переходят и лед, и вино, и мононгахила (сорт виски)». Запах мускуса, абсента и лимонной корки наполняет таверну, а резкий свет «канфиновых ламп подчеркивает темные астериски, произведенные экспекторацией (плевками) на белом песке, которым усыпан пол». Лет девяносто спустя, а именно в 1941-м году, я собирал в тех местах, где-то к югу от Далласа, баснословной весенней ночью, замечательных совок и пядениц у неоновых огней бессонного гаража.

В бар входит злодей, «рабосекущий миссисипец», бывший капитан волонтеров, мрачный красавец и бретер Кассий Калхун. Он провозглашает грубый тост — «Америка для американцев, а проклятых ирландцев долой!», причем нарочно толкает героя нашего романа, Мориса Джеральда, молодого укротителя мустангов в бархатных панталонах и пунцовом нашейном шарфе: он, впрочем, был не только скромный коноторговец, а, как выясняется впоследствии к сугубому восхищению Луизы, баронет — сэр Морис. Не знаю, может быть, именно этот британский шик и был причиной того, что столь быстренько закатилась

слава нашего романиста-ирландца в Америке, его второй родине.

Немедленно после толчка Морис совершает ряд действий в следующем порядке:

Ставит свой стакан с виски на стойку.

Вынимает шелковый платок (актер не должен спешить).

Оттирает им с вышитой груди рубашки осквернившее ее виски.

Перекладывает платок из правой руки в левую.

Опять берет стакан со стойки.

Выхлестывает остаток виски в лицо Калхуну.

Спокойно ставит опять стакан на стойку.

Эту художественную серию действий я недаром помню так точно: много раз мы разыгрывали ее с двоюродным братом.

Дуэль на шестизарядных кольцах (нам приходилось их заменять револьверами с восковыми пульками в барабанах) состоялась тут же в опустевшей таверне. Несмотря на интерес, возбуждаемый поединком («оба были ранены... кровь прыскала на песок пола»), уже в десять лет, а то и раньше, что-то неудержимо побуждало меня покинуть таверну, с ее уже ползшими на четвереньках дуэлянтами, и смешаться с затихшей перед таверной толпой, чтобы поближе рассмотреть «в душистом сумраке» неких глухо и соблазнительно упомянутых автором «сеньорит сомнительного звания». Еще с большим волнением читал я о Луизе Пойндекстер, белокурой кузине Калхуна и будущей лэди Джеральд, дочке сахарного плантатора. Эта прекрасная, незабвенная девица, почти креолка, является перед нами томимая муками ревности, хорошо известной мне по детским балам в Петербурге, когда какая-нибудь безумно любимая девочка с белым бантом почему-то вдруг начинала не замечать меня. Итак, Луиза стоит на плоской кровле своего дома, опершись белой рукой на каменный парапет, еще влажный от ночных рос, и чета ее груди (так и написано — «twin breasts») поднимается и опускается, а лорнет направлен — этот лорнет я впоследствии нашел у Эммы Бовари, а потом его держала Анна Каренина, от которой он перешел к Даме с собачкой и был ею потерян на ялтинском молу. Ревнивой Луизой он был направлен в пятнистую тень под мескитами, где тайно любимый ею всадник вел беседу с не нравившейся ни мне, ни ему амазонкой, донной Айсидорой Коваруббио де Лос Ланос, дочкой местного помещика. Автор довольно противно сравни-

вал эту преувеличенную брюнетку с «хорошеньким, усатеньким молодым человеком», а ее шеверлюру с «пышным хвостом дикого коня».

«Мне как-то случилось, — объяснил Морис Луизе, тайно любимой им всаднице, — оказать донне Айсидоре небольшую услугу, а именно избавить ее от шайки дерзких индейцев». «Небольшую услугу! — воскликнула Луиза. — Да знаете ли вы, что, кабы мужчина оказал мне такую услугу...» — «Чем же вы бы его наградили?» — спросил Морис с простительным нетерпением. «О, я бы его полюбила!» — крикнула откровенная креолка. «В таком случае, сударыня, — раздельно выговорил Морис, — я бы отдал полжизни, чтобы вы попали в лапы индейцев, а другую, чтобы вас спасти».

И тут наш романтик-капитан вкрапливает странное авторское признание. Перевожу его дословно: «Сладчайшее в моей жизни лобзание было то, которое имел я сидючи в седле, когда женщина — прекрасное создание, в отъезжем поле — перегнулась ко мне со своего седла и меня конного, поцеловала».

Это увесистое «сидючи» («as I sale») придает, конечно, и плотность и продолжительность лобзанию, которое капитан так элегантно «имел» («had»), но даже в одиннадцать лет мне было ясно, что такая кентаврская любовь поневоле несколько ограничена. К тому же Юрик и я знали одного лицеиста, который это испытал на Островах, но лошадь его дамы спихнула его лошадь в канаву с водой. Истомленные приключениями в вырском чапарале, мы ложились на траву и говорили о женщинах. Невинность наша кажется мне теперь почти чудовищной при свете разных исповедей за те годы, приводимых Хавелок Эллисом, где идет речь о каких-то малютках всевозможных полов, занимающихся всеми греко-римскими грехами, постоянно и всюду, от англосаксонских промышленных центров до Украины (откуда имеется одно особенно вавилонское донесение от помещика). Трущобы любви были незнакомы нам. Заставив меня кровью (добытой перочинным ножом из большого пальца) подписать на пергаменте клятву молчания, тринадцатилетний Юрик поведал мне о своей тайной страсти к замужней даме в Варшаве (ее любовником он стал только гораздо позже — в пятнадцать лет). Я был моложе его на два года, и мне нечем было ему платить за откровенность, ежели не считать нескольких бедных, слегка приукрашенных рассказов о моих детских увлечениях на французских пляжах, где было так хорошо, и мучительно,

и прозрачно шумно, да петербургских домах, где всегда так странно и даже жутко бывало прятаться и шептаться, и быть хватаемым горячей ручкой во время общих игр в чужих незнаемых коридорах, в суровых и серых лабиринтах, полных неизвестных нянь, после чего глухо болела голова, и по каретным стеклам шли радуги от огней. Впрочем, в том самом году, который теперь постепенно освободил от шлака более ранних и более поздних впечатлений, нечто вроде романтического приключения с наплывом первых мужских чувств мне все-таки довелось испытать. Я собираюсь продемонстрировать очень трудный номер, своего рода двойное сальто-мортале с так называемым «вализским» перебором (меня поймут старые акробаты), и посему прошу совершенной тишины и внимания.

### 3

Осенью 1910-го года брата и меня отправили с гувернером в Берлин на три месяца, дабы выправить нам зубы: у брата верхний ряд выпячивался из-под губы, а у меня они все росли как попало, один даже добавочный шел из середины неба, как у молодой акулы. Все это было прескучно. Знаменитый американский дантист в Берлине выкорчевал кое-что козьей ножкой, причиняя дикую неприличную боль, и как ужасен бывал у тогдашних дантистов пасмурный вид в окне перед взвинченным стулом, и вата, вата, сухая, дьявольская вата, которую они накладывали пациенту за десны. Оставшиеся зубы этот жестокий американец перекрутил тесемками перед тем, как обезобразить нас платиновыми проволоками. Разумеется, мы считали, что нам полагается много развлечений в награду за эти адские утра Ин ден Цельтен ахтцен А, — вот вспомнил даже адрес и бесшумный ход наемного электрического автомобиля. Сначала мы много играли в теннис, а когда наступили холода, стали почти ежедневно посещать скетинг-ринк на Курфюрстендаме. Военный оркестр (Германия в те годы была страной музыки) не мог заглушить механической воркотни неумолкаемых роликов. Существовала в России порода мальчиков (Вася Букетов, Женя Кан, Костя Мальцев, — где все они ныне?), которые мастерски играли в футбол, в теннис, в шахматы, блистали на льду катков, перебирая на поворо-

тах «через колено» бритвоподобными беговыми коньками, плавали, ездили верхом, прыгали на лыжах в Финляндии и немедленно научались всякому новому спорту. Я принадлежал к их числу и потому очень веселился на этом паркетном скетинге. Было человек десять инструкторов в красной форме с бранденбургами, большинство из них говорило по-английски (я немецкому языку никогда не научился и в жизни не прочел ни одного литературного произведения по-немецки). Самый ловкий из них, мрачный молодой бандит из Чикаго, научил меня танцевать на роликах. Мой брат, мирный и неловкий, в очках, тихо ковылял в сторонке, никому не мешая, а губернёр пил кофе и ел торт мокко в кафе за бархатным барьером. Я вскоре заметил группу изящных, стройных молодых американок; сначала они все сливались для меня в одно странно-привлекательное явление; но постепенно началась дифференциация. Как-то я тренировался в вальсе и, за несколько секунд до одного из самых болезненных падений, которое мне когда-либо пришлось потерпеть (расшиб все лицо), я услышал из этой обольстительной группы уже знакомый мне, полнозвучный, как удар по арфе, голос, выразивший мне одобрение. До сих пор медленно едет она у меня мимо глаз, эта высокая американочка в синем тайере, в большой черной шляпе, насквозь пронзенной сверкающей булавкой, в белых лайковых перчатках и лакированных башмачках, вооруженных какими-то особенными роликами. По ночам я не спал, воображая эту Луизу, ее стройный стан, ее голую, нежно-голубоватую шею, и удивлялся странному физическому неудобству, которое если и ощущалось мною раньше, то не в связи с какими-нибудь фантазиями, а только оттого, что натирала рейтузы. Как-то я шел через вестибюль рынка, и около дорической колонны стояли она и мой роликовый инструктор, и этот гладко причесанный наглец типа Калхуна крепко держал ее за кисть и чего-то добивался, и она по-детски вертела так и сяк плененной рукой, и в ближайшую ночь я несколько раз подряд заколол его, застрелил, задушил.

Наш губернёр, тот Ленский, о котором я писал по другому поводу, высоконравственный и несколько наивный человек, был впервые за границей. Ему не всегда было легко согласовать свой страстный интерес к туристическим приманкам с педагогическим долгом, и, в общем, нам с братом часто удавалось заводиться его в места, куда родители нас бы, может быть, и не пустили. Так, например,



он легко поддавался приманчивости Винтергартена, и вот однажды мы очутились с ним сидящими в одной из передних лож под искусственным звездным небом этого знаменитого учреждения и через соломинки потягивающими из-под взбитых сливок гладкий и необыкновенно вкусный «айс-шоколаде».

Программа была обычная: был жонглер во фраке; была внушительного вида певица, которая вспыхивала поддельными камнями, заливаясь ариями в переменных лучах зеленого и красного цвета прожекторов; затем был комик на роликах; между ним и велосипедным номером (о котором скажу в свое время) было в программе объявлено: «Gala Girls», — и с потрясающей и постыдной внезапностью, напомнившей мне падение на черной пыли подернутом катке, я узнал моих американских красавиц в гирлянде горластых «гёрлз», которые, рука об руку, сплошным пышным фронтом переливались справа налево и потом обратно, ритмически вскидывая то десяток левых, то десяток правых одинаковых роковых ног. Я нашел лицо моей волоокой Луизы и понял, что все кончено, даже если и отличалась она какой-то грацией, каким-то отпечатком наносной неги от своих вульгарных товаров. Сразу перестать думать о ней я не мог, но испытанное потрясение послужило толчком для индуктивного процесса, ибо я вскоре заметил в порядке новых отроческих чудес, что теперь уже не только она, но любой женский образ, позирующий академической рабыней моему ночному мечтанию, возбуждает знакомое мне, все еще загадочное неудобство. Об этих симптомах я простодушно спросил родителей, которые как раз приехали в Берлин из Мюнхена или Милана, и отец деловито зашуршал немецкой газетой, только что им развернутой, и ответил по-английски, начиная — по-видимому, длинное — объяснение интонацией «мнимой цитаты», при помощи которой он любил разгневаться в речах: «Это, мой друг, всего лишь одна из абсурдных комбинаций в природе — вроде того, как связаны между собой смущение и зардевшиеся щеки, горе и красные глаза, *shame and blushes, grief and red eyes... Tolstoi vient de mourir*», вдруг перебил он самого себя другим, ошеломленным голосом, обращаясь к моей матери, тут же сидевшей у вечерней лампы. «Да что ты! — удрученно и тихо воскликнула она, соединив руки, и затем прибавила: — Пора домой», — точно смерть Толстого была предвестником каких-то апокалиптических бед.

Вернемся теперь к велосипедному номеру — в моей версии. Летом следующего, 1911, года Юрик Рауш не приезжал, и я остался наедине с запасом смутных переживаний. Сидя на корточках перед неудобно низкой полкой в галерее усадьбы, в полумраке, как бы умышленно мешающем мне в моих тайных исследованиях, я разыскивал значение всяких темных, темно соблазнительных и раздражительных терминов в восьмидесятидвухтомной Брокгаузовской энциклопедии. В видах экономии заглавное слово замещалось на протяжении соответствующей статьи его начальной буквой, так что к плохому освещению, пыли и мелкоте шрифта примешивалось маскарадное мелькание прописной буквы, означающей малоизвестное слово, которое пряталось в сером петите от молодого читателя и малиновой ижицы на его лбу. Ловлею бабочек и всякими видами спорта заполнялись солнечные часы летних суток, но никакое физическое утомление не могло унять беспокойство, ежевечерне высылавшее меня в смутное путешествие. До обеда я ездил верхом, а на закате, надув шины до предельного напряжения, катил Бог весть куда на своем старом Энфильде или новом Свифте, рулевые рога которого я перевернул так, что их вулканистые концы были ниже уровня седла и позволяли мне гнуть хребет по-гоночному. С чувством бесплотности я углублялся в цветной вечерний воздух и летел по парковой аллее, следуя вчерашнему оттиску моих же дунлоповых шин; тщательно объезжал коряжные корни и гуттаперчевых жаб; намечал издали палую веточку и с легким треском надламывал ее чуткой шиной; ловко лавировал между двумя листочками или между камушком и ямкой в земле, откуда мой же проезд выбил его накануне; мгновение наслаждался краткой гладью мостка над ручьем; тормозил и толчком переднего колеса отпахивал беленую калитку в конце Старого парка и затем, в упоении воли и грусти, стрекотал по твердой липкой обочине полевых до-рог.

В то лето я каждый вечер проезжал мимо золотой от заката избы, на черном пороге которой всегда в это время стояла Поленька, однолетка моя, дочка кучера. Она стояла, опершись о косяк, мягко и свободно сложив руки на груди — воплощая и гус и Русь, — и следила за моим приближением издалека с удивительно приветливым сиянием на лице, но по мере того, как я подъезжал, это

сияние сокращалось до полуулыбки, затем до слабой игры в углах ее сжатых губ и наконец выцветало вовсе, так что, поравнявшись с нею, я не находил просто никакого выражения на ее прелестном круглом лице, чуть тронутым оспой, и в косящих светлых глазах. Но как только я проезжал и оглядывался на нее, перед тем как взмытть в гору, уже опять намечалась тонкая впадинка у нее на щеке: опять лучились таинственным светом ее дорогие черты. Боже мой, как я ее обожал! Я никогда не сказал с ней ни слова, но после того как я перестал ездить по той дороге в тот низко-солнечный час, наше безмолвное знакомство время от времени еще возобновлялось в течение трех-четырех лет. Посещаю, бывало, хмурый, в крагах, со стеклом, скотный двор или конюшню, и откуда ни возьмись она вдруг появляется, словно вырастая из золотистой земли, — и всегда стоит немного в сторонке, всегда босая, потирая подъем одной ноги об икру другой или почесывая четвертым пальцем пробор в светло-русых волосах, и всегда прислоняясь к чему-нибудь, к двери конюшни, пока седлают мне лошадь, или к стволу липы в резко-яркое сентябрьское утро, когда всей оравой деревенская прислуга собиралась у парадного подъезда провожать нас на зиму в город. С каждым разом ее грудь под серым ситцем казалась мне мягче, а голые руки крепче и однажды, незадолго до ее отъезда в далекое село, куда ее в шестнадцать лет выдали за пьяницу-кузнеца, я заметил как-то, проходя мимо, блеск нежной насмешки в ее широко расставленных светло-карих глазах. Странно сказать, но в моей жизни она была первой, имевшей колдовскую способность накипанием света и сладости прожигать сон мой насквозь (а достигала она этого тем, что не давала погаснуть улыбке), а между тем в сознательной жизни я и не думал о сближении с нею, да при этом пуще боялся испытать отвращение от запекшейся грязи на ее ногах и затхлого запаха крестьянского платья, чем оскорбить ее тривиальным господским ухаживанием.

## 5

Прежде чем расстаться с этим навязчивым образом, мне хотелось бы задержать перед глазами одновременно две картины. Одна из них долго жила во мне совершенно отдельно от скромной Поленьки, стоявшей на черной ступени золотой избы; оберегая собственный покой, я от-

казывался отнести к ней то русалочное воплощение ее жалостной красоты, которое я однажды подсмотрел. Дело было в июне того года, когда нам обоим минуло тринадцать лет; я пробирался по берегу Оредежи, преследуя так называемых «черных» аполлонов (*Parnassius mnemosyne*), диковинных, древнего происхождения, бабочек с полупрозрачными, глянцевыми крыльями и пушистыми вербными брюшками. Погоня за этими чудными созданиями завела меня в заросль черемух и ольх у самого края холодной синей реки, как вдруг донеслись крики и всплески, и я увидел из-за благоухающего куста Поленьку и трех-четырёх других подростков, полоскавшихся нагишом у развалин свай, где была когда-то купальня. Мокрая, ахающая, задыхающаяся, с соплей под курносым носом, с крутыми детскими ребрами, резко намеченными под бледной, пупырчатой от холода кожей, с забрызганными черной грязью икрами, с круглым гребнем, горевшим в темных от влаги волосах, она спасалась от бритоголовой, тугопузой девчонки и бесстыдно возбужденного мальчишки с тесемкой вокруг чресл (кажется, против сглазу), которые приставали к ней, хлеща и шлепая по воде вырванными стеблями водяных лилий.

Второй образ относится к святкам 1916-го года. Стоя в предвечерней тишине на устланной снегом платформе станции Сиверской, я смотрел на дальнюю серебряную рошу, постепенно становившуюся свинцовой под потухающим небом, и ждал, чтобы появился из-за нее гуашевый дым поезда, который должен был доставить меня обратно в Петербург после веселого дня лыжного спорта. Лиловый дым появился, и в эту же минуту Поленька прошла мимо меня с другою молодой крестьянкой, — обе были в толстых платках, в больших валенках, в бесформенных стеганых кофтах с ватой, торчавшей из прорванной черной материи, и Поленька, с синяком под глазом и вспухнувшей губой (говорили, что муж ее бьет по праздникам), заметила, ни к кому не обращаясь, задумчиво и мелодично: «А барчук-то меня не признал». Только этот один раз и довелось мне услышать ее голос.

## 6

Этим голосом говорят со мною ныне те летние вечера, когда отроком я так беззвучно и быстро, бывало, катил мимо длинной тени ее низкой избы. В том месте, где

полевая дорога вливалась в пустынное шоссе, я слезал с велосипеда и прислонял его к телеграфному столбу. На близком, целиком раскрывшемся небе медлил грозный в своем великолепии закат. Среди его незаметно меняющихся нагромождений взгляд различал фуксином окрашенные структурные детали небесных организмов, и червонные трещины в темных массивах, и гладкие эфирные мели, и миражи райских островов. Я тогда еще не умел — как теперь отлично умею — справляться с такими небесами, переплавлять их в нечто такое, что можно отдать читателю, пускай он замирает; и тогдашнее мое неумение отвязаться от красоты усугубляло томление. Исполинская тень начинала заливать равнину, и в медвяной тишине ровно гудели столбы, и упруго стучала во мне кровь, и питающиеся по ночам гусеницы некоторых бабочек начинали неторопливо взползать по стеблям своих кормовых растений. С едва уловимым хрустким звуком прелестный голубой червь в зеленую полоску работал челюстями по краю полевого листика, выедавая в нем сверху вниз правильную лунку, разгибая шею и снова принимаясь грызть с верхней точки, чтобы углубить полукруг. Машинально я переводил едока вместе с его цветком в одну из всегда бывших при мне коробочек, но мои мысли в кои-то веки были далеко от воспитания бабочек. Колетт, моя пляжная подруга; танцовщица Луиза; все те раскрасневшиеся, душисто-волосые, в низко повязанных, ярких шелковых поясах девочки, с которыми я играл на детских праздниках; графиня Г., таинственная пассия моего двоюродного брата; Поленька, прислонившаяся с улыбкой странной муки к двери в огне моих новых снов, — все это сливалось в один образ, мне еще не известный, но который мне скоро предстояло узнать.

Помню один такой вечер... Блеск его рдел на выпуклости велосипедного звонка. Над черными телеграфными струнами веерообразно расходились густо-лиловые ребра роскошных малиновых туч: это было как некое ликование с заменой кликов гулками красками. Гул блекнул, гас воздух, темнели поля; но над самым горизонтом, над мелкими зубцами суживающегося к югу бора, в прозрачном, как вода, бирюзовом просвете, сверху оттененном слоями почерневших туч, глазу представлялась как бы частная даль, с собственными украшениями, которые только очень глупый читатель мог бы принять за запасные части данного заката. Этот просвет занимал совсем небольшую долю огромного неба, и была в нем та нежная

отчетливость, которая свойственна предметам, если смотреть не с того конца в телескоп. Там, в миниатюрном виде, расположилось семейство ведряных облаков, скопление светлых воздушных завоев, анахронизм млечных красок: нечто очень далекое, но разработанное до последних подробностей; фантастически уменьшенный, но совсем уже готовый для сдачи мне мой завтрашний сказочный день.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

### 1

Я впервые увидел Тамару — выбираю ей псевдоним, окрашенный в цветочные тона ее настоящего имени, — когда ей было пятнадцать лет, а мне шестнадцать. Кругом как ни в чем не бывало сияло и зыбилося вырское лето. Второй год тянулась далекая война. Двумя годами позже пресловутой перемене в государственном строе предстояло убрать знакомую, кроткую усадебную обстановку, — и уже погромыхивал закулисный гром в стихах Александра Блока.

В начале того лета, и в течение всего предыдущего, имя Тамара появлялось (с той напускной наивностью, которая так свойственна повадке судьбы, приступающей к важному делу) в разных местах нашего имения. Я находил его написанным химическим карандашом на беленой калитке, или начерченным палочкой на красноватом песке аллеи, или недовырезанным на спинке скамьи, точно сама природа, минуя нашего старого сторожа, вечно воевавшего с вторжением дачников в парк, таинственными знаками предвляла меня о приближении Тамары. В тот июльский день, когда я наконец увидел ее стоящей совершенно неподвижно (двигались только зрачки) в изумрудном свете березовой рощи, она как бы зародилась среди пятен этих акварельных деревьев с беззвучной внезапностью и совершенством мифологического воплощения.

Дождавшись того, чтобы сел невидимый мне овод, она прихлопнула его и, довольная, сквозь ожившую и заигравшую рощу, пустилась догонять сестру и подругу, отчетливо звавших ее; немного позже, с заросшего дикой малиной старого кладбища, боком, как калека, сходявшего по крутому склону к реке, я увидел, как все три они шли через мост, одинаково постукивая высокими каблучками, одина-

ково засунув руки в карманы темно-синих жакеток и, чтобы отогнать мух, одинаково встряхивая головами, убранными цветами и лентами. Очень скоро путем слежки я выяснил, где мать ее снимала дачку: ее скрывала рощица яблонь. Ежедневно, верхом или на велосипеде, я проезжал мимо, — и на повороте той или другой дороги что-то ослепительно взрывалось под ложечкой, и я обгонял Тамару, с деятельно устремленным видом шедшую по обочине. Та же природная стихия, которая произвела ее в таком блеске березняка, тихонько убрала сперва ее подругу, а потом ее сестру; луч моей судьбы явно сосредоточился на темной голове, то в венке васильков, то с большим бантом черного шелка, которым была подвязана на затылке вдвое сложенная каштановая коса; но только 9-го августа по новому стилю я решился с ней заговорить.

Сквозь тщательно протертые стекла времени ее красота все так же близко и жарко горит, как горела бывало. Она была небольшого роста, с легкой склонностью к полноте, что благодаря гибкости стана да тонким щиколоткам не только не нарушало, но, напротив, подчеркивало ее живость и грацию. Примесью татарской или черкесской крови объяснялся, вероятно, особый разрез ее веселых, черных глаз и рдяная смуглота щек. Ее профиль на свет был обрисован тем драгоценным пушком, которым подернуты плоды фруктовых деревьев миндальной группы. Ее очаровательная шея была всегда обнажена, даже зимой, — каким-то образом она добилась разрешения не носить воротничка, который полагалось носить гимназисткам. У нее были всякие неожиданные прибаутки и огромный запас второстепенных стихов, — тут были и Жадовская, и Виктор Гофман, и К. Р., и Мережковский, и Мазуркевич, и Бог знает еще какие дамы и мужчины, на слова которых писались романсы, вроде «Ваш уголок я убрала цветами» или «Христос воскрес, поют во храме». Сказав что-нибудь смешное или чересчур лирическое, она, сильно дохнув через ноздри, говорила иронически: «Вот как хорошо!» Ее юмор, чудный беспечный смешок, быстрота речи, картавость, блеск и скользкая гладкость зубов, волосы, влажные веки, нежная грудь, старые туфельки, нос с горбинкой, дешевые сладкие духи — все это, смешавшись, составило необыкновенную, восхитительную дымку, в которой совершенно потонули все мои чувства. «Что ж, мы мещаночки, мы ничего, значит, и не знаем», — говорила она с такой щелкающей усмешечкой, словно грызла семечки: но на самом деле она была и тоньше, и лучше, и умнее меня. Я очень смутно

представлял себе ее семью: отец служил в другой губернии, у матери было отчество как в пьесе Островского. Жизнь без Тамары казалась мне физической невозможностью, но когда я говорил ей, что мы женимся, как только кончу гимназию, она твердила, что я очень ошибаюсь или нарочно говорю глупости.

Уже во второй половине августа пожелтели березы; сквозь рощи их тихо проплывали, едва взмахивая черным крылом, траурницы, большие бархатные бабочки с палевой каймой. Мы встречались за рекой, в парке соседнего имения, принадлежавшего моему дяде: в то лето он остался в Италии, и мы с Тamarой безраздельно владели и просторным этим парком с его мхами и урнами, и осенней лазурью, и русой тенью шуршащих аллей, и садом, полным мясистых, розовых и багряных георгинов, и беседками, и скамьями, и террасами запертого дома. Братний и мой гувернер, Волгин, которому по зрелости наших лет полагалось, конечно, ограничивать свое гувернерство лишь участием в теннисе да писанием за нас тех бесовских школьных сочинений, которые задавались на лето (их за него писал какой-то его родственник), пробовал спрятаться в кусты и чуть ли не за версту следить за мной и Тamarой при помощи громоздкого телескопа, найденного им на чердаке вырского дома; дядин управляющий Евсей почтительно мне об этом доложил, и я пожаловался матери: она знала о Тамаре только по моим стихам, которыми я всегда с матерью делился, но, что бы она ни думала о наших с Тamarой свиданьях, куст и труба столь же оскорбили ее, как меня. Когда я по вечерам уезжал в сплошную черноту на верном моем Свифте, она только покачивала головой да велела лакею не забыть приготовить мне к возвращению простокваши и фруктов. В темноте журчал дождь. Я заряжал велосипедный фонарь магическими кусками карбида, защищал спичку от ветра и, заключив белое пламя в стекло, осторожно углублялся в мрак. Круг света выбирал влажный выглаженный край дороги между ртутным блеском луж посредине и сединой трав вдоль нее. Шатким призраком мой бледный луч вспрыгивал на глинистый скат у поворота и опять нащупывал дорогу, по которой, чуть слышно стрекоча, я съезжал к реке. За мостом тропинка, отороченная мокрым жасмином, круто шла вверх; приходилось слезать с велосипеда и толкать его в гору, и капало на руку. Наверху мертвенный свет карбида мелькал по лоснящимся колоннам, образующим портик с задней стороны дядино дома. Там, в уютном



углу у закрытых ставень окна, под аркадой, ждала меня Тамара. Я гасил фонарик и ощупью поднимался по скользким ступеням. В беспокойной тьме ночи столетние липы скрипели и шумно накапливали ветром. Из сточной трубы, сбоку от благосклонных колонн, суетливо и неумолимо бежала вода, как в горном ущелье. Иногда случайный добавочный шорох, перебивавший ритм дождя в листве при соприкосновении двух мощных ветвей, заставлял Тамару обращать лицо в сторону воображаемых шагов, и тогда я различал ее таинственные черты, как бы при собственной их фосфористости; но это подкрадывался только дождь, и, тихо выпустив задержанное на мгновение дыхание, она опять закрывала глаза.

## 2

С наступлением зимы наш безрассудный роман был перенесен в городскую, гораздо менее участливую обстановку. Все то, что могло казаться — да и кажется многим, — просто атрибутами классической поэзии, вроде «лесной сени», «уединенности», «сельской неги» и прочих пушкинских галлицизмов, внезапно приобрело весомость и значительность, когда мы в самом деле лишились нашего деревенского убежища. Меблированные комнаты, сомнительные, как говорится, гостиницы, отдельные кабинеты, весь трафарет французских влияний на родную словесность после Пушкина был, признаюсь, вне предела дерзаний шестнадцатилетнего тенишевца. Негласность свиданий, столь приятная и естественная в деревне, теперь обернулась против нас; и так как обоим нам была невыносима мысль встречаться у меня или у нее на дому, под неизбежным посторонним наблюдением, а лукавства у нас не хватало, чтобы предвидеть, как скоро мы бы с этим наблюдением справились, Тамара, в своей скромной серой шубке, и я, с кастетом в бархатном кармане пальто, принуждены были странствовать по улицам, по обледелым петербургским садам, по закоулкам, где как-то разваливалась набережная, и где приходилось сталкиваться с хулиганьем, — и эти постоянные искания приюта порождали странное чувство бездомности: тут начинается тема бездомности, — глухое предисловие к позднейшим, значительно более суровым блужданиям.

Мы пропускали школу: не помню, как устраивалась Тамара, я же подкупал нашего швейцара Устина, заведо-

вавшего нижним телефоном (24-43), и Владимир Васильевич Гиппиус, часто звонивший из школы, чтобы справиться о моем пошатнувшемся здоровье, не видал меня в классе, скажем, с понедельника до пятницы, а во вторник я опять начинал болеть. Мы сживали на скамейках в Таврическом саду, сняв сначала ровную снежную попону с холодного сидения, а затем варежки с горячих рук. Мы посещали музеи. В будни по утрам там бывало дремотно и пусто, и климат был оранжерейный по сравнению с тем, что происходило в восточном окне, где красное, как апельсин-королек, солнце низко висело в замерзшем сизом небе. В этих музеях мы отыскивали самые отдаленные, самые неказистые зальца, с небольшими смуглыми голландскими видами конькобежных утех в тумане, с офортами, на которые никто не приходил смотреть, с палеографическими экспонатами, с тусклыми макетами, с моделями печатных станков и тому подобными бедными вещицами, среди которых посетителем забытая перчатка прямо дышала жизнью. Одной из лучших наших находок был незабвенный чулан, где сложены были лесенки, пустые рамы, щетки. В Эрмитаже, помнится, имелись кое-какие уголки, — в одной из зал среди витрин с египетскими прескверно стилизованными жуками, за саркофагом какого-то жреца по имени Нана. В Музее Александра Третьего, тридцатая и тридцать третья залы, где свято хранились такие академические никчемности, как, например, картины Шишкова и Харламова — какая-нибудь «Просека в бору» или «Голова цыганенка» (точнее не помню), — отличались закутами за высокими стеклянными шкапами с рисунками и оказывали нам подобие гостеприимства, — пока не ловил нас грубый инвалид. Постепенно из больших и знаменитых музеев мы переходили в маленькие, в Музей Суворова, например, где, в герметической тишине одной из небольших комнат, полной дряхлых доспехов и рваных шелковых знамен, восковые солдаты в ботфортах и зеленых мундирах держали почетный караул над нашей безумной неосторожностью. Но, куда бы мы ни заходили, рано или поздно тот или другой седой сторож на замшевых подошвах присматривался к нам, что было нетрудно в этой глуши, — и приходилось опять переселяться куда-нибудь, в Педагогический музей, в Музей придворных карет, и наконец, в крохотное хранилище старинных географических карт, — и оттуда опять на улицу, в вертикально падающий крупный снег Мира искусства.

Под вечер мы часто скрывались в последний ряд

одного из кинематографов на Невском, Пикадилли или Паризиана. Фильмовая техника, несомненно, шла вперед. Уже тогда, в 1915-м году, были попытки усовершенствовать иллюзию внесением красок и звуков: морские волны, окрашенные в нездоровый синий цвет, бежали и разбивались об ультрамариновую скалу, в которой я со странным чувством узнавал Rocher de la Vierge<sup>62</sup>, Биарриц, прибор моего международного детства, и пока, как белье, полоскалось это море в синьке, специальная машина занималась звукоподражанием, издавая шипенье, которое почему-то никогда не могло остановиться одновременно с морской картиной, а всегда продолжалось еще две-три секунды, когда уже мигала следующая: бодренькие похороны под дождем в Париже, или хилые оборванные военнопленные с подчеркнута нарядными нашими молодцами, захватившими их. Довольно часто почему-то названием боевика служила целая цитата, вроде «Отцвели уж давно хризантемы в саду», или «И сердцем как куклой играя, он сердце как куклу разбил», или еще «Не подходите к ней с вопросами» (причем начиналось с того, что двое слишком любознательных интеллигентов с накладными бородками вдруг вскакивали со скамьи на бульваре, имени Достоевского скорее чем Блока, и, жестикулируя, теснили какую-то испуганную даму, подходя к ней, значит, с вопросами). В те годы у звезд женского пола были низкие лобики, роскошные брови, размашисто подведенные глаза. Одним из любимцев экрана был актер Мозжухин. Какое-то русское фильмовое общество приобрело нарядный загородный дом с белыми колоннами (несколько похожий на дядин, что трогало меня), и эта усадьба появлялась во всех картинах этого общества. По фотогеническому снегу к ней подъезжал на лихаче Мозжухин, в пальто с каракулевым воротником шалью, в каракулевом колпаке, и устремлял светло-стальной взгляд из темно-свинцовой глазницы на горящее окно, между тем как знаменитый желвачок играл у него под тесной кожей скулы.

Когда прошли холода, мы много блуждали лунными вечерами по классическим пустыням Петербурга. На просторе дивной площади беззвучно возникали перед нами разные зодческие призраки: я держусь лексикона, нравившегося мне тогда. Мы глядели вверх на гладкий гранит столпов, отполированных когда-то рабами, их вновь полировала луна, и они, медленно вращаясь над нами в поли-

---

<sup>62</sup> Название скалы в Биаррице (фр.).

рованной пустоте ночи, уплывали в вышину, чтобы там подпереть таинственные округлости собора. Мы останавливались как бы на самом краю, — словно то была бездна, а не высота, — грозных каменных громад, и в лилипутовом благоговении закидывали головы, встречая на пути все новые видения, — десяток атлантов, или гигантскую урну у чугунной решетки, или тот столп, увенчанный черным ангелом, который в лунном сиянии безнадежно пытался дотянуться до подножья пушкинской строки.

Позднее, в редкие минуты уныния, Тамара говорила, что наша любовь как-то не справилась с той трудной петербургской порой и дала длинную тонкую трещину. В течение всех тех месяцев я не переставал писать стихи к ней, для нее, о ней — по две-три «пьески» в неделю; в 1916 году я напечатал сборник и был поражен, когда она мне указала, что большинство этих стихотворений — о разлуках и утратах, ибо странным образом начальные наши встречи в лирических аллеях, в деревенской глуши, под шорох листьев и шуршанье дождя, нам уже казались в ту беспризорную зиму невозвратным раем, а эта зима — изгнанием. Спешу добавить, что первая эта моя книжечка стихов была исключительно плохая, и никогда бы не следовало ее издавать. Ее по заслугам немедленно растерзали те немногие рецензенты, которые заметили ее. Директор Тенишевского училища, В. В. Гиппиус, писавший (под псевдонимом Бестужев) стихи, мне тогда казавшиеся гениальными (да и теперь по спине проходит трепет от некоторых запомнившихся строк в его удивительной поэме о сыне), принес как-то экземпляр моего сборничка в класс и подробно его разнес при всеобщем, или почти всеобщем, смехе. Был он большой хищник, этот рыжебородый огненный господин, в странно узком двубортном жилете под всегда расстегнутым пиджаком, который как-то летал вокруг него, когда он стремительно шел по рекреационной зале, засунув одну руку в карман штанов и подняв одно плечо. Его значительно более знаменитая, но менее талантливая кузина Зинаида, встретившись на заседании Литературного фонда с моим отцом, который был, кажется, его председателем, сказала ему: «Пожалуйста, передайте вашему сыну, что он никогда писателем не будет», — своего пророчества она потом лет тридцать не могла мне забыть. Некто Л., журналист, человек хороший, нуждающийся и безграмотный, желая выразить свою благодарность моему отцу за какое-то пособие, написал восторженную статью о моих дрянных стишках, строк

пятьсот, сочившихся приторными похвалами; отец успел перехватить ее и воспрепятствовать ее напечатанию, и я живо помню, как мы читали писарским почерком написанный манускрипт и производили звуки — смежь зубовного скрежета и тонкого стопа — которым у нас в семье полагалось частным образом реагировать на безвкусицу, неловкость, пошлый промах. Эта история навсегда излечила меня от всякого интереса к единовременной литературной славе и была, вероятно, причиной того почти патологического равнодушия к «решениям», дурным и хорошим, умным и глупым, которое в дальнейшем лишило меня многих острых переживаний, свойственных, говорят, авторским натурам.

Из всех моих петербургских весен та весна шестнадцатого года представляется мне самой яркой, когда вспоминаю такие образы, как: золотисто-розовое лицо моей красивой, моей милой Тамары в незнакомой мне большой белой шляпе среди зрителей футбольного состязания, во время которого редкая удача сопровождала мое голкиперство; вкрадчивый ветер и первую пчелу на первом одуванчике в двух шагах от сетки гола; гудение колоколов и темно-синюю рябь свободной Невы; пеструю от конфетти слякоть Конно-гвардейского бульвара на Вербной неделе: писк, хлопанье, американских жителей, поднимающихся и опускающихся в сиреновом спирту в стеклянных трубках, вроде как лифты в прозрачных, насквозь освещенных небоскребах Нью-Йорка; бабочку-траурницу — ровесницу нашей любви, — вылетевшую после зимовки и гревшую в луче апрельского солнца на спинке скамьи в Таврическом саду свои поцарапаннные черные крылья с выцветшим до белизны кантом; и какую-то волнующую зыбь в воздухе, пьянение, слабость, нестерпимое желание опять увидеть лес и поле, — в такие дни даже Северянин казался поэтом. Тамара и я всю зиму мечтали об этом возвращении, но только в конце мая, когда мы, то есть Набоковы, уже переехали в Выру, мать Тамары, наконец, поддалась на ее уговоры и сняла опять дачку в наших краях, и при этом, помнится, было поставлено дочери одно условие, которое та приняла с кроткой твердостью андерсеновской русалочки. И немедленно по ее приезде нас упоительно обволокло молодое лето, и вот — вижу ее привставшую на цыпочки, чтобы потянуть книзу ветку черемухи со сморщенными ягодами, и дерево, и небо, и жизнь играют у нее в смеющемся взоре, и от ее веселых усилий на жарком солнце расплывается темное пятно по желтой чесуче платья под

ее поднятой рукой. Мы забирались очень далеко, в леса за Рождествено, в мшистую глубину бора, и купались в заветном затоне, и клялись в вечной любви, и собирали кольцовские цветы для венков, которые она, как всякая русская русалочка, так хорошо умела сплести, и в конце лета она вернулась в Петербург, чтобы поступить на службу (это и было условие, поставленное ей), а затем несколько месяцев я не видел ее вовсе, будучи поглощен по душевной нерасторопности и сердечной бездарности разнообразными похождениями, которыми, я считал, молодой литератор должен заниматься для приобретения опыта. Эти переживания и осложнения, эти женские тени и измены, и опять стихи, и нелады с легкими, и санатория в снегах — все это сейчас, при восстановлении прошлого, мне не только ни к чему, но еще создает какое-то смещение фокуса, и как ни тереблю винтов наставленной памяти, многое уже не могу различить и не знаю, например, как и где мы с Тamarой расстались. Впрочем, для этого помутнения есть и другая причина: в разгар встреч мы слишком много играли на струнах разлуки. В то последнее наше лето, как бы упражняясь в ней, мы расставались навеки после каждого свидания, еженощно, на пепельной тропе или на старом мосту, со сложенными на нем тенями перил, между небесным месяцем и речным, я целовал ее теплые, мокрые веки и свежее от дождя лицо и, отойдя, тотчас возвращался, чтобы проститься с нею еще раз, а потом долго въезжал вверх, по крутой горе, к Выре, согнувшись вдвое, нажимая педали в упругий, чудовищно мокрый мрак, принимавший символическое значение какого-то ужаса и горя, какой-то зловеще поднимавшейся силы, которую нельзя было растоптать.

С раздирающей душу угрюмой яркостью помню вечер в начале следующего лета, 1917-го года, при последних вспышках еще свободной, еще приемлемой России. После целой зимы необъяснимой разлуки, вдруг, в дачном поезде, я опять увидел Тамару. Всего несколько минут, между двумя станциями, мы простояли с ней рядом в тамбуре грохочущего вагона. Я был в состоянии никогда прежде не испытанного смятения; меня душила смесь мучительной к ней любви, сожаления, удивления, стыда, и я нес фантастический вздор; она же спокойно ела шоколад, аккуратно отламывая квадратные дольки толстой плитки, и рассказывала про контору, где работала. С одной стороны полотна, над синеватым болотом, темный дым горящего торфа сливался с дотлевающими развалинами широкого

оранжевого заката. Интересно, мог ли бы я доказать ссылкой на где-нибудь напечатанное свидетельство, что как раз в тот вечер Александр Блок отмечал в своем дневнике этот дым, эти краски. Всем известно, какие закаты стояли знаменьями в том году над дымной Россией, и впоследствии, в полуавтобиографической повести, я почувствовал себя вправе связать это с воспоминанием о Тамаре; но тогда мне было не до того; никакая поэзия не могла украсить страдание. Поезд на минуту остановился. Раздался простодушный свирест кузнечика, — и отвернувшись, Тамара опустила голову и сошла по ступеням вагона в жасмином насыщенную тьму.

### 3

...Зимой 1917 года демократия еще верила, что можно предотвратить большевистскую диктатуру. Мой отец решил до последней возможности оставаться в Петербурге. Семью же он отправил в еще жилой Крым. Мы поехали двумя партиями; брат и я ехали отдельно от матери и трех младших детей. Мне было восемнадцать лет. В ускоренном порядке, за месяц до формального срока, я сдал выпускные экзамены и рассчитывал закончить образование в Англии, а затем организовать энтомологическую экспедицию в горы Западного Китая: все было очень просто и правдоподобно, и, в общем, многое сбылось. Весьма длительная поездка в Симферополь началась в довольно еще приличной атмосфере, вагон первого класса был жарко натоплен, лампы были целы, в коридоре стояла и барабанила по стеклу актриса, и у меня была с собой целая кипа беленьких книжечек стихов со всей гаммой тогдашних заглавий, то есть от простецкого «Ноктюрны» до изысканного «Пороша». Где-то в середине России настроение испортилось: в поезд, включая наш спальный вагон, набились какие-то солдаты, возвращавшиеся с какого-то фронта восвояси. Мы с братом почему-то нашли забавным запретиться в нашем купе и никого не впускать. Продолжая натиск, несколько солдат влезли на крышу вагона и пытались, не без некоторого успеха, употребить вентилятор нашего отделения в виде уборной. Когда замок двери не выдержал, Сергей, обладавший сценическими способностями, изобразил симптомы тифа, и нас оставили в покое. На третье, что ли, утро, едва рассвело, я воспользовался остановкой, чтобы выйти подышать свежим возду-

хом. Нелегко было пробираться по коридору через руки, лица и ноги вповалку спящих людей. Белесый туман висел над платформой безымянной станции. Мы находились где-то недалеко от Харькова. Я был, смешно вспомнить, в котелке, в белых гетрах, и в руке держал трость из прадедовской коллекции, — трость светлого, прелестного, веснушчатого дерева, с круглым коралловым набалдашником в золотой коронообразной оправе. Признаюсь, что, будь я на месте одного из тех трагических бродяг в солдатской шинели, я бы не удержался от соблазна схватить франта, прогуливавшегося по платформе, и уничтожить его. Только я собрался влезть обратно в вагон, как поезд дернулся, и от толчка тросточка моя выскользнула из рук и упала под поплывший поезд. Особенно привязан к ней я не был (через пять лет, в Берлине, я ее по небрежности потерял), но на меня смотрели из окон, и пыл молодого самолюбия заставил меня сделать то, на что сегодня бы никак не решился. Я дал проползти вагону, сонным или насмешливым лицам, следующему вагону, третьему, четвертому, всему составу (русские поезда, как известно, очень постепенно набирали скорость), и когда, наконец, обнажились рельсы, поднял лежавшую между ними трость и бросился догонять уменьшавшиеся, как в кошмаре, буфера. Крепкая пролетарская рука, следуя правилам сентиментальных романов наперекор наитиям марксизма, помогла мне взобраться на площадку последнего вагона. Но если бы я поезда не догнал или был бы нарочно выпущен из этих веселых объятий, правила жанра, может быть, не были бы нарушены, ибо я оказался бы недалеко от Тамары, которая уже переехала на юг и жила на хуторе, в каких-нибудь ста верстах от места моего глупого приключения.

#### 4

О ее местопребывании я неожиданно узнал через месяц после того, как мы осели в Гаспре, около Кореиза. Крым показался мне совершенно чужой страной: всё было нерусское, запахи, звуки, потемкинская флора в парках побережья, сладковатый дымок, разлитый в воздухе татарских деревень, рев осла, крик муэдзина, его бирюзовая башенка на фоне персикового неба; все это решительно напоминало Багдад, — и я немедленно окунулся в пушкинские ориенталии. И вот вижу себя стоящим на кремнистой тропинке над белым, как мел, руслом ручья, от-



дельные струйки которого прозрачными дрожащими полосками оплетали яйцеподобные камни, через которые они текли, — и держащим в руках письмо от Тамары. Я смотрел на крутой обрыв Яйлы, по самые скалы венца обросший каракулем таврической сосны, на дубняк и магнолии между горой и морем; на вечернее перламутровое небо, где с персидской яркостью горел лунный серп и рядом звезда, — и вдруг, с не меньшей силой, чем в последующие годы, я ощутил горечь и вдохновение изгнания. Тут не только влияли пушкинские элегии и привозные кипарисы, тут было настоящее; порукой этому было подлинное письмо невымышленной Тамары, и с тех пор на несколько лет потеря родины оставалась для меня равнозначной потере возлюбленной, пока писание, довольно, впрочем, неудачной, книги («Машенька») не утолило томления.

Между тем жизнь семьи коренным образом изменилась. За исключением некоторых драгоценностей, случайно захваченных и хитроумно схороненных в жестянках с туалетным тальком, у нас не оставалось ничего. Но не это было, конечно, существенно. Местное татарское правительство смели новенькие Советы, из Севастополя прибыли опытные пулеметчики и палачи, и мы попали в самое скучное и унижительное положение, в котором могут быть люди, — то положение, когда вокруг все время ходит идиотская преждевременная смерть, оттого что хозяйничают человекоподобные и обижаются, если им что-нибудь не по ноздре. Тупая эта опасность плелась за нами до апреля 1918 года. На ялтинском молу, где Дама с собачкой потеряла когда-то лорнет, большевистские матросы привязывали тяжести к ногам арестованных жителей и, поставив спиной к морю, расстреливали их; год спустя водолаз докладывал, что на дне очутился в густой толпе стоящих навтыжку мертвецов. Избежав всяческие опасности на севере: отец к тому времени присоединился к нам, и, вероятно, в конце концов до него бы добрались; какая-то странная атмосфера безопасности обволакивала жизнь. В своей Гаспре графиня Панина предоставила нам отдельный домик через сад, а в большом жили ее мать и отчим Иван Ильич Петрункевич, старый друг и сподвижник моего отца. На террасе так недавно — всего каких-нибудь пятнадцать лет назад — сидели Толстой и Чехов. В некоторые ночи, когда особенно упорными становились слухи о грабежах и расстрелах, отец, брат и я почему-то выходили караулить сад. Однажды, в январе, что ли, к нам подкралась разбойничьего вида

фигура, которая оказалась нашим бывшим шофером Цыгановым: он не задумался проехать от самого Петербурга на буфере, по всему пространству ледяной и звериной России, только для того, чтобы доставить нам деньги, посланные друзьями. Привез он и письма, пришедшие на наш петербургский адрес (неистребимость почты всегда поражала меня), и среди них было то первое письмо от Тамары, которое я читал под каплей звезды. Прожив у нас с месяц, Цыганов заявил, что крымская природа ему надоела, и отправился тем же способом на север, с большим мешком за плечами, набитым различными предметами, которые мы бы с удовольствием ему отдали, знай мы, что ему приглянулись все эти ночные сорочки, пикейные жилеты, теннисные туфли, дорожные часы, утюг, неуклюжий пресс для штанов, еще какая-то чепуха: полный список мы получили от горничной, чьих бледных чар он, кажется, тоже не пощадил. Любопытно, что, сразу разгадав секрет туалетного талька, он уговорил мать перевести эти кольца и жемчуга в более классическое место и сам вырыл для них в саду яму, где они оказались в полной сохранности после его отъезда.

Розовый дымок цветущего миндаля уже оживлял прибрежные склоны, и я давно занимался первыми бабочками, когда большевики исчезли и скромно появились немцы. Они кое-что подправили на виллах, откуда эвакуировались комиссары, и отбыли в свою очередь. Их сменила Добровольческая армия. Отец вошел министром юстиции в Крымское краевое правительство и уехал в Симферополь, а мы переселились в Ливадию. Ялта ожила. Как почему-то водилось в те годы, немедленно возникли всякие театральные предприятия, начиная с удручающе вульгарных кабаре и кончая киносъемками «Хаджи-Мурата». Однажды, поднимаясь на Ай-Петри в поисках местного подвида испанской сатириды, я встретился на горной тропе со странным всадником в черкеске. Его лицо было удивительным образом расписано желтой краской, и он, не переставая, неуклюже и гневно дергал поводья лошади, которая, не обращая никакого внимания на всадника, спускалась по крутой тропе с сосредоточенным выражением гостя, решившего по личным соображениям покинуть шумную вечеринку. В несчастном Хаджи я узнал столь знакомого нам с Тамарой актера Мозжухина, которого лошадь уносила со съемки. «Держите проклятое животное», — сказал он, увидев меня, но в ту же минуту, с хрустом и грохотом осыпи, поддельного Хаджи нагнало двое

настоящих татар, а я со своей рампеткой продолжал подниматься сквозь бор и буковый лес к зубчатым скалам.

В течение всего лета я переписывался с Тamarой. Насколько прекраснее были ее удивительные письма витиеватых и банальных стихшков, которые я когда-то ей посвящал; с какой силой и яркостью воскрешала она северную деревню! Слова ее были бедны, слог был обычным для восемнадцатилетней барышни, но интонация... интонация была исключительно чистая и таинственным образом превращала ее мысли в особенную музыку. «Боже, где оно — все это далекое, светлое, милое!» Вот этот звук дословно помню из одного ее письма, — и никогда впоследствии не удалось мне лучше нее выразить тоску по прошлому.

Этим письмам ее, этим тогдашним мечтам о ней я обязан особому оттенку, в который с тех пор окрасилась тоска по родине. Она впиалась, эта тоска, в один небольшой уголок земли, и оторвать ее можно только с жизнью. Ныне, если воображаю колтунную траву Яйлы, или Уральское ущелье, или солончаки за Аральским морем, я остаюсь столь же холоден в патриотическом и ностальгическом смысле, как в отношении, скажем, полынной полосы Невады или рододендронов Голубых Гор; но дайте мне на любом материке лес, поле и воздух, напоминающие Петербургскую губернию, и тогда душа вся перевертывается. Каково было бы в самом деле увидеть опять Выру и Рождествено, мне трудно представить себе, несмотря на большой опыт. Часто думаю: вот, съезжу туда с подложным паспортом под фамилией Никербокер. Это можно было бы сделать.

Но вряд ли я когда-либо сделаю это. Слишком долго, слишком праздно, слишком расточительно я об этом мечтал. Я промотал мечту. Разглядываньем мучительных миниатюр, мелким шрифтом, двойным светом я безнадежно испортил себе внутреннее зрение. Совершенно так же я истратился, когда в 1918 году мечтал, что к зиме, когда покончу с энтомологическими прогулками, поступлю в Деникинскую армию и доберусь до Тамариного хуторка; но зима прошла — и я все еще собирался, а в марте Крым стал крошиться под напором красных и началась эвакуация. На небольшом греческом судне «Надежда» с грузом сушеных фруктов, возвращавшемся в Пирей, мы в начале апреля вышли из севастопольской бухты. Порт уже был захвачен большевиками, шла беспорядочная стрельба, ее звук, последний звук России, стал зами-

рать, но берег все еще вспыхивал, не то вечерним солнцем в стеклах, не то беззвучными отдаленными взрывами, и я старался сосредоточить мысли на шахматной партии, которую играл с отцом (у одного из коней не хватало головы, покерная фишка заменяла недостающую ладью), и я не знаю, что было потом с Тamarой.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

### 1

Летом 1919-го года мы поселились в Лондоне. Отец и раньше бывал в Англии, а в феврале 1916 года приезжал туда, с пятью другими видными деятелями печати (среди них были Алексей Толстой, Немирович-Данченко, Чуковский), по приглашению британского правительства, желавшего показать им свою военную деятельность, которая недостаточно оценивалась русским общественным мнением. Были обеды и речи. Во время аудиенции у Георга Пятого Чуковский, как многие русские преувеличивавший литературное значение автора «Портрета Дориана Грея», внезапно, на невероятном своем английском языке, стал добиваться у короля, нравятся ли ему произведения — «дзи воркс» — Оскара Уайльда. Застенчивый и туповатый король, который Уайльда не читал, да и не понимал, какие слова Чуковский так старательно и мучительно выговаривает, вежливо выслушал его и спросил на французском языке, не намного лучше английского языка собеседника, как ему нравится лондонский туман — «бруар»? Чуковский только понял, что король меняет разговор, и впоследствии с большим торжеством приводил это как пример английского ханжества, — замалчивания гения писателя из-за безнравственности его личной жизни.

Об этом и о других забавных недоразумениях отец замечательно рассказывал за обеденным столом, но в его книжке «Из воюющей Англии» (Петроград, 1916 г.) я нахожу мало примеров его обычного юмора: он не был писателем, и я не слышу его голоса, например, в описании посещения английских окопов во Фландрии, где гостеприимство хозяев любезно включило даже взрыв немецкого снаряда вблизи посетителей. Отчет этот сначала печатался в «Речи»; в одной из статей отец рассказал,

с несколько старосветским простодушием, о том, как он подарил свое вечное перо Swan адмиралу Джеллико, который за завтраком занял его, чтобы автографировать меню, и похвалил его плавность. Неуместное обнародование названия фирмы получило немедленный отклик в огромном газетном объявлении от фирмы Mabie, Todd & Co., Ltd., которая цитировала отца и изображала его на рисунке предлагающим ее изделие командиру флота под хаотическим небом морского сражения.

Но теперь, три года спустя, не было ни речей, ни банкетов. После года пребывания в Лондоне отец с матерью и тремя младшими детьми переехал в Берлин (где до своей смерти 28-го марта 1922 года редактировал с И. В. Гессеном антисоветскую газету «Руль»), между тем как брат мой и я поступили осенью 1919-го года в Кембриджский университет — он в Christ's College, а я в Trinity.

## 2

Помню мутный, мокрый и мрачный октябрьский день, когда с неловким чувством, что участвую в каком-то ряженье, я в первый раз надел тонкотканый иссиня-черный плащ средневекового покроя и черный квадратный головной убор с кисточкой, чтобы представиться Гарри-сону, моему «тьютору», наставнику, следящему за успехами студента. Обойдя пустынный и туманный двор колледжа, я поднялся по указанной мне лестнице и постучал в слегка приоткрытую массивную дверь. Далекий голос отрывисто пригласил войти. Я миновал небольшую прихожую и попал в просторный кабинет. Сумерки опередили меня; в кабинете не было света, кроме пышущего огня в большом камине, около которого сидела темная фигура. Я подошел со словами: «Моя фамилия —» и вступил в чайные принадлежности, стоявшие на ковре около низкого камышового кресла Гаррисона. С недовольным криком он наклонился с сиденья и зачерпнул с ковра в небрежную горсть, а затем шлепнул обратно в чайник черное месиво чайных листьев. Так студенческий цикл моей жизни начался с неловкости, и этим предопределилась длинная серия неуклюжестей, ошибок и всякого рода неудач и глупостей, включая романтические, которые преследовали меня в продолжение трех-четырёх последовавших лет.

Гаррисону показалась блестящей идея дать мне в со-

жители другого White Russian<sup>63</sup>, так что сначала я делил квартирку в Trinity Lane с несколько озадаченным соотечественником, который все советовал мне, дабы восполнить непонятные пробелы в моем образовании, почитать «Протоколы Сионских мудрецов» да какую-то вторую книгу, попавшуюся ему в жизни, кажется L'homme qui Assassina<sup>64</sup> ФARRERA. В конце года он, не выдержав первокурсных экзаменов, вынужден был согласно регламенту покинуть Кембридж, и остальные два года я жил один. Апартаменты, которые я занимал, поражали меня своим убожеством по сравнению с обстановкой моего русского детства, ибо, — как теперь мне ясно, — я, метя в Англию, рассчитывал попасть не в какое-то неизвестное продолжение юности, а назад, в красочное младенчество, которому именно Англия, ее язык, книги и вещи придавали нарядность и сказочность. Вместо этого был просиженный, пылью пахнувший диван, мещанские подушечки, тарелки на стене, раковины на камине и, на видном месте, ветхая пианола с грыжей, ужасные, истошные и трудные звуки которой квартирная хозяйка позволяла и даже просила выдавливать в любой день, кроме воскресений. То, что кто-то совершенно посторонний мог мне что-нибудь позволять или запрещать, было мне настолько внове, что сначала я был уверен, что штрафы, которыми толстомордые колледжевые швейцары в котелках грозили, скажем, за гулянье по мураве, — просто традиционная шутка. Мимо моего окна шел к службам пятисотлетний переулочек, вдоль которого серела глухая стена. В спальне не полагалось топить. Из всех щелей дуло, постель была как глетчер, в кувшине за ночь набирался лед, не было ни ванны, ни даже проточной воды; приходилось поэтому по утрам совершать унылое паломничество в ванное заведение при колледже, идти по моему переулочку среди туманной стужи, в тонком халате поверх пижамы, с губкой в клеенчатом мешке под мышкой. Я часто простужался, но ничто в мире не могло бы заставить меня носить те нательные фуфайки, чуть ли не из медвежьей шерсти, которые англичане носили под сорочкой, после чего поражали иностранца тем, что зимой гуляли без пальто. Рядовой кембриджский студент носил башмаки на резиновых подошвах, темно-серые фланелевые панталоны, бурый вязаный жилет с рукавами (джерпер) и спортивный пиджак с хлястиком.

---

<sup>63</sup> «Белого» русского (англ.).

<sup>64</sup> «Человек, который убил» (фр.).

Модники предпочитали пиджак от хорошего костюма, ярко-желтый джемпер, бледно-серые фланелевые штаны и старые бальные туфли. Пора моих онегинских забот длилась недолго, но живо помню, как было приятно открыть существование рубашек с пришитыми воротничками и необязательность подвязок. Не буду продолжать опись этих маскарадных впечатлений. Настоящая история моего пребывания в английском университете есть история моих потуг удержать Россию. У меня было чувство, что Кембридж и все его знаменитые особенности, — величественные ильмы, расписные окна, башенные часы с курантами, аркада, серо-розовые стены в пиковых тузах плюща, — не имеют сами по себе никакого значения, существуя только для того, чтобы обрамлять и подпирать мою невыносимую ностальгию. Я был в состоянии человека, который, только что потеряв нетребовательную, нежно к нему относившуюся старую родственницу, вдруг понимает, что из-за какой-то лености души, усыпленной дурманом житейского, он как-то никогда не удосужился узнать покойную по-настоящему и никогда не высказал своей, тогда мало осознанной, любви, которую теперь уже ничем нельзя было разрешить и облегчить. Под бременем этой любви я сидел часами у камина, и слезы навертывались на глаза от напора чувств, от разымчивой банальности тлеющих углей, одиночества, отдаленных курантов, — и мучила мысль о том, сколько я пропустил в России, сколько я бы успел рассовать по всем карманам души и увезти с собой, кабы предвидел разлуку.

Некоторым моим братьям по изгнанию эти чувства были столь очевидны и знакомы, что заговорить о них даже в том приглушенном тоне, которого стараюсь придерживаться сейчас, показалось бы лишним и неприличным. Когда же мне случалось беседовать о том о сем с наиболее темными и реакционными из русских в Англии, я замечал, что патриотизм и политика сводились у них к животной злобе, направленной против Керенского скорей, чем Ленина, и зависевшей исключительно от материальных неудобств и потерь. Тут особенно разговаривать было нечего; гораздо сложнее обстояло дело с теми английскими моими знакомыми, которые считались, — и которых я сам считал, — культурными, тонкими, человеколюбивыми, либеральными людьми, но которые, несмотря на свою духовную изысканность, начинали нести гнетущий вздор, как только речь заходила о России. Мне особенно вспоминается один студент, прошедший через войну

и бывший года на четыре старше меня: он называл себя социалистом, писал стихи без рифм и был замечательным экспертом по (скажем) египетской истории. Это был долговязый великан, с зачаточной лысиной и лошадиной челюстью, и его медлительные и сложные манипуляции трубки раздражали собеседника, не соглашавшегося с ним, но в другое время пленяли своей комфортабельностью. Странно вспомнить, я в те годы «спорил о политике», — много и мучительно спорил с ним о России, в которой он, конечно, никогда не был; горечь исчезала, как только он начинал говорить о любимых наших английских поэтах; ныне он у себя на родине крупный ученый; назову его Бомстон, как Руссо называл своего дивного лорда.

Говорят, что в ленинскую пору сочувствие большевизму со стороны английских и американских передовых кругов основано было на соображениях внутренней политики. Мне кажется, что в значительной мере оно зависело от простого невежества. То немногое, что мой Бомстон и его друзья знали о России, пришло на запад из коммунистических мутных источников. Когда я допытывался у гуманнейшего Бомстона, как же он оправдывает презренный и мерзостный террор, пытки, и расстрелы, и всякую другую полоумную расправу, — Бомстон выбивал трубку о чугун очага, менял положение громадных скрещенных ног и говорил, что, не будь союзной блокады, не было бы и террора. Всех русских эмигрантов, всех врагов Советов, от меньшевика до монархиста, он преспокойно сбивал в кучу «царистских элементов» и, что бы я ни кричал, полагал, что князь Львов — родственник государя, а Миллюков — бывший царский министр. По его мнению, то, что он довольно жеманно называл «некоторое единообразие политических убеждений» при большевиках, было следствием «отсутствия всякой традиции свободомыслия» в России. Особенно меня раздражало отношение Бомстона к самому Ильичу, который, как известно всякому образованному русскому, был совершенный мещанин в своем отношении к искусству, знал Пушкина по Чайковскому и Белинскому и «не одобрял модернистов», причем под «модернистами» понимал Луначарского и каких-то шумных итальянцев; но для Бомстона и его друзей, столь тонко судивших о Донне и Хопкинсе, столь хорошо понимавших разные прелестные подробности в только что появившейся главе об искусстве Леопольда Блума, наш убогий Ленин был чувствительнейшим, проницательнейшим знатоком и поборником новейших течений в литературе,



и Бомстон только снисходительно улыбался, когда я, продолжая кричать, доказывал ему, что связь между передовым в политике и передовым в поэтике — связь чисто словесная (чем, конечно, радостно пользовалась советская пропаганда) и что на самом деле чем радикальнее русский человек в своих политических взглядах, тем обыкновенно консервативнее он в художественных.

Я нашел способ расшевелить немножко невозмутимость Бомстона, только когда я стал развивать ему мысль, что русскую историю можно рассматривать с двух точек зрения: во-первых, как своеобразную эволюцию полиции (странно безличной и как бы даже отвлеченной силы, иногда работающей в пустоте, иногда беспомощной, а иногда превосходящей правительство в зверствах — и ныне достигшей такого расцвета); а во-вторых, как развитие изумительной, вольнолюбивой культуры. Эти трюизмы встречались английскими интеллигентами с удивлением, досадой и насмешкой, между тем как молодые англичане ультраконсервативные (как, например, двое высокородных двоюродных братьев Бомстона) охотно поддерживали меня, но делали это из таких грубо реакционных соображений и орудовали такими простыми черносотенными понятиями, что мне было только неловко от их презренной поддержки. Я, кстати, горжусь, что уже тогда, в моей туманной, но независимой юности, разглядел признаки того, что с такой страшной очевидностью выяснилось ныне, когда постепенно образовался некий семейный круг, связывающий представителей всех наций: жовиальных строителей империи на своих просеках среди джунглей; немецких мистиков и палачей; матерых погромщиков из славян; жилистого американца-линчера; и, на продолжении того же семейного круга, тех одинаковых, мордастых, довольно бледных и пухлых автоматов с широкими квадратными плечами, которых Советская власть производит ныне в таком изобилии после тридцати с лишним лет искусственного подбора.

### 3

Очень скоро я бросил политику и весь отдался литературе. Из моего английского камина запыльхали на меня те червленые щиты и синие молнии, которыми началась русская словесность. Пушкин и Толстой, Тютчев и Гоголь встали по четырем углам моего мира. Я зачитывался великолеп-

ной описательной прозой великих русских естествоиспытателей и путешественников, открывавших новых птиц и насекомых в Средней Азии. Однажды, на рыночной площади посреди Кембриджа, я нашел на книжном лотке среди подержанных Гомеров и Горацийев Толковый словарь Даля в четырех томах. Я приобрел его за полкроны и читал его, по нескольку страниц ежевечерне, отмечая прелестные слова и выражения: «ольял» — будка на баржах (теперь уже поздно, никогда не пригодится). Страх забыть или засорить единственное, что успел я выцарапать, довольно, впрочем, сильными когтями, из России, стал прямо болезнью. Окруженный не то романтическими развалинами, не то донкихотским нагромождением томов (тут был и Мельников-Печерский, и старые русские журналы в мраморных переплетах), я мастерил и лакировал мертвые русские стихи, которые вырастали и отвердевали, как блестящие опухоли, вокруг какого-нибудь словесного образа. Как я ужаснулся бы, если бы тогда увидел, что сейчас вижу так ясно, — стилистическую зависимость моих русских построений от тех английских поэтов, от Марвелля до Хаусмана, которыми был заражен самый воздух моего тогдашнего быта. Но, Боже мой, как работал над своими ямбами, как пестовал их пеоны — и как радуюсь теперь, что так мало из своих кембриджских стихов напечатал. Внезапно, на туманном ноябрьском рассвете, я приходил в себя и замечал, как тихо, как холодно. Тошнило от выкуренных двадцати турецких папирос. И все же я долго еще не мог заставить себя перейти в спальню, боясь не столько бессонницы, сколько сердечных перебоев да того редкого, хоть и пустого недуга, которому я всегда был подвержен, *anxietas tibiagum* — когда ноги «тянет», как у беременной женщины. В камине что-то еще тлело под пеплом: зловещий закат сквозь лишаи бора; — и, подкинув еще угля, я устраивал тягу, затянув пасть камина сверху донизу двойным листом лондонского «Таймза». Начиналось приятное гудение за бумагой, тугой, как барабанная шкура, и прекрасной, как пергамент на свет. Гуд превращался в гул, а там и в могучий рев, оранжево-темное пятно появлялось посредине страницы, оно вдруг взрывалось пламенем, и огромный горящий лист с фырчащим шумом освобожденного феникса улетал в трубу к звездам. Приходилось платить несколько шиллингов штрафа, если властям доносили об этой жарптице.

Литературная братия, Бомстон и его несколько упадоч-

ный кружок, и какие-то молодые люди, пишущие триолеты, весьма сочувствовали моим ночным трудам, но зато не одобряли множества других моих интересов, как, например: энтомология, местные красавицы и спорт. Я особенно увлекался футболом, тем, что называли футболом в России и старой Англии, а в Америке называют соккер. Как иной рождается гусаром, так я родился голкипером. В России и вообще на континенте, особенно в Италии и в Испании, доблестное искусство вратаря искони окружено ореолом особого романтизма. В его одинокости и независимости есть что-то байроническое. На знаменитого голкипера, идущего по улице, глазуют дети и девушки. Он соперничает с матадором и с гонщиком в загадочном обаянии. Он носит собственную форму; его вольного образца свитер, фуражку, толстозабинтованные колени, перчатки, торчащие из заднего кармана трусиков, резко отделяют его от десяти остальных одинаково полосатых членов команды. Он белая ворона, он железная маска, он последний защитник. Во время матча фотографа по близости гола, благоговейно преклонив одно колено, снимают его, когда он ласточкой ныряет, чтобы концами пальцев чудом задеть и парировать молниеносный удар «шут» в угол, или когда, чтобы обнять мяч, он бросается головой вперед под яростные ноги нападающих, — и каким ревом исходит стадион, когда герой остается лежать ничком на земле перед своим незапятнанным голом.

Увы, в Англии, на родине футбола, некоторая угрюмость, сопряженная со всяким спортом, национальный страх перед показным блеском и слишком большое внимание к солидной сыгранности всей команды мало поощряли причудливые стороны голкиперского искусства. По крайней мере, этими соображениями я старался объяснить мое, не столь удачное, как мечталось, участие в университетском футболе. Мне не везло, — а кроме того, мне все совали в обременительный пример моего предшественника и соотечественника Хомякова, действительно изумительного вратаря, — вроде того, как чеховского Тригорина критики донимали ссылками на Тургенева. О, разумеется, были блистательные бодрые дни на футбольном поле, запах земли и травы, волнение важного состязания, — и вот вырывается и близится знаменитый форвард противника, и ведет новый желтый мяч, и вот с пушечной силой бьет по моему голу, — и жужжит в пальцах огонь от отклоненного удара. Но были и другие, более памятные, более эзотерические дни, под тяжелыми зимними небеса-

ми, когда пространство перед моими воротами представляло собой сплошную жижу черной грязи, и мяч был точно обмазан салом, и болела голова после бессонной ночи, посвященной составлению стихов, погибших к утру. Изменял глазомер, — и, пропустив второй гол, я с чувством, что жизнь вздор, вынимал мяч из задней сетки. Затем наша сторона начинала напирать, игра переходила на другой конец поля. Накрапывал нудный дождь, переставал, как в «Скупом рыцаре», и шел опять. С какой-то воркующей нежностью кричали галки, возясь в безлиственном ильме. Собирался туман. Игра сводилась к неясному мельканью силуэтов у едва зримых ворот противника. Далекие невнятные звуки пинков, свисток, опять мутное мелькание — все это никак не относилось ко мне. Сложив руки на груди и прислонившись к левой штанге ворот, я позволял себе роскошь закрыть глаза, и в таком положении слушал плотный стук сердца, и ощущал слепую морось на лице, и слышал звуки все еще далекой игры, и думал о себе как об экзотическом существе, переодетом английским футболистом и сочиняющем стихи, на никому не известном наречии, о заморской стране. Неудивительно, что товарищи мои по команде не очень меня жаловали.

Но странно: что-то было такое в Кембридже... Не футбол, не крики газетчиков в сгущающейся темноте, не крепкий чай с розовыми и зелеными пирожными, — словом, не преходящая мода и не чувствам доступные подробности, а тонкая сущность, которую я теперь бы определил как приволье времени и простор веков. На что ни посмотришь кругом, ничто не было стеснено или занавешено по отношению к стихии времени; напротив, всюду зияли отверстия в его сизую стихию, так что мысль привыкала работать в особенно чистой и вольной среде. Из-за того что в физическом пространстве это было не так, то есть тело стесняли узкий переулок, стенами заставленный газон, темные прохлады и арки, душа особенно живо воспринимала свободные дали времени и веков. У меня не было ни малейшего интереса к истории Кембриджа или Англии, и я был уверен, что Кембридж никак не действует на мою душу; однако именно Кембридж снабжал меня и мое русское раздумье не только рамой, но и ритмом. На независимого юношу среда только тогда влияет, когда в нем уже заложена восприимчивая частица; такой частицей было во мне все то английское, чем питалось мое детство. Мне впервые стало это ясно

в последнюю мою кембриджскую весну, когда я почувствовал себя в таком же естественном соприкосновении с непосредственной средой, в каком я был с моим русским прошлым, и этого состояния гармонии я достиг в ту минуту, когда то, чем я только и занимался три года, кропотливая реставрация моей, может быть, искусственной, но восхитительной России была наконец закончена, то есть я уже знал, что закрепил ее в душе навсегда. Один из немногих «утилитарных» грехов на моей совести — это то, что я употребил (очень, правда, небольшую) долю этого драгоценного материала для легкой и успешной сдачи экзаменов. Едва ли не самым замысловатым вопросом было предложение описать сад Плюшкина, — тот сад, который Гоголь так живописно завалил всем, что набрал из мастерских русских художников в Риме.

#### 4

Не стыжусь нежности, с которой вспоминаю задумчивое движение по кембриджской узкой и излучистой реке, сладостный гавайский вой граммофонов, плывший сквозь тень и свет, и ленивую руку той или другой Виолетты, вращавшей свой цветной парасоль, откинувшись на подушки своеобразной гондолы, которую я неспешно подвигал при помощи шеста. Белые и розовые каштаны были в полном цвету: их громады толпились по берегам, вытесняя небо из реки, и особое сочетание их листьев и конусообразных соцветий составляло картину, как бы вытканную en escalier. Теплый воздух пропитан был до странности крымскими запахами, чуть ли не мушмулой. Три арки каменного, венецианского вида мостика, перекинутого через узкую речку, образовали в соединении со своими отражениями в воде три волшебных овала, и в свою очередь вода наводила переливающийся отсвет на внутреннюю сторону свода, под который скользила моя гондола. Порою лепесток, роняемый цветущим деревом, медленно падал, и со странным чувством, что, наперекор жрецам, подсматриваешь нечто такое, чего ни богомольцу, ни туристу видеть не следует, я старался схватить взглядом отражение этого лепестка, которое значительно быстрее, чем он падал, поднималось к нему навстречу; и было страшно, что фокус не выйдет, что благословленное жрецами масло не загорится, что отражение промахнется и лепесток без него поплывет по течению; но всякий раз очарованное соединение удава-

лось, — с точностью слов поэта, которые встречают на полпути его или читательское воспоминание.

5

Вновь посетив Англию после семнадцатилетнего перерыва, я допустил грубую ошибку, а именно, отправился в Кембридж не в тихо сияющий майский день, а под ледяным февральским дождем, который всего лишь напомнил мне мою старую тоску по родине. Милорд Бомстон, теперь профессор Бомстон, с рассеянным видом повел меня завтракать в ресторан, который я хорошо знал и который должен был бы обдать меня воспоминаниями, но переменялась вся обстановка, даже потолок перекрасили, и окно в памяти не отворилось. Бомстон бросил курить. Его черты смягчились, его мысли полиняли. В этот день его занимало какое-то совершенно постороннее обстоятельство (что-то насчет его незамужней сестры, жившей у него в экономках, — она, кажется, заболела, и ее должны были оперировать в этот день), и, как бывает у однодумов, эта побочная забота явно мешала ему хорошенько сосредоточиться на том очень важном и спешном деле, в котором я так надеялся на его совет. Мебель была другая, форма у подавальщиц была другая, без тех фиолетовых бантов в волосах, и ни одна из них не была и наполовину столь привлекательна, как та, в пыльном луче прошлого, которую я так живо помнил. Разговор разваливался, и Бомстон уцепился за политику. Дело было уже в конце тридцатых годов, и бывшие попутчики из эстетов теперь поносили Сталина (перед которыми, впрочем, им еще предстояло умилиться в пору второй мировой войны)... Гром «чисток», который ударил в «старых большевиков», героев его юности, потряс Бомстона до глубины души, чего в молодости, во дни Ленина, не могли сделать с ним никакие стоны из Соловков и с Лубянки. С ужасом и отвращением он теперь произносил имена Ежова и Ягоды, но совершенно не помнил их предшественников, Урицкого и Дзержинского. Между тем как время исправило его взгляд на текущие советские дела, ему не приходило в голову пересмотреть, и может быть осудить, восторженные и невежественные предубеждения его юности, оглядываясь на короткую ленинскую эру, он все видел в ней нечто вроде *quinquennium Neronis*<sup>65</sup>.

<sup>65</sup> Нероновского пятилетия (лат.).

Бомстон посмотрел на часы, и я посмотрел на часы тоже, и мы расстались, и я пошел бродить под дождем по городу, а затем посетил знаменитый парк моего бывшего колледжа и в черных ильмах нашел знакомых галок, а в дымчато-бисерной траве — первые крокусы, словно крашенные посредством пасхальной химии. Снова гуляя под этими столь воспетыми деревьями, я тщетно пытался достичь по отношению к своим студенческим годам того же пронзительного и трепетного чувства прошлого, которое тогда, в те годы, я испытывал к своему отрочеству.

Ненастный день сузился до бледно-желтой полоски на сером западе, когда, решив перед отъездом посетить моего старого тьютора Гаррисона, я направился через знакомый двор, где в тумане проходили призраки в черных плащах. Я поднялся по знакомой лестнице, узнавая подробности, которых не вспоминал семнадцать лет, и автоматически постучал в знакомую дверь. Только тут я подумал, что напрасно я не узнал у Бомстона, не умер ли Гаррисон, — но он не умер, на мой стук отозвался издали знакомый голос. «Не знаю, помните ли вы меня», — начал я, идя через кабинет к тому месту, где он сидел у камина. «Кто же вы?» — произнес он, медленно поворачиваясь в своем низком кресле. «Я как будто не совсем...» Тут, с отвратительным треском и хрустом, я вступил в поднос с чайной посудой, стоявшей на ковре у его кресла. «Да, конечно, — сказал Гаррисон, — конечно, я вас помню».

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

### 1

Спираль — одухотворение круга. В ней, разомкнувшись и высвободившись из плоскости, круг перестает быть порочным. Пришло мне это в голову в гимназические годы, и тогда же я придумал, что бывшая столь популярной в России гегелевская триада, в сущности, выражает всего лишь природную спиральность вещей в отношении ко времени. Завои следуют один за другим, и каждый синтез представляет собой тезис следующей тройственной серии.

Возьмем простейшую спираль, то есть такую, которая состоит из трех загибов или дуг. Назовем тезисом первую дугу, с которой спираль начинается в некоем центре. Антитезисом будет тогда дуга покрупнее, которая противопоставляется первой, продолжая ее; синтезом же будет та, еще более крупная, дуга, которая продолжает предыдущую, заворачиваясь вдоль наружной стороны первого загиба.

Цветная спираль в стеклянном шарике — вот модель моей жизни. Дуга тезиса — это мой двадцатилетний русский период (1899—1919). Антитезисом служит пора эмиграции (1919—1940), проведенная в Западной Европе. Те четырнадцать лет (1940—1954), которые я провел уже на новой моей родине, намечают как будто начавшийся синтез. Позвольте мне заняться антитезисом. Оглядываясь на эти годы вольного зарубежья, я вижу себя и тысячи других русских людей ведущими несколько странную, но не лишенную приятности жизнь в вещественной нищете и духовной неге, среди не играющих ровно никакой роли призрачных иностранцев, в чьих городах нам, изгнанникам, доводилось физически существовать. Туземцы эти были как прозрачные, плоские фигуры из целлофана, и хотя мы пользовались их постройками, изобретениями, огородами, виноградниками, местами увеселения и т. д., между ними и нами не было и подобия тех человеческих отношений, которые у большинства эмигрантов были между собой. Но, увы, призрачные нации, сквозь которые мы и русские музы беспечно скользили, вдруг отвратительно содрогались и отвердевали; студень превращался в бетон и ясно показывал нам, кто, собственно, бесплотный пленник, и кто жирный хан. Наша безнадежная физическая зависимость от того или другого государства становилась особенно очевидной, когда приходилось добывать или продлевать какую-нибудь дурацкую визу, какую-нибудь шутовскую карт д'идантите, ибо тогда немедленно жадный бюрократический ад норовил засосать просителя, и он изнывал и чах, пока пухли его досье на полках у всяких консулов и полицейских чиновников. Бледно-зеленый несчастный нансенский паспорт был хуже волчьего билета; переезд из одной страны в другую бывал сопряжен с фантастическими затруднениями и задержками. Английские, немецкие, французские власти где-то, в мутной глубине своих гланд, хранили интересную идейку, что, как бы, дескать, плоха ни была исходная страна (в данном случае, Советская Россия), всякий



беглец из своей страны должен априори считаться презренным и подозрительным, ибо он существует вне какой-либо национальной администрации. Не все русские эмигранты, конечно, кротко соглашались быть изгоями и привидениями. Некоторым из нас сладко вспоминать, как мы осаживали или обманывали всяких высших чиновников, гнусных крыс, в разных министерствах, префектурах и полицейпрезидиумах.

## 2

Американские мои друзья явно не верят мне, когда я рассказываю, что за пятнадцать лет жизни в Германии я не познакомился близко ни с одним немцем, не прочел ни одной немецкой газеты или книги и никогда не чувствовал ни малейшего неудобства от незнания немецкого языка. Перебирая в памяти мои очень немногие и совершенно случайные встречи с берлинскими туземцами, я выделил в английской версии этих заметок немецкого студента, которому я, кажется, исправлял какие-то письма, посылавшиеся им кузине в Америку. Это был тихий, приличный, благополучный молодой человек в очках, изучавший гуманитарные науки в университете. Кто только не измышлялся в Эпоху Разума над собирателями бабочек — тут и Лабрюйер, в шестом издании (1691) своих «Характеров» презрительно отмечающий, что иной модник любит насекомых и рыдает над умершей гусеницей, тут и пудренные англичане Гей, и Поп, небрежно упоминающие в стихах о глуповатых философях, доводящих науку до абсурда тем, что гоняются за красивыми насекомыми, которых столь ценят любознательные немцы. И вот интересно, что бы сказали эти моралисты о коньке молодого немца моего улова в 1930-м году: он коллекционировал фотографические снимки казней. Уже при второй встрече он показал мне купленную им серию («Ein bißchen retouschier»<sup>66</sup>, — грустно сказал он, наморщив веснушчатый нос), изображавшую разные моменты заурядной декапитации в Китае; он с большим знанием дела указывал на красоту роковой сабли и на прекрасную атмосферу той полной кооперативности между палачом и пациентом, которая, на очень ясном снимке, заканчивалась феноменальным гейзером дымчато-серой крови. Небольшое состояние позволяло молодому собира-

<sup>66</sup> Слегка ретушировано... (нем.).

телю довольно много разъезжать. Он жаловался, впрочем, что ему не везет. На Балканах он присутствовал при двух-трех посредственных повешениях, а на Бульваре Араго в пленительном Париже на широко рекламированной, но оказавшейся весьма убогой и механической «гильотинаде» (как он выражался, думая, что это по-французски) как-то всегда так выходило, что ему было плохо видно, пропадали детали, и не удавалось ничего интересного снять дорогим аппаратиком, спрятанным в рукаве макинтоша. Несмотря на сильнейшую простуду, он недавно ездил в Регенсбург, где казнь совершалась по старинке, при помощи топора; он ожидал многого от этого зрелища, но, к величайшему разочарованию, осужденному, по-видимому, дали наркотическое средство, вследствие чего дурень едва реагировал, только вяло шлепался об землю, борясь с неловкими, падающими на него, помощниками палача. Дитрих, так звали молодого любителя, надеялся когда-нибудь попасть в Америку, чтобы посмотреть электрокуцию, и, мечтательно хмурясь, спрашивал себя, неужели правда, что во время этой операции сенсационные облачки дыма выходят из природных отверстий содрогающегося тела. При третьей и, к сожалению, последней встрече (сколько еще было штрихов в этом Дитрихе, которые мне хотелось добрать и сохранить для писательских нужд!) он, не сердясь, — хотя было на что сердиться, — а напротив, с кроткой печалью рассказал, что недавно провел целую ночь, терпеливо наблюдая за приятелем, который решил покончить собой и после некоторых уговоров согласился проделать это в присутствии Дитриха, но, увы, приятель оказался бесчестным обманщиком и вместо того, чтобы выстрелить себе в рот, как было обещано, грубо напился и к утру был в самом наглom настроении — хохотал и брился. Я давно потерял из виду милого Дитриха, но вполне ясно представляю себе выражение совершенного удовлетворения и облегчения («...наконец-то...») в его светлых форелевых глазах, когда он нынче, в гемютном немецком городке, избежавшем бомбежки, в кругу других ветеранов гитлеровских походов и опытов, демонстрирует друзьям, которые с гоготом добродушного восхищения («Дизер Дитрих!») бьют себя ладонью по ляжке, те абсолютно вундербар фотографии, которые так неожиданно и дешево ему за те годы посчастливилось снять.

Почти все, что могу сказать о берлинской поре моей жизни (1922—1937), издержано мной в романах и рассказах, которые я тогда же писал. Сначала эмигрантских гонораров не могло хватать на жизнь. Я усердно давал уроки английского и французского, а также и тенниса. Много переводил — начиная с «Alice in Wonderland»<sup>67</sup> (за русскую версию которой получил пять долларов) и кончая всем, чем угодно, вплоть до коммерческих описаний каких-то кранов. Однажды, в двадцатых годах, я составил для «Руля» новинку, — шараду, вроде тех, которые появлялись в лондонских газетах, — и тогда-то я и придумал новое слово «крестословица», столь крепко вошедшее в обиход.

О «Руле» вспоминаю с большой благодарностью. Иосиф Владимирович Гессен был моим первым читателем. Задолго до того, как в его же издательстве стали выходить мои книги, он с отеческим попустительством мне давал питать «Руль» незрелыми стихами. Синева берлинских сумерек, шатер углового каштана, легкое головокружение, бедность, влюбленность, мандариновый оттенок преждевременной световой рекламы и животная тоска по еще свежей России, — все это в ямбическом виде волоклось в редакторский кабинет, где И. В. близко подносил лист к лицу. Уже в конце двадцатых годов стали приносить приличные деньги переводные права моих книг, и в 1929 году мы с тобой поехали ловить бабочек в Пиренеях. В конце тридцатых годов мы и вовсе покинули Германию, а до того, в течение нескольких лет, я навещал Париж для публичных чтений и тогда обычно стоял у Ильи Исидоровича Фондаминского. Политические и религиозные его интересы мне были чужды, нрав и навыки были у нас совершенно различные, мою литературу он больше принимал на веру, — и все это не имело никакого значения. Попав в сияние этого человечнейшего человека, всякий проникался к нему редкой нежностью и уважением. Одно время я жил у него в маленьком будуаре рядом со столовой, где часто происходили по вечерам собрания, на которые хозяин благоразумно меңя не пускал. Замешкав с уходом, я иногда невольно попадал в положение пленного подслушивателя; помнится,

<sup>67</sup> «Алиса в Стране Чудес» (англ.).

однажды двое литераторов, спозаранку явившихся в эту соседнюю столовую, заговорили обо мне. «Что, были вчера на вечере Сирина?» — «Был». — «Ну, как?» — «Да так, знаете». Диалог, к сожалению, прервал третий гость, вошедший с приветствием: «Бонжур, мсье-дам»: почему-то выражения, свойственные французским почтальонам, казались нашим поэтам тонкостями парижского стиля. Русских литераторов набралось за границей чрезвычайно много, и я знал среди них людей бескорыстных и героических. Но были в Париже и особые группы, и там не все могли сойти за Алеш Карамазовых. Даровитый, но безответственный глава одной такой группировки совмещал лирику и расчет, интуицию и невежество, бледную немочь искусственных катакомб и роскошную античную томность. В этом мирке, где царили грусть и гнильца, от поэзии требовалось, чтобы она была чем-то соборным, круговым, каким-то коллективом тлеющих лириков, общим местом с наружным видом плеяды, — и меня туда не тянуло. Кроме беллетристики и стихов, я писал одно время посредственные критические заметки, — кстати, хочу тут покаяться, что слишком придрался к ученическим недостаткам Поплавского и недооценил его обаятельных достоинств. С писателями я видался мало. Однажды с Цветаевой совершил странную лирическую прогулку, в 1923 году, что ли, при сильном весеннем ветре, по каким-то пражским холмам. В тридцатых годах помню Куприна, под дождем и желтыми листьями поднимающего издали в виде приветствия бутылку красного вина. Ремизова, необыкновенной наружностью напоминавшего мне шахматную ладью после несвоевременной рокировки, я почему-то встречал только во французских кругах, на скучнейших сборищах *Nouvelle Revue Française*<sup>68</sup>, и par Paulhan звал его и меня на загородную дачу какого-то мецената, одного из тех несчастных дойных господ, которые, чтоб печататься, должны платить да платить.

Душевную приязнь, чувство душевного удобства возбуждали во мне очень немногие из моих собратьев. Проницательный ум и милая сдержанность Алданова были всегда для меня полны очарования. Я хорошо знал Айхенвальда, человека мягкой души и твердых правил, которого я уважал как критика, терзавшего Брюсовых и Горьких в

---

<sup>68</sup> Название французского журнала.

прошлом. Я очень сошелся с Ходасевичем, поэтический гений которого еще не понят по-настоящему. Презирав славу и со страшной силой обрушиваясь на продажность, пошлость и подлость, он нажил себе немало влиятельных врагов. Вижу его так отчетливо, сидящим со скрещенными худыми ногами у стола и вправляющим длинными пальцами половинку «Зеленого Капорала» в мундштук.

Книги Бунина я любил в отрочестве, а позже предпочитал его удивительные струящиеся стихи той парчовой прозе, которой он был знаменит. Когда я с ним познакомился в эмиграции, он только что получил Нобелевскую премию. Его болезненно занимали текучесть времени, старость, смерть, — и он с удовольствием отметил, что держится прямее меня, хотя на тридцать лет старше. Помнится, он пригласил меня в какой-то — вероятно, дорогой и хороший — ресторан для задушевной беседы. К сожалению, я не терплю ресторанов, водочки, закусок, музыки — и задушевных бесед. Бунин был озадачен моим равнодушием к рябчику и раздражен моим отказом распахнуть душу. К концу обеда нам уже было невыносимо скучно друг с другом. «Вы умрете в страшных мучениях и совершенном одиночестве», — сказал он мне, когда мы направились к вешалкам. Худенькая девушка в черном, найдя наши тяжелые пальто, пала, с ними в объятьях, на низкий прилавок. Я хотел помочь стройному старику надеть пальто, но он остановил меня движением ладони. Продолжая учтиво бороться — он теперь старался помочь мне, — мы медленно выплыли в бледную пасмурность зимнего дня. Мой спутник собрался было застегнуть воротник, как вдруг его лицо перекошилось выражением недоумения и досады. Общими усилиями мы вытащили мой длинный шерстяной шарф, который девица засунула в рукав его пальто. Шарф выходил очень постепенно, это было какое-то разматывание мумии, и мы тихо вращались друг вокруг друга. Закончив эту египетскую операцию, мы молча продолжали путь до угла, где простились. В дальнейшем мы встречались на людях довольно часто, и почему-то завелся между нами какой-то удручающе-шутливый тон, — и в общем до искусства мы с ним никогда и не договорились, а теперь поздно, и герой выходит в очередной сад, и польхают зарницы, а потом он едет на станцию, и звезды грозно и дивно горят на гробовом бархате, и чем-то горьковатым пахнет с полей, и в бесконечно отзывчивом отдалении нашей молодости опевают ночь петухи.

В продолжение двадцати лет эмигрантской жизни в Европе я посвящал чудовищное количество времени составлению шахматных задач. Это сложное, восхитительное и никчемное искусство стоит особняком: с обыкновенной игрой, с борьбой на доске, оно связано только в том смысле, как, скажем, одинаковыми свойствами шара пользуется и жонглер, чтобы выработать в воздухе свой хрупкий художественный космос, и теннисист, чтобы как можно скорее и основательнее разгромить противника. Характерно, что шахматные игроки — равно простые любители и гроссмейстеры — мало интересуются этими изящными и причудливыми головоломками и, хотя чувствуют прелесть хитрой задачи, совершенно не способны задачу сочинить.

Для этого сочинительства нужен не только изощренный технический опыт, но и вдохновение, и вдохновение это принадлежит к какому-то сборному, музыкально-математически-поэтическому типу. Бывало, в течение мирного дня, промеж двух пустых дел, в кильватере случайно проплывшей мысли, внезапно, без всякого предупреждения, я чувствовал приятное содрогание в мозгу, где намечался зачаток шахматной композиции, обещавшей мне ночь труда и отрады. Внезапный проблеск мог относиться, например, к новому способу слить в стратегическую схему такую-то засаду с такой-то защитой; или же перед глазами на миг появлялось в стилизованном, и потому неполном, виде расположение фигур, которое должно было выразить труднейшую тему, до того казавшуюся невоплотимой. Но чаще всего это было просто движение в тумане, маневр привидений, быстрая пантомима, и в ней участвовали не разные фигуры, а бесплотные силовые единицы, которые, вибрируя, входили в оригинальные столкновения и союзы. Ощущение было, повторяю, очень сладостное, и единственное мое возражение против шахматных композиций, это то, что я ради них загубил столько часов, которые тогда, в мои наиболее плодотворные, кипучие годы, я беспечно отнимал у писательства.

Знатоки различают несколько школ задачного искусства: англо-американская сочетает чистоту конструкции с ослепительным тематическим вымыслом; сказочным чем-то поражают оригинально-уродливые трехходовки готиче-

ской школы; неприятны своей пустотой и ложным лоском произведения чешских композиторов, ограничивших себя искусственными правилами; в свое время Россия изобрела гениальные этюды, ныне же прилежно занимается механическим нагромождением серых тем в порядке ударного перевыполнения бездарных заданий. Меня лично пленяли в задачах миражи и обманы, доведенные до дьявольской тонкости, и, хотя в вопросах конструкции я старался по мере возможности держаться классических правил, как, например, единство, чеканность, экономия сил, я всегда был готов пожертвовать чистотой рассудочной формы требованиям фантастического содержания.

Одно — загореться задачей идеей, другое — построить ее на доске. Умственное напряжение доходит до бредовой крайности; понятие времени выпадает из сознания: рука строителя нашаривает в коробке нужную пешку, сжимает ее, пока мысль колеблется, нужна ли тут затычка, можно ли обойтись без преграды, — и, когда разжимается кулак, оказывается, что прошло с час времени, истлевшего в накаленном до сияния мозгу составителя. Постепенно доска перед ним становится магнитным полем, звездным небом, сложным и точным прибором, системой нажимов и вспышек. Прожекторами двигаются через нее слоны. Конь превращается в рычаг, который пробуешь, и прилаживаешь, и пробуешь опять, доводя композицию до той точки, в которой чувство неожиданности должно слиться с чувством эстетического удовлетворения. Как мучительна бывала борьба с ферзем белых, когда нужно было ограничить его мощь во избежание двойного решения! Дело в том, что соревнование в шахматных задачах происходит не между белыми и черными, а между составителем и воображаемым разгадчиком (подобно тому, как в произведениях писательского искусства настоящая борьба ведется не между героями романа, а между романистом и читателем), а потому значительная часть ценности задачи зависит от числа и качества «иллюзорных решений», — всяких обманчиво-сильных первых ходов, ложных следов и других подвохов, хитро и любовно приготовленных автором, чтобы поддельной нитью лже-Ариадны опутать вошедшего в лабиринт. Но чего бы я ни сказал о задачном творчестве, я вряд ли бы мог до конца объяснить блаженную суть работы. В этом творчестве есть точки соприкосновения с сочинительством, и в особенности с писанием тех

невероятно сложных по замыслу рассказов, где автор в состоянии ясного ледяного безумия ставит себе единственные в своем роде правила и преграды, преодоление которых и дает чудотворный толчок к оживлению всего создания, к переходу его от граней кристалла к живым клеткам. Когда же составление задачи подходит к концу и точеные фигуры, уже зримые и нарядные, являются на генеральную репетицию авторской мечты, мучение заменяется чувством чуть ли не физической улады, в состав которого входит, между прочим, то безымянное ощущение «ладности», столь знакомое ребенку, когда он в постели мысленно проходит — не урок, а подробный образ завтрашней забавы и чувствует, как очертания воображенной игрушки удивительно точно и приятно прилаживаются к соответствующим уголкам и лункам в мозгу. В расставлении задачи есть та же приятность: гладко и удобно одна фигура заходит за другую, чтобы в тени и тайне тонкой засады заполнить квадрат, и есть приятное скольжение хорошо смазанной и отполированной машинной части, легко и отчетливодвигающейся так и эдак под пальцами, поднимающими и опускающими фигуру.

Мне вспоминается одна определенная задача, лучшее мое произведение, над которым я работал в продолжение двух-трех месяцев весной 1940-го года в темном оцепеневшем Париже. Настала наконец та ночь, когда мне удалось воспроизвести диковинную тему, над которой я бился. Попробую эту тему объяснить не знающему шахмат читателю.

Те, кто вообще решает шахматные задачи, делятся на простаков, умников и мудрецов, — или, иначе говоря, на разгадчиков начинающих, опытных и изощренных. Моя задача была обращена к изощренному мудрецу. Простак-новичок совершенно бы не заметил ее пуанты и довольно скоро нашел бы ее решение, минуя те замысловатые мучения, которые в ней ожидали опытного умника; ибо этот опытный умник пренебрег бы простотой и попал бы в узор иллюзорного решения, в «блестящую» паутину ходов, основанных на теме весьма модной и «передовой» в задачном искусстве (состоящей в том, чтобы в процессе победы над черными белый король парадоксально подвергался шаху); но это передовое «решение», которое очень тщательно, со множеством интересных вариантов, автор подложил разгадчику, совершенно уничтожалось скромным до нелепости ходом едва замет-



ной пешки черных. Умник, пройдя через этот адский лабиринт, становился мудрецом и только тогда добирался до простого ключа задачи, вроде того, как если бы кто искал кратчайший путь из Петербурга в Нью-Йорк и был шутником послан туда через Канзас, Калифорнию, Азию, Северную Африку и Азорские острова. Интересные дорожные впечатления, веллингтонии, тигры, гонги, всякие красочные местные обычаи (например, свадьба где-нибудь в Индии, когда жених и невеста трижды обходят священный огонь в земляной жаровне, — особенно если человек этнограф) с лихвой возмещают постаревшему путешественнику досаду, и, после всех приключений, простой ключ доставляет мудрецу художественное удовольствие.

Помню, как я медленно выплыл из обморока шахматной мысли, и вот на громадной английской сафьяновой доске в бланжевую и красную клетку безупречное положение было сбалансировано, как созвездие. Задача действовала, задача жила. Мои Staunton'ские шахматы (в 1920-м году дядя Константин подарил их моему отцу), великолепные массивные фигуры на байковых подошвах, отягощенные свинцом, с пешками в шесть сантиметров ростом и королями почти в десять, важно сияли лаковыми выпуклостями, как бы сознавая свою роль на доске. За такой же доской, как раз уместившейся на низком столике, сидели Лев Толстой и А. Б. Гольденвейзер 6-го ноября 1904-го года по старому стилю (рисунок Морозова, ныне в Толстовском музее в Москве), и рядом с ними, на круглом столе под лампой, виден не только открытый ящик для фигур, но и бумажный ярлычок (с подписью Staunton), приклеенный к внутренней стороне крышки. Увы, если присмотреться к моим двадцатилетним (в 1940 году) фигурам, можно было заметить, что отлетел кончик уха у одного из коней и основания у двух-трех пешек чуть подломаны, как край гриба, ибо много и далеко я их возил, сменив больше пятидесяти квартир за мои европейские годы; но на верхушке королевской ладьи и на челе королевского коня все еще сохранился рисунок красной коронки, вроде круглого знака на лбу у счастливого индуса.

Мои часы — ручеек времени по сравнению с оледенелым его озером на доске — показывали половину третьего утра. Дело было в мае — около 19-го мая 1940-го года. Накануне, после нескольких месяцев ходатайств, просьб и брани, удалось впрыснуть взятку в нужную крысу в нужном отделе и этим заставить ее выделить нужную

visa de sortie<sup>69</sup>, которая в свою очередь давала возможность получить разрешение на въезд в Америку. Глядя на мою шахматную задачу, я вдруг почувствовал, что с окончанием работы над ней целому периоду моей жизни благополучно пришел конец. Кроме скуки и отвращения, Европа не возбуждала во мне ничего. Кругом было очень тихо. Облегчение, которое я испытывал, придавало тишине некоторую нежность. Из-под дивана выглядывал игрушечный грузовичок. В соседней комнате ты и наш маленький сын мирно спали. Лампа на столе была в чепце из голубой сахарной бумаги (военная предосторожность), и вследствие этого электрический свет окрашивал лепной от табачного дыма воздух в лунные оттенки. Непроницаемые занавески отделяли меня от притушенного Парижа. Лежавшая на диване газета сообщала крупными литерами о нападении Германии на Голландию.

Передо мной лист скверной бумаги, на котором в ту лилово-черную парижскую ночь я нарисовал диаграмму моей задачи. Белые: Король, a7; Ферзь, b6; Ладьи, f4 и h5; Слоны, e4 и h8; Кони, d8 и e6; Пешки, b7 и g3. Черные: Король, e5; Ладья, g7; Слон, h6; Кони, e2 и g5; Пешки, c3, c6, d7. Белые начинают и дают мат в два хода. Решение дано в следующей главе. Ложный же след, иллюзорная комбинация: пешка идет на b8 и превращается в коня, после чего белые тремя разными, очаровательными матами отвечают на три по-разному раскрытых шаха черных; но черные разрушают всю эту блестящую комбинацию тем, что, вместо шахов, делают маленький, никчемный с виду, выжидательный ход в другом месте доски. В одном углу листа с диаграммой стоит тот же штемпель, которым чья-то неутомимая и бездельная рука украсила все книги, все бумаги, вывезенные мной из Франции в мае 1940-го года. Это — круглый пуговичный штемпель, и цвет его — последнее слово, спектра: violet de bureau<sup>70</sup>. В центре видны две прописные буквы, большое «R» и большое «F», инициалы Французской Республики. Из других букв, несколько меньшего формата, составляются по периферии штемпеля интересные слова Contrôle des Informations<sup>71</sup>. Эту тайную информацию я теперь могу обнародовать.

<sup>69</sup> Выездную визу (фр.).

<sup>70</sup> Канцелярская лиловизна (фр.).

<sup>71</sup> «Контроль информации» (фр.).

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

### 1

«О, как гаснут — по степи, по степи, удаляясь, годы!»  
Годы гаснут, мой друг, и когда удалятся совсем, никто не будет знать, что знаем ты да я. Наш сын растет; розы Пестума, туманного Пестума, отцвели; люди неумные, с большими способностями к математике, лихо добиваются до тайных сил природы, которые кроткие, в ореоле седин, и тоже не очень далекие физики предсказали (к тайному своему удивлению). А потому, пожалуй, пора, мой друг, просмотреть древние снимочки, пещерные рисунки поездов и аэропланов, залежи игрушек в чулане.

Заглянем еще дальше, а именно вернемся к майскому утру в 1934-м году, в Берлине. Мы ожидали ребенка. Я отвез тебя в больницу около Байришерплац и в пять часов утра шел домой, в Грюневальд. Весенние цветы украшали крашенные фотографии Гинденбурга и Гитлера в витринах рамочных и цветочных магазинов. Левацкие группы воробьев устраивали громкие собрания в сиреневых кустах палисадников и в притротуарных липах. Прозрачный рассвет совершенно обнажил одну сторону улицы, другая же сторона вся еще синела от холода. Тени разной длины постепенно сокращались, и свежо пахло асфальтом. В чистоте и пустоте незнакомого часа тени лежали с непривычной стороны, получалась полная перестановка, не лишенная некоторого изящества, вроде того, как отражается в зеркале у парикмахера отрезок панели с беспечными прохожими, уходящими в отвлеченный мир, — который вдруг перестает быть забавным и обдает душу волною ужаса. Когда я думаю о моей любви к кому-либо, у меня привычка проводить радиусы от этой любви, от нежного ядра личного чувства к чудовищно ускользящим точкам вселенной. Что-то заставляет меня как можно сознательнее примеривать личную любовь к безличным и неизмеримым величинам, — к пустотам между звезд, к туманностям (самая отдаленность коих уже есть род безумия), к ужасным западным вечности, ко всей этой беспомощности, холоду, головокружению, крутизнам времени и пространства, непонятным образом переходящим одно в другое. Так, в бессонную ночь, раздражаешь нежный кончик языка, без конца проверяя острую грань сломавшегося зуба, — или вот еще,

коснувшись чего-нибудь, — дверного косяка, стены, — должен невольно пройти через целый строй прикосновений к разным плоскостям в комнате, прежде чем привести свою жизнь в прежнее равновесие. Тут ничего не поделаешь — я должен осознать план местности и как бы отпечатать себя на нем. Когда этот замедленный и беззвучный взрыв любви происходит во мне, разворачивая свои тающие края и обволакивая меня сознанием чего-то значительно более настоящего, нетленного и мощного, чем весь набор вещества и энергии в любом космосе, тогда я мысленно должен себя ущипнуть, не спит ли мой разум. Я должен проделать молниеносный инвентарь мира, сделать все пространство и время соучастниками в моем смертном чувстве любви, дабы, как боль, смертность унять и помочь себе в борьбе с глупостью и ужасом этого унижительного положения, в котором я, человек, мог развить в себе бесконечность чувства и мысли при конечности существования.

Так как в метафизических вопросах я враг всяких объединений и не желаю участвовать в организованных экскурсиях по антропоморфическим парадизам, мне приходится полагаться на собственные свои слабые силы, когда думаю о лучших своих переживаниях: о страстной заботе, переходящей почти в куваду, с которой я отнесся к нашему ребенку с первого же мгновения его появления на свет. Вспомним все наши открытия (есть такая *idée reçue*<sup>72</sup> — «все родители делают эти открытия»): идеальную форму миниатюрных ногтей на младенческой руке, которую ты мне без слов показывала у себя на ладони, где она лежала, как отливом оставленная маленькая морская звезда; эпидерму ноги или щеки, которую ты предлагала моему вниманию дымчато-отдаленным голосом, точно нежность осязания могла быть передана только нежностью живописной дали; расплывчатое, ускользающее нечто в синем оттенке радужной оболочки глаза, удержавшей как будто тени, впитанные в древних баснословных лесах, где было больше птиц, чем тигров, больше плодов, чем шипов, и где, в пестрой глубине, зародился человеческий разум; а также первое путешествие младенца в следующее измерение, новую связь, установившуюся между глазом и предметом, таинственную связь, которую думают объяснить те бездарности, которые делают «научную карьеру» при помощи лабиринтов с тренированными крысами.

---

<sup>72</sup> Общее место (фр.).

Ближайшее подобие зарождения разума (и в человеческом роде, и в особи), мне кажется, можно найти в том дивном толчке, когда, глядя на путаницу сучков и листьев, вдруг понимаешь, что дотоле принимаемое тобой за часть этой ряби есть на самом деле птица или насекомое. Для того, чтобы объяснить начальное цветение человеческого рассудка, мне кажется, следует предположить паузу в эволюции природы, животворную минуту лени и неги. Борьба за существование — какой вздор! Проклятие труда и битв ведет человека обратно к кабану. Мы с тобой часто со смехом отмечали маньякальный блеск в глазу у хозяйственной дамы, когда в пищевых и распределительных замыслах она этим стеклянистым взглядом блуждает до моргу мясной. Пролетарии, разъединяйтесь! Старые книги ошибаются. Мир был создан в день отдыха.

## 2

В годы младенчества нашего мальчика в Германии громкого Гитлера и во Франции молчаливого Мажино мы вечно нуждались в деньгах, но добрые друзья не забывали снабжать нашего сына всем самым лучшим, что можно было достать. Хотя сами мы были бессильны, мы с беспокоем следили, чтобы не наметилось разрыва между вещественными благами в его младенчестве и нашем. Впрочем, наука выращивания младенцев сделала невероятные успехи: в девять месяцев я, например, не получал на обед целого фунта протертого шпината, не получал сок от дюжины апельсинов в один день; и тобою введенная педиатрическая рутина была несравненно художественнее и тщательнее, чем все, что могли бы придумать няньки и бонны нашего детства.

Обобщенный буржуа прежних дней, патер фамилиас прежнего формата, вряд ли бы понял отношение к ребенку со стороны свободного, счастливого и нищего эмигранта. Когда, бывало, ты поднимала его, напитанного теплой кашцей и важного, как идол, и держала его в ожидании рыжка, прежде чем превратить вертикального ребенка в горизонтального, я участвовал и в терпеливости твоего ожидания, и в стесненности его насыщенности, преувеличивая и то и другое, а потому испытывал восхитительное облегчение, когда тупой пузырек поднимался и лопался и ты с поздравительным шепотом низко нагибалась, чтобы опустить младенца

в белые сумерки постельки. Я до сих пор чувствую в кистях рук отзвук той профессиональной сноровки, того движения, когда надо было легко и ловко вжать поручни, чтобы передние колеса коляски, в которой я его катал по улицам, поднялись с асфальта на тротуар. У него сначала был великолепный, мышинового цвета, бельгийский экипажник, с толстыми, чуть ли не автомобильными, шинами, такой большой, что не входил в наш мозгливый лифт; этот экипажник плыл по панели с пленным младенцем, лежащим навзничь под пухом, шелком и мехом; только его зрачки двигались, выжидательно, и порою обращались кверху с быстрым взмахом нарядных ресниц, дабы проследить за скользившей в узорах ветвей голубизной, а затем он бросал на меня подозрительный взгляд, как бы желая узнать, не принадлежат ли эти дразнящие узоры листвы и неба к тому же порядку вещей, как его погремушки и родительский юмор. За колымагой последовала более легкая беленькая повозка, и в ней он пытался встать, натягивая до отказа ремни. Он добирался до борта и с любопытством философа смотрел на выброшенную им подушку и однажды сам выпал, когда лопнул ремень. Еще позже я катал его в особом стульчике на двух колесах (мальпостике): с первоначально упругих и верных высот ребенок спустился совсем низко и теперь, в полтора года, мог коснуться земли, съезжая с сиденья мальпостика и стуча по панели каблучками в предвкушении отпуска на свободу в городском саду. Вздуплась новая волна эволюции и опять начала его поднимать. В два года, на рождение, он получил серебряной краской выкрашенную алюминиевую модель гоночного «мерседеса» в два аршина длины, которая подвигалась при помощи двух органных педальей под ногами, и в этой сверкающей машине, чудным летом, полуголый, загорелый, золотоволосый, он мчался по тротуарам Курфюрстендама, с насосными и гремящими звуками, работая ножками, виртуозно орудуя рулем, а я бежал сзади, и из всех открытых окон доносился хриплый рев диктатора, бывшего себя в грудь, нечленораздельно ораторствовавшего в Неандертальской долине, которую мы с сыном оставили далеко позади.

Вместо дурацких и дурных фрейдистических опытов с кукольными домами и куколками в них («Что ж твои родители делают в спальне, Жоржик?») стоило бы, может быть, психологам постараться выяснить исторические фазы той страсти, которую дети испытывают к колесам.

Мы все знаем, конечно, как венский шарлатан объяснял интерес мальчиков к поездам. Мы оставим его и его попутчиков трястись в третьем классе науки через тоталитарное государство полового мифа (какую ошибку совершают диктаторы, игнорируя психоанализ, которым целые поколения можно было бы развратить). Молодой рост, стремительность мысли, американские горы кровообращения, все виды жизненности, суть виды скорости, и не удивительно, что развивающийся ребенок хочет перегнать природу и наполнить минимальный отрезок времени максимальным пространственным наслаждением. Глубоко в человеческом духе заложена способность находить удовольствие в преодолении земной тяги. Но чем бы любовь к колесу ни объяснялась, мы с тобой будем вечно держать и защищать, на этом ли или другом поле сражения, те мосты, на которых мы проводили часы с двухлетним, трехлетним, четырехлетним сыном в ожидании поезда. С безграничным оптимизмом он надеялся, что щелкнет семафор и вырастет локомотив из точки вдаль, где столько сливалось рельс между черными спинами домов. В холодные дни на нем было мерлушковое пальто с такой же ушастой шапочкой, и то и другое пестровато-коричневого цвета с инсистым оттенком, и эта оболочка и жар его веры в паровоз держали его в плотном тепле и согревали тебя тоже, ибо, чтоб не дать пальцам замерзнуть, надо было только зажать то один, то другой кулачок в свой руке, — и мы диву давались, какое количество тепла может развить эта печка — тело крупного дитяти.

### 3

Еще есть в каждом ребенке стремление к перелепке земли, к прямому влиянию на сыпучую среду. Вот почему дети так любят копаться в песке, строить шоссе и туннели для любимых игрушек. У него было больше ста маленьких автомобилей, и он брал то один, то другой с собой в сквер: солнце придавало медовый оттенок его голой спине, на которой скрещивались брідочки его вязаных, темно-синих штанишек (при погружении в вечернюю ванну этот икс брідочек и штанишки были представлены соответствующим узором белизны). Никогда прежде я так много не сиживал на стольких скамьях и садовых стульях, каменных тумбах и ступенях, парапетах террас и бортах бассейнов. Сердобольные немки принимали

меня за безработного. Пресловутый сосновый лес вокруг Грюневальдского озера мы посещали редко: слишком в нем было много мусора и отбросов, и не совсем понятно было, кто мог потрудиться принести так далеко эти тяжелые вещи — железную кровать, стоящую посреди прогалины, или разбитый параличом гипсовый бюст под кустом шиповника. Однажды я даже нашел в чаще стенное зеркало, несколько обезображенное, но еще бодрое, прислоненное к стволу и как бы даже пьяное от смеси солнца и зелени, пива и шартреза. Может быть, эти сюрреалистические вторжения в бюргерские места отдыха были обрывочными пророческими грезами будущих неурядиц и взрывов, вроде той кучи голов, которую Калиостро провидел в Версальской канаве. Поближе к озеру в летние воскресенья все кишело телами в разной стадии оголенности и загорелости. Только белки и некоторые гусеницы оставались в пальто. Сероногие женщины в исподнем белье сидели на жирном сером песке, мужчины, одетые в грязные от ила купальные трусики, гонялись друг за другом. В скверах города воспрещалось раздеваться, но разрешалось расстегнуть две-три пуговики рубашки, и можно было видеть на каждой скамейке молодых людей с ярко выраженным арийским типом, которые, закрыв глаза, подставляли под одобренное правительством солнце прыщавые лбы. Брезгливое и, может быть, преувеличенное содрогание, отразившееся в этих заметках, вероятно, результат нашей постоянной боязни, чтоб наш ребенок чем-нибудь не заразился. Ты не только содержала его в идеальной чистоте, но еще научила его сыздетства чистоту эту любить. Нас всегда бесило общепринятое и не лишенное мещанского привкуса мнение, что настоящий мальчик должен ненавидеть мытье.

Мне бы хотелось вспомнить все те скверы, где мы с ним сидели. Вызывая в памяти тот или другой образ, я часто могу определить географическое положение садика по двум-трем чертам. Очень узкие дорожки, усыпанные гравием, окаймленные карликовым буксом и все встречающиеся друг с дружкой, как персонажи в комедии; низкая, кубовой окраски, скамья с тисовой, кубической формы, живой изгородью сзади и с боков; квадратная клумба роз в раме гелиотропа — эти подробности явно связаны с небольшими скверами на берлинских перекрестках. Столь же очевидно, стул из тонкого железа с паукообразной тенью под ним, слегка смещенной с центра, и грациозная вращательная кропилка с



собственной радугой, висящей над влажной травой, означают для меня парк в Париже; но, как ты хорошо понимаешь, глаза Мнемозины настолько пристально направлены на маленькую фигуру (сидящую на корточках, нагружающую игрушечный возок камушками или рассматривающую блестящую мокрую кишку, к которой интересно пристало немножко того цветного гравия, по которой она только что проползла), что разнообразные наши места жительства — Берлин, Прага, Франценсбад, Париж, Ривьера и так далее — теряют свое суверенство, складывают в общий фонд своих окаменелых генералов и свои мертвые листья, общим цементом скрепляют содружество своих тропинок и соединяются в федерации бликов и теней, сквозь которые изящные дети с голыми коленками мечтательно катятся на жужжащих роликах.

Нашему мальчику было около трех лет в тот ветреный день в Берлине, где, конечно, никто не мог избежать знакомства с вездесущим портретом фюрера, когда я с ним остановился около клумбы бледных анютиных глазок: на личике каждого цветка было темное пятно вроде кляксы усов, и, по довольно глупому моему наущению, он с райским смехом узнал в них толпу беснующихся на ветру маленьких гитлеров. Это было на Фербеллинерплац. Могу также назвать тот цветущий сад в Париже, где я заметил тихую, хилую девочку, без всякого выражения в глазах, одетую в темное убогое не летнее платье, словно она бежала из сиротского приюта (действительно, немного позже я увидел, как ее увлекали две плавные монахини), которая ловкими пальчиками привязала живую бабочку к ниточке и с пасмурным лицом прогуливала слабо порхающее, слегка подбитое насекомое на этом поводке (верно, приходилось заниматься кропотливой вышивкой в том приюте). Ты часто обвиняла меня в жестокосердии при моих энтомологических исследованиях в Пиренеях и Альпах; и в самом деле, если я отвлек внимание нашего ребенка от этой хмурой Титании, я это сделал не потому, что проникся жалостью к ее ванессе, а потому, что вдруг вспомнил, как И. И. Фондаминский рассказывал мне об очень простом старомодном способе, употребляемом французским полицейским, когда он ведет в часть бунтаря или пьяного, которого он превращает в покорного сателлита тем, что держит беднягу при помощи небольшого крючочка, вроде рыбацкого, всаженного в его нехоленую, но очень отзывчивую плоть. Стоокой нежностью мы с тобой старались оградить до-

верчивую нежность нашего мальчика. Но про себя знали, что какая-нибудь гнусная дрянь, нарочно оставленная хулиганом на детской площадке, была еще малейшим из зол и что ужасы, которые прошлые поколения мысленно отстраняли как анахронизмы или как нечто случавшееся только очень далеко, в получеловеческих ханствах и мандаринствах, на самом деле происходили вокруг нас.

Когда же тень, бросаема́я ду́рой историей, стала наконец показываться даже на солнечных часах и мы начали беспокойно странствовать по Европе, было такое чувство, точно эти сады и парки путешествуют вместе с нами. Расходящиеся аллеи Ленотра и его цветники остались позади, как поезда, переведенные на запасной путь. В Праге, куда мы заехали показать нашего сына моей матери, он играл в Стромовке, где за боскетами пленяла взгляд необыкновенно свободная даль. Ты вспомни и те сады со скалами и альпийскими растениями, которые как бы проводили нас в Савойские Альпы. Деревянные руки в манжетах, пригвожденные к древесным стволам в старых парках курортов, указывали в ту сторону, откуда доносились приглушенные звуки духового оркестра. Умная тропка сопровождала аллее-улице: не всюду идя параллельно с нею, но всегда признавая ее водительство и как дитя вприпрыжку возвращаясь к ней от пруда с утками или бассейна с водяными лилиями, чтобы опять присоединиться к процессии платанов в том пункте, где отцы города разразились статуей. Корни, корни чего-то зеленого в памяти, корни пахучих растений, корни воспоминаний, способны проходить большие расстояния, преодолевая некоторые препятствия, проникая сквозь другие, пользуясь каждой трещиной. Так эти сады и парки шли с нами через Европу: гравистые дорожки собирались в кружок, чтобы смотреть, как ты нагибалась за мячом, ушедшим под бирючину, но там, на темной сырой земле, ничего не было, кроме пробитого лилового автобусного билетика. Круглое сидение пускалось в путь по периферии толстого ствола дуба и находило на другой стороне грустного старика, читающего газету на языке небольшого народа. Лаковые лавры замыкали лужок, где наш мальчик нашел первую свою живую лягушку, и ты сказала, что будет дождь. Дальше, под менее свинцовыми небесами, пошел трельяж роз, обращаясь чуть не в перголы, опутанные виноградом, и привел к кокетливой публичной уборной сомнительной чистоты, где на пороге прислужница в черном вязала черный чулок. Вниз по склону

плоскими камнями отделанная тропинка, ставя вперед все ту же ногу, пробралась через заросль ирисов и влилась в дорогу, где мягкая земля была вся в отпечатках подков. Сады и парки стали двигаться быстрее по мере того, как удлинялись ноги нашего мальчика; ему было уже три года, когда шествие цветущих кустов решительно повернуло к морю. Как видишь скучного начальника небольшой станции, стоящего в одиночестве на платформе, мимо которого промахивает твой поезд, так тот или другой серый парковый сторож удалялся, стоя на месте, пока ехали наши сады, увлекая нас к югу, к апельсиновым рощам, к цыплячьему пуху мимоз и *rôte tendre*<sup>73</sup> безоблачного неба. Чередой террас, ступенями, с каждой из которых прыскал яркий кузнечик, сады сошли к морю, причем оливы и олеандры чуть не сбивали друг друга с ног в своем нетерпении увидеть пляж. Там он стоял на коленках, держа вафельный букет мороженого, и так снят на мерцающем фоне: море превратилось на снимке в бельмо, но в действительности оно было серебристо-голубое, с фиалковыми темнотами там и сям. Были, похожие на леденцы, зеленые, розовые, синие стеклышки, вылизанные волной, и черные камешки с белой перевязью, и раковинки, распадающиеся на две створки, и кусочки глиняной посуды, еще сохранившие цвет и глазурь; эти осколки он приносил нам для оценки, и, если на них были синие шевроны или клеверный крап или любые другие блестящие эмблемы, они с легким звоном опускались в игрушечное ведро. Не сомневаюсь, что между этими слегка вогнутыми ивернями майолики был и такой кусочек, на котором узорный бордюр как раз продолжал, как в вырезной картинке, узор кусочка, который я нашел в 1903 году на том же берегу, и эти два осколка продолжали узор третьего, который на том же самом Ментонском пляже моя мать нашла в 1885 году, и четвертого, найденного ее матерью сто лет тому назад, — и так далее, так что, если б можно было собрать всю эту серию глиняных осколков, сложилась бы из них целиком чаша, разбитая итальянским ребенком Бог весть где и когда, но теперь починенная при помощи этих бронзовых скрепок.

Кстати, чтоб не забыть: решение шахматной задачи в предыдущей главе — слон идет на с2.

В мае 1940 года мы опять увидели море, но уже не

---

<sup>73</sup> Род фарфора (фр.).

на Ривьере, а в Сен-Назере. Там один последний маленький сквер окружил тебя, и меня, и шестилетнего сына, идущего между нами, когда мы направлялись к пристани, где, еще скрытый домами, нас ждал «Шамплен», чтобы унести нас в Америку. Этот последний садик остался у меня в уме, как бесцветный геометрический рисунок или крестословица, которую я мог бы легко заполнить красками и словами, мог бы легко придумать цветы для него, но это значило бы небрежно нарушить чистый ритм Мнемозины, которого я смиренно слушался с самого начала этих замет. Все, что помню об этом бесцветном сквере, это его остроумный тематический союз с трансатлантическими садами и парками; ибо вдруг, в ту минуту, когда мы дошли до конца дорожки, ты и я увидели нечто такое, на что мы не тотчас обратили внимание сына, не желая испортить ему изумленной радости самому открыть впереди огромный прототип всех парходиков, которые он, бывало, подталкивал, сидя в ванне. Там, перед нами, где прерывчатый ряд домов отделял нас от гавани и где взгляд встречали всякие сорта камуфляжа, как, например, голубые и розовые сорочки, пляшущие на веревке, или дамский велосипед, почему-то делящий с полосатою кошкой чугунный балкончик, — можно было разглядеть среди хаоса косых и прямых углов вырвавшиеся из-за белья великолепные трубы пархода, несомненные и неотъемлемые, вроде того, как на загадочных картинках, где все нарочно спутано («Найдите, что спрятал матрос»), однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда.

**ЗАЩИТА  
ЛУЖИНА**

Больше всего его поразило то, что с понедельника он будет Лужиным. Его отец — настоящий Лужин, пожилой Лужин, Лужин, писавший книги, — вышел от него, улыбаясь, потирая руки, уже смазанные на ночь прозрачным английским кремом, и своей вечерней замшевой походкой вернулся к себе в спальню. Жена лежала в постели. Она приподнялась и спросила: «Ну что, как?» Он снял свой серый халат и ответил: «Обошлось. Принял спокойно. Ух... Прямо гора с плеч». «Как хорошо... — сказала жена, медленно натягивая на себя шелковое одеяло. — Слава богу, слава богу...»

Это было и впрямь облегчение. Все лето — быстрое дачное лето, состоящее из трех запахов: сирень, сенокос, сухие листья, — все лето они обсуждали вопрос, когда и как перед ним открыться, и откладывали, откладывали, дотянули до конца августа. Они ходили вокруг него, с опаской суживая круги, но только он поднимал голову, отец с напускным интересом уже стучал по стеклу барометра, где стрелка всегда стояла на шторме, а мать уплывала куда-то в глубь дома, оставляя все двери открытыми, забывая длинный неряшливый букет колокольчиков на крышке рояля. Тучная француженка, читавшая ему вслух «Монте-Кристо» и прерывавшая чтение, чтобы с чувством воскликнуть «бедный, бедный Дантес!», предлагала его родителям, что сама возьмет быка за рога, хотя быка этого смертельно боялась. Бедный, бедный Дантес не возбуждал в нем участия, и, наблюдая ее воспитательный вздох, он только щурился и терзал резинкой ватманскую бумагу, стараясь поужаснее нарисовать выпуклость ее бюста.

Через много лет, в неожиданный год просветления, очарования, он с обморочным восторгом вспомнил эти часы чтения на веранде, плывущей под шум сада. Воспоминание пропитано было солнцем и сладко-чернильным вкусом тех лакричных палочек, которые она дробила ударами перочинного ножа и убеждала держать под языком. И обойные гвоздики, которые он однажды положил на

плетеное сиденье кресла, предназначенного принять с рассыпчатым потрескиванием ее грузный круп, были в его воспоминании равноценны и солнцу, и шуму сада, и комару, который, присосавшись к его ободранному колену, поднимал в блаженстве рубиновое брюшко. Хорошо, подробно знает десятилетний мальчик свои коленки, — расчесанный до крови волдырь, белые следы ногтей на загорелой коже и все те царапины, которыми расписываются песчинки, камушки, острые прутики. Комар улетал, избежав хлопка, француженка просила не егозить; с остервенением, скаля неровные зубы, — которые столичный дантист обхватил платиновой проволокой, — нагнув голову с завитком на макушке, он чесал, скреб всей пятерней укушенное место, — и медленно, с возрастающим ужасом, француженка тянулась к открытой рисовальной тетради, к невероятной карикатуре.

«Нет, я лучше сам ему скажу, — неуверенно ответил Лужин-старший на ее предложение. — Скажу ему погода, пускай он спокойно пишет у меня диктовки». «Это ложь, что в театре нет лож, — мерно диктовал он, гуляя взад и вперед по классной. — Это ложь, что в театре нет лож». И сын писал, почти лежа на столе, скаля зубы в металлических лесах, и оставлял просто пустые места на словах «ложь» и «лож». Лучше шла арифметика: была таинственная сладость в том, что длинное, с трудом добытое число в решительный миг, после многих приключений, без остатка делится на девятнадцать.

Он боялся, Лужин-старший, что, когда сын узнает, зачем так нужны были совершенно безликие Трувор и Синус, и таблица слов, требующих ять, и главнейшие русские реки, с ним случится то же, что два года назад, когда, медленно и тяжело, при звуке скрипевших ступеней, стрелявших половиц, передвигаемых сундуков, наполнив собою весь дом, появилась француженка. Но ничего такого не случилось, он слушал спокойно, и когда отец, старавшийся подбирать любопытнейшие, привлекательнейшие подробности, сказал, между прочим, что его, как взрослого, будут звать по фамилии, сын покраснел, заморгал, откинулся навзничь на подушку, открывая рот и мотая головой («Не ерзай так», — опасливо сказал отец, заметив его смущение и ожидая слез), но не расплакался, а вместо этого весь как-то надулся, закрыл лицо в подушку, пукая в нее губами, и вдруг, быстро привстав, — трепанный, теплый, с блестящими глазами, — спросил скороговоркой, будут ли и дома звать его Лужиным.

И теперь, по дороге на станцию, в пасмурный напряженный день, Лужин-старший, сидя рядом с женой в коляске, смотрел на сына, готовый тотчас же улыбнуться, если тот повернет к нему упрямо-отклоненное лицо, и недоумевал, с чего это он вдруг стал «крепенький», как выражалась жена. Сын сидел на передней скамеечке, закутанный в бурый лоден, в матросской шапке, надетой криво, но которую никто на свете сейчас не посмел бы поправить, и глядел в сторону, на толстые стволы берез, которые, крутясь, шли мимо, вдоль канавы, полной их листьев. «Тебе не холодно?» — спросила мать, когда, на повороте к мосту, хлынул ветер, отчего побежала пушистая рябь по серому птичьему крылу на ее шляпе. «Холодно», — сказал сын, глядя на реку. Мать, с мурлыкающим звуком, потянулась было к его плащiku, но, заметив выражение его глаз, отдернула руку и только показала перебором пальцев по воздуху: «Завернись, завернись поплотнее». Сын не шевельнулся. Она, пуча губы, чтобы отлепилась вуалетка ото рта — постоянное движение, почти тик, — посмотрела на мужа, молча прося содействия. Он тоже был в плаще-лодене, руки в плотных перчатках лежали на клетчатом пледе, который полого спускался и, образуя долину, чуть-чуть поднимался опять, до поясницы маленького Лужина. «Лужин, — сказал он с деланной веселостью, — а Лужин?» — и под пледом мягко толкнул сына ногой. Лужин подобрал коленки. Вот крыши изб, густо поросшие ярким мхом, вот знакомый старый столб с полустертой надписью (название деревни и число душ), вот журавль, ведро, черная грязь, белоногая баба. За деревней поехали шагом в гору, и сзади, внизу, появилась вторая коляска, где тесно сидели француженка и экономка, ненавидевшие друг дружку. Кучер чмокнул, лошади опять пустились рысью. Над жнивьем по бесцветному небу медленно летела ворона.

Станция находилась в двух верстах от усадьбы, там, где дорога, гулко и гладко пройдя сквозь еловый бор, пересекала петербургское шоссе и текла дальше, через рельсы, под шлагбаумом, в неизвестность. «Если хочешь, пусти марионеток», — льстиво сказал Лужин-старший, когда сын выпрыгнул из коляски и устоялся в землю, поводя шеей, которую щипала шерсть лодена. Сын молча взял протянутый гривенник. Из второй коляски грузно выползали француженка и экономка, одна вправо, другая влево. Отец снимал перчатки. Мать, оттягивая вуаль, следила за грудастым носильщиком, забирающим пледы. Про-



шел ветер, поднял гривы лошадей, надул малиновые рукава кучера.

Оказавшись один на платформе, Лужин пошел к стеклянному ящику, где пять куколок с голыми висячими ножками ждали, чтобы ожить и завертеться, толчка монеты; но это ожидание было сегодня напрасно, так как автомат оказался испорченным, и гривенник пропал даром. Лужин подождал, потом отвернулся и подошел к краю платформы. Справа, на огромном тюке, сидела девочка и, подперев ладонью локоть, ела зеленое яблоко. Слева стоял человек в крагах, со стеклом в руках, и глядел вдаль, на опушку леса, из-за которого через несколько минут появится предвестник поезда — белый дымок. Спереди, по ту сторону рельс, около бесколесного желтого вагона второго класса, вросшего в землю и превращенного в постоянное человеческое жилье, мужик колот дрова. Вдруг туман слез скрыл все это, обожгло ресницы, невозможно перенести то, что сейчас будет, — отец с веером билетов в руке, мать, считающая глазами чемоданы, влетающий поезд, носильщик, приставляющий лесенку к площадке вагона, чтобы удобнее было подняться. Он оглянулся. Девочка ела яблоко; человек в крагах смотрел вдаль; все было спокойно. Он дошел, словно гуляя, до конца платформы и вдруг задвигался очень быстро, сбежал по ступеням, — битая тропинка, садик начальника станции, забор, калитка, елки, — дальше овражек и сразу густой лес.

Сначала он бежал прямо лесом, шурша в папоротнике, скользя на красноватых ландышевых листьях, — и шапка висела сзади на шее, придержанная только резинкой, коленям в шерстяных, уже городских чулках было жарко, — он плакал на бегу, по-детски картаво чертыхаясь, когда ветка хлестала по лбу, — и наконец остановился, присел, запыхавшись, на корточки, так что лоден покрыл ему ноги.

Только сегодня, в день переезда из деревни в город, в день, сам по себе не сладкий, когда дом полон сквозняков, и так завидуешь садовнику, который никуда не едет, только сегодня он понял весь ужас перемены, о которой ему говорил отец. Прежние осенние возвращения в город показались счастьем. Ежедневная утренняя прогулка с французенкой, — всегда по одним и тем же улицам, по Невскому и кругом, через Набережную, домой, — никогда не повторится. Счастливая прогулка. Иногда ему предлагали начать с Набережной, но он всегда отказывался, — не только потому, что с раннего детства любил привычку, сколько потому, что нестерпимо боялся Петропавловской

пушки, громового, тяжкого удара, от которого дрожали стекла домов и могла лопнуть перепонка в ухе, — и всегда устраивался так (путем незаметных маневров), чтобы в двенадцать часов быть на Невском, подальше от пушки, — выстрел которой настиг бы его у самого дворца, если бы изменился порядок прогулки. Конечно также приятное раздумье после завтрака, на диване, под тигровым одеялом, и ровно в два — молоко в серебряной чашке, придающей молоку такой драгоценный вкус, и ровно в три — катание в открытом ландо. Взамен всего этого было нечто отвратительное своей новизной и неизвестностью, невозможный, неприемлемый мир, где будет пять уроков подряд и толпа мальчиков, еще более страшных, чем те, которые недавно, в июльский день, на мосту окружили его, навели жестяные пистолеты, пальнули в него палочками, с которых коварно были сдернуты резиновые наконечники.

В лесу было тихо и сыро. Наплакавшись вдоволь, он поиграл с жуком, нервно поведившим усами, и потом долго его давил камнем, стараясь повторить первоначальный сдобный хруст. Погодя он заметил, что заморосило. Тогда он встал с земли, нашел знакомую тропинку и побежал, спотыкаясь о корни, со смутной, мстительной мыслью добраться до дому и там спрятаться, провести там зиму, питаясь в кладовой вареньем и сыром. Тропинка, минут десять поюлив в лесу, спустилась к реке, которая была сплошь в кольцах от дождя, и еще через пять минут показался лесопильный завод, мельница, мост, где по щиколку утопаешь в опилках, и дорожка вверх, и через голые кусты сирени — дом. Он прокрался вдоль стены, увидел, что окно в гостиной открыто, и, взобравшись около водосточной трубы на зеленый облупленный карниз, перевалялся через подоконник. В гостиной он остановился, прислушался. Дагерротип деда, отца матери, — черные баки, скрипка в руках, — смотрел на него в упор, но совершенно исчез, растворился в стекле, как только он посмотрел на портрет сбоку, — печальная забава, которую он никогда не пропускал, входя в гостиную. Подумав, подвигав верхней губой, отчего платиновая проволока на передних зубах свободно ездил вверх и вниз, он осторожно открыл дверь и, вздрагивая от звонкого эха, слишком поспешно после отъезда хозяев вселившегося в дом, метнулся по коридору и оттуда, по лестнице, на чердак. Чердак был особенный, с оконцем, через которое можно было смотреть вниз, на лестницу, на коричневый блеск ее перил, плавно изгибающихся пониже, терявшихся в ту-

мане. В доме было совершенно тихо. Погодя, снизу, из кабинета отца, донесся заглушенный звон телефона. Звон продолжался с перерывами довольно долго. Потом опять тишина.

Он устроился на ящике. Рядом был такой же ящик, но открытый, и в нем были книги. Дамский велосипед с равной зеленой сеткой, натянутой вдоль заднего колеса, стоял на голове в углу, между необструганной доской, прислоненной к стене, и огромным баулом. Через несколько минут Лужину стало скучно, как когда горло обвязано фланелью и нельзя выходить. Он потрогал пыльные, серые книги в ящике, оставляя на них черные отпечатки. Кроме книг, был волан с одним пером, большая фотография (военный оркестр), шахматная доска с трещиной и прочие, не очень занимательные вещи.

Так прошел час. Он услышал вдруг шум голосов, воющий звук парадной двери и, осторожно выглянув в окошечко, увидел внизу отца, который, как мальчик, взбегал по лестнице и, не добежав до площадки, опять проворно спустился, двигая врозь коленями. Там, внизу, слышались теперь ясно голоса — буфетчика, кучера, сторожа. Через минуту лестница опять ожила, на этот раз быстро поднималась по ней мать, придерживая юбку, но тоже до площадки не дошла, а перегнулась через перила и потом быстро, расставив руки, сошла вниз. Наконец, еще через минуту, все гурьбой поднялись наверх, — блестела лысина отца, птица на шляпе матери колебалась, как утка на бурном пруду, прыгал седой бобр буфетчика; сзади, поминутно перегибаясь через перила, поднимались кучер, сторож и, почему-то, Акулина-молочница да еще чернобородый мужик с мельницы, обитатель будущих кошмаров. Он-то, как самый сильный, и понес его с чердака до коляски.

## 2

Лужин-старший, Лужин, писавший книги, часто думал о том, что может выйти из его сына. В его книгах, — а все они, кроме забытого романа «Угар», были написаны для отроков, юношей, учеников среднеучебных заведений, и продавались в крепких, красочных переплетах, — постоянно мелькал образ белокурого мальчика, и взбалмошного, и задумчивого, который превращался в скрипача или живописца, не теряя при этом нравственной своей красоты. Едва уловимую особенность, отличавшую его сына от всех

тех детей, которые, по его мнению, должны были стать людьми, ничем не замечательными (если предположить, что существуют такие люди), он понимал, как тайное волнение таланта, и, твердо помня, что покойный тесть был композитором (довольно, впрочем, сухим и склонным, в зрелые годы, к сомнительному блистанию виртуозности), он не раз, в приятной мечте, похожей на литографию, спускался ночью со свечой в гостиную, где вундеркинд в белой рубашонке до пят играет на огромном черном рояле.

Ему казалось, что все должны видеть недюжинность его сына; ему казалось, что, быть может, люди со стороны лучше в ней разбираются, чем он сам. Школа, которую он для сына выбрал, особенно славилась внимательностью и так называемой «внутренней» жизни ученика, гуманностью, вдумчивостью, дружеским проникновением. Преданье говорило, что в первое время ее существования учителя в час большой перемены возились с ребятами, — физик мял, глядя через плечо, комок снега, математик получал на бегу крепкий мячик в ребра, и сам директор веселым восклицанием поощрял игру. Таких общих игр теперь больше не было, но идиллическая слава осталась. Классным воспитателем сына был учитель словесности, добрый знакомый писателя Лужина и, кстати сказать, недурной лирический поэт, выпустивший сборник подражаний Анакреону. «Забредите, — сказал он в тот день, когда Лужин-старший в первый раз привел сына в школу. — В любой четверг, около двенадцати». Лужин забрел. На лестнице было пусто и тихо. Проходя через зал в учительскую, он услышал из второго класса глухой многоголосый раскат смеха. Затем, в тишине, шаги его особенно звонко застучали по желтому паркету зала. В учительской у большого стола, покрытого сукном, напоминавшим об экзаменах, сидел воспитатель и писал письмо.

С тех пор как его сын поступил в школу, он с воспитателем еще не говорил и теперь, спустя месяц являясь к нему, был полон щекочущего ожидания, некоторого волнения и робости — всех тех чувств, которые он некогда испытал, когда, юношей в студенческой форме, пришел к редактору, которому недавно послал первую свою повесть. И теперь, как и тогда, вместо слов изумления, которых он смутно ожидал (как, проснувшись в чужом городе, ожидаешь, еще не раскрыв век, необыкновенного, сияющего утра), вместо всех тех слов, которые он бы с такой охотой сам подсказал, если бы не надежда, что все-таки

их дождется, — он услышал пасмурные, холодноватые слова, доказывавшие, что его сына воспитатель понимает еще меньше, чем он сам. О какой-либо тайной даровитости тот и не обмолвился. Наклонив бледное бородатое лицо с двумя розовыми выемками по бокам носа, с которого он осторожно снял цепкое пенсне, вытирая глаза ладонью, воспитатель начал говорить первым, сказал, что мальчик мог бы учиться лучше, что мальчик, кажется, не ладит с товарищами, что мальчик мало бегает на переменах... «Способности у мальчика несомненно есть, — сказал воспитатель, покончив манипуляции с глазами, — но наблюдается некоторая вялость». В это мгновение где-то внизу родился звонок, перекинулся наверх, невыносимо пронзительно прошел по всему зданию. После этого были две-три секунды полнейшей тишины, — и вдруг все ожило, зашумело, захлопали крышки парт, зал наполнился говором, топотом. «Большая перемена, — сказал воспитатель. — Если хотите, сойдемте во двор, посмотрите, как резвятся ребята».

Они быстро съезжали по каменной лестнице, обняв балюстраду, скользя подошвами сандалий по отшлифованным краям ступеней. Внизу, в темной тесноте вешалок, переобувались; иные сидели на широких подоконниках, кряхтели, поспешно затягивая шнурки. Вдруг он увидел сына, который, сгорбившись, брезгливо вынимал сапоги из мешочка. Белобрысый мальчик второпях толкнул его, он посторонился и вдруг увидел отца. Отец улыбался ему, держа свой каракулевый колпак и ребром руки выдавливая необходимую бороздку. Лужин прищурился и отвернулся, словно отца не заметил. Присев на пол спиной к отцу, он завозился с сапогами; те, кто успел уже одеться, ступали через него, и он, после каждого толчка, все больше горбился, забивался в сумрак. Когда он наконец вышел — в длинном сером пальто и каракулевом колпачке (который один и тот же детина постоянно с него смахивал), отец уже стоял у ворот, в том конце двора, и выжидательно смотрел в его сторону. Рядом стоял воспитатель, и когда серый резиновый мяч, которым играли в футбол, подкатился случайно к его ногам, учитель словесности, инстинктивно продолжая очаровательное предание, сделал вид, что хочет его пнуть, неловко потоптался, чуть не потерял галошу и рассмеялся с большим добродушием. Отец поддержал его за локоть, и Лужин-младший, уловив мгновение, вернулся в переднюю, где уже было совсем спокойно и, скрытый вешалками, блаженно зевал швейцар.

Через дверное стекло, между чугунных лучей звездно-образной решетки, он увидел, как отец вдруг снял перчатку, быстро попрощался с воспитателем и исчез под воротами. Только тогда он выполз опять и, осторожно обходя игравших, пробрался налево, под арку, где были сложены дрова. Там, подняв воротник, он сел на поленья.

Так он просидел около двухсот пятидесяти больших перемен, до того года, когда он был увезен за границу. Иногда воспитатель неожиданно появлялся из-за угла. «Что ж ты, Лужин, все сидишь кучей? Побегал бы с товарищами». Лужин вставал с дров, выходил из-под арки в четырехугольный задний двор, делал несколько шагов, стараясь найти точку, равноотстоящую от тех трех его одноклассников, которые бывали особенно свирепы в этот час, шарахался от мяча, пущенного чьим-то звучным пинком, и, удостоверившись, что воспитатель далеко, возвращался к дровам. Он избрал это место в первый же день, в тот темный день, когда он почувствовал вокруг себя такую ненависть, такое глумливое любопытство, что глаза сами собой наливались горячей мутью, и все то, на что он глядел, — по проклятой необходимости смотреть на что-нибудь, — подвергалось замысловатым оптическим метаморфозам. Страница в голубую клетку застилалась туманом; белые цифры на черной доске то суживались, то расплывались; как будто равномерно удаляясь, становился глуше и неразборчивее голос учителя, и сосед по парте, вкрадчивый изверг с пушком на щеках, тихо и удовлетворенно говорил: «Сейчас расплачется». Но он не расплакался ни разу, не расплакался даже тогда, когда в уборной, общими усилиями, пытались вогнуть его голову в низкую раковину, где застыли желтые пузыри. «Господа, — сказал воспитатель на одном из первых уроков, — ваш новый товарищ — сын писателя. Которого, если вы еще не читали, то прочитайте». И крупными буквами он записал на доске, так нажимая, что из-под пальцев с хрустом крошился мел: «Приключения Антоши, изд. Сильвестрова». В течение двух-трех месяцев после этого Лужина звали Антошей. Изверг с таинственным видом принес в класс книжку и во время урока исподтишка показывал ее другим, многозначительно косясь на Лужина, — а когда урок кончился, стал читать вслух из середины, нарочито коверкая слова. Петрищев, смотревший через его плечо, хотел задержать страницу, и она порвалась. Кребс сказал скороговоркой: «Мой папа говорит, что это писатель очень второго сорта». Громов крикнул: «Пусть Антоша нам вслух почитает!»

«А мы лучше каждому по кусочку дадим», — со вкусом сказал шут класса, после бурной схватки завладевший красно-золотой нарядной книжкой. Страницы рассыпались по всему классу. На одной была картинка — ясноокий гимназист на углу улицы кормит своим завтраком облезлую собаку. На следующий день Лужин нашел ее аккуратно прибитой кнопками к внутренней стороне партовой крышки.

Скоро, впрочем, его оставили в покое, только изредка вспыхивала глупая кличка, но так как он упорно на нее не отзывался, то и она наконец погасла. Лужина перестали замечать, с ним не говорили, и даже единственный тихоня в классе (какой бывает в каждом классе, как бывает непременно толстяк, силач, остряк) сторонился его, боясь разделить его презренное положение. Этот же тихоня, получивший лет шесть спустя Георгиевский крест за опаснейшую разведку, а затем потерявший руку в пору гражданских войн, стараясь вспомнить (в двадцатых годах сего века), каким был в школе Лужин, не мог себе его представить иначе как со спины, то сидящего перед ним в классе, с растопыренными ушами, то уходящего в конец залы, подальше от шума, то уезжающего домой на извозчике — руки в карманах, большой пегий ранец на спине, валит снег... Он старался забежать вперед, заглянуть ему в лицо, но тот особый снег забвения, снег безмолвный и обильный, сплошной белой мутью застилал воспоминание. И бывший тихоня, теперь беспокойный эмигрант, говорил, глядя на портрет в газете: «Представьте себе — совершенно не помню его лица... Ну совершенно не помню...»

Но Лужин-старший, около четырех посматривавший в окно, видел приближавшиеся сани и лицо сына, как бледное пятнышко. Сын обычно сразу входил к нему в кабинет, целовал воздух, прикоснувшись щекой к его щеке, и сразу поворачивался. «Постой, — говорил отец, — постой. Расскажи, что было сегодня. Вызывали?»

Он жадно смотрел на сына, который отклонял лицо, и ему хотелось взять его за плечи, встряхнуть его, крепко поцеловать в бледную щеку, в глаза, в нежный впалый висок. От маленького Лужина в ту первую школьную зиму трогательно пахло чесноком из-за впрыскиваний мышьяка, прописанных доктором. Платиновую полоску ему сняли, но он, по привычке, продолжал скалиться, подворачивать верхнюю губу. Он был одет в серый английский костюмчик — хлястик сзади, короткие штаны с пуговками пониже

колен. Он стоял у письменного стола, балансируя на одной ноге, и отец ничего не смел против его непроницаемой хмурости. Сын уходил, волоча ранец по ковру; Лужин-старший облакачивался на стол, где в синих школьных тетрадках (прихоть, которую, быть может, оценит будущий биограф) он писал очередную повесть, и прислушивался к монологу в соседней столовой, к голосу жены, уговаривающей тишину выпить какао. «Страшная тишина, — думал Лужин-старший. — Он нездоров, у него какая-то тяжелая душевная жизнь... пожалуй, не следовало отдавать в школу. Но зато нужно же ему привыкнуть к обществу других мальчуганов... Загадка, загадка...»

«Съешь хоть кекса», — горестно продолжал голос за стеной, — и опять тишина. Но изредка происходило ужасное: вдруг, ни с того ни с сего, раздавался другой голос, визжащий и хриплый, и, как от ураганного ветра, хлопала дверь. Тогда он вскакивал, вбегал в столовую, держа в руке перо, как стрелку. Жена дрожащими руками подбирала со скатерти опрокинутую чашку, блюдечко, смотрела, нет ли трещин. «Я его расспрашивала о школе, — говорила она, не глядя на мужа, — он не хотел отвечать, — а потом, вот... как бешеный...» Они оба прислушивались. Француженка уехала осенью в Париж, и теперь уже никто не знал, что он там делает, у себя в комнате. Там обои были белые, а повыше шла голубая полоса, по которой нарисованы были серые гуси и рыжие щенки. Гусь шел на щенка, и опять то же самое, тридцать восемь раз вокруг всей комнаты. На этажерке стоял глобус и чучело белки, купленное когда-то на Вербе. Зеленый паровоз выглядывал из-под воланов кресла. Хорошая была комната, светлая. Веселые обои, веселые вещи.

Были и книги. Книги, сочиненные отцом, в золотокрасных рельефных обложках, с надписью от руки на первой странице: «Горячо надеюсь, что мой сын всегда будет относиться к животным и людям так, как Антоша», — и большой восклицательный знак. Или: «Эту книгу я писал, думая о твоём будущем, мой сын». Эти надписи вызывали в нем смутный стыд за отца, а самые книжки были столь же скучны, как «Слепой музыкант» или «Фрегат «Паллада». Большой том Пушкина, с портретом толстого курчавого мальчика, не открывался никогда. Зато были две книги — обе подаренные ему тетей, — которые он полюбил на всю жизнь, держал в памяти, словно под увеличительным стеклом, и так страстно пережил, что через двадцать лет, снова их перечитав, он



увидел в них только суховатый пересказ, сокращенное издание, как будто они отстали от того неповторимого, бессмертного образа, который они в нем оставили. Но не жажда дальних странствий заставляла его следовать по пятам Филеаса Фогга и не ребячливая склонность к таинственным приключениям влекла его в дом на Бэккер-стрит, где, впрыснув себе кокаину, мечтательно играл на скрипке долговязый сыщик с орлиным профилем. Только гораздо позже он сам себе уяснил, чем так волновали его эти две книги: правильно и безжалостно развивающийся узор, — Филеас, манекен в цилиндре, совершающий свой сложный изящный путь с оправданными жертвами, то на слоне, купленном за миллион, то на судне, которое нужно наполовину сжечь на топливо; и Шерлок, придавший логике прелесть грезы, Шерлок, составивший монографию о пепле всех видов сигар и с этим пеплом, как с талисманом, пробирающийся сквозь хрустальный лабиринт возможных дедукций к единственному сияющему выводу. Фокусник, которого на Рождестве пригласили его родители, каким-то образом слил в себе на время Фогга и Холмса, и странное наслаждение, испытанное им в тот день, сгладило все то неприятное, что сопровождало выступление фокусника. Так как просьбы, осторожные, редкие просьбы «позвать твоих школьных друзей», не привели ни к чему, Лужин-старший, уверенный, что это будет и весело, и полезно, обратился к двум знакомым, сыновья которых учились в той же школе, а кроме того пригласил детей дальнего родственника, двух тихих рыхлых мальчиков и бледную девочку с толстой черной косой. Все приглашенные мальчики были в матросских костюмах и пахли помадой. В двух из них маленький Лужин с ужасом узнал Берсенева и Розена из третьего класса, которые в школе были одеты неряшливо и вели себя бурно. «Ну вот, — радостно сказал Лужин-старший, держа сына за плечо (плечо медленно уходило из-под его ладони). — Теперь вас оставят одних, — познакомьтесь, поиграйте, — а потом позовут, будет сюрприз». Через полчаса он пошел их звать. В комнате было молчание. Девочка сидела в углу и перелистывала, ища картин, приложение к «Ниве». Берсенев и Розен сидели на диване, со сконфуженными лицами, очень красные и напояженные. Рыхлые племянники бродили по комнате, без любопытства рассматривая английские гравюры на стенах, глобус, белку, давно разбитый педометр, валявшийся на столе. Сам Лужин, тоже в матроске, с белой тесемкой и

свистком на груди, сидел на венском стуле у окна и смотрел исподлобья, грызя ноготь большого пальца. Но фокусник все искупил, и даже, когда на следующий день Берсенев и Розен, уже настоящие, отвратительные, подошли к нему в школьном зале, низко поклонились, а потом грубо расхохотались и в обнимку, шатаясь, быстро отошли, — даже и тогда эта насмешка не могла нарушить очарование. По его хмурой просьбе, — что бы он ни говорил теперь, брови у него мучительно сходились, — мать привезла ему из Гостиного двора большой ящик, выкрашенный под красное дерево, и учебник чудес, на обложке которого был господин с медалями на фраке, поднявший за уши кролика. В ящике были шкатулки с двойным дном, палочка, обклеенная звездистой бумагой, колода грубых карт, где фигурные были наполовину короли и валеты, а наполовину овцы в мундирах, складной цилиндр с отделениями, веревочка с двумя деревянными штучками на концах, назначение которых было неясно... И в кокетливых конвертиках были порошки, окрашивающие воду в синий, красный, зеленый цвет. Гораздо интереснее оказалась книга, и Лужин без труда выучил несколько карточных фокусов, которые он часами показывал самому себе, стоя перед зеркалом. Он находил загадочное удовольствие, неясное обещание каких-то других, еще неведомых наслаждений в том, как хитро и точно складывался фокус, но все же недоставало чего-то, он не мог уловить некоторую тайну, в которой, вероятно, был искушен фокусник, хватавший из воздуха рубль или вынимавший задуманную публикой семерку треф из уха смущенного Розена. Сложные приспособления, описанные в книге, его раздражали. Тайна, к которой он стремился, была простота, гармоническая простота, поражающая даже самой сложной магии.

В письменном отзыве о его успехах, присланном на Рождестве, в отзыве, весьма обстоятельном, где под рубрикой «Общие замечания» пространно, с плеоназмами говорилось о его вялости, апатии, сонливости, неповоротливости и где баллы были заменены наречиями, оказалось одно «неудовлетворительно» — по русскому языку — и несколько «едва удовлетворительно», — между прочим, по математике. Однако как раз в это время он необычайно увлекся сборником задач, «веселой математикой», как значилось в заглавии, причудливым поведением чисел, беззаконной игрой геометрических линий, — всем тем, чего не было в школьном задачнике. Блаженство и ужас вызывало

в нем скольжение наклонной линии вверх по другой, вертикальной, — в примере, указывавшем тайну параллельности. Вертикальная была бесконечна, как всякая линия, и наклонная, тоже бесконечная, скользя по ней и поднимаясь все выше, обречена была двигаться вечно, соскользнуть ей было невозможно, и точка их пересечения, вместе с его душой, неслась вверх по бесконечной стезе. Но, при помощи линейки, он принуждал их расцепиться: просто чертил их заново, параллельно друг дружке, и чувствовал при этом, что там, в бесконечности, где он заставил наклонную соскочить, произошла немыслимая катастрофа, неизъяснимое чудо, и он подолгу замирал на этих небесах, где сходят с ума земные линии.

На время он нашел мнимое успокоение в складных картинах. Это были сперва простые, детские, состоявшие из больших кусков, вырезанных по краю круглыми зубцами, как бисквиты, петибер, и сцеплявшихся так крепко, что, сложив картину, можно было поднимать, не ломая, целые части ее. Но в тот год английская мода изобрела складные картины для взрослых — «пузеля», как называли их у Пето, — вырезанные крайне прихотливо: кусочки всех очертаний, от простого кружка (часть будущего голубого неба) до самых затейливых форм, богатых углами, мысками, перешейками, хитрыми выступами, по которым никак нельзя было разобрать, куда они прилягутся, — пополнят ли они пегую шкуру коровы, уже почти доделанной, является ли этот темный край на зеленом фоне тенью от посоха пастуха, чье ухо и часть темени ясно видны на более откровенном кусочке. И когда постепенно появлялся слева круп коровы, а справа, на зелени, рука с дудкой, и повыше небесной синевой ровно застраивалась пустота, и голубой кружок ладно входил в небосвод, — Лужин чувствовал удивительное волнение от точных сочетаний этих пестрых кусков, образующих в последний миг отчетливую картину. Были головоломки очень дорогие, состоявшие из нескольких тысяч частей; их приносила тетя, веселая, нежная рыжеволосая тетя, — и он часами склонялся над ломберным столом в зале, проверяя глазами каждый зубчик раньше, чем попробовать, подходит ли он к выемке, и стараясь, по едва заметным приметам, определить заранее сущность картины. Из соседней комнаты, где шумели гости, тетя просила: «Ради бога, не потеряй ничего!» Иногда входил отец, смотрел на кусочки, протягивал руку к столу, говорил: «Вот это, несомненно, должно сюда лечь», и тогда Лужин не оборачиваясь

бормотал: «Глупости, глупости, не мешайте», — и отец, осторожно прикоснувшись губами к его хохолку, уходил — мимо позолоченных стульев, мимо обширного зеркала, мимо копии с купающейся Фрины, мимо рояля, большого безмолвного рояля, подкованного толстым стеклом и покрытого парчовой попоной.

### 3

Только в апреле, на пасхальных каникулах, наступил для Лужина тот неизбежный день, когда весь мир вдруг потух, как будто повернули выключатель, и только одно, посреди мрака, было ярко освещено, новорожденное чудо, блестящий островок, на котором обречена была сосредоточиться вся его жизнь. Счастье, за которое он уцепился, остановилось; апрельский этот день замер навеки, и где-то, в другой плоскости, продолжалось движение дней, городская весна, деревенское лето — смутные потоки, едва касавшиеся его.

Началось это невинно. В годовщину смерти тестя Лужин-старший устроил у себя на квартире музыкальный вечер. Сам он в музыке разбирался мало, питал тайную постыдную страсть к «Травиате», на концертах слушал рояль только вначале, а затем глядел, уже не слушая, на руки пианиста, отражавшиеся в черном лаке. Но музыкальный вечер с исполнением вещей покойного тестя пришлось устроить поневоле: уж слишком молчали газеты — забвение было полное, тяжкое, безнадежное, — и жена с дрожащей улыбкой повторяла, что это все интриги, интриги, интриги, что и при жизни завидовали дару ее отца, что теперь хотят замолчать его славу. В открытом черном платье, в чудесном бриллиантовом ошейнике, с постоянным выражением сонной ласковости на пухлом белом лице, она принимала гостей тихо, без восклицаний, нашептывая что-то быстрое, нежное по звуку, и, втайне шалея от застенчивости, все время искала глазами мужа, который подвигался туда-сюда мелкими шажками, с выпирающим из жилета крахмальным панцирем, добродушный, осторожный, с первыми робкими потугами на маститость. «Опять вышла нагишом», — со вздохом сказал издатель художественного журнала, взглянув мимоходом на Фрину, которая, благодаря усиленному освещению, была особенно ярка. Тут маленький Лужин попался ему под ноги и был поглажен по голове. Лужин попятился. «Какой он у вас

стал огромный», — сказал дамский голос сзади. Он спрятался за чей-то фрак. «Нет, позвольте, позвольте, — загремело над его головой. — Нельзя же предъявлять таких требований к нашей печати». Вовсе не огромный, а, напротив, очень маленький для своих лет, он ходил между гостей, стараясь найти тихое место. Иногда кто-нибудь ловил его за плечо, спрашивая ерунду. В зале было тесно от золоченых стульев, которые поставили рядами. Кто-то осторожно вносил в дверь нотный пюпитр.

Незаметными переходами Лужин пробрался в отцовский кабинет, где было темно, и сел в угол, на оттоманку. Из далекой залы, через две комнаты, доносился нежный вой скрипки.

Он сонно слушал, обняв колени и глядя на кисейный просвет меж неплотно задвинутых штор, в котором лиловой белизной горел над улицей газовый фонарь. По потолку изредка таинственной дугой проходил легкий свет, и на письменном столе была блестящая точка, — неизвестно что: блик ли в тяжелом хрустальном яйце или отражение в стекле фотографии. Он чуть было не задремал и вдруг вздрогнул от того, что на столе зазвонил телефон, и сразу стало ясно, что блестящая точка — на телефонной вилке. Из столовой вошел буфетчик, включил на ходу свет, озаривший весь письменный стол, приложил трубку к уху и, не заметив Лужина, опять вышел, осторожно положив трубку на кожаный бювар. Через минуту он вернулся, сопровождая господина, который, попав в круг света, схватил со стола трубку, другой рукой нащупал сзади себя спинку кресла. Слуга прикрыл за собой дверь, заглушив далекий перелив музыки. «Я слушаю», — сказал господин. Лужин из темноты смотрел на него, боясь двинуться и смущенный тем, что совершенно чужой человек так удобно расселся у отцовского стола. «Нет, я уже отыграл», — сказал он, глядя вверх и что-то трогая на столе белой, беспокойной рукой. Извозчик глухо процокал по торцам. «Вероятно», — сказал господин. Лужин видел его профиль, нос из слоновой кости, блестящие черные волосы, густую бровь. «Я, собственно говоря, не знаю, почему ты мне сюда звонишь, — тихо сказал он, продолжая теревить что-то на столе. — Если только для того, чтобы проверить... Чудачка», — рассмеялся он и стал равномерно покачивать ногой в лакированной туфле. Потом он очень ловко подложил трубку между ухом и плечом и, изредка отвечая «да», «нет», «может быть», взял в обе руки то, что он на столе потрагивал. Это был небольшой гладкий ящик,

который на днях кто-то подарил отцу. Лужин еще не успел посмотреть, что внутри, и теперь с любопытством следил за руками господина. Но тот не сразу открыл ящик. «И я тоже, — сказал он. — Много раз, много раз. Спокойной ночи, девочка». Повесив трубку, он вздохнул и открыл ящик. Однако он так повернулся, что из-за его черного плеча Лужин ничего не видел. Он осторожно подвинулся, но на пол соскользнула подушка, и господин быстро оглянулся. «Ты что тут делаешь? — спросил он, в темном углу разглядев Лужина. — Ай-ай, как нехорошо подслушивать!» Лужин молчал. «Как тебя зовут?» — дружелюбно спросил господин. Лужин сполз с дивана и подошел. В ящике тесно лежали резные фигуры. «Отличные шахматы, — сказал господин. — Папа играет?» «Не знаю», — сказал Лужин. «А ты сам умеешь?» Лужин покачал головой. «Вот это напрасно. Надо научиться. Я в десять лет уже здорово играл. Тебе сколько?»

Осторожно открылась дверь. Вошел Лужин-старший — на цыпочках. Он приготовился к тому, что скрипач еще говорит по телефону, и думал очень деликатно прошептать: «Продолжайте, продолжайте, а когда кончите, публика очень просит еще чего-нибудь».

«Продолжайте, продолжайте», — сказал он по инерции и, увидев сына, запнулся. «Нет, нет, уже готово, — ответил скрипач вставая. — Отличные шахматы. Вы играете?» «Неважно», — сказал Лужин-старший. («Ты что же тут делаешь? Иди тоже послушать музыку...») «Какая игра, какая игра, — сказал скрипач, бережно закрывая ящик. — Комбинации, как мелодии. Я, понимаете ли, просто слышу ходы». «По-моему, для шахмат нужно иметь большие математические способности, — быстро сказал Лужин-старший. — У меня на этот счет... Вас ждут, маэстро». «Я бы лучше партишку сыграл, — засмеялся скрипач, идя к двери. — Игра богов. Бесконечные возможности». «Очень древнее изобретение, — сказал Лужин-старший и оглянулся на сына. — Ну, что же ты? Иди же!» Но Лужин, не доходя до зала, ухитрился застрять в столовой, где был накрыт стол с закусками. Там он взял тарелку с сэндвичами и унес ее к себе в комнату. Он ел, раздеваясь, потом ел в постели. Когда он уже потушил, к нему заглянула мать, нагнулась над ним, блеснув в полутьме бриллиантами на шее. Он притворился, что спит. Она ушла и долго-долго, чтобы не стукнуть, закрывала дверь.

Он проснулся на следующее утро с чувством непонятного волнения. Было ярко, ветрено, мостовые отливали

лиловым блеском; близ Дворцовой арки над улицей упруго надувалось огромное трехцветное полотно, сквозь которое тремя разными оттенками просвечивало небо. Как всегда в праздничные дни, он вышел гулять с отцом, но это не были прежние детские прогулки: полуденная пушка уже не пугала, и невыносим был разговор отца, который, придравшись ко вчерашнему вечеру, намекал на то, что хорошо бы начать заниматься музыкой. За завтраком был последний остаток сливочной пасхи (приземистая пирамидка с сероватым налетом на круглой макушке) и еще непочатый кулич. Тетя, все та же милая рыжеволосая тетя, троюродная сестра матери, была весела чрезвычайно, кидалась крошками и рассказала, что Латам за двадцать пять рублей прокатит ее на своей «Антуанетте», которая, впрочем, пятый день не может подняться, между тем как Вуазен летает, как заводной, кругами, да притом так низко, что когда он кренился над трибунами, видна даже вата в ушах у пилота. Лужин почему-то необыкновенно ясно запомнил это утро, этот завтрак, как запоминаешь день, предшествующий далекому пути. Отец говорил, что хорошо бы после завтрака поехать на острова, где поляны сплошь в анемонах, и, пока он говорил, тетя попала ему крошкой прямо в рот. Мать молчала — и вдруг, после второго блюда, встала и, стараясь скрыть дрожащее лицо, повторяя шепотом, что «это ничего, ничего, сейчас пройдет», — поспешно вышла. Отец бросил салфетку на стол и вышел тоже. Лужин никогда не узнал, что именно случилось, но, проходя с тетей по коридору, слышал из спальни матери тихое всхлипывание и увещающий голос отца, который громко повторял слово «фантазия».

«Уйдем куда-нибудь», — зашептала тетя, красная, притихшая, с бегающими глазами, — и они оказались в кабинете, где над кожаным креслом проходил конус лучей, в котором вертелись пылинки. Она закурила, и в этих лучах мягко и призрачно закачались складки дыма. Это был единственный человек, в присутствии которого он не чувствовал себя стесненным, и сейчас было особенно хорошо: странное молчание в доме и как будто ожидание чего-то. «Ну, будем играть во что-нибудь, — поспешно сказала тетя и взяла его сзади за шею. — Какая у тебя тоненькая шея, одной рукой можно...» «Ты в шахматы умеешь?» — вкрадчиво спросил Лужин и, высвободив голову, приятно потерся щекой об ее васильковый шелковый рукав. «Лучше в дураки», — сказала она рассеянно. Где-то хлопнула дверь. Она поморщилась и, повернув лицо в сторону звука,

прислушалась. «Нет, я хочу в шахматы», — сказал Лужин. «Сложно, милый, сразу не научишь». Он подошел к письменному столу, отыскал ящик, стоявший за портретом. Тетя встала, чтобы взять пепельницу, в раздумье напевая окончание какой-то своей мысли: «Это было бы ужасно, это было бы ужасно...» «Вот», — сказал Лужин и опустил ящик на низенький турецкий столик с инкрустациями. «Нужно еще доску, — сказала она. — И знаешь, я тебя лучше научу в поддавки, это проще». «Нет, в шахматы», — сказал Лужин и развернул клеенчатую доску.

«Сперва расставим фигуры, — начала тетя со вздохом. — Здесь белые, там черные. Король и королева рядышком. Вот это — офицеры. Это — коньки. А это — пушки, по краям. Теперь...» Она вдруг замерла, держа фигуру на весу и глядя на дверь. «Постой, — сказала она спокойно. — Я, кажется, забыла платок в столовой. Я сейчас приду». Она открыла дверь, но тотчас вернулась. «Пускай, — сказала она и опять села на свое место. — Нет, не расставляй без меня, ты напутаешь. Это называется — пешка. Теперь смотри, как они все двигаются. Конек, конечно, скачет». Лужин сидел на ковре, плечом касаясь ее колена, и глядел на ее руку в тонком платиновом браслете, которая поднимала и ставила фигуры. «Королева самая движущаяся», — сказал он с удовольствием и пальцем поправил фигуру, которая стояла не совсем посреди квадрата. «А едят они так, — говорила тетя. — Как будто, понимаешь, вытесняют. А пешки так: бочком. Когда можно взять короля, это называется шах; когда ему некуда сунуться, это — мат. Ты должен, значит, взять моего короля, а я твоего. Видишь, как это все долго объяснять. Может быть, в другой раз сыграем, а?» «Нет, сейчас», — сказал Лужин и вдруг поцеловал ее руку. «Ах ты, милый, — протянула тетя, — откуда такие нежности... Хороший ты все-таки мальчик». «Пожалуйста, будем играть», — сказал Лужин и, пройдя по ковру на коленках, стал так перед столиком. Но она вдруг поднялась с места, да так резко, что задела юбкой доску и смахнула несколько фигур. В дверях стоял его отец.

«Уходи к себе», — сказал он, мельком взглянув на сына. Лужин, которого в первый раз в жизни выгоняли из комнаты, остался от удивления, как был, на коленях. «Ты слышал?» — сказал отец. Лужин сильно покраснел и стал искать на ковре упавшие фигуры. «Побыстрее», — сказал отец громовым голосом, каким он не говорил никогда. Тетя стала торопливо, кое-как класть фигуры в ящик. Руки



у нее дрожали. Одна пешка никак не хотела влезть. «Ну, бери, бери, — сказала она, — бери же!» Он медленно свернул клеенчатую доску и, с темным от обиды лицом, взял ящик. Дверь он не мог прикрыть за собой, так как обе руки были заняты. Отец быстро шагнул и так грохнул дверью, что Лужин уронил доску, которая сразу развернулась; пришлось поставить на пол ящик и свертывать ее опять. За дверью, в кабинете, сперва было молчание, затем — скрип кресла, принявшего тяжесть, и прерывистый вопросительный шепот тети. Лужин брезгливо подумал, что нынче все в доме сошли с ума, и пошел к себе в комнату. Там он сразу расставил фигуры, как показывала тетя, долго смотрел на них, соображая что-то; после чего очень аккуратно сложил их в ящик. С этого дня шахматы остались у него, и отец долго не замечал их отсутствия. С этого дня появилась в его комнате обольстительная таинственная игрушка, пользоваться которой он еще не умел. С этого дня тетя никогда больше не приходила к ним в гости.

Как-то, через несколько дней, между первым и третьим уроком оказалось пустое место: простудился учитель географии. Когда прошло минут пять после звонка и никто еще не входил, наступило такое предчувствие счастья, что казалось, сердце не выдержит, если все-таки стеклянная дверь сейчас откроется и географ, по привычке своей почти бегом, влетит в класс. Одному Лужину было все равно. Низко склонясь над партой, он чинил карандаш, стараясь сделать кончик острым, как игла. Нарастал взволнованный шум. Счастье как будто должно было сбыться. Иногда, впрочем, бывали невыносимые разочарования: вместо заболевшего учителя вползал маленький хищный математик и, беззвучно прикрыв дверь, со злорадной улыбкой начинал выбирать кусочки мела из желоба под черной доской. Но прошло полных десять минут, и никто не являлся. Шум разросся. Кто-то, от избытка счастья, хлопнул крышкой парты. Сразу из неизвестности возник воспитатель. «Совершенная тишина, — сказал он. — Чтоб была совершенная тишина. Валентин Иванович болен. Займитесь каким-нибудь делом. Но чтоб была совершенная тишина». Он ушел. За окном сияли большие рыхлые облака и что-то журчало, капало, попискивали воробьи. Блаженный час, очаровательный час. Лужин стал равнодушно чинить еще один карандаш. Громов рассказывал что-то хриплым голосом, со смаком произнося странные непристойные словечки. Петрищев умолял всех объяснить ему, почему мы знаем, что

они равняются двум прямым. И вдруг Лужин отчетливо услышал за своей спиной особый деревянно рассыпчатый звук, от которого стало жарко и невпопад стукнуло сердце. Он осторожно обернулся. Кребс и единственный тихоня в классе проворно расставляли маленькие, легкие фигуры на трехвершковой шахматной доске. Доска была на скамье между ними. Они сидели очень неудобно, боком. Лужин, забыв дочинить карандаш, подошел. Игроки его не заметили. Тихоня, когда, много лет спустя, старался вспомнить своего однокашника, никогда не вспомнил этой случайной шахматной партии, сыгранной в пустой час. Путая даты, он извлекал из прошлого смутное впечатление о том, что Лужин когда-то кого-то в школе обыграл, чесалось что-то в памяти, но добраться было невозможно.

«Тура летит», — сказал Кребс. Лужин, следя за его рукой, с мгновенным паническим содроганием подумал, что тетя назвала ему не все фигуры. Но тура оказалась синонимом пушки. «Я просто не заметил», — сказал другой. «Бог с тобой, переиграй», — сказал Кребс.

С раздражающей завистью, с зудом неудовлетворенности глядел Лужин на их игру, стараясь понять, где же те стройные мелодии, о которых говорил музыкант, и неясно чувствуя, что каким-то образом он ее понимает лучше, чем эти двое, хотя совершенно не знает, как она должна вестись, почему это хорошо, а то плохо, и как надобно поступать, чтобы без потерь проникнуть в лагерь чужого короля. И был один прием, очень ему понравившийся, забавный своей ладностью: фигура, которую Кребс назвал турой, и его же король вдруг перепрыгнули друг через друга. Он видел затем, как черный король, выйдя из-за своих пешек (одна была выбита, как зуб), стал растерянно шагать туда и сюда. «Шах, — говорил Кребс, — шах (и ужаленный король прыгал в сторону) — сюда не можешь и сюда тоже не можешь. Шах, беру королеву, шах». Тут он сам прозевал фигуру и стал требовать ход обратно. Изверг класса одновременно щелкнул Лужину в затылок, а другой рукой сбил доску на пол. Второй раз Лужин замечал, что за валкая вещь шахматы.

И на следующее утро, еще лежа в постели, он принял неслыханное решение. В школу он обыкновенно ездил на извозчике, всегда, кстати сказать, старательно изучая номер, разделяя его особым образом, чтобы поудобнее упаковать его в памяти и вынуть его оттуда в целости, если будет нужно. Но сегодня он до школы не доехал, номера от волнения не запомнил и, боязливо озираясь, вышел на

Караванной, а оттуда, кружными путями, избегая школьного района, пробрался на Сергиевскую. По дороге ему попался как раз учитель географии, который, сморкаясь и харкая на ходу, огромными шагами, с портфелем под мышкой, неся по направлению к школе. Лужин так резко отвернулся, что тяжело звякнул таинственный предмет в ранце. Только когда учитель, как слепой ветер, промчался мимо, Лужин заметил, что стоит перед парикмахерской витриной и что завитые головы трех восковых дам с розовыми ноздрями в упор глядят на него. Он перевел дух и быстро пошел по мокрому тротуару, бессознательно стараясь делать такие шаги, чтобы каждый раз каблук попал на границу плиты. Но плиты были все разной ширины, и это мешало ходьбе. Тогда он сошел на мостовую, чтобы избавиться от соблазна, пошел вдоль самой панели, по грязи. Наконец он завидел нужный ему дом, сливовый, с голыми стариками, напряженно поддерживающими балкон, и с расписными стеклами в парадных дверях. Он свернул в ворота, мимо убеленной голубями тумбы, и, прошмыгнув через двор, где двое с засученными рукавами мыли ослепительную коляску, поднялся по лестнице и позвонил. «Еще спят, — сказала горничная, глядя на него с удивлением. — Побудьте, что ли, вот тут. Я им погода доложу». Лужин деловито свалил ранец с плеч, положил его подле себя на стол, где была фарфоровая чернильница, бисером расшитый бювар и незнакомая фотография отца (в одной руке книга, палец другой прижат к виску), и от нечего делать стал считать, сколько разных красок на ковре. В этой комнате он побывал только однажды — когда, по совету отца, отвез тете на Рождестве большую коробку шоколадных конфет, половину которых он съел сам, а остальные разложил так, чтобы не было заметно. Тетя еще недавно бывала у них ежедневно, а теперь перестала, и было что-то такое в воздухе, какой-то неуловимый запрет, который мешал дома об этом спрашивать. Насчитав девять оттенков, он перевел глаза на шелковую ширму, где вышиты были камыши и аисты. Только он стал замечать, есть ли такие же аисты и на другой стороне, как наконец вошла тетя — непричесанная, в цветистом халате, с рукавами, как крылья. «Ты откуда? — спросила она. — А школа? Ах ты, смешной мальчик...»

Часа через два он вышел опять на улицу. Ранец, теперь пустой, был так легок, что прыгал на лопатках. Надо было как-нибудь провести время до часа обычных возвращений. Он побрел в Таврический сад, и пустота в ранце постепен-

но стала его раздражать. Во-первых, то, что он из предосторожности оставил у тети, могло как-нибудь пропасть до следующего раза; во-вторых, оно бы пригодилось ему дома по вечерам. Он решил, что впредь будет поступать иначе.

«Семейные обстоятельства», — ответил он на следующий день воспитателю, который мимоходом понаведался, почему он не был в школе. В четверг он ушел из школы раньше и пропустил подряд три дня, после чего объяснил, что болело горло. В среду был рецидив. В субботу он опоздал на первый урок, хотя выехал из дома раньше обыкновенного. В воскресенье он поразил мать сообщением, что приглашен к товарищу, и отсутствовал пять часов. В среду распустили раньше (это был один из тех чудесных дней, голубых, пыльных, в самом конце апреля, когда уже роспуск так близок, и такая одолевает лень), но вернулся-то он домой гораздо позже обычного. А потом была уже целая неделя отсутствия — упоительная, одурачивающая неделя. Воспитатель позвонил к нему на дом, узнать, что с ним. К телефону подошел отец.

Когда Лужин около четырех вернулся домой, у отца было лицо серое, глаза выпученные, а мать точно лишилась языка, задышалась, а потом стала странно хохотать, с завыванием, с криками. После минуты замешательства отец молча повел его в кабинет и, сложив руки на груди, попросил объяснить. Лужин, с тяжелым драгоценным ранцем под мышкой, уставился в пол, соображая, способна ли тетя на предательство. «Изволь мне объяснить», — повторил отец. На предательство она не может быть способна, да и откуда ей узнать, что он попался. «Отказываешься?» — спросил отец. Кроме того, ей как будто даже нравилось, что он пропускает школу. «Ну, послушай, — сказал отец примирительно, — давай говорить, как друзья». Лужин со вздохом сел на ручку кресла, продолжая глядеть в пол. «Как друзья, — еще примирительнее повторил отец. — Вот, значит, оказывается, что ты несколько раз пропускал школу. И вот мне хотелось бы знать, где ты был, что делал. Я тоже понимаю, что, например, прекрасная погода и тянет гулять». «Да, тянет», — равнодушно сказал Лужин, которому становилось скучно. Отец захотел узнать, где он гулял и давно ли у него такая потребность гулять. Затем он упомянул о том, что у каждого человека есть долг, долг гражданина, семьянина, солдата, а также школьника. Лужин зевнул. «Иди к себе», — безнадежно сказал отец и, когда тот вышел, долго стоял посреди кабинета и с тупым ужасом смотрел на дверь. Жена, слушавшая из со-

седней комнаты, вошла, села на край оттоманки и опять разрыдалась. «Он обманывает, — повторяла она, — как и ты обманываешь. Я окружена обманом». Он только пожал плечами и подумал о том, как грустно жить, как трудно исполнять долг, не встречаться, не звонить, не ходить туда, куда тянет неудержимо... а тут еще с сыном... эти странности... это упрямство... Грусть, грусть, да и только.

#### 4

В бывшем кабинете деда, где даже в самые жаркие дни была могильная сырость, сколько бы ни открывали окна, выходявшие прямо в тяжелую темную хвою, такую пышную и запутанную, что невозможно было сказать, где кончается одна ель, где начинается другая, — в этой нежилой комнате, где на голом письменном столе стоял бронзовый мальчик со скрипкой, был незапертый книжный шкаф, и в нем толстые тома вымершего иллюстрированного журнала. Лужин быстро перелистывал их, добираясь до той страницы, где между стихотворением Коринфского, увенчанным арфообразной виньеткой, и отделом смеси со сведениями о передвигающихся болотах, американских чудачках и длине человеческих кишок, была гравирована шахматная доска. Никакие картины не могли удержать руку Лужина, листавшую том, — ни знаменитый Ниагарский водопад, ни голодающие индусские дети, толстопузые скелетики, ни покушение на испанского короля. Жизнь с поспешным шелестом проходила мимо, и вдруг остановка — заветный квадрат, этюды, дебюты, партии.

В начале летних каникул очень недоставало тети и старика с цветами, особенно этого душистого старика, пахнувшего то фиалкой, то ландышем, в зависимости от тех цветов, которые он приносил тете. Приходил он обыкновенно очень удачно — через несколько минут после того, как тетя, посмотрев на часы, уходила из дому. «Что ж, подождем», — говорил старик, снимая мокрую бумагу с букета, и Лужин придвигал ему кресло к столику, где уже расставлены были шахматы. Появление старика с цветами было выходом из довольно неловкого положения. После трех-четырех школьных пропусков обнаружилась неспособность тети играть в шахматы. Ее фигуры сбивались в безобразную кучу, откуда вдруг выскакивал обнаженный беспомощный король. Старик же играл божественно. Первый раз, когда тетя, натягивая перчатки, скороговоркой

сказала: «Я, к сожалению, должна уйти, но вы посидите, сыграйте в шахматы с моим племянником, спасибо за чудные ландыши», — в первый раз, когда старик сел и сказал со вздохом: «Давненько не брал я в руки... ну-с, молодой человек, — левую или правую?» — в первый этот раз, когда через несколько ходов уже горели уши и некуда было сунуться, Лужину показалось, что он играет совсем в другую игру, чем та, которой его научила тетя. Благоухание оведало доску. Старик называл королеву ферзем, туру — ладьей и, сделав смертельный для противника ход, сразу брал его назад и, словно вскрывая механизм дорогого инструмента, показывал, как противник должен был сыграть, чтобы предотвратить беду. Первые пятнадцать партий он выиграл без всякого труда, ни минуты не думая над ходом, во время шестнадцатой он вдруг стал думать и выиграл с трудом, в последний же день, в тот день, когда старик приехал с целым кустом сирени, который некуда было поставить, а тетя на цыпочках бегала у себя в спальне и потом, вероятно, ушла черным ходом, — в этот последний день, после долгой волнующей борьбы, во время которой у старика открылась способность сопеть, Лужин что-то постиг, что-то в нем освободилось, прояснилось, пропала близорукость мысли, от которой мучительной мутью завлакивались шахматные перспективы. «Ну что ж, ничья», — сказал старик. Он двинул несколько раз туда и сюда ферзем, как двигаешь рычагом испортившейся машины, и повторил: «Ничья. Вечный шах». Лужин попробовал тоже, не действует ли рычаг, потерябил, потерябил и напыжился, глядя на доску. «Далеко пойдете, — сказал старик. — Далеко пойдете, если будете продолжать в том же духе. Большие успехи. Первый раз вижу... Очень, очень далеко...»

Он же ему объяснил нехитрую систему обозначений, и Лужин, разыгрывая партии, приведенные в журнале, вскоре открыл в себе свойство, которому однажды позавидовал, когда отец за столом говорил кому-то, что он-де не может понять, как тесть его часами читал партитуру, слышал все движения музыки, пробегая глазами по нотам, иногда улыбаясь, иногда хмурясь, иногда на минуту возвращаясь назад, как делает читатель, проверяющий подробность романа, — имя, время года. «Большое, должно быть, удовольствие, — говорил отец, — воспринимать музыку в натуральном ее виде». Подобное удовольствие Лужин теперь начал сам испытывать, пробегая глазами по буквам и цифрам, обозначающим ходы. Сперва он научился ра-

зыгрывать партии — бессмертные партии, оставшиеся от прежних турниров, — беглым взглядом скользил по шахматным нотам и беззвучно переставлял фигуры на доске. Случалось, что после какого-нибудь хода, отмеченного восклицанием или вопросом, смотря по тому, хорошо или худо было сыграно, следовало несколько серий ходов в скобках, ибо примечательный ход разветвлялся подобно реке, и каждый рукав надобно было проследить до конца, прежде чем возвратиться к главному руслу. Эти побочные подразумеваемые ходы, объяснявшие суть промаха или провидения, Лужин мало-помалу перестал воплощать на доске и угадывал их гармонию по чередовавшимся знакам. Точно так же уже однажды разыгранную партию он мог просто перечесть, не пользуясь доской: это было тем более приятно, что не приходилось возиться с шахматами, ежеминутно прислушиваясь, не идет ли кто-нибудь; дверь, правда, он запирает на ключ, отпирает ее нехотя, после того как медная ручка много раз опускалась, — и отец, приходивший смотреть, что он делает в сырой нежилой комнате, находил сына, беспокойного и хмурого, с красными ушами; на столе лежали тома журнала, и Лужин-старший охвачен бывал подозрением, не ищет ли в них сын изображений голых женщин. «Зачем ты запираешь дверь? — спрашивал он ( и маленький Лужин втягивал голову в плечи, с ужасающей ясностью представляя себе, как вот-вот, сейчас, отец заглянет под диван и найдет шахматы). — Тут прямо ледяной воздух. И что же интересного в этих старых журналах? Пойдем-ка посмотреть, нет ли красных грибов под елками».

Были красные грибы, были. К мокрой нежно-кирпичного цвета шапке прилипали хвойные иглы, иногда травинка оставляла на ней длинный тонкий след. Испод бывал дырявый, на нем сидел порою желтый слизень, — и с толстого пятнисто-серого корня Лужин-старший ножичком счищал мох и землю, прежде чем положить гриб в корзину. Сын шел за ним, отстав на пять-шесть шагов, заложив руки за спину, как старичок, и не только грибов не искал, но даже отказывался смотреть на те, которые с довольным кряканьем откапывал отец. И иногда, в конце аллеи, полная и бледная, в своем печальном белом платье, не шедшем ей, появлялась мать и спешила к ним, попадая то в солнце, то в тень, и сухие листья, которые никогда не переводятся в северных рощах, шуршали под ее белыми туфлями на высоких, слегка скривившихся каблуках. И как-то, в июле, на лестнице веранды, она поскользнулась

и вывихнула ногу и долго потом лежала — то в полутемной спальне, то на веранде, — в розовом капоте, напудренная, и рядом, на столике, стояла серебряная вазочка с бульдогомами. Нога скоро поправилась, но она осталась лежать, как будто решив, что так ей суждено, что именно это жизнью ей предназначено. А лето было необыкновенно жаркое, комары не давали покоя, с реки день-деньской раздавались визги купавшихся девиц, и в один такой томный день, рано утром, когда еще слепни не начали мучить черной пахучей мазью испачканную лошадь, Лужин-старший уехал на весь день в город. «Пойми же, наконец. Мне необходимо повидаться с Сильвестровым, — говорил он накануне, расхаживая по спальне в своем мышинного цвета халате. — Какая ты, право, странная. Ведь это важно. Я сам предпочел бы остаться». Но жена продолжала лежать, уткнувшись лицом в подушку, и ее толстая беспомощная спина вздрагивала. Все же он утром уехал, — и сын, стоя в саду, видел, как над зубчатым рядом елочек, отгораживавших сад от дороги, неся бюст кучера и шляпа отца.

Он в этот день затосковал. Все партии в старом журнале были изучены, все задачи решены, и приходилось играть самому с собой, а это безнадежно кончалось разменом всех фигур и вялой ничьей. И было невыносимо жарко. От веранды на яркий песок ложилась черная треугольная тень. Аллея была вся пятнистая от солнца, и эти пятна принимали, если прищуриться, вид ровных, светлых и темных, квадратов. Под скамейкой тень распласталась резкой решеткой. Каменные столбы с урнами, стоявшие на четырех углах садовой площадки, угрожали друг другу по диагонали. Реяли ласточки, полетом напоминая движение ножниц, быстро вырезающих что-то. Не зная, что делать с собой, он побрел по тропинке вдоль реки, а за рекой был веселый визг и мелькали голые тела. Он стал за ствол дерева, украдкой с бьющимся сердцем вглядываясь в это белое мелькание. Птица прошумела в ветвях, и он испугался, быстро пошел назад, прочь от реки. Завтракал он один с экономкой, молчаливой желтолицей старухой, от которой всегда шел легкий кофейный запах. Затем, валяясь на диване в гостиной, он сонно слушал всякие легкие звуки, то крик иволги в саду, то жужжание шмеля, влетевшего в окно, то звон посуды на подносе, который несли вниз из спальни матери, — и эти сквозные звуки странно преображались в его полусне, принимали вид каких-то сложных светлых



узоров на темном фоне, и, стараясь распутать их, он уснул. Его разбудила горничная, посланная матерью... В спальне было темновато и уныло; мать привлекла его к себе, но он так напрягся, так отворачивался, что пришлось его отпустить. «Ну, расскажи мне что-нибудь», — сказала она тихо. Он пожал плечами, ковыряя пальцем колено. «Ничего не хочешь рассказать?» — спросила она еще тише. Он посмотрел на ночной столик, положил в рот бульдегом и стал его сосать, — взял второй, третий, еще и еще, пока рот не наполнился сладкими, глухо стукавшимися шарами. «Бери, бери сколько хочешь», — шептала она и, выпростав руку, старалась как-нибудь его погладить. «Ты совсем не загорел в этом году, — сказала она погодя. — А может быть, я просто не вижу, тут такой мертвый свет, все синее. — Подними жалюзи, пожалуйста. Или нет, стой, останься. Потом». Дососав бульдегомы, он справился, можно ли ему уходить. Она спросила, что он сейчас будет делать, не хочет ли он поехать на станцию к семичасовому поезду встречать отца. «Отпустите меня, — сказал он. — У вас пахнет лекарством».

По лестнице он попробовал съехать, как делалось в школе, как он сам никогда в школе не делал; но ступени были слишком высокие. Под лестницей, в шкапу, еще не до конца исследованном, он искал журналов. Журнал он выкопал, нашел в нем шашечный отдел, глупые неповоротливые площадки, тупо стоявшие на доске, но шахмат не было. Под руку все попадался альбом-гербарий с сухими эдельвейсами и багровыми листьями и с надписями детским, тоненьким, бледно-лиловым почерком, столь непохожим на теперешний почерк матери: Давос, 1885 г.; Гатчина, 1886 г. Он в сердцах стал выдирать листья и цветы и зачихал от мельчайшей пыли, сидя на корточках среди разбросанных книг. Потом стало так темно под лестницей, что уже страницы журнала, который он снова перелистывал, стали сливаться в серую муть, и иногда какая-нибудь небольшая картина обманывала, казалась в расплывчатой темноте шахматной задачей. Он засунул кое-как книги в шкаф, побрел в гостиную, вяло подумал, что, верно, уже восьмой час, так как буфетчик зажигает керосиновые лампы. Опираясь на трость и держась за перила, в сиреновом пеньюаре, тяжело спускалась мать, и лицо у нее было испуганное. «Я не понимаю, почему твой отец еще не приехал», — сказала она и, с трудом передвигаясь, вышла на веранду, стала вглядываться в дорогу между еловых стволов, обтянутых там и сям ярко-рыжим лучом.

Он приехал только к десяти, опоздал, оказывается, на поезд, очень много было дел, обедал с издателем, — нет, нет, супа не нужно. Он смеялся и говорил очень громко и шумно ел, и Лужин вдруг почувствовал, что отец все время смотрит на него, точно ошеломлен его присутствием. Обед как-то слился с вечерним чаем, мать, облокотясь на стол, молча шурилась, глядя на тарелку с малиной, и чем веселее рассказывал отец, тем больше она шурилась. Потом она встала и тихо ушла, и Лужину показалось, что все это уже раз было. Он остался на веранде один с отцом и боялся поднять голову, все время чувствуя на себе пристальный странный взгляд.

«Как вы изволили провести время? — вдруг сказал отец. — Чем занимались?» «Ничем», — ответил Лужин. «А теперь что вы собираетесь делать? — тем же напряженно шутливым голосом, подражая манере сына говорить на «вы», спросил Лужин-старший. — Хотите уже спать ложиться или тут со мной посидеть?» Лужин убил комара и очень осторожно, снизу и сбоку, взглянул на отца. У отца была крошка на бороде и неприятно насмешливо блестя глаза. «Знаешь что? — сказал он, и крошка прыгнула. — Знаешь что? Давай во что-нибудь сыграем. Хочешь, например, я научу тебя в шахматы?»

Он увидел, как сын медленно покраснел, и, пожалев его, поспешно добавил: «Или в кабалу, — там есть карты в столике». «А шахмат у нас нет», — хрипло сказал Лужин и опять осторожно взглянул на отца. «Хорошие остались в Петербурге, — спокойно сказал отец, — но, кажется, есть старые на чердаке. Пойдем посмотрим».

Действительно — при свете лампы, которую высоко держал отец, Лужин нашел в ящике, среди всякого хлама, доску и при этом опять почувствовал, что все это уже было раз, — открытый ящик с торчащим сбоку гвоздем, пылью опущенные книги, деревянная доска с трещиной по середине. Нашлась и коробочка с выдвигной крышкой; в ней были шуплые шахматные фигуры. И все время, пока он искал, а потом нес шахматы вниз, на веранду, Лужин старался понять, случайно ли отец заговорил о шахматах или подсмотрел что-нибудь, — и самое простое объяснение не приходило ему в голову, как иногда, при решении задачи, ключом к ней оказывается ход, который представляется запретным, невозможным, естественным образом выпадающим из ряда возможных ходов.

И теперь, когда на освещенном столе, между лампой и простоквашей, была положена доска и отец стал ее вы-

тирать газетой, лицо у него было уже не насмешливое, и Лужин, забыв страх, забыв тайну, вдруг наполнился горделивым волнением при мысли о том, что он может, если пожелает, показать свое искусство. Отец начал расставлять фигуры. Одну из пешек заменяла нелепая фиолетовая штучка вроде бутылочки; вместо одной ладьи была шашка; кони были без голов, и та конская голова, которая осталась после опорожнения коробки (вместе с маленькой игровой костью и красной фишкой), оказалась неподходящей ни к одному из них. Когда все было расставлено, Лужин вдруг решился и пробормотал: «Я уже немножко умею». «Кто же тебя научил?» — не поднимая головы, спросил отец. «В школе, — ответил Лужин. — Там некоторые играли». «А! великолепно, — сказал отец. — Начнем, пожалуй...»

Он играл в шахматы с юношеских лет, но редко и безалаберно, со случайными игроками, — на волжском пароходе в погожий вечер, в иностранной санатории, где некогда умирал брат, на даче с сельским доктором, нелюдимым человеком, который периодически переставал к ним заглядывать, — и все эти случайные партии, полные зевков и бесплодных раздумий, были для него небрежным отдохновением или просто способом пристойно молчать в обществе человека, с которым беседа не клеится, — короткие незамысловатые партии, не отмеченные ни самолюбием, ни вдохновением, и которые он всегда одинаково начинал, мало обращая внимание на ходы противника. Не сетуя на проигрыш, он все же втайне считал, что играет очень недурно, и если проигрывает, то по рассеянности, по добродушию, по желанию оживить игру храбрыми вылазками, и полагал, что, если приналечь, можно и без теорий опровергнуть любой гамбит из учебника. Страсть сына к шахматам так поразила его, показалась такой неожиданной и вместе с тем роковой, неизбежной — так странно и страшно было сидеть на этой яркой веранде, среди черной летней ночи, против этого мальчика, у которого словно увеличился, разбух напряженный лоб, как только он склонился над фигурами, — так это было все странно и страшно, что сосредоточить мысль на шахматном ходе он не мог и, притворяясь думающим, то смутно вспоминал свой незаконный петербургский день, оставивший чувство стыда, в которое лучше было не углубляться, то глядел на легкое, небрежное движение, которым сын переставлял фигуру. И через несколько минут сын сказал: «Если так, то мат, а если так, то пропадет ваш

ферзь», — и он, смутившись, взял ход обратно и задумался по-настоящему, наклоняя голову то влево, то вправо, медленно протягивая пальцы к ферзю и быстро отдирая их, как будто обжигаясь, а сын тем временем спокойно, с несвойственной ему аккуратностью, убирал взятые фигуры в ящик. Наконец Лужин-старший сделал ход, и сразу начался разгром его позиций, и тогда он естественно рассмеялся и опрокинул своего короля. Так он проиграл три партии и почувствовал, что, сыграв он еще десять, результат будет тот же, и все-таки не мог остановиться. В самом начале четвертой сын отставил его ход и, покачав головой, сказал уверенным, недетским голосом: «Худший ответ. Чигорин советует брать пешку». И когда с непонятной, безнадежной быстротой он проиграл и эту партию, Лужин-старший опять, как давеча, рассмеялся и стал дрожащей рукой наливать себе молоко в граненый стакан, на дне которого лежал стерженок малины, всплывший на поверхность, закружившийся, не желавший быть извлеченным. Сын убрал доску и коробку, положил их в угол на плетенный столик и, равнодушно пробурчав «спокойной ночи», тихо прикрыл за собою дверь.

«Ну что ж, этого следовало ожидать, — сказал Лужин-старший, вытирая платком кончики пальцев. — Он не просто забавляется шахматами, он священнодействует».

Мохнатая толстобрюхая ночница с горящими глазками, ударившись о лампу, упала на стол. Легко прошумел ветер по саду. В гостиной тонко заиграли часы и пробили двенадцать.

«Чепуха, — сказал он, — глупая фантазия. Многие мальчишки отлично играют в шахматы. Ничего нет удивительного. Вся эта история просто мне на нервы подействовала. Нехорошо. Напрасно она его поощряла. Ну, все равно...»

Он с тоской подумал, что сейчас придется лгать, утешать, успокаивать, а уже поздний час...

«Хочется спать», — сказал он, но остался сидеть в кресле.

А рано утром, в густой роще за садом, в самом темном и мшистом углу, маленький Лужин зарыл ящик с отцовскими шахматами, полагая, что это самый простой способ избежать всяких осложнений, благо есть теперь другие фигуры, которыми можно открыто пользоваться. Его отец, не совладав с любопытством, отправился к угрюмому доктору, который играл в шахматы куда лучше его, и

вечером, после обеда, смеясь и потирая руки, всеми силами старался скрыть от себя, что поступает нехорошо — а почему нехорошо, сам не знает, — он усадил сына и доктора за плетеный стол на веранде, сам расставил фигуры, извиняясь за фиолетовую штучку, и, сев рядом, стал жадно следить за игрой. Шевеля густыми, врозь торчащими бровями, муча мясистый нос большим мохнатым кулаком, доктор долго думал над каждым ходом и порой откидывался, как будто издали лучше было видно, и делал большие глаза, и опять грузно нагибался, упираясь руками в колени. Он проиграл и так крикнул, что в ответ хрустнуло камышевое кресло. «Да нет же, нет же, — воскликнул Лужин-старший. — Надо так пойти, и все спасено, — у вас даже положение лучше». «Да я же под шахом стою», — басом сказал доктор и стал расставлять фигуры заново. И когда он вышел его провожать в темный сад до окаймленной светляками тропинки, спускавшейся к мосту, Лужин-старший услышал те слова, которые так жаждал услышать, но теперь от этих слов было тяжело, — лучше бы он их не услышал.

Доктор стал бывать каждый вечер, и так как действительно играл очень хорошо, извлекал огромное удовольствие из непрекращавшихся поражений. Он принес учебник шахматной игры, посоветовал, однако, не слишком им увлекаться, не уставать, читать на вольном воздухе. Он рассказывал о больших мастерах, которых ему приходилось видеть, о недавнем турнире, а также о прошлом шахмат, о довольно фантастическом радже, о великом Филидоре, знавшем толк и в музыке. Иногда, с угрюмой улыбкой, он приносил то, что называл «гостинцем», — хитрую задачу, откуда-то вырезанную. Лужин, покорпев над ней, находил наконец решение и картаво восклицал, с необыкновенным выражением на лице, с блеском счастья в глазах: «Какая роскошь! Какая роскошь!» Но составлением задач он не увлекся, смутно чувствуя, что попусту в них растратилась бы та воинственная, напиральная яркая сила, которую он в себе ощущал, когда доктор ударами мохнатого пальца все дальше и дальше убирал своего короля и наконец замирал, кивая головой, глядя на доску, меж тем как отец, всегда присутствовавший, всегда жаждавший чуда — поражения сына, и пугавшийся, и радовавшийся, когда сын выигрывал, и страдавший от этой сложной смеси чувств, — хватал коня или ладью, говорил, что не все пропало, сам иногда доигрывал безнадежную партию.

И пошло. Между этими вечерами на веранде и тем днем, когда в столичном журнале появилась фотография Лужина, как будто ничего не было, ни дачной осени, морозящей на астры, ни переезда в город, ни возвращения в школу. Фотография появилась в октябрьский день, вскоре после первого незабвенного выступления в шахматном клубе. И все другое, что было между ней и переездом в Петербург — два месяца как-никак, — было так смутно и так спутано, что потом, вспоминая то время, Лужин не мог точно сказать, когда, например, была вечеринка в школе, где тихо, в уголку, почти незаметно для товарищей он обыграл учителя географии, известного любителя, — или когда, по приглашению отца, явился к ним обедать седой еврей, дряхлый шахматный гений, побеждавший во всех городах мира, а ныне живший в праздности и нищете, полуслепой, больной сердцем, потерявший навеки огонь, хватку, счастье... Лужин помнил одно совершенно ясно — боязнь, которую он испытывал в школе, боязнь, что узнают о его даре и засмеют его, — и впоследствии, орудуя этим безошибочным воспоминанием, он рассудил, что после партии, сыгранной на вечеринке, он в школе, должно быть, больше не бывал, ибо, помня все содрогания своего детства, он не мог представить себе то ужасное ощущение, которое бы испытал, войдя наутро в класс и увидев любопытные, все проведавшие глаза. Он помнил опять-таки, что после появления фотографии он отказался ходить в школу, и невозможно было распутать в памяти узел, в который связались вечеринка и фотография, невозможно было сказать, что случилось раньше, что позже. Журнал ему принес отец, и фотография была та, которую сняли в прошлом году на даче: ствол в саду и он у ствола, узор листвы на лбу, угрюмое выражение на чуть склоненном лице и те узкие белые штанишки, которые всегда спереди расстегивались. Вместо радости, ожидаемой отцом, он не выразил ничего, — но тайная радость все же была: вот это кладет конец школе. Его упрасивали в продолжение недели. Мать, конечно, плакала. Отец пригрозил отнять новые шахматы — огромные фигуры на сафьяновой доске. И вдруг все решилось само собой. Он бежал из дому — в осеннем пальтишке, так как зимнее, после одной неудавшейся попытки бежать, спрятали, — и, не зная, куда деться (шел колючий снег, оседал на карнизах, и ветер его сдувал, без конца повторяя эту мелкую метель), он побрел наконец к тете, которой не видел с весны.

Он встретил ее у подъезда ее дома. Она была в черной шляпе, держала в руках завернутые в бумагу цветы, шла на похороны. «Твой старый партнер помер, — сказала она. — Поедем со мной». Он рассердился, что нельзя посидеть в тепле, что идет снег, что у тети горят сентиментальные слезы за вуалью, — и, резко повернув, пошел прочь и, с час походив, отправился домой. Самого возвращения он не помнил, любопытней всего, что, быть может, предыдущее произошло на самом деле иначе, что многое у него в памяти было потом добавлено, взято из его бреда, а бредил он целую неделю, и, так как он был очень слабый и нервный, доктора полагали, что он болезни не переживет. Болел он не в первый раз, и, восстанавливая ощущение именно этой болезни, он невольно вспоминал и другие, которыми его детство было полно, — и особенно отчетливо вспоминалось ему, как еще совсем маленьким, играя сам с собой, он все кутался в тигровый плед, одиноко изображая короля, — всего приятней было изображать короля, так как мантия предохраняла от озноба, и хотелось как можно больше отдалить ту неизбежную минуту, когда тронут ему лоб, поставят градусник и затем поспешно уложат его в постель. Но ничего раньше не было схожего с его октябрьской шахматной болезнью. Седой еврей, побивавший Чигорина, мертвый старик, обложенный цветами, отец, с веселым хитрым лицом приносивший журнал, и учитель географии, остолбеневший от полученного мата, и комната в шахматном клубе, где какие-то молодые люди в табачном дыму тесно его окружили, и бритое лицо музыканта, державшего почему-то телефонную трубку, как скрипку, между щекой и плечом, — все это участвовало в его бреде и принимало подобие какой-то чудовищной игры на призрачной, валкой, бесконечно расползавшейся доске.

Когда он выздоровел, его, похудевшего и выросшего, увезли за границу, сперва на берег Адриатического моря, где он лежал на солнце в саду, разыгрывая в уме партии, что запретить ему было невозможно, затем — в немецкий курорт, где отец водил его гулять по тропинкам, огороженным затейливыми буковыми перилами. Шестнадцать лет спустя, посетив этот же курорт, он узнал глиняных бородатых карл между клумб, обведенных цветным гравием, перед выросшей похорошевшей гостиницей и темный сырой лес на холму, разноцветные мазки масляной краски (каждый цвет означал направление определенной

прогулки), которыми был снабжен буковый ствол или скала на перекрестке, дабы не заплутал медлительный путник. Те же пресс-папье с изумрудно-синими, перламутром оживленными видами под выпуклым стеклом продавались в лавках близ источника, и как будто тот же оркестр на помосте в саду играл попури из опер, и клены бросали живую тень на столики, за которыми люди пили кофе и ели клинообразные ломти яблочного торта со сбитыми сливками.

«Вот видите эти окошки, — сказал он, указывая тростью на крыло гостиницы. — Там имел место тогда турнирчик. Играли солиднейшие немецкие игроки. Мне было четырнадцать лет. Третий приз, да, третий приз».

Он снова положил руку на толстую трость тем печальным, слегка старческим движением, которое ему теперь было свойственно, и, как будто слушая музыку, наклонил голову.

«Что? Мне надеть шляпу? Солнце, говорите, печет? Нет, мне это нечувствительно. Нет, оставьте, зачем же? Мы сидим в тени».

Все же он взял соломенную шляпу, протянутую ему через столик, побарабанил по дну, где было расплывчато-темное пятно на имени шапочника, надел ее, криво улыбнувшись. Именно — криво: правая щека слегка поднималась, справа губа обнажала плохие, прокуренные зубы, и другой улыбки у него не было. И нельзя было сказать, что ему всего только пошел четвертый десяток — от крыльев носа спускались две глубокие дряблые борозды, плечи были согнуты, во всем его теле чувствовалась нездоровая тяжесть, и когда он вдруг резко встал, защищаясь локтем от осы, стало видно, что он довольно тучный, — ничто в маленьком Лужине не предвещало этой ленивой дурной полноты. «Да что она пристала!» — воскликнул он тонким плачущим голосом, продолжая поднимать локоть, а другой рукой сиюсь достать платок. Оса, описав еще один, последний круг, улетела, и он долго провожал ее глазами, машинально отряхивая платок, и потом, поставив подтверже на гравий металлический стул и подняв упавшую трость, сел снова, тяжело дыша.

«Отчего вы смеетесь? Они очень неприятные насекомые — осы». Он нахмурился, глядя на стол. Рядом с его портсигаром лежала дамская сумочка, полукруглая, из черного шелка. Он рассеянно потянулся к ней, стал щелкать замком.



«Плохо запирается, — сказал он, не поднимая глаз. — В прекрасный день вы все выроните».

Он вздохнул, отложил сумку, тем же голосом добавил: «Да, солиднейшие немецкие игроки. И один австриец. Не повезло моему покойному папаше. Думал, что тут нет живого интереса к шахматам, а попали прямо на турнир».

Что-то понастроили, крыло дома теперь выглядело иначе. А жили они вон там, во втором этаже. Было решено остаться там до осени, а потом вернуться в Россию, и призрак школы, о которой отец второй год не смел упомянуть, опять замаячил. Мать вернулась гораздо раньше, в начале лета. Она говорила, что безумно тоскует по русской деревне, и это длинное-длинное «безумно» с таким зудящим, ноющим средним слогом было почти единственной ее интонацией, которую сын запомнил. И уехала она все-таки нехотя, — да и сама не знала, ехать ли или оставаться. Уже давно началось у нее странное отчуждение от сына, как будто он уплыл куда-то, и любила она не этого взрослого мальчика, шахматного вундеркинда, о котором уже писали газеты, а того маленького, теплого, невыносимого ребенка, который, чуть что, кидался плашмя на пол и кричал, стуча ногами. И все было так грустно и так ненужно — эта жидкая нерусская сирень на станции, и тюльпанообразные лампы в спальном купе нордэкспресса, и эти замирения в груди, чувство удушья, — быть может, грудная жаба или просто нервы, как говорит муж. Она уехала, не писала, отец повеселел и переехал в комнату поменьше, а потом, как-то в июле, маленький Лужин, возвращаясь домой из другой гостиницы — где жил один из тех сосредоточенных пожилых людей, которые с ним играли, заменяли ему сверстников, — случайно увидел на косогоре, у деревянных перил, в блеске вечернего солнца, отца с дамой. И так как эта дама была несомненно его петербургская рыжеволосая тетя, он очень удивился, и стало ему почему-то стыдно, и он ничего не сказал отцу. А через несколько дней после этого, рано утром, он услышал — отец быстро приближается к его спальне по коридору и как будто громко хохочет. Дверь с размаху открылась, и отец вошел, протягивая, словно отстраняя от себя, бумажку — телеграмму. Слезы лились у него по щекам, вдоль носа, как будто он обрызгал лицо водой, и он повторял, всхлипывая, задыхаясь: «Что это такое? Что это такое? Это ошибка, переврали», — и все отстранял от себя бумажку.

Он играл в Петербурге, в Москве, в Нижнем, в Киеве, в Одессе. Появился некий Валентинов, что-то среднее между воспитателем и антрепренером. Отец носил на рукаве черную повязку — траур по жене — и говорил провинциальным журналистам, что никогда бы так основательно не осмотрел родной земли, если б его сын не был вундеркиндом.

Он сражался на турнирах с лучшими русскими шахматистами, играл вслепую, часто играл один против человек двадцати любителей. Лужин-старший много лет спустя (в те годы, когда каждый его фельетон в эмигрантской газете казался ему самому его лебединой песней, и бог знает сколько было этих лебединых песен, полных лирики и опечаток) задумал повесть как раз о таком мальчишке-шахматисте, которого отец (по книжке — приемный) возит из города в город. Начал он книгу в двадцать восьмом году, — вернувшись домой с заседания, на которое он пришел один. Так неожиданно, так живо явился ему замысел этой книги, пока он сидел и ждал в отдельной комнате берлинской кофейни. Пришел он, как всегда, очень точно, удивился, что еще столики не составлены, велел лакею немедленно это сделать, спросил чаю и рюмку коньяку. Комнатка была чистая, ярко освещенная, с натюрмортом на стене: аппетитные персики вокруг разрезанного арбуза. На составленные столики, плавно взлетев, легла чистая скатерть. Он положил в чай кусочек сахару и, грея бескровные, всегда зябкие руки о стекло, смотрел, как поднимаются пузырьки. Рядом, в общем зале, скрипка и рояль играли из «Травиаты», — и от сладкой музыки, от коньяку, от вида белой скатерти старику Лужину стало так грустно, и грусть была такая приятная, что он боялся двинуться, сидел, облокотясь на одну руку и прижав палец к виску, — жилистый красноглазый старик, в вязаном жилете и коричневом пиджаке. Играла музыка, пустая комнатка была залита светом, аела арбузная рана, — и никто на заседание не шел. Несколько раз он смотрел на часы, но потом так разомлел от музыки и чаю, что забыл о времени и стал потихоньку думать о том о сем, — о приобретенной по случаю пишущей машинке, о Мариинском театре, о сыне, так редко приезжающем в Берлин. А затем он спохватился, что сидит уже час, что скатерть все так же пуста и бела...

И в этой светлой, показавшейся ему мистической пустоте, сидя за столом, предназначенным для несостоявшегося заседания, он вдруг решил, что давно не являвшееся писательское вдохновение теперь посетило его.

«Пора подвести некоторые итоги», — подумал он и оглядел пустую комнату — скатерть, синие обои, натюр-морт, — как оглядывают комнату, где родился известный человек. И фабула повести, которую старик Лужин давно лелеял, показалась ему в этот миг только что созданной, и он пригласил мысленно будущего биографа (парадоксальным образом становившегося, по мере приближения к нему во времени, все призрачнее, все отдаленнее) повнимательнее осмотреть эту случайную комнату, где родилась повесть «Гамбит». Он залпом выпил остаток чаю, надел пальто и шляпу, узнал от лакея, что нынче не среда, а вторник, улыбнулся, не без удовольствия отмечая свою рассеянность, и, вернувшись домой, сразу снял металлическую крышку с пишущей машинки.

Ярче всего перед его глазами стояло вот это, писательским воображением слегка ретушированное, воспоминание: светлый зал, два ряда столиков, на столиках шахматные доски. За каждым столиком сидит человек, за спиной каждого сидящего стоит кучка зрителей, вытянувших шеи. И вот, по проходу между столиками, ни на кого не глядя, спешит мальчик, — одетый, как цесаревич, в нарядную белую матроску, — и останавливается поочередно у каждой доски, быстро делает ход или на миг задумывается, наклонив золотисто-русую голову. Если глядеть со стороны, совершенно непонятно, что происходит: пожилые люди в черном сумрачно сидят за досками, густо уставленными вычурными куклами, а легкий нарядный мальчик, бог весть зачем пришедший сюда, в странной, напряженной тишине легко переходит от столика к столику, один движется среди этих оцепеневших людей...

Стилизованности воспоминания писатель Лужин сам не заметил. Не заметил он и того, что придал сыну черты скорее «музыкального», нежели шахматного вундеркинда, — что-то болезненное, что-то ангельское, — и глаза, подернутые странной поволокой, и вьющиеся волосы, и прозрачную белизну лица. Но теперь было некоторое затруднение: зтот очищенный от всякой примеси, доведенный до предельной нежности образ его сына надобно было окружить известным бытом. Одно он решил твердо — что не даст этому ребенку вырасти, не сделает из него того угрюмого человека, который иногда навещал

его в Берлине, односложно отвечал на вопросы, сидел, прикрыв глаза, и уходил, оставив конверт с деньгами на подоконнике.

«Он умрет молодым, — проговорил он вслух, беспокояно расхаживая по комнате, вокруг открытой машинки, следившей за ним всеми бликами своих кнопок. — Да, он умрет молодым, его смерть будет неизбежна и очень трогательна. Умрет, играя в постели последнюю свою партию». Эта мысль ему так понравилась, что он пожалел о невозможности начать писать книгу с конца. Почему, собственно говоря, невозможно? Можно попробовать... Он повел было мысль обратным ходом, — от этой трогательной, такой отчетливой смерти назад, к туманному рождению героя, но вдруг встряхнулся, сел за стол и стал думать наново.

Прежде, когда он мечтал о такой книге, он чувствовал, что ему две вещи мешают: война и революция. Дар сына по-настоящему развился только после войны, когда он из вундеркинда превратился в маэстро. Как раз накануне этой войны, которая так мешала воспоминанию работать на стройную литературную фабулу, он, с сыном и с Валентиновым, уехал опять за границу. Приглашали играть в Вену, в Будапешт, в Рим. Слава русского мальчика, уже побившего кое-кого из тех игроков, имена которых попадают в шахматные учебники, так росла, что об его собственной скромной писательской славе тоже вскользь упоминалось в иностранных газетах. Они были все трое в Швейцарии, когда был убит австрийский эрцгерцог. По соображениям, совершенно случайным (полезный сыну горный воздух, слова Валентинова, что теперь России не до шахмат, а сын только шахматами жив, да еще мысль, что война ненадолго), он вернулся в Петербург один. Через несколько месяцев он не вытерпел и вызвал сына. В странном витиеватом письме, которому как-то соответствовал медленный кружной путь, этим письмом проделанный, Валентинов сообщил, что сын приехать не хочет. Лужин написал снова, и ответ, такой же витиеватый и вежливый, пришел уже не из Тараспа, а из Неаполя. Валентинова он возненавидел. Были дни необыкновенной тоски. Впрочем, Валентинов в очередном письме предложил, что все расходы по содержанию сына возьмет на себя, что свои — сочтемся (так и написал). Шло время. В неожиданной роли военного корреспондента он попал на Кавказ. За днями тоски и острой ненависти по отношению к Валентинову (писавшему, впрочем, прилежно) пошли дни

душевного успокоения, основанного на том, что сыну за границей хорошо, лучше, чем было бы в России (что и утверждал Валентинов).

Теперь, почти через пятнадцать лет, эти годы войны оказались раздражительной помехой, это было какое-то посягательство на свободу творчества, ибо во всякой книге, где описывалось постепенное развитие определенной человеческой личности, следовало как-нибудь упомянуть о войне, и даже смерть героя в юных годах не могла быть выходом из положения. Были лица и обстоятельства вокруг образа сына, которые, к сожалению, были мыслимы только на фоне войны, не могли бы существовать без этого фона. С революцией было и того хуже. По общему мнению она повлияла на ход жизни всякого русского; через нее нельзя было пропустить героя, не обжигая его, избежать ее было невозможно. Это уже было подлинное насилие над волей писателя. Меж тем как могла революция задеть его сына? В долгожданный день осенью тысяча девятьсот семнадцатого года явился Валентинов, такой же веселый, громкий, великолепно одетый, и за ним пухлый молодой человек с усиками. Была минута печали и замешательства и странного разочарования. Сын был молчалив и все поглядывал в окно («боится возможной стрельбы», — вполголоса пояснил Валентинов). Сначала все это было похоже на дурной сон, — но потом обошлось. Валентинов продолжал уверять, что «свои — сочтемся», — оказалось, что у него большие таинственные дела и деньги рассованы по всем банкам союзной Европы. Сын стал посещать тишайший шахматный клуб, доверчиво расцветший в самую пору гражданской сумятицы, а весной исчез вместе с Валентиновым — опять за границу. Дальше следовали воспоминания только личные, воспоминания непривлекательные, бог с ними, голод, арест, бог с ними, и вдруг — благословенная высылка, законное изгнание, чистая, желтая палуба, балтийский ветер, спор с профессором Василенко о бессмертии души.

Из всего этого, из всей этой грубой мешанины — так и липнущей, так и прущей из всех углов памяти, принижающей всякое воспоминание, загораживающей путь свободной мысли, — непременно следовало осторожно, по кусочкам, выскрести и целиком впустить в книгу — Валентинова. Человек несомненно талантливый, как определяли его те, кто собирался тут же сказать о нем что-нибудь скверное; чудак, на все руки мастер, незаменимый человек при устройстве любительского спектакля, инженер, превосход-

ный математик, любитель шахмат и шашек, «амюзантейший господин», как он сам рекомендовал себя. У него были чудесные карие глаза и чрезвычайно привлекательная манера смеяться. Он носил на указательном пальце перстень с адамовой головой и давал понять, что у него были в жизни дуэли. Одно время он преподавал гимнастику в школе, где учился маленький Лужин, и большое впечатление производило на учеников и учителей то, что за ним приезжает таинственная дама в лимузине. Он изобрел походя удивительную металлическую мостовую, которая была испробована в Петербурге, на Невском, близ Казанского собора. Он же сочинил несколько остроумных шахматных задач и был первым экспонентом так называемой «русской» темы. Ему было двадцать восемь лет в год объявления войны, и никакой болезнью он не страдал. Анемическое слово «дезертир» как-то не подходило к этому веселому, крепкому, ловкому человеку, — другого слова, однако, не подберешь. Чем он занимался за границей во время войны — так и осталось неизвестным.

Итак, было решено полностью им воспользоваться, благодаря ему любая фабула приобретала необыкновенную живость, привкус авантюры. Но самое главное еще оставалось придумать. Ведь все это до сих пор были только краски, правда, теплые, живые, но плившие отдельными пятнами; требовалось еще найти определенный рисунок, резкую линию. Впервые писатель Лужин, задумав книгу, невольно начинал с красок.

И чем ярче становились в его воображении эти краски, тем труднее ему было засесть за пишущую машинку. Прошел месяц, другой, началось лето, и он все продолжал одевать в наряднейшие цвета незримую еще тему. Ему казалось иногда, что вот книга написана, и он ясно видел набор, полосы гранок с красными иероглифами по краям, а потом свеженькую брошюрованную книгу, хрустящую в руках, а дальше был чудесный розовый туман, сладостные награды за все неудачи, за все обманы славы. Он ходил в гости к многочисленным своим знакомым и подолгу, с удовольствием, рассказывал о своей книге. В одной эмигрантской газете появилась заметка о том, что он, после долгого молчания, работает над новой повестью. И эту заметку, им же составленную и посланную, он с волнением перечел раза три, вырезал, положил в бумажник. Он стал чаще появляться на литературных вечерах, устраиваемых адвокатами и дамами, и предполагал, что, должно быть, все на него смотрят с любопытством и уважением. Как-то,

в неверный летний день, он поехал за город, промок под внезапным ливнем, пока тщетно искал белых грибов, и на следующий день слег. Болел он одиноко и кратко, и смерть его была беспокойна. Правление союза эмигрантских писателей почтило его память вставанием.

## 6

«Непременно все высылется», — сказал Лужин, опять завладев сумкой.

Она быстро протянула руку, отложила сумку подальше, хлопнув ею об столик, — как бы подчеркивая этим запрет. «Вечно вам нужно теревить что-нибудь», — проговорила она ласково.

Лужин посмотрел на свою руку, топыря и снова сдвигая пальцы. Ногти были желтые от курения, с грубыми заусеницами, на суставах тянулись толстые поперечные морщинки, пониже росли редкие волоски. Он положил руку на стол, рядом с ее рукой, молочно-бледной, мягкой на вид, с коротко и аккуратно подстриженными ногтями.

«Я жалею, что не знала вашего отца, — сказала она погодя. — Он, должно быть, был очень добрым, очень серьезным, очень любил вас».

Лужин промолчал.

«Расскажите мне еще что-нибудь, — как вы тут жили? Неужели вы были когда-нибудь маленьким, бегали, возились?»

Он опять положил обе руки на трость, — и, по выражению его лица, по сонному опусканию тяжелых век, по чуть раскрывшемуся рту, словно он собирался зевнуть, она заключила, что ему стало скучно, что вспоминать надоело. Да и вспоминал-то он равнодушно, — ей было странно, что вот он месяц тому назад потерял отца и сейчас без слез может смотреть на дом, где он в детстве жил с ним вместе. Но даже в этом равнодушии, в его неуклюжих словах, в тяжелых движениях его души, как бы поворачивавшейся спросонья и засыпавшей снова, ей мерещилось что-то трогательное, трудно определяемая прелесть, которую она в нем почувствовала с первого дня их знакомства. И как таинственно было то, что, несмотря на очевидную вялость его отношения к отцу, он все-таки выбрал именно этот курорт, именно эту гостиницу, как будто ждал от когда-то уже виденных предметов и пейзажей того содрогания, которого он без чужой помощи испытать не мог. А приехал

он чудесно, в зеленый и серый день, под морозящим дождем, в безобразной, черной, мохнатой шляпе, в огромных галошах, — и, глядя из окна на его фигуру, грузно вылезавшую из отельного автобуса, она почувствовала, что этот неизвестный приезжий — кто-то совсем особенный, непохожий на всех других жителей курорта. В тот же вечер она узнала, кто он. Все в столовой смотрели на этого полного мрачного человека, который жадно и неряшливо ел и иногда задумывался, водя пальцем по скатерти. Она в шахматы не играла, никогда шахматными турнирами не интересовалась, но каким-то образом его имя было ей знакомо, бессознательно вьелось в память, и она не могла вспомнить, когда впервые услышала его. Фабрикант, страдавший давним запором, о котором охотно говорил, человек об одной мысли, но добродушный, приятный, не без вкуса одетый, — вдруг забыл о запоре и в галерее, где пили целебную воду, сообщил ей несколько удивительных вещей о мрачном господине, который, переменяв мохнатую шляпу на старое канотье, стоял перед витринкой, вделанной в колонну, и разглядывал кустарные вещицы, выставленные для продажи. «Ваш соотечественник, — сказал фабрикант, указывая на него бровью, — знаменитый шахматный игрок. Приехал из Франции на турнир. Турнир будет в Берлине, через два месяца. Если выиграет, то вызовет чемпиона мира. Отец у него недавно умер. Вот тут в газете все это сказано».

Ей захотелось познакомиться с ним, поговорить по-русски — столь привлекательным он ей показался своей неповоротливостью, сумрачностью, низким отложным воротником, который его делал почему-то похожим на музыканта, — и ей нравилось, что он на нее не смотрит, не ищет повода с ней заговорить, как это делали все неженатые мужчины в гостинице. Была она собой не очень хороша, чего-то недоставало ее мелким правильным чертам. Как будто последний, решительный толчок, который бы сделал ее прекрасной, оставив те же черты, но придав им неизъяснимую значительность, не был сделан. Но ей было двадцать пять лет, по моде остриженные волосы лежали прелестно, и был у нее один поворот головы, в котором сказывался намек на возможную гармонию, обещание подлинной красоты, в последний миг не сдержанное. Она носила очень простые, очень хорошо сшитые платья, обнажала руки и шею, немного щеголяя их нежной свежестью. Она была богата — ее отец, потеряв одно состояние в России, нажил другое в Германии. Ее мать должна



была скоро приехать на этот курорт, и с тех пор, как возник Лужин, ожидание ее шумливого появления стало чем-то неприятно.

Она познакомилась с ним на третий день его приезда, так, как знакомятся в старых романах или в кинематографических картинах: она роняет платок, он его поднимает, — с той только разницей, что она оказалась в роли героя. Лужин шел по тропинке перед ней и последовательно ронял: большой клетчатый носовой платок, необыкновенно грязный, с приставшим к нему карманным сором, сломанную, смятую папиросу, потерявшую половину своего нутра, орех и французский франк. Она подобрала только платок и монету и медленно догоняла его, с любопытством ожидая новой потери. Лужин шел, держа в правой руке трость, которой он трогал каждый ствол, каждую скамью, а левой рукой все шарил в кармане и, наконец, остановился, вывернул карман и стал разглядывать в нем дырку. При этом выпала еще монета. «Насквозь», — сказал он по-немецки, взяв из ее руки платок («Еще вот это», — сказала она по-русски). «Скверная материя», — продолжал он, не поднимая головы, не переходя на русский язык, ничему не удивляясь, словно возвращение вещей было вполне естественным. «Да не суйте опять туда же», — сказала она и покатила со-смею. Только тогда он поднял голову и хмуро на нее посмотрел. Его полное серое лицо, с плохо выбритыми, израненными бритвой щеками, приобрело растерянное и странное выражение. У него были удивительные глаза, узкие, слегка раскосые, полуприкрытые тяжелыми веками и как бы запыленные чем-то. Но сквозь эту пушистую пыль пробивался синеватый влажный блеск, в котором было что-то безумное и привлекательное. «Не роняйте больше», — сказала она и пошла от него прочь, чувствуя его взгляд у себя на спине. Вечером, входя в столовую, она невольно издали улыбнулась ему, и он ответил той угрюмой кривой полуулыбкой, с которой иногда смотрел на черную отельную кошку, бесшумно проскользавшую от столика к столику. А на следующий день в саду, где были гроты, фонтаны и глиняные карлы, он подошел к ней и густым грустным голосом стал благодарить за платок, за монету (и с той поры он смутно, почти бессознательно все следил, не роняет ли она чего-нибудь, — как будто стараясь восстановить какую-то тайную симметрию). «Не за что, не за что», — ответила она и много еще произнесла таких слов, — бедные родственники настоящих слов, и сколько их, этих маленьких сорных

слов, произносимых скороговоркой, временно заполняющих пустоту. Употребляя такие слова и чувствуя их мелкую суетность, она спросила, нравится ли ему курорт, надолго ли он тут, пьет ли воду. Он отвечал, что нравится, что надолго, что воду пьет. Потом она спросила, сознавая глупость вопроса но не в силах остановиться, — давно ли он играет в шахматы. Он ничего не ответил, отвернулся, и она так смутилась, что стала быстро перечислять все метеорологические приметы вчерашнего, сегодняшнего, завтрашнего дня. Он продолжал молчать, и она замолчала тоже и стала рыться в сумке, мучительно ища в ней тему для разговора и находя только сломанный гребешок. Он вдруг повернул к ней лицо и сказал: «Восемнадцать лет, три месяца и четыре дня». Для нее это было восхитительным облегчением, а к тому же изысканная обстоятельность его ответа чем-то польстила ей. Впрочем, ее вскоре начало немного сердить, что он, в свой черед, не задает ей никаких вопросов, принимает ее как бы на веру.

«Артист, большой артист», — часто думала она, глядя на его тяжелый профиль, на тучное сгорбленное тело, на темную прядь, приставшую ко всегда мокрому лбу. И, может быть, именно потому, что она о шахматах не знала ровно ничего, шахматы не были для нее просто домашней игрой, приятным времяпровождением, а были таинственным искусством, равным всем признанным искусствам. Никогда она еще не встречала близко таких людей — не с кем было его сравнить, кроме как с гениальными чудачками, музыкантами и поэтами, образ которых знаешь так же определенно и так же смутно, как образ римского императора, инквизитора, скупца из комедии. В памяти у нее была недлинная темноватая галерея, череда всех лиц, чем-либо задевших ее воображение. Тут были школьные воспоминания — женская гимназия в Петербурге с необычным плющом по фасаду на короткой, пыльной, бестрамвайной улице, и был некий учитель географии, преподававший также в мужском училище, — большеглазый белолобый человек со всклокоченными волосами, больной — говорили — чахоткой, побывавший — говорили — в гостях у далай-ламы, влюбленный — говорили — в одну из старших учениц, племянницу седой голубоглазой инспектрисы, чей опрятный кабинетик был уютен своими синими обоями и белой печкой. Географ остался у нее в памяти именно на синем фоне, окруженный синим воздухом, и быстро приближался, по привычке своей торопливо и шумно влетая в класс, и вдруг таял, пропадал, уступая

место другому лицу, показавшемуся ей тоже непохожим на все прочие. Появлению этого лица предшествовало долгое внушение со стороны инспектрисы, что не надо смеяться, ни в коем случае не надо смеяться. Это было в первый советский год, из сорока учениц в классе осталось семнадцать, ежедневно встречали учителей вопросом «будем ли мы сегодня учиться?» — и неизменно те отвечали: «Мы еще не получили окончательных инструкций». Инспектриса велела, чтобы никаких смешков не было, когда приедет сейчас человек из комиссариата народного просвещения, что бы он ни говорил, как бы он себя ни вел. И он приехал, и поселился в ее памяти как человек чрезвычайно забавный, пришедший из другого, нелепого мира. Он был хромой, но очень живой и вертлявый, с быстрыми, прыгающими глазами. Девицы столпились в притихшей зале, и он ходил перед ними взад и вперед, проворно хромая и с обезьяньей ловкостью поворачиваясь. И, хромая мимо них, ловко таща ногу на двойном каблуке, правой рукой разрезая воздух на правильные ломти или разглаживая его, как сукно, он пространно и быстро говорил о лекциях по социологии, которые он будет читать, о скором слиянии с мужской школой, — и неудержимо, до боли в скулах, до судорог в горле хотелось смеяться. И затем, в Финляндии, оставшейся у нее в душе как что-то более русское, чем сама Россия, оттого, может быть, что деревянная дача, и елки, и белая лодка на черном от хвойных отражений озере особенно замечались, как русское, особенно ценились, как что-то запретное по ту сторону Белоострова, — в этой, еще дачной, еще петербургской Финляндии она несколько раз издали видела знаменитого писателя, очень бледного, с отчетливой бородкой, все посматривавшего на небо, где начинали водиться вражеские аэропланы. И он остался странным образом рядом с русским офицером, впоследствии потерявшим руку в Крыму, — тишайшим, застенчивым человеком, с которым она летом играла в теннис, зимой бегала на лыжах, и при этом снежном воспоминании всплывала вдруг опять на фоне ночи дача знаменитого писателя, где он и умер, расчищенная дорожка, сугробы, освещенные электричеством, призрачные полосы на темном снегу. После этих по-разному занятых людей, каждый из которых окрашивал воспоминание в свой определенный цвет (голубой географ, защитного цвета комиссар, черное пальто писателя и человек, весь в белом, подбрасывающий ракеткой еловую шишку), были расплывчатость и мелькание, жизнь в Берлине, случайные

балы, монархические собрания, много одинаковых людей — и все это было еще так близко, что память не могла найти фокуса и разобраться в том, что ценно, а что сор, да и разбираться было теперь некогда, слишком много места занял угрюмый, небывалый, таинственный человек, самый привлекательный из всех, ей известных. Таинственно было самое его искусство, все проявления, все признаки этого искусства. Она вскоре узнала, что по вечерам, после ужина, до поздней ночи он работает. Но эту работу она представить себе не могла, так как не к чему было прицепиться, ни к мольберту, ни к роялю, а именно к такой, определенной эмблеме искусства тянулась ее мысль. Комната его была в первом этаже, гуляющие с сигарами в темноте по саду иногда видели его лампу, его склоненное лицо. Кто-то ей наконец сообщил, что он сидит за пустой шахматной доской. Ей захотелось самой посмотреть, и как-то, через несколько дней после их первого разговора, она пробралась по тропинке между олеандровыми кустами к его окну. Но, почувствовав вдруг неловкость, она прошла мимо, не посмотрев, вышла в аллею, куда доносилась музыка из курзала, и, не совладев с любопытством, вернулась опять к окну, причем нарочно скрипела гравием, чтобы убедить себя, что она не подглядывает. Его окно было открыто, штора не спущена, и в ярком провале она увидела, как он снимает пиджак и, надув шею, зевает. И в тяжелом медленном движении его плеча, которое все повторялось перед ее глазами, пока она поспешно уходила сквозь темноту к освещенной площадке перед гостиницей, ей померещилась какая-то могучая усталость после неведомых и чудных трудов.

Лужин действительно устал. Последнее время он играл много и беспорядочно, а особенно его утомила игра вслепую, довольно дорого оплачиваемое представление, которое он охотно давал. Он находил в этом глубокое наслаждение: не нужно было иметь дела со зримыми, слышимыми, осязаемыми фигурами, которые своей вычурной резьбой, деревянной своей вещественностью всегда мешали ему, всегда ему казались грубой, земной оболочкой прелестных, незримых шахматных сил. Играя вслепую, он ощущал эти разнообразные силы в первоначальной их чистоте. Он не видел тогда ни крутой гривы коня, ни лоснящихся головок пешек, — но отчетливо чувствовал, что тот или другой воображаемый квадрат занят определенной сосредоточенной силой, так что движение фигуры представлялось ему как разряд, как удар, как молния, — и все

шахматное поле трепетало от напряжения, и над этим напряжением он властвовал, тут собирая, там освобождая электрическую силу. Так он играл против пятнадцати, двадцати, тридцати противников, и, конечно, его утомляло количество досок, оттого что больше уходило времени на игру, но эта физическая усталость была ничто перед усталостью мысли — возмездием за напряжение и блаженство, связанные с самой игрой, которую он вел в неземном измерении, орудуя бесплотными величинами. Кроме всего, в слепой игре и в победах, которые она ему давала, он находил некоторое утешение. Дело в том, что последние годы ему не везло на турнирах, возникла призрачная преграда, которая ему все мешала прийти первым. Валентинов это как-то предсказал, несколько лет тому назад, незадолго до исчезновения. «Блещи пока блещется» — сказал он после того незабвенного турнира в Лондоне, первого после войны, когда двадцатилетний русский игрок оказался победителем. «Пока блещется, — лукаво повторил Валентинов, — а то ведь скоро конец вундеркиндству». И это было очень важно для Валентинова. Лужиным он занимался только поскольку это был феномен — явление странное, несколько уродливое, но обаятельное, как кривые ноги таксы. За все время совместной жизни с Лужиным он безостановочно поощрял, развивал его дар, ни минуты не заботясь о Лужине-человеке, которого, казалось, не только Валентинов, но и сама жизнь проглядела. Он показывал его, как забавного монстра, богатым людям, приобретал через него выгодные знакомства, устраивал бесчисленные турниры, и только когда ему начало сдаваться, что вундеркинд превращается просто в молодого шахматиста, он привез его в Россию, обратно к отцу, а потом, как некоторую ценность, увез снова, когда ему показалось, что все-таки он ошибся, что еще годика два-три осталось жить феномену. Когда и эти сроки прошли, он подарил Лужину денег, как дарят опостылевшей любовнице, и исчез, найдя новое развлечение в кинематографическом деле, в этом таинственном, как астрология, деле, где читают манускрипты и ищут звезд. И уйдя в среду бойких, речистых, жуликовато-важных людей, говорящих о философии экрана, о вкусах масс, об интимности в фильмовом преломлении и зарабатывающих при этом недурно, он выпал из мира Лужина, что для Лужина было облегчением, тем странным облегчением, которое бывает в разрешении несчастной любви. К Валентинову он привязался сразу — еще в годы шахматных путешествий по России, а потом

относился к нему так, как может сын относиться к беспечному, ускользящему, холодноватому отцу, которому никогда не скажешь, как его любишь. Валентинов занимался им только как шахматистом. Иногда в нем было что-то от тренера, выющего вокруг атлета, с беспощадной строгостью устанавливающего определенный режим. Так, Валентинов утверждал, что шахматисту можно курить (оттого что и в шахматах и в курении есть что-то восточное), но ни в коем случае нельзя пить, и во время их совместного житья в столовых больших гостиниц, огромных, пустынных в военные дни гостиниц, в случайных ресторанах, в швейцарских харчевнях и итальянских тратториях он заказывал для юноши Лужина неизменно минеральную воду. Пищу для него он выбирал легкую, чтобы мысль могла двигаться свободно, но почему-то (быть может, тоже в туманной связи с «востоком») очень поощрял Лужина в его любви к сладостям. Наконец у него была своеобразная теория, что развитие шахматного дара связано у Лужина с развитием чувства пола, что шахматы являются особым преломлением этого чувства, и, боясь, чтобы Лужин не израсходовал драгоценную силу, не разрешил бы естественным образом благодетственное напряжение души, он держал его в стороне от женщин и радовался его целомудренной сумрачности. Было что-то унижительное во всем этом; Лужин, вспоминая то время, с удивлением отмечал, что между ним и Валентиновым не прошло ни одного доброго человеческого слова. И все же, когда через три года после окончательного выезда из России, ставшей такой неприятной, — Валентинов исчез, он почувствовал пустоту, отсутствие поддержки, а потом признал неизбежность случившегося, вздохнул, повернулся, задумался опять над шахматной доской. Турниры после войны стали учащаться. Он играл в Манчестере, где дряхлый чемпион Англии, после двух дней борьбы, форсировал ничью, в Амстердаме, где решающую партию проиграл оттого, что просрочил время, и противник, взволнованно крикнув, ударил по его часам, в Риме, где Турати победоносно пустил в ход свой знаменитый дебют, и во многих других городах, которые все для него были одинаковы — гостиница, таксомотор, зал в кафе или клубе. Эти города, эти ровные ряды желтых фонарей, проходивших мимо, вдруг выступавших вперед и окружавших каменного коня на площади, — были той же привычной и ненужной оболочкой, как деревянные фигуры и черно-белая доска, и он эту внешнюю жизнь принимал как нечто неизбежное, но совершенно незанима-

тельное. Точно так же и в одежде своей, в образе обиходного бытия, он следовал побуждениям, очень смутным, ни над чем не задумываясь, редко меняя белье, машинально заводя на ночь часы, бреясь тем же лезвием, пока оно не переставало брать волос, питаюсь случайно и просто, — и по какой-то печальной инерции заказывая к обеду все ту же минеральную воду, которая слегка била в нос, вызывая щекотку в углах глаз, словно слезы об исчезнувшем Валентинове. Он замечал только изредка, что существует, — когда одышка, месть тяжелого тела, заставляла его с открытым ртом остановиться на лестнице, или когда болели зубы, или когда в поздний час шахматных раздумий протянутая рука, тряся спичечный коробок, не вызывала в нем дребезжания спичек, и папироса, словно кем-то другим незаметно сунутая ему в рот, сразу вырастала, утверждалась, плотная, бездушная, косная, и вся жизнь сосредоточивалась в одно желание курить, хотя бог весть сколько папирос было уже бессознательно выкурено. Вообще же так мутна была вокруг него жизнь и так мало усилий от него требовала, что ему казалось иногда, что некто — таинственный невидимый антрепренер — продолжает его возить с турнира на турнир, но были иногда странные часы, такая тишина вокруг, а выглянешь в коридор — у всех дверей стоят сапоги, сапоги, сапоги, и в ушах шум одиночества. Когда был жив еще отец, Лужин с тоской думал о его прибытии в Берлин, о том, что нужно повидать его, помочь, говорить о чем-то, — и этот веселенький на вид старик в вязаном жилете, неловко хлопавший его по плечу, был ему невыносим, как постыдное воспоминание, от которого стараешься отделаться, шурясь и мыча сквозь зубы. Он не приехал из Парижа на похороны отца, боясь пуще всего мертвецов, гробов, венков и ответственности, связанной со всем этим, — но приехал погодя, отправился на кладбище, потоптался под дождем между могил в отяжелевших от грязи калошах, могилы отца не нашел, увидел за деревьями человека, вероятно, сторожа, но странная лень и робость помешали спросить; он поднял воротник и поплелся по пустырю к ожидавшему таксомотору. Смерть отца не прервала его работы. Он готовился к берлинскому турниру с определенной мыслью найти лучшую защиту против сложного дебюта итальянца Турати, самого страшного из будущих участников турнира. Этот игрок, представитель новейшего течения в шахматах, открывал партию фланговыми выступлениями, не занимая пешками середины доски, но опаснейшим образом влияя

на центр с боков. Брезгуя благоразумным уютом рокировки, он стремился создать самые неожиданные, самые причудливые соотношения фигур. Уже однажды Лужин с ним встретился и проиграл, и этот проигрыш был ему особенно неприятен потому, что Турати, по темпераменту своему, по манере игры, по склонности к фантастической дислокации, был игрок ему родственного склада, но только пошедший дальше. Игра Лужина, в ранней его юности так поражающая знатоков невиданной дерзостью и пренебрежением основными как будто законами шахмат, казалась теперь чуть-чуть старомодной перед блистательной крайностью Турати. Лужин попал в то положение, в каком бывает художник, который, в начале поприща усвоив новейшее в искусстве и временно поразив оригинальностью приемов, вдруг замечает, что незаметно произошла перемена вокруг него, что другие, неведомо откуда взявшись, оставили его позади в тех приемах, в которых он недавно был первым, и тогда он чувствует себя обокраденным, видит в обогнавших его смельчаках только неблагодарных подражателей и редко понимает, что он сам виноват, он, застывший в своем искусстве, бывшем новым когда-то, но с тех пор не пошедшем вперед.

Оглядываясь на восемнадцать с лишним лет шахматной жизни, Лужин видел нагромождение побед вначале, а затем странное затишье, вспышки побед там и сям, но в общем — игру вничью, раздражительную и безнадежную, благодаря которой он незаметно прослыл за осторожного, непроницаемого, сухого игрока. И это было странно. Чем смелее играло его воображение, чем ярче был вымысел во время тайной работы между турнирами, тем ужасней он чувствовал свое бессилие, когда начиналось состязание, тем боязливее и осмотрительнее он играл. Давно вошедший в разряд лучших международных игроков, очень известный, цитируемый во всех шахматных учебниках, кандидат, среди пяти-шести других, на звание чемпиона мира, он этой благожелательной молвой был обязан ранним своим выступлениям, оставившим вокруг него какой-то смутный свет, венчик избранности, поволоку славы. Смерть отца явилась ему как вешка, по которой он мог определить пройденный путь. И, на минуту оглянувшись, он с некоторым содроганием увидел, как медленно он последнее время шел, и, увидев это, с угрюмой страстью погрузился в новые вычисления, придумывая и уже смутно предчувствуя гармонию нужных ходов, ослепительную защиту. Ему стало дурно ночью, в берлинской гостинице, после поездки на



кладбище: сердцебиение, и странные мысли, и такое чувство, будто мозг одеревенел и покрыт лаком. Доктор, которого он в то утро повидал, посоветовал отдохнуть, уехать в тихое место, «...чтобы было кругом зелено», — сказал доктор. И Лужин, отказавшись дать обещанный сеанс игры вслепую, уехал в то очевидное место, которое ему сразу представилось, когда врач упомянул о зелени, и даже был смутно благодарен угодливому воспоминанию, которое так кстати назвало нужный курорт, взяло на себя все заботы, поместило его в уже созданную, уже готовую гостиницу.

Он действительно почувствовал себя лучше среди этой зеленой декорации, в меру красивой, дающей чувство сохранности и покоя. И вдруг, как бывает в балагане, когда расписная бумажная завеса прорывается звездообразно, пропуская живое улыбающееся лицо, появился, невесть откуда, человек, такой неожиданный и такой знакомый, заговорил голос, как будто всю жизнь звучавший под сурдинку и вдруг прорвавшийся сквозь привычную муть. Стараясь уяснить себе это впечатление чего-то очень знакомого, он совершенно некстати, но с потрясающей ясностью вспомнил лицо молоденькой проститутки с голыми плечами, в черных чулках, стоявшей в освещенной проеме двери, в темном переулке, в безымянном городе. И нелепым образом ему показалось, что вот это — она, что вот она явилась теперь, надев приличное платье, слегка подурнев, словно она смыла какие-то обольстительные румяна, но через это стала более доступной. Таково было первое впечатление, когда он увидел ее, когда заметил с удивлением, что с ней говорит. И ему было немного досадно, что она не совсем так хороша, как могла быть, как мерещилась по странным признакам, рассеянным в его прошлом. Он примирился и с этим и постепенно стал забывать ее смутные прообразы, но зато почувствовал успокоение и гордость, что вот, с ним говорит, занимается им, улыбается ему настоящий, живой человек. И в тот день, на площадке сада, где ярко-желтые осы садились на железные столики, поводя опущенными сяжками, — когда он вдруг заговорил о том, как некогда, мальчиком, жил в этой гостинице, Лужин начал тихими ходами, смысл которых он чувствовал очень смутно, своеобразное объяснение в любви. «Ну, расскажите что-нибудь еще», — повторила она, несмотря на то, что заметила, как хмуро и скучно он замолчал.

Он сидел, опираясь на трость, и думал о том, что этой липой, стоящей на озаренном скате, можно, ходом коня, взять вон тот телеграфный столб, и одновременно старался

вспомнить, о чем именно он сейчас говорил. Лакей с дюжиной пустых пивных кружек, висящих на скрюченных пальцах, пробежал вдоль крыла дома, и Лужин с облегчением вспомнил, что говорил о турнире, некогда происходившем как раз в этом крыле. Он взволновался, ему стало жарко, и круг шляпы давил виски, и это волнение было еще не совсем понятно. «Пойдемте, — сказал он. — Я вам покажу. Там теперь должно быть пусто. И прохладно». Тяжело ступая и таща за собой трость, которая шуршала по гравию и подпрыгнула на пороге, он вошел в дверь первым. «Какой неотесанный», — подумала она и поймала себя на том, что качает головой и что это чуть-чуть фальшиво, — дело совсем не в его неотесанности. «Вот, кажется, сюда», — сказал Лужин и толкнул боковую дверь. Горел огонь, толстый человек в белом кричал что-то, и бежала башня тарелок на человеческих ногах. «Нет, дальше», — сказал Лужин и пошел по коридору. Он открыл другую дверь и чуть не упал: шли вниз ступеньки, а там — кусты и куча сору и опасно, дрыгающей походкой, отходящая курица. «Я ошибся, — сказал Лужин, — вероятно, вот сюда, направо». Он снял шляпу, почувствовав, как на лбу горячим бисером собирается пот. Ах, как ясен был образ просторной, пустой, прохладной залы, — и как трудно было ее найти! «Вот эту дверь попробуем», — сказал он. Дверь оказалась запертой. Он несколько раз нажал ручку. «Кто там?» — вдруг сказал хриплый голос, и скрипнула постель. «Ошибка, ошибка», — забормотал Лужин и пошел дальше, потом оглянулся и остановился: он был один. «Где же она?» — сказал он вслух, топчась и озираясь. Коридор, окно в сад, на стене аппарат с квадратными оконцами для номеров. Где-то пролетел звонок. В одном из оконцев криво выскочил номер. Ему стало беспокойно и смутно, точно он заблудился в дурном сне, — и он быстро пошел назад, повторяя вполголоса: «Странные шутки, странные шутки». Вышел он неожиданно в сад, и там двое сидели на скамейке и с любопытством смотрели на него. Вдруг он услышал сверху смех, поднял лицо. Она стояла на балкончике своей комнаты и смеялась, положив локти на перила, ладони прижав к щекам и укоризненно-лукаво кивая. Она видела его большое лицо, шляпу набекрень и ждала, что он будет теперь делать. «Я не могла за вами поспеть», — крикнула она, выпрямившись и открыв руки в каком-то объяснительном жесте. Лужин опустил голову и вошел в дом. Она полагала, что он сейчас постучится к ней, и думала о том, что не впустит его, скажет,

что в комнате беспорядок. Но он не постучался. Когда она спустилась ужинать, его в столовой не было. «Обиделся», — решила она и пошла спать раньше обыкновенного. Утром она вышла гулять и смотрела, не ждет ли он в саду, на скамейке, с газетой, как всегда. Его не было ни в саду, ни в галерее, и она пошла гулять без него. Когда он и к обеду не явился и за его столиком оказалась престарелая чета, давно на этот столик метившая, она спросила в конторе, не болен ли господин Лужин. «Господин Лужин сегодня утром уехал в Берлин», — ответила барышня.

Через час вернулся в гостиницу его багаж. Швейцар и мальчишка деловито и равнодушно внесли обратно чемоданы, которые утром вынесли. Лужин возвращался со станции пешком — полный унылый господин, придавленный жарой, в белых от пыли башмаках. Он отдыхал на всех скамейках, раза два сорвал ягоду ежевики и сморщился от кислотины. Идя по шоссе, он вдруг заметил, что мелкими шажками следует за ним белокурый мальчик с пустой бутылкой из-под пива в руке и, нарочно его не обгоняя, смотрит на него в упор с невыносимой детской внимательностью. Лужин остановился. Мальчик остановился тоже. Лужин двинулся, мальчик тоже двинулся. Тогда он рассердился и, обернувшись, пригрозил тростью. Тот замер, удивленно и радостно ухмыляясь. «Я тебя...» — густым голосом сказал Лужин и пошел на него, подняв трость. Мальчик прыгнул на месте и отбежал. Лужин, бурча и сопя, продолжал свой путь. Внезапно камушек, очень ловко пущенный, попал ему в левую лопатку. Он ахнул и обернулся. Никого — пустая дорога, лес, вереск. «Я его убью», — громко сказал он по-немецки и пошел быстрее, стараясь вилять, как это делают (он читал где-то) люди, боящиеся выстрела в спину, и повторяя вслух свою беспомощную угрозу. Он тяжело дышал, ослабел, чуть не плакал, когда добрался до гостиницы. «Раздумал, — сказал он мимоходом, обращаясь к решетке конторы. — Остаюсь, раздумал».

«Наверное, у себя в комнате», — произнес он, поднимаясь по лестнице. Он вошел к ней с размаху, словно бухнул в дверь головой, и, смутно увидев ее, лежащую в розовом платье на кушетке, сказал торопливо: «Здрате-здате» и кругами зашагал по комнате, предполагая, что это все выходит очень остроумно, легко, забавно, и вместе с тем задыхаясь от волнения. «Итак, продолжая вышесказанное, должен вам объявить, что вы будете моей супругой, я вас умоляю согласиться на это, абсолютно было невоз-

можно уехать, теперь будет все иначе и превосходно», и тут, присев на стул у парового отопления, он разрыдался, закрыв лицо руками; потом, стараясь одну руку так растопырить, чтобы она закрывала ему лицо, другою стал искать платок и в дрожащие от слез просветы между пальцев видел двоящееся расплывающееся розовое платье, которое с шумом надвигалось на него.

«Ну, будет, будет, — повторяла она успокаивающим голосом, — взрослый мужчина, и так плачет». Он схватил ее за локоть, поцеловал что-то холодное и твердое (часики на кисти). Она сняла с него соломенную шляпу и погладила по лбу — и быстро отодвинулась, избегая его неловких хватающих движений. Лужин затрубил в платок, раз, еще раз, громко и сочно; затем вытер глаза, щеки, рот и облегченно вздохнул, облокотившись на паровое отопление и глядя перед собой светлыми влажными глазами. Ей тогда же стало ясно, что этого человека, нравится ли он тебе или нет, уже невозможно вытолкнуть из жизни, что он уселся твердо, плотно, по-видимому, надолго. И вместе с тем она думала о том, как же она покажет этого человека отцу, матери, как это он будет сидеть у них в гостиной, — человек другого измерения, особой формы и окраски, не совместимый ни с кем и ни с чем.

Она сначала примеряла его так и этак к родным, к их окружению, даже к обстановке квартиры, заставляла воображаемого Лужина входить в комнаты, говорить с ее матерью, есть домашнюю кулебяку, отражаться в роскошном, купленном за границей самоваре, — и эти воображаемые посещения кончались чудовищной катастрофой, Лужин неуклюжим движением плеча сшибал дом, как валкий кусок декорации, испускающий вздох пыли. Квартира же была дорогая, благоустроенная, в бельэтаже огромного берлинского дома. Ее родители, снова разбогатев, решили зажить в строгом русском вкусе, как-то сопряженном со славянской вязью, с открытками, изображающими пригорюнившихся боярышень, с лакированными шкатулками, на которых красочно выжжена тройка или жар-птица, и с тем прекрасно издававшимся, давно опочившим журналом, где бывали такие превосходные фотографии старых усадеб и фарфора. Отец говорил друзьям, что ему особенно приятно, после деловых свиданий и разговоров с людьми подозрительного происхождения, окунуться в настоящий русский уют, есть настоящую русскую пищу. Одно время прислуживал настоящий денщик, солдат, взятый из русского барака под Берлином, но ни с того ни с сего он стал

необыкновенно груб и был замещен немецкой полькой. Мать, статная полнорукая дама, называвшая самое себя бой-бабой или казаком (след смутных и извращенных реминисценций из «Войны и мира»), превосходно играла русскую хозяйку, имела склонность к теософии и порицала радио как еврейскую выдумку. Была она очень добра и очень бестактна, искренно любила ту размалеванную, искусственную Россию, которую вокруг себя понастроила, но иногда скучала невыносимо, в точности не зная, чего ей недостает, ибо, как говорила она, свою-то Россию она вывезла. Дочь же была совершенно равнодушна к этой лубочной квартире, столь непохожей на их тихий петербургский дом, где у мебели, у вещей была своя душа, где в киоте был незабвенный гранатовый блеск и таинственные апельсиновые цветы, где по шелку на спинке кресла была вышита толстая умная кошка, где была тысяча мелочей, запахов, оттенков, которые все вместе составляли что-то упоительное, и раздирающее, и ничем не заменимое.

Молодые люди, бывавшие у них, считали ее очень милой, но скучноватой барышней, а мать про нее говорила (низким голосом, с усмешечкой), что она в доме представительница интеллигенции и декадентства, — потому ли, что знала наизусть стихи Бальмонта, найденные в «Чтецедекламаторе», или по какой другой причине — неизвестно. Отцу нравилась ее самостоятельность, тишина и особая манера опускать глаза, когда она улыбалась. Но до самого пленительного в ней никто еще не мог докопаться: это была таинственная способность души воспринимать в жизни только то, что когда-то привлекало и мучило в детстве, в ту пору, когда нюх у души безошибочен; выискивать забавное и трогательное; постоянно ощущать нестерпимую нежную жалость к существу, живущему беспомощно и несчастно, чувствовать за тысячу верст, как в какой-нибудь Сицилии грубо колотят тонконового осленка с мохнатым брюхом. Когда же и в самом деле она встречала обижаемое существо, то было чувство легендарного затмения, когда наступает необъяснимая ночь, и летит пепел, и на стенах выступает кровь, — и казалось, что если сейчас — вот сейчас — не помочь, не пресечь чужой муки, объяснить существование которой в таком располагающем к счастью мире нет никакой возможности, сама она задохнется, умрет, не выдержит сердце. И потому жила она в постоянном тайном волнении, постоянно предчувствуя новое увлечение или новую жалость, и про нее говорили, что она обожает собак и всегда готова одолжить денег, — и

слушая мелкую молву, она чувствовала себя, как в детстве, во время той игры, когда уходишь из комнаты, а другие выдумывают про тебя разнообразные мнения. И среди играющих, среди тех, к которым она выходила после пребывания в соседней комнате (где сидишь, ожидая, что тебя позовут, и честно напеваешь что-нибудь, чтобы только не подслушать, или открываешь случайную книгу, и, как освобожденная пружина, выскакивает кусочек романа, конец непонятого разговора), среди этих людей, мнение которых требовалось угадать, был теперь человек, довольно молчаливый, тяжелый на подъем, совершенно неизвестно, что о ней думающий. Она подозревала, что вообще никакого мнения у него нет и что он не представляет себе вовсе ее среду, обстановку ее жизни, и потому может ляпнуть что-нибудь ужасное.

Решив, что она отсутствовала достаточно, она легонько провела рукой по затылку, приглаживая волосы, и улыбаясь вошла в холл. Лужин и ее мать, которых она только что познакомила, сидели в плетеных креслах под пальмой, и Лужин, насупившись, рассматривал свою неприличную соломенную шляпу, которую он держал на коленях, и в эту минуту ей было одинаково страшно подумать о том, какими словами о ней говорил Лужин (если вообще говорил), как и о том, какое впечатление сам Лужин произвел на ее мать. Накануне, как только мать приехала и стала пенять на то, что окно на север и не горит лампочка на ночном столике, она рассказала, стараясь держать слова на том же уровне, как и все предыдущие, что очень подружилась со знаменитым шахматистом Лужиным. «Наверное, псевдоним, — сказала мать, копаясь в несессере, — какой-нибудь Рубинштейн или Абрамсон». «Очень, очень знаменитый, — продолжала дочь, — и очень милый». «Помоги-ка мне лучше найти мое мыло», — сказала мать. И теперь, познакомив их, оставя их наедине под предлогом заказать лимонаду, она ощущала, возвращаясь в холл, такой страх, такую непоправимость уже происшедших катастроф, что еще издали стала громко говорить, и споткнулась о край ковра, и рассмеялась, балансируя руками. Бессмысленная игра с соломенной шляпой, молчание, удивленные блестящие глаза матери, неожиданное воспоминание о том, как он на днях плакал, обняв паровое отопление, — все это было очень тяжело вынести. Но вдруг Лужин поднял голову, его рот скривился знакомой хмурой улыбкой, — и сразу ее страх исчез, и возможная беда показалась чем-то удивительно забавным, ничего не

меняющим. Лужин, как будто ожидавший ее прихода, чтобы ретироваться, крикнул, встал и, замечательным образом кивнув («по-хамски», — весело подумала она, переводя этот кивок на язык матери), направился к лестнице. По дороге он встретил лакея, несшего на подносе три стакана лимонаду. Он остановил его, взял один из стаканов и, осторожно держа его перед собой, бровями вторя колеблющемуся уровню жидкости, стал медленно подниматься по лестнице. Когда он исчез за поворотом, она стала преувеличенно внимательно сдирать тонкую бумажку с соломинки. «Хам», — довольно громко сказала мать, и дочь почувствовала то удовольствие, которое бывает, когда угаданное значение иностранного слова находишь в словаре. «Это же не человек, — продолжала с сердитым изумлением мать. — Что это такое? Ведь это же не человек. Он меня называл мадам, просто мадам, как приказчик. Не человек, а бог знает что. И у него, наверное, советский паспорт. Большевик, просто большевик. Я сидела как дура. Ну и разговорчики. Совершенно грязные манжеты. Ты заметила? Совершенно грязные и обдрипанные».

«О чем были разговорчики?» — спросила она, улыбаясь исподлбья.

«Да, мадам, нет, мадам. Тут приятная атмосфера. Атмосфера, а? Слово-то? Я его спросила, давно ли он из России, чтоб как-нибудь разговориться. Он просто молчит. Просто молчит. Потом он сказал про тебя, что ты любишь прохладительные напитки. Прохладительные! А морда какая, морда-то. Нет, нет подальше от таких...»

Продолжая игру в мнения, она поспешила к Лужину. За время его неудачного отъезда успели сдать его комнату, и он был помещен в другую, повыше. Он сидел, облокотившись о стол, как будто пораженный горем, и в пепельнице мучительно дымилась недобитая папироса. На столе и на полу рассыпаны были листки, исписанные карандашом. Ей показалось мельком, что это счета, и она удивилась их количеству. Ветер, дувший в открытое окно, рванулся, когда она открыла дверь, и Лужин, выйдя из раздумья, поднял с полу листки, аккуратно сложил их, улыбаясь ей и моргая. «Ну что? Как?» — спросила она. «Оформится во время игры, — сказал Лужин. — Просто-напросто намечаю некоторые возможности». У нее было чувство, что она ошиблась дверью, попала не туда, куда метила, но в этом неожиданном мире было хорошо, и не хотелось переходить в тот, где играют в мнения. Но вместо того чтобы продолжать говорить о шахматах, Лужин,

подъехав к ней вместе со стулом, взял ее за талию трясушимися от нежности руками и, не зная, что предпринять, попытался ее посадить к себе на колени. Она уперлась ему в плечи, отстраняя лицо, будто глядит на листки. «Это что?» — спросила она. «Ничего, ничего, — сказал Лужин, — запись различных партий». «Пустите», — попросила она тонким голосом. «Запись различных партий, запись...» — повторял Лужин, прижимая ее к себе и прищуренными глазами глядя снизу вверх на ее шею. Лицо его вдруг исказилось, глаза на миг потеряли выражение; потом черты его как-то обмякли, руки разжались сами собой, и она отошла от него, сердясь, не совсем точно зная, почему сердится, и удивленная тем, что он ее отпустил. Лужин откашлялся, жадно закурил, с непонятым лукавством следя за ней. «Я жалею, что пришла, — сказала она. — Во-первых, я вам помешала в работе...» «Ничуть», — с неожиданной веселостью ответил Лужин и хлопнул себя по коленкам.

«Во-вторых, я, собственно, хотела узнать ваши впечатления». «Дама большого света, — сказал Лужин, — это сразу видно».

«Послушайте, — воскликнула она, продолжая сердиться, — вы где-нибудь воспитывались? Вы где-нибудь учились? Вы вообще встречались когда-нибудь с людьми, говорили с людьми?»

«Я много вояжировал, — сказал Лужин. — Там и сям. Повсюду понемножку».

«Где я? Кто он? Что же дальше будет?» — мысленно спросила она себя и оглядела номер, стол, покрытый бумажками, смятую постель, умывальник, где валялось ржавое лезвие «жиллет», полуоткрытый шкаф, откуда, как змея, выползал зеленый в красных пятнах галстук. И, среди этого холодного беспорядка, сидел замысловатейший человек, человек, занимавшийся призрачным искусством, и она старалась остановиться, ухватиться за все его недостатки и странности, сказать себе раз навсегда, что этот человек ей не пара, — и в то же время совершенно отчетливо беспокоилась о том, как это он будет держаться в церкви, как он будет выглядеть во фраке.

## 7

Встречи, конечно, продолжались. Бедная дама стала со страхом замечать, что ее дочь и подозрительный господин Лужин неразлучны, — были какие-то между ними разгово-



ры, и взгляды, и флюиды, которые она в точности не могла уловить; это показалось ей так опасно, что, преодолев отвращение, она решила Лужина держать как можно больше при себе, отчасти чтобы его хорошенько раскусить, но главное, чтобы дочь не пропадала так часто. Профессия Лужина была ничтожной, нелепой... Существование таких профессий могло быть только объяснимо проклятой современностью, современным тяготением к бессмысленному рекорду (эти аэропланы, которые хотят долететь до солнца, марафонская беготня, олимпийские игры). Ей казалось, что в прежние времена, в России ее молодости, человек, исключительно занимавшийся шахматной игрой, был бы явлением немислимым. Впрочем, даже и в нынешние дни такой человек был настолько странен, что у нее возникло смутное подозрение, не есть ли шахматная игра прикрытие, обман, не занимается ли Лужин чем-то совсем другим, — и она замирала, представляя себе ту темную, преступную — быть может, масонскую, — деятельность, которую хитрый негодяй скрывает за пристрастием к невинной игре. Мало-помалу, однако, это подозрение отпало. Как ждать каверзы от такого олуха? Кроме того, он действительно был знаменит. Ее поразило и несколько раздражило, что многим хорошо знакомо имя, ей совершенно неизвестное (кроме разве как случайный звук в прошлом, связанный с дальним родственником, у которого когда-то бывал некий Лужин, петербургский помещик). Немцы, жившие в курортной гостинице, героически преодолевая трудность чуждой им шипящей, произносили это имя с уважением. Дочь показала ей последний номер берлинского иллюстрированного журнала, где в отделе загадок и крестословиц была приведена чем-то замечательная партия, недавно выигранная Лужиным. «Но разве можно увлекаться такими пустяками? — воскликнула она, растерянно глядя на дочь. — Всю жизнь ухлопать на такие пустяки... Вот у тебя был дядя, он тоже хорошо играл во всякие игры — в шахматы, в карты, на бильярде, — но у него была и служба, и карьера, и все». «У него тоже карьера, — ответила дочь, — и, право же, он очень известен. Никто не виноват, что ты шахматами никогда не интересовалась». «Фокусники тоже бывают известные», — ворчливо проговорила она, но все же призадумалась и решила про себя, что известность Лужина отчасти оправдывает его существование. Существовал он, впрочем, тяжело. Особенно ее сердило, что он постоянно ухитрялся сидеть к ней спиной. «Он спиной и говорит, спиной, — жа-

ловалась она дочери. — Ведь у него не человеческий разговор. Уверяю тебя, тут есть что-то прямо ненормальное». Ни разу Лужин не обратился к ней с вопросом, ни разу не попытался поддержать разваливавшуюся беседу. Были незабвенные прогулки по испещренным солнцем тропинкам, где, там и сям, в приятной тени, некий заботливый гений расставил скамейки, — незабвенные прогулки, во время которых каждый шаг Лужина казался ей оскорблением. Несмотря на полноту и одышку, он вдруг развивал необычайную скорость, его спутницы отставали, мать, поджимая губы, смотрела на дочь и свистящим шепотом клялась, что, если этот рекордный бег будет продолжаться, она тотчас же — понимаешь, тотчас же, — вернется домой. «Лужин, — звала дочь, — а Лужин? Передохните, вы устанете». (И то, что дочь звала его по фамилии, тоже было неприятно, — но на ее замечание та отвечала со смехом: «Так делали тургеневские девушки. Чем я хуже?») Лужин вдруг оборачивался, криво усмехался и присаживался на скамейку. Рядом стояла проволочная корзина. Он неизменно рылся в карманах, находил какую-нибудь бумажку, аккуратно ее рвал на части и бросал в корзину, после чего отрывисто смеялся. Образец его шуточек.

Все же, несмотря на совместные прогулки, ее дочь и Лужин находили время уединяться, и после таких уединений она с некоторой злобой спрашивала дочь: «Что, целуешься с ним? Целуешься? Я уверена, что целуешься». Но та только вздыхала и с притворной тоской отвечала: «Ах, мама, как ты можешь говорить такие вещи...» «Взасос», — решила она и мужу написала, что несчастна, беспокойна, что у дочери невозможный флирт — опасный угрюмец. Муж посоветовал вернуться в Берлин или переехать на другой курорт. «Ничего он не понимает, — подумала она. — Ну, все равно. Скоро все это кончится. Наш голубчик отбудет».

И вдруг, за три дня до отъезда Лужина в Берлин, случилась одна маленькая вещь, которая не то чтобы изменила ее отношение к Лужину, но смутно ее тронула. Они втроем вышли пройтись. Был неподвижный августовский вечер, великолепный закат, как до конца выжатый, до конца истерзаный апельсин-королек. «А мне что-то холодно, — сказала она. — Принеси-ка мне что-нибудь». И дочь кивнула, сказала «у-хум», посасывая стебелек травы, и быстро пошла, слегка размахивая руками, обратно к гостинице.

«Хорошенькая у меня девочка, правда? Ножки стройные».

Лужин поклонился.

«Значит, вы в понедельник отбываете? А потом, после вашей игры, обратно в Париж?»

Лужин поклонился снова.

«Но в Париже вы останетесь недолго? Опять куда-нибудь пригласят выступить?»

Тут-то и произошло. Лужин огляделся и протянул трость.

«Дорожка, — сказал он. — Смотрите. Дорожка. Я шел. И вы представьте себе, кого я встретил. Кого же я встретил? Из мифов. Амура. Но не со стрелой, а с камушком. Я был поражен».

«О чем вы?» — спросила она с тревогой.

«Нет, позвольте, позвольте, — воскликнул Лужин, подняв палец. — Мне нужна аудиенция».

Он подошел к ней близко, странно приоткрыл рот, отчего необыкновенное выражение какой-то страдальческой нежности появилось на его лице.

«Вы добрая, отзывчивая женщина, — протяжно сказал Лужин. — Честь имею просить дать мне ее руку».

Он отвернулся, как будто окончив театральную реплику, и стал тростью выдалбливать узорчик в песке.

«Вот тебе шаль», — сказал сзади нее запыхавшийся голос дочери, и шаль легла ей на плечи.

«Да нет, мне жарко, не надо, какая там шаль...»

Прогулка в тот вечер была особенно молчалива. В уме у нее пробегали все те слова, которые придется сказать Лужину, — намекнуть на финансовую сторону, — он, вероятно, небогат, занимает самую дешевую комнату в гостинице. И очень серьезно поговорить с дочерью. Немыслимый брак, глупейшая затея. Но, несмотря на все это, ей было лестно, что Лужин так взволнованно, так по-старомодному обратился первым делом к ней.

«Произошло, поздравляю, — сказала она в тот же вечер дочери. — Не делай невинное лицо, ты отлично понимаешь. Мы желаем жениться».

«Напрасно он с тобой говорил, — ответила дочь. — Это касается только его и меня».

«Выйти замуж за первого встречного прохвоста...» — обиженно начала она.

«Не смей, — спокойно сказала дочь. — Это не твое дело».

И то, что казалось невыносимой затеей, стало разви-

ваться с удивительной быстротой. Накануне отъезда Лужин в длинной ночной рубашке стоял на балкончике своей комнаты, глядел на луну, которая, дрожа, выпутывалась из черной листвы, и, думая о неожиданном обороте, принимаемом его защитой против Турати, слушал, сквозь эти шахматные мысли, голос, который все продолжал звенеть в ушах, длинными линиями пересекал его существо, занимая все главные пункты. Это был отзвук разговора, который у него только что был с ней, — она опять сидела у него на коленях и обещала, обещала, что через два-три дня вернется в Берлин, поедет одна, если мать захочет остаться. И держать ее у себя на коленях было ничто перед уверенностью, что она последует за ним, не исчезнет, как некоторые сны, которые вдруг лопаются, разбегаются, оттого что сквозь них всплывает блестящий куполок будильника. Прижавшись плечом к его груди, она старалась осторожным пальцем повыше поднять его веки, и от легкого нажима на глазное яблоко прыгал странный черный свет, прыгал, словно его черный конь, который просто брал пешку, если Турати ее выдвигал на седьмом ходу, как он сделал при последней встрече. Конь, конечно, погибал, но эта потеря вознаграждалась замысловатой атакой черных, и тут шансы были на их стороне. Была, правда, некоторая слабость на ферзевом фланге, скорее не слабость, а легкое сомнение, не есть ли все это фантазия, фейерверк, и выдержит ли он, выдержит ли сердце, и голос в ушах все-таки обманывает и не будет ему сопутствовать. Но луна вышла из-за угловатых черных веток — круглая, полновесная луна, — яркое подтверждение победы, и когда Лужин повернулся и шагнул в свою комнату, там лежал на полу огромный прямоугольник лунного света, и в этом свете — его собственная тень.

## 8

То, к чему так равнодушна его невеста, произвело на него впечатление, которое никак нельзя было предвидеть. Пресловутую квартиру, в которой самый воздух был сарафанный, Лужин посетил сразу после того, как добыл свой первый пункт, разделавшись с очень цепким венгром; партию, правда, прервали на сороковом ходу, но дальнейшее было Лужину совершенно ясно. Он вслух прочел безликому шоферу адрес на открытке («Приехали. Ждем вас вечером») и, незаметно преодолев туманное, случайное

расстояние, осторожно попробовал вытянуть кольцо из львиной пасти. Звонок подействовал сразу: дверь бурно открылась. «Как, без пальто? Не впусчу..» Но он уже перешагнул через порог и махал рукой, тряс головой, стараясь справиться с одышкой. «Пфуф, пфуф», — выдохнул он, приготовившись к чудесному объятию, и вдруг заметил, что в левой, уже протянутой вбок, руке — ненужная трость, а в правой — бумажник, который он, по-видимому, нес с тех пор, как расплатился с автомобилем. «Опять в этой черной шляпище... Ну, что ж вы застыли? Вот сюда». Трость благополучно нырнула в вазоподобную штуку; бумажник, после второго совка, попал в нужный карман; шляпа повисла на крючке. «Вот и я, — сказал Лужин, — пфуф, пфуф». Она уже была далеко, в глубине прихожей; толкнула боком дверь, протянув по ней голую руку и весело исподлобья глядя на Лужина. А над дверью, сразу над косяком, была в глаза большая, яркая, масляными красками писанная картина. Лужин, обыкновенно не примечавший таких вещей, обратил на нее внимание, потому что электрический свет жирно ее обливал и краски поразили его, как солнечный удар. Баба в кумачовом платке до бровей ела яблоко, и ее черная тень на заборе ела яблоко побольше. «Баба», — вкусно сказал Лужин и рассмеялся. «Ну, входите, входите. Не распистоньте этот столик». Он вошел в гостиную и как-то весь обмяк от удовольствия, и его живот под бархатным жилетом, который он почему-то всегда носил во время турниров, трогательно вздрагивал от смеха. Люстра с матовыми, как леденцы, подвесками отвечала ему странно знакомым дрожанием; перед роялем, на желтом паркете, в котором отражались ножки ампирных кресел, лежала белая медвежья шкура, раскинув лапы, словно летя в блестящую пропасть пола. На многочисленных столиках, полочках, поставцах были всякие нарядные вещицы, что-то вроде увесистых рублей серебрилось в горке, и павлинье перо торчало из-за рамы зеркала. И было много картин на стенах — опять бабы в цветных платках, золотой богатырь на белом битюге, избы под синими пуховиками снега... Для Лужина все это слилось в умильный красочный блеск, из которого на мгновение выскакивал отдельный предмет — фарфоровый лось или темноокая икона, — и опять весело рябило в глазах, и полярная шкура, о которую он споткнулся, отчего завернулся край, оказалась на красной подкладке с фестонами. Больше десяти лет он не был в русском доме, и, попав теперь

в дом, где, как на выставке, бойко подавалась цветистая Россия, он ощутил детскую радость, желание захлопать в ладоши, — никогда в жизни ему не было так легко и уютно. «От Пасхи осталось», — убежденно сказал он, указав пятым пальцем на большое деревянное яйцо в золотых разводах (томбольный выигрыш на благотворительном балу). В эту минуту белые двери распахнулись и быстро вошел, уже протягивая на ходу руку, господин в пенсне, очень прямой, остриженный бобриком. «Милости просим, — сказал он. — Рад познакомиться». Тут же он, как фокусник, открыл кустарный портсигар с александровским орлом на крышке. «С мундштучками, — сказал Лужин, покосившись на папиросы. — Этих не курю. А вот...» Он стал рыться в карманах, извлекая толстые папиросы, высыпавшиеся из бумажного мешочка; несколько штук он уронил, и господин ловко их поднял. «Душенька, — сказал он, — дай нам пепельницу. Садитесь, пожалуйста. Виноват... ваше имя-отчество?» Хрустальная пепельница опустилась между ними, и, одновременно макнув в нее папиросы, они сшиблись кончиками. «Жадую», — добродушно сказал Лужин, выправляя согнувшуюся папиросу. «Ничего, ничего, — быстро сказал господин и выпустил две тонкие струи дыма из ноздрей вдруг сузившегося носа. — Ну вот, вы в нашем богоспасаемом Берлине. Моя дочь мне рассказала, что вы приехали на состязание». Он высвободил крахмальную манжету, подбоченился и продолжал: «Я, между прочим, всегда интересовался, нет ли в шахматной игре такого хода, благодаря которому всёгда выиграешь. Я не знаю, понимаете ли вы меня, но я хочу сказать... простите, ваше имя-отчество?» «Нет, я понимаю, — сказал Лужин, прилежно пораздумав. — Мы имеем ходы тихие и ходы сильные. Сильный ход...» «Так, так, вот оно что», — закивал господин. «Сильный ход, это который, — громко и радостно продолжал Лужин, — который сразу дает нам несомненное преимущество. Двойной шах примерно со взятием фигуры тяжелого веса или пешка возводится в степень ферзя. И так далее. И так далее. А тихий ход...» «Так, так, — сказал господин. — Сколько же дней приблизительно будет продолжаться состязание?» «Тихий ход это значит подвох, подкоп, complication, — стараясь быть любезным и сам входя во вкус, говорил Лужин. — Возьмем какое-нибудь положение. Белые...» Он задумался, глядя на пепельницу. «К сожалению, — нервно сказал господин, — я в шахматах ничего не смыслю. Я только вас спрашивал...

Но это пустяк, пустяк. Мы сейчас пройдем в столовую. Что, душенька, чай готов?» «Да! — воскликнул Лужин. — Мы просто возьмем положение, на котором сегодня был прерван эндшпиль. Белые: король сэ-три, ладья а-один, конь дэ-пять, пешки бэ-три, сэ-четыре. Черные же...» «Сложная штука шахматы», — проворно вставил господин и пружинисто вскочил на ноги, стараясь пресечь поток букв и цифр, которые имели какое-то отношение к черным. «Предположим теперь, — веско сказал Лужин, — что черные сделают лучший в этом положении ход, — э-шесть жэ-пять. На это я и отвечаю следующим тихим ходом...» Лужин прищурился и почти шепотом, выпятив губы, как для осторожного поцелуя, испустил не слова, не простое обозначение хода, а что-то нежнейшее, бесконечно хрупкое. У него было то же выражение на лице — выражение человека, который сдувает перышко с лица младенца, — когда, на следующий день, он этот ход воплотил на доске. Венгр, совершенно желтый после бессонной ночи, за которую он успел проверить все варианты (приводившие к ничьей), не заметив только вот этой скрытой комбинации, крепко задумался над доской, пока Лужин, жеманно покашливая, любовно отмечал сделанный ход на листочке. Венгр скоро сдался, и Лужин сел играть с компатриотом. Партия началась интересно, и вскоре вокруг их стола образовалось плотное кольцо зрителей. Любопытство, напор, хруст суставов, чужое дыхание и, главное, шепот — шепот, прерываемый еще более громким и раздражительным «цыс!» — часто мучали Лужина: он живо чувствовал этот хруст, и шелест, и отвратительное тепло, если не слишком глубоко уходил в шахматные бездны. Краем глаза он видел ноги столпившихся, и его почему-то особенно раздражала, среди всех этих темных штанов, пара дамских ног в блестящих серых чулках. Эти ноги явно ничего не понимали в игре, непонятно, зачем они пришли... Сизые заостренные туфли с какими-то перехватцами лучше бы цокали по панели, — подальше отсюда. Остановившая свои часы, записывая ход или оставляя взятую фигуру, он искоса посматривал на эти неподвижные ноги и только через полтора часа, когда он выиграл партию и встал, оттягивая вниз жилет, Лужин увидел, что эти ноги принадлежат его невесте. Он ощутил острое счастье от того, что она присутствовала при его победе, и жадно ждал исчезновения шахматных досок и всех этих шумных людей, чтобы поскорей ее погладить. Но шахматы не сразу исчезли, и, даже когда появилась

светлая столовая и огромный, медью сияющий самовар, сквозь белую скатерть проступали смутные ровные квадраты, и такие же квадраты, шоколадные и кремовые, несомненно были на пироге. Мать невесты встретила его с тем же снисходительным, слегка насмешливым благодушием, с каким встретила его накануне, когда появлением своим прервала шахматный разговор, — а вчерашний господин, по-видимому ее муж, подробно рассказывал, какое у него было образцовое имение в России. «Пойдем к вам в комнату», — хрипло шепнул Лужин невесте, и она прикусила губу и сделала большие глаза. «Пойдем же», — повторил он. Но она ловко положила ему на стеклянную тарелочку чудесного малинового варенья, и сразу подействовала эта клейкая ослепительно-красная сладость, которая зернистым огнем переливалась на языке, душистым сахаром облипала зубы. «Мерси, мерси», — кланялся Лужин, пока ему накладывали вторую порцию, и среди гробового молчания зачмокал опять, облизывая еще горячую от чая ложечку, боясь растерять хоть каплю упоительного сока. И когда наконец он добился своего и оказался с ней наедине, правда, не у нее в комнате, а в цветистой гостиной, он привлек ее к себе, грузно сел, держа ее за кисти, но она молча вывернулась и, закружившись, опустилась на пуф. «Я вовсе еще не решила, выйду ли я за вас замуж, — сказала она. — Помните это». «Все решено, — сказал Лужин. — Если они не захотят, мы их заставим силой, чтобы они подписали». «Подписали что?» — спросила она удивленно. «А я не знаю... Ведь нужны, кажется, какие-то подписи». «Глупый, глупый, — несколько раз повторила она. — Непроницаемая и неисправимая глупость. Ну что мне с вами делать, как мне с вами быть... И какой у вас усталый вид. Я уверена, что вам вредно так много играть». «Achwo, — сказал Лужин, — пара партишек». «А по ночам думаете. Нельзя так. Уже поздно, знаете. Идите домой. Спать вам нужно, вот что». Он, однако, оставался сидеть на полосатом диванчике, и она подумала, что какие же это они разговоры ведут — все тят да ляп, случайные словечки. И ни разу еще он ее не поцеловал по-настоящему, а все выходит криво, странно, и ни одно движение, которым он до нее дотрагивается, не похоже на простое человеческое объятие. Но эта сирая преданность в его глазах, этот таинственный свет, который озарял его, когда он давеча наклонялся над шахматами... И на следующий день ее опять потянуло в совершенно безмолвное помещение во втором этаже



большого кафе на узкой шумной улочке. На этот раз Лужин сразу ее заметил: он тихо разговаривал с широкоплечим бритым господином, у которого коротко остриженные волосы казались плотно надетыми на голову и мыском находили на лоб, а толстые губы облепляли, всасывали потухшую сигару. Художник, посланный газетой, поднимая и опуская лицо, как китайский болванчик, быстро рисовал этот профиль с сигарой. Мимоходом заглянув в его альбомчик, она увидела рядом с начатым Турати уже вполне готового Лужина, преувеличенно унылый нос, двойной подбородок в черных точечках и на виске знакомую прядь, которую она называла кудрей. Турати сел играть с немецким мастером, а Лужин к ней подошел и хмуро, с виноватой усмешкой, сказал что-то длинное и несуразное. Она с удивлением поняла, что он просит ее уйти. «Я рад, я очень рад постфактум, — умоляющим тоном пояснил Лужин, — но пока... пока это как-то мешательно». Он проследил глазами, как она покорно удаляется между шахматными столиками, и, деловито кивнув самому себе, направился к доске, за которую уже усаживался его новый противник, седой англичанин, игравший с неизменным хладнокровием и неизменно проигрывавший. Ему и на этот раз не повезло, и Лужин опять победил, а на следующий день сделал ничью, а потом снова выиграл, — и уже перестал отчетливо чувствовать грань между шахматами и невестиным домом, как будто движение ускорилося, и то, что сперва казалось чередой полос, было теперь мельканием.

Он шел, не отставая от Турати. Турати делал пункт, и он делал пункт; Турати делал половинку, и он делал половинку. Так они двигались, словно взбираясь по сторонам равнобедренного треугольника, и в решительную минуту должны были сойтись на вершине.

Ночи были какие-то ухабистые. Никак нельзя было себя заставить не думать о шахматах, хотя клонило ко сну, а потом сон никак не мог войти к нему в мозг, искал лазейки, но у каждого входа стоял шахматный часовой, и это было ужасно мучительное чувство, — что вот сон тут как тут, но по ту сторону мозга: Лужин, томно рассеянный по комнате, спит, а Лужин, представляющий собой шахматную доску, бодрствует и не может слиться со счастливым двойником. Но что было еще хуже — он после каждого турнирного сеанса все с большим и большим трудом вылезал из мира шахматных представлений, так что и днем намечалось неприятное раздвоение. После трехчасовой партии странно болела голова, не вся, а час-

тями, черными квадратами боли, и не сразу он находил дверь, заслоненную черным пятном, и не мог вспомнить адрес заветного дома: по счастью, в кармане хранилась старая, сложенная вдвое и уже рвущаяся по сгибу открытка («Приехали. Ждем вас вечером»). Он еще продолжал ощущать радость, когда входил в дом, полный русских игрушек, но радость тоже была пятнами. И как-то, в день передышки, он пришел раньше обыкновенного, и дома была только сама хозяйка. Она решила продолжить разговор, бывший на закате в буковой роще, и, преувеличивая свою, весьма ценимую ею самой, способность резать правду-матку (за что молодые люди, посещавшие ее дом, считали ее большой умницей и очень ее боялись), она надела на Лужина, первым делом отчитала его за окурки, находимые во всех вазочках и даже в пасти распластанного медведя, а затем предложила ему нынче же, в субботний вечер, принять у них ванну, после того как выкупается муж. «Редко, наверное, моетесь, — сказала она без обиняков. — Редко? Признайтесь-ка». Лужин мрачно пожал плечами, глядя на пол, где происходило легкое, ему одному приметное движение, недобрая дифференциация теней. «И вообще, — продолжала она, — надо подтянуться». И таким образом создав необходимое настроение у слушателя, она перешла к самому главному. «Скажите, — спросила она, — я думаю, вы успели очень развратить мою девочку? Такие, как вы, большие развратники. А она у меня чистая, не то что нынешние. Скажите, ведь вы развратник, развратник?» «Нет, мадам», — со вздохом ответил Лужин и затем поморщился, быстро провел подошвой по полу, стирая некоторое, уже совсем определенное, сгущение. «Я ведь вас вовсе не знаю, — продолжал быстрый звучный голос. — Мне придется навести справки — да-да, справки, — не больны ли вы какой-нибудь такой болезнью». «Одышка, — сказал Лужин. — И еще — маленький ревматизм». «Я не про то говорю, — сухо перебила она. — Дело серьезное. Вы, по-видимому, считаете себя женихом, бываете у нас, уединяетесь. Но я не думаю, чтобы скоро могла быть речь о свадьбе». «А в прошлом году был геморрой», — скучно сказал Лужин. «Послушайте, я с вами говорю об очень важных вещах. Вы, вероятно, хотели бы жениться уже сегодня, сейчас. Знаю я вас. Потом будет ходить она с брюхом, замучите ее сразу». Лужин, вытоптав в одном месте тень, с тоской увидел, что далеко от того места, где он сидит, происходит на полу новая комбинация. «Если вы

хоть немножко интересуетесь моим мнением, то должна вам сказать, что читаю этот брак чепухой. Кроме того, вы, вероятно, думаете, что мой муж будет вас содержать. Признайтесь: думаете?» «Я испытываю стеснение в капиталах, — сказал Лужин. — Я бы совсем немножко брал. И мне предлагали вести шахматный отдел в одном журнале...» Тут неприятности на полу так обнаглели, что Лужин невольно протянул руку, чтобы увести теневого короля из-под угрозы световой пешки. И вообще, с этого дня он стал избегать сидеть в гостиной, где было слишком много всяких деревянных вещей, принимавших, если долго смотреть на них, очень определенные очертания. Его невеста замечала, как, с каждым турнирным днем, он все хуже и хуже выглядит. Мутно-фиолетовые оттенки появились у него вокруг глаз, а тяжелые веки были воспалены. Он был так бледен, что всегда казался плохо выбритым, хотя, по настоянию невесты, брился каждое утро. Окончание турнира ожидалось ею с большим нетерпением, и ей было больно думать, какие страшные, вредные для него усилия должен он делать, добывая каждое очко. Бедный Лужин, таинственный Лужин... Играя утром в теннис с приятельницей немкой, слушая давно приевшиеся лекции по истории искусства, перелистывая у себя в комнате потрепанные разношерстные книжки — андреевский «Океан», роман Краснова, брошюру «Как сделаться йогом», — она все время сознавала, что вот сейчас Лужин погружен в шахматные вычисления, борется, мучится, и ей было немного обидно, что она не может разделить муки его искусства. В его гениальность она верила безусловно, а кроме того была убеждена, что эта гениальность не может исчерпываться только шахматной игрой, как бы чудесна она ни была, и что, когда пройдет турнирная горячка и Лужин успокоится, отдохнет, в нем заиграют какие-то еще неизвестные силы, он расцветет, проснется, проявит свой дар и в других областях жизни. Ее отец называл Лужина узким фанатиком, но добавлял, что это несомненно очень наивный и очень порядочный человек. Мать же утверждала, что Лужин не по дням, а по часам сходит с ума, что умалишенным по закону запрещено жениться, и первые дни скрывала невероятного жениха от всех своих знакомых, что было сначала легко, — думали, что она с дочерью на курорте, — но потом, очень скоро, появились опять все те люди, которые обыкновенно у них в доме бывали, — как например: очаровательный старенький генерал, всегда доказывавший, что не России нам жаль, а молодости, мо-

лодости; двое русских немцев; Олег Сергеевич Смирновский, теософ и хозяин ликерной фабрики; несколько бывших офицеров; несколько барышень; певица Воздвиженская; чета Алферовых; а также престарелая княгиня Уманова, которую называли пиковой дамой (по известной опере). Она-то первая и увидела Лужина и заключила из поспешного и невразумительного разъяснения хозяйки дома, что он имеет какое-то отношение к литературе, к журналам, — сочинитель, одним словом. «А вот это вы знаете? — спросила она, учтиво завязав литературный разговор. — Из новой поэзии... немного декадентское... что-то о васильках, «все васильки, васильки»... Олег Сергеевич немедленно попросил его сыграть с ним партию в шахматы, но, к сожалению, шахмат в доме не оказалось. Молодые люди между собой прозвали его шляпой, и только старенький генерал отнесся к нему с сердечнейшей простотой и долго увещевал его пойти посмотреть на маленького жирафа, только что родившегося в зоологическом саду. Лужин, с тех пор как стали приходиться гости, появлявшиеся теперь каждый вечер в различных комбинациях, ни минуты не мог остаться один с невестой, и борьба с ними, стремление проникнуть через их гущу к невесте немедленно приобрело шахматный оттенок. Однако побороть их оказалось невозможно, появлялись все новые и новые, и ему мерещилось, что они же, эти бесчисленные безликие гости, плотно и жарко окружают его в часы турнира.

Объяснение всему происходившему пришло как-то утром, когда он сидел на стуле посреди номера и старался сосредоточить мысль только на одном: вчера сделан десятый пункт, сегодня предстоит выиграть у Мозера. Вдруг к нему вошла невеста. «Прямо какой-то божок, — рассмеялась она. — Сидит посередке, и к нему приходят с жертвоприношениями». Она протянула ему коробку шоколадных конфет, и внезапно смех с ее лица исчез. «Лужин, — крикнула она, — Лужин, проснитесь! Что с вами?» «Реальность?» — тихо и недоверчиво спросил Лужин. «Конечно, реальность. Что за манера поставить стул посреди комнаты и усесться. Если вы сейчас не встряхнетесь, я уйду». Лужин покорно встряхнулся, поводя головой и плечами, потом пересел на кушетку, и еще не совсем утвердившееся, не совсем верное счастье заскользило в его глазах. «Скажите, когда это кончится? — спросила она. — Сколько еще партий?» «Штучки три», — ответил Лужин. «Я сегодня читала в газете, что вы должны выиграть турнир, что

вы этот раз играете необычайно». «Но есть Турати», — сказал Лужин и поднял палец. «Меня тошнит», — добавил он грустно. «Тогда никаких конфет, — быстро сказала она и взяла квадратный пакет опять под мышку. — Лужин, я позову к вам доктора. Вы же просто умрете, если будет так продолжаться». «Нет-нет, — сказал он сонно. — Уже прошло. Не надо доктора». «Меня это волнует. Еще, значит, до пятницы, до субботы... этот ад. А у нас дома довольно мрачно. Все согласны с мамой, что нельзя мне за вас выйти. Почему же вас тошнило, съели что-нибудь такое?» «Прошло же, абсолютно», — протянул Лужин и опустил голову к ней на плечо. «Вы просто очень устали, бедный. Неужели вы сегодня будете играть?» «В три часа. Против Мозера. Я вообще играю... как было сказано?» «Необычайно», — улыбнулась она. Голова, лежавшая у нее на плече, была большая, тяжелая, — драгоценный аппарат со сложным, таинственным механизмом. И через минуту она заметила, что он уснул, и стала думать, как теперь переложить его голову на какую-нибудь подушку. Очень осторожными движениями ей удалось это сделать; он теперь полулежал на кушетке, неудобно согнувшись, и голова на подушке была как восковая. На мгновение ее охватил ужас, не умер ли он внезапно, она даже тронула его кисть, мягкую и теплую. Когда она разогнулась, то почувствовала боль в плече. «Тяжелая голова», — шепнула она, глядя на спящего, и тихо вышла из комнаты, унося неудачный свой подарок. Горничную, встреченную в коридоре, она просила Лужина разбудить через час и, беззвучно спустившись по лестнице, направилась по солнечным улицам в теннисный клуб, — и поймала себя на том, что все еще старается не шуметь, не делать резких движений. Горничной будить Лужина не пришлось — он проснулся сам и сразу начал усиленно вспоминать прелестный сон, который ему приснился, зная по опыту, что если сразу не начнешь вспоминать, то уже потом будет поздно. А видел он во сне, будто странно сидит — посредине комнаты, — и вдруг, с нелепой и блаженной внезапностью, присущей снам, входит его невеста, протягивая коробку, перевязанную красной ленточкой. Одетая она тоже по моде сновидений — белое платье, беззвучные белые туфли. Он хотел обнять ее, но вдруг затошнило, закружилась голова, невеста тем временем рассказала, что необычайно пишут о нем в газетах, но что мать все-таки не хочет, чтобы они поженились. Вероятно, было еще много, много чего, но память не успела догнать уплывавшее, — и, стараясь, по

крайней мере, не растерять того, что ему удалось вырвать у сновидения, Лужин осторожно задвигался, пригладил волосы, позвонил, чтобы принесли ему обед. После обеда пришлось засесть за игру, и в этот день мир шахматных представлений проявил ужасную власть. Он играл без передышки четыре часа и победил, но когда уже сел в таксомотор, то по пути забыл, куда отправляется, забыл, какой адрес дал прочесть шоферу («...вас вечером»), и с интересом ждал, где автомобиль остановится.

Дом он, впрочем, узнал, — и опять были гости, гости — но вдруг Лужин понял, что он просто вернулся в недавний сон, ибо невеста шепотом спросила его: «Ну что, не тошнит больше?» — и как же она могла об этом знать наяву? «В хорошем сне мы живем, — сказал он ей тихо. — Я ведь все понял». Он посмотрел вокруг себя, увидел стол и лица сидящих, отражение их в самоваре — в особой самоварной перспективе — и с большим облегчением добавил: «Значит, и это тоже сон? эти господа — сон? Ну-ну...» «Тише, тише, что вы лопочете», — беспокойно зашептала она, и Лужин подумал, что она права, не надо спугивать сновидение, пусть они посидят, эти люди, до поры до времени. Но самым замечательным в этом сне было то, что кругом, по-видимому, Россия, из которой сам спящий давненько выехал. Жители сна, веселые люди, пившие чай, разговаривали по-русски, и сахарница была точь-в-точь такая же, как та, из которой он черпал сахарную пудру на веранде в летний малиновый вечер много лет тому назад. Это возвращение в Россию Лужин отметил с интересом, с удовольствием. Оно его забавляло, главным образом, как остроумное повторение известной идеи, что бывает, например, когда в живой игре на доске повторяется в своеобразном преломлении чисто задачная комбинация, давно открытая теорией.

Все время, однако, то слабее, то резче проступали в этом сне тени его подлинной шахматной жизни, и она наконец прорвалась наружу, и уже была просто ночь в гостинице, шахматные мысли, шахматная бессонница, размышления над острой защитой, придуманной им против дебюта Турати. Он ясно бодрствовал, ясно работал ум, очищенный от всякого сора, понявший, что всё, кроме шахмат, только очаровательный сон, в котором млеет и тает, как золотой дым луны, образ милой ясноглазой барышни с голыми руками. Лучи его сознания, которые, бывало, рассеивались, ощущывая окружавший его не совсем

понятный мир, и потому теряли половину своей силы, теперь окрепли, сосредоточились, когда этот мир расплылся в мираж, и уже не было надобности о нем беспокоиться. Стройна, отчетлива и богата приключениями была подлинная жизнь, шахматная жизнь, и с гордостью Лужин замечал, как легко ему в этой жизни властвовать, как все в ней слушается его воли и покорно его замыслам. Некоторые партии, им сыгранные на берлинском турнире, были знатоками тогда же названы бессмертными. Одну он выиграл, пожертвовав последовательно ферзем, ладьей, конем; в другой занял такую динамическую позицию одной своей пешкой, что она приобрела совершенно чудовищную силу и все росла, вздувалась, тлетворная для противника, как злокачественный нарыв в самом нежном месте доски; в третьей, наконец, партии Лужин, сделав бессмысленный на вид ход, возбуждавший ропот среди зрителей, построил противнику сложную ловушку, которую тот разгадал слишком поздно. В этих партиях и во всех остальных, сыгранных им на этом незабываемом турнире, чувствовалась поразительная ясность мысли, беспощадная логика. Но и Турати играл превосходно, Турати тоже делал пункт за пунктом, несколько гипнотизируя противника дерзостью воображения и слишком, быть может, доверяясь шахматной фортуне, не покидавшей его до сих пор. Его встреча с Лужиным решала, кому достанется первый приз, и были те, которые говорили, что прозрачность и легкость лужинской мысли одержит верх над мятежной фантазией итальянца, и были те, которые предсказывали, что огненный, нахрапом берущий Турати победит дальнозоркого русского игрока. И день этой встречи настал.

Лужин проснулся, полностью одетый, даже в пальто, посмотрел на часы, поспешно встал и надел шляпу, валявшуюся посреди комнаты. Тут он спохватился и оглядел комнату, стараясь понять, на чем же он, собственно говоря, спал? Постель его не смята, и бархат кушетки совершенно гладок. Единственное, что он знал достоверно, это то, что спокон века играет в шахматы, — и в темноте памяти, как в двух зеркалах, отражающих свечу, была только суживающаяся, светлая перспектива: Лужин за шахматной доской, и опять Лужин за шахматной доской, только поменьше, и потом еще меньше, и так далее, бесконечное число раз. Но он опбздal, надо торопиться. Он быстро отпер дверь и в недоумении остановился. По его представлению тут сразу должен был находиться шахматный зал, и его столик, и ожидающий Турати. Вместо

этого был пустой коридор, и дальше — лестница. Вдруг оттуда, со стороны лестницы, появился быстро несущийся человек и, увидев Лужина, развел руками. «Маэстро, — воскликнул он, — что же это такое! Вас ждут, вас ждут, маэстро... Я три раза вам телефонил, и все говорят, что вы не отвечаете на стук. Синьор Турати давно на месте». «Убрали, — кисло сказал Лужин, указав тростью на пустой коридор. — Я не мог знать, что все передвинулось». «Если вы себя плохо чувствуете...» — начал человек, с тоской глядя на бледное лоснящееся лицо Лужина. «Ну, ведите меня!» — тонким голосом крикнул Лужин и стукнул тростью об пол. «Пожалуйста, пожалуйста», — растерянно забормотал тот. Глядя только на пальтишко с поднятым воротником, бегущее перед ним, Лужин стал преодолевать непонятное пространство. «Пешком, — говорил вожатый, — это же ровно минута ходьбы». Он узнал с облегчением стеклянные вращающиеся двери кафе и потом лестницу и наконец увидел то, чего искал в коридоре гостиницы. Войдя, он сразу почувствовал полноту жизни, покой, ясность, уверенность. «Ну и победа будет», — громко сказал он, и толпа туманных людей расступилась, пропуская его. «Тар, тар, третар», — затараторил, качая головой, внезапно возникший Турати. «Аванти», — сказал Лужин и засмеялся. Между ними оказался столик, на столе доска с фигурами, расставленными для боя. Лужин вынул из жилетного кармана папиросу и бессознательно закурил.

Тут произошла странная вещь, Турати, хотя и получил белые, однако не пустил в ход своего громкого дебюта, а защита, выработанная Лужиным, пропала даром. Предугадал ли Турати возможное осложнение или просто решил играть осторожно, зная спокойную силу, проявляемую Лужиным на этом турнире, но начал он трафаретнейшим образом. Лужин мельком пожалел о напрасной своей работе, однако и обрадовался: так выходило свободнее. Кроме того, Турати, по-видимому, боялся его. С другой же стороны, в невинном, вялом начале, предложенном Турати, несомненно скрывался какой-то подвох, и Лужин принялся играть особенно осмотрительно. Сперва шло тихо, тихо, словно скрипки под сурдинку. Игроки осторожно занимали позиции, кое-что выдвигали вперед, но вежливо, без всякого признака угрозы, — а если угроза и была, то вполне условная, — скорее намек противнику, что вон там хорошо бы устроить прикрытие, и противник, с улыбкой, словно это было все незначительной шуткой, укреплял, где нужно,



и сам чуть-чуть выступал. Затем, ни с того ни с сего, нежно запела струна. Это одна из сил Турати заняла диагональную линию. Но сразу и у Лужина тихохонько наметилась какая-то мелодия. На мгновение протрепетали таинственные возможности, и потом опять — тишина: Турати отошел, втянулся. И снова некоторое время оба противника, будто и не думая наступать, занялись прихорашиванием собственных квадратов — что-то у себя пестовали, переставляли, приглаживали — и вдруг опять неожиданная вспышка, быстрое сочетание звуков: сшиблись две мелкие силы и обе сразу были сметены; мгновенное виртуозное движение пальцев, и Лужин снял и поставил рядом на стол уже не бесплотную силу, а тяжелую желтую пешку; сверкнули в воздухе пальцы Турати, и в свою очередь опустилась на стол косая черная пешка с бликом на голове. И, отделавшись от этих двух внезапно одеревеневших шахматных величин, игроки как будто успокоились, забыли мгновенную вспышку: на этом месте доски, однако, еще не совсем остыл трепет, что-то все еще пыталось оформиться... Но этим звукам не удалось войти в желанное сочетание, — какая-то другая, густая, низкая нота загудела в стороне, и оба игрока, покинув еще дрожавший квадрат, заинтересовались другим краем доски. Но и тут все кончилось впустую. Трубными голосами перекликнулись несколько раз крупнейшие на доске силы, — и опять был размен, опять преобразование двух шахматных сил в резные, блестящие лаком куклы. И потом было долгое, долгое раздумье, во время которого Лужин из одной точки на доске вывел и проиграл последовательно десяток мнимых партий, и вдруг нащупал очаровательную хрустально-хрупкую комбинацию, — и с легким звоном она рассыпалась после первого же ответа Турати. Но и Турати ничего не мог дальше сделать и, выигрывая время, — ибо время в шахматной вселенной беспощадно, — оба противника несколько раз повторили одни и те же два хода, угроза и защита, угроза и защита, — но при этом оба думали о сложнейшей комбинации, ничего общего не имевшей с этими механическими ходами. И Турати наконец на эту комбинацию решился, — и сразу какая-то музыкальная буря охватила доску, и Лужин упорно в ней искал нужный ему отчетливый маленький звук, чтобы в свою очередь раздуть его в громовую гармонию. Теперь все на доске дышало жизнью, все сосредоточилось на одном, ту же и ту же сматывалось; на мгновение полегчало от исчезновения двух фигур, и опять — фуриозо. В упоительных и ужасных

дебрях бродила мысль Лужина, встречая в них изредка тревожную мысль Турати, искавшую того же, что и он. И оба одновременно поняли, что белые не должны дальше развивать свой замысел, вот-вот сейчас потеряют ритм. Турати поспешил предложить размен, и число сил на доске снова уменьшилось. Новые наметились возможности, но еще никто не мог сказать, на чьей стороне перевес. Лужин, подготавливая нападение, для которого требовалось сперва исследовать лабиринт вариантов, где каждый его шаг будил опасное эхо, надолго задумался: казалось, еще одно последнее невероятное усилие, и он найдет тайный ход победы. Вдруг что-то произошло вне его существа, жгучая боль, — и он громко вскрикнул, трясая рукой, ужаленной огнем спички, которую он зажег, но забыл поднести к папиросе. Боль сразу прошла, но в огненном просвете он увидел что-то нестерпимо страшное, он понял ужас шахматных бездн, в которые погружался, и невольно взглянул опять на доску, и мысль его поникла от еще никогда не испытанной усталости. Но шахматы были безжалостны, они держали и втягивали его. В этом был ужас, но в этом была и единственная гармония, ибо что есть в мире, кроме шахмат? Туман, неизвестность, небытие... Он заметил вдруг, что Турати уже не сидит, а стоит, заломив руки. «Перерыв, маэстро, — сказал голос сзади. — Запишите ход». «Нет, нет, еще», — умоляюще сказал Лужин, ища глазами говорившего. «Перерыв», — повторил тот же голос, опять сзади, такой вертлявый голос. Лужин хотел встать и не мог. Он увидел, что куда-то назад отъехал со своим стулом, а что на доску, на шахматную доску, где была только что вся его жизнь, хищно накинута как-то люди и, ссорясь и галдя, быстро переставляют так и этак фигуры. Он опять попытался встать и опять не мог. «Зачем, зачем?» — жалобно проговорил он, стараясь разглядеть доску меж склоненных над ней черных узких спин. Они сузились совсем и исчезли. На доске были спутаны фигуры, валялись кое-как безобразными кучками. Прошла тень и, остановившись, начала быстро убирать фигуры в маленький гроб. «Конечно», — сказал Лужин и со стоном усилия оторвался от стула. Кое-какие призраки еще стояли там и тут, обсуждая что-то. Было холодно и темно. Призраки уносили доски, стулья. В воздухе, куда ни посмотришь, бродили извилистые прозрачные шахматные образы, и Лужин, поняв, что завяз, заплутал в одной из комбинаций, которые только что продумывал, сделал отчаянную попытку высвободиться, куда-нибудь

вылезти — хотя бы в небытие. «Идемте, идемте», — крикнул ему кто-то и со звоном исчез. Он остался один. Становилось все темней в глазах, и по отношению к каждому смутному предмету в зале он стоял под шахом, — и надо было спастись. Он двинулся, трясясь всем своим полным телом, и никак не мог сообразить, как делают, чтобы выйти из комнаты, — а ведь есть какой-то простой метод... Черная тень с белой грудью вдруг стала увиваться вокруг него, подавая пальто и шляпу. «Зачем это нужно?» — забормотал он, влезая в рукава и кружась вместе с услужливой тенью. «Сюда», — бодро сказала тень, и Лужин шагнул вперед и вышел из страшного зала. Увидев лестницу, он стал ползти вверх, но потом передумал и пошел вниз, так как было легче спускаться, чем карабкаться. Он попал в дымное помещение, где сидели шумные призраки. В каждом углу зрела атака, — и, толкая столики, ведро, откуда торчала стеклянная пешка с золотым горлом, барабан, в который бил, изогнувшись, гривастый шахматный конь, он добрался до стеклянного, тихо вращающегося сияния и остановился, не зная, куда дальше идти. Его окружили, что-то хотели с ним делать. «Уходите, уходите», — повторял сердитый голос. «Куда же?» — рыдая, проговорил Лужин. «Идите домой», — вкрадчиво шепнул другой голос, и что-то толкнуло Лужина в плечо. «Как вы сказали?» — переспросил он, вдруг перестав всхлипывать. «Домой, домой», — повторил голос, и стеклянное сияние, захватив Лужина, выбросило его в прохладную полутьму. Лужин улыбался. «Домой, — сказал он тихо. — Вот, значит, где ключ комбинации».

И надо было поторапливаться. С минуты на минуту шахматные заросли могли его снова оцепить. Пока же была кругом сумеречная муть, глухой ватный воздух. У призрака, шмыгнувшего мимо, он спросил дорогу на мызу. Призрак ничего не понял, прошел. «Один момент», — сказал Лужин, но было уже поздно. Тогда, покачивая короткими своими руками, он ускорил шаг. Проплыл бледный огонь и рассыпался с печальным шелестом. Трудно, трудно было найти дорогу домой в этом мягком тумане. Лужин чувствовал, что нужно взять налево, и там будет большой лес, а уж в лесу он легко найдет тропинку. Опять шмыгнула мимо тень. «Где лес, лес? — настойчиво спросил Лужин и, так как это слово не вызвало ответа, попробовал найти синоним. — Бор? Вальд? — пробормотал он. — Парк?» — добавил он снисходительно. Тогда тень указала налево и скрылась. Лужин, коря себя за медлительность,

ежеминутно предчувствуя погоню, зашагал по указанному направлению. И точно: деревья неожиданно обступили его, зашуршал папоротник под ногами, было сыро и тихо. Он тяжело опустился, присел, очень уж запыхался, и слезы лились по лицу. Погодя он встал, снял с колена мокрый лист и, побродив между стволами, нашел знакомую тропинку. «Марш, марш», — подгонял себя Лужин, шагая по вязкой земле. Полпути было уже сделано. Сейчас появятся река и лесопильный завод, и через голые кусты глянет усадьба. Он спрячется там, будет питаться из больших стеклянных банок. Таинственная погоня далеко позади. Теперь уж его не поймаешь. Нет-нет. Если б только легче было дышать, и прошла бы эта боль в висках, одуряющая боль... Тропинка, поюлив в лесу, вылилась в поперечную дорогу, а дальше, в темноте, поблескивала река. Увидел он и мост, и на том берегу смутное нагромождение, и сперва, на один миг, ему показалось, что вон там, на темном небе, знакомая треугольная крыша усадьбы, черный громоотвод. Но сразу он понял, что это какая-то тонкая уловка со стороны шахматных богов, ибо на перилах моста выросли мокрые от дождя, дрожащие, голые великанши, и невиданный отблеск запрыгал в реке. Он пошел берегом, стараясь найти другой мост, тот мост, где по щиколотку утопаешь в опилках. Искал он долго и наконец, совсем в стороне, нашел мостик, узенький и тихий, и подумал, что тут можно по крайней мере спокойно перейти. Но на том берегу все было незнакомо, пробегали огни, скользили тени. Он знал, что усадьба где-то тут, под боком, но подходил-то он к ней с незнакомой стороны, и так это было все трудно... Ноги от пяток до бедер были плотно налиты свинцом, как налито свинцом основание шахматной фигуры. Понемногу исчезали огни, редели призраки, и волна тяжелой черноты поминутно его заливала. При каком-то последнем отблеске он разглядел палисадник, круглые кусты, и ему показалось, что он узнает дачу мельника. Он потянулся к решетке, но тут торжествующая боль стала одолевать его, давила, давила сверху на темя, и он как будто сплющивался, сплющивался, сплющивался и потом беззвучно рассеялся.

## 9

Панель скользнула, поднялась под прямым углом и качнулась обратно. Он разогнулся, тяжело дыша, а его товарищ, поддерживая его и тоже качаясь, повторял: «Гюн-

тер, Гюнтер, попробуй же идти». Гюнтер выпрямился совсем, и после этой короткой, уже не первой остановки они оба пошли дальше по ночной пустынной улице, которая то плавно поднималась к звездам, то уходила вниз. Гюнтер, крепкий и крупный, выпил больше товарища; тот, по имени Курт, поддерживал спутника как мог, хотя пиво громовым дактилем звучало в голове. «Где дру... где дру... — тоскливо силился спросить Гюнтер. — Где дру...гие?» Еще так недавно они все сидели вокруг дубового стола, празднуя пятую годовщину окончания школы, хорошо так пели и с густым звоном чокались, человек тридцать, пожалуй, и все счастливые, трезвые, весь год прекрасно работавшие, а теперь, как только стали расходиться по домам, так сразу — тошнота, и темнота, и безнадежно валкая панель. «Другие там», — сказал Курт с широким жестом, который неприятно призвал к жизни ближайшую стену: она наклонилась и медленно выпрямилась опять. «Разъехались, разошлись», — грустно пояснил Курт. «А впереди нас Карл», — медленно и отчетливо произнес Гюнтер, и упругим пивным ветром обоих качнуло в сторону: они остановились, отступили на шаг и опять пошли дальше. «Я тебе говорю, что там Карл», — обиженно повторил Гюнтер. И действительно, на краю панели сидел с опущенной головой человек. Они не рассчитали шага, и их пронесло мимо. Когда же им удалось подойти, то человек зачмокал губами и медленно повернулся к ним. Да, это был Карл, но какой Карл — лицо без выражения, большие опустевшие глаза. «Я просто отдыхаю, — тусклым голосом сказал он. — Сейчас буду продолжать». Вдруг по пустынному асфальту медленно прокатил таксомотор с поднятым флажком. «Остановите его, — сказал Карл. — Пускай он меня отвезет». Автомобиль подъехал. Гюнтер валился на Карла, стараясь ему помочь подняться, Курт тянул чью-то ногу в сером гетре. Шофер все это поощрял добродушными словами, потом слез и тоже стал помогать. Вяло барахтавшееся тело было втиснуто в пройму дверцы, и автомобиль сразу отъехал. «А нам близко», — сказал Курт. Стоявший с ним рядом вздохнул, и Курт, посмотрев на него, увидел, что это Карл, а увезли-то, значит, Гюнтера. «Я помогу тебе, — сказал он виновато. — Пойдем». Карл, глядя перед собой пустыми детскими глазами, склонился к нему, и оба двинулись, стали переходить на ту сторону по волнуемому асфальту. «А вот еще», — сказал Курт. На панели, у решетки палисадника, лежал согнувшись толстый человек без шляпы. «Это, вероятно,

Пульвермахер, — пробормотал Курт. — Ты знаешь, он очень за эти годы изменился». «Это не Пульвермахер, — ответил Карл, садясь на панель рядом. — Пульвермахер лысый». «Все равно, — сказал Курт. — Его тоже надо отвезти». Они попытались приподнять человека за плечи и потеряли равновесие. «Не сломай решетку», — предупредил Карл. «Надо отвезти, — повторил Курт. — Это, может быть, брат Пульвермахера. Он тоже там был».

Человек, по-видимому, спал, и спал крепко. Он был в черном пальто с бархатными полосками на отворотах. Полное лицо с тяжелым подбородком и выпуклыми веками лоснилось при свете уличного фонаря. «Подождем таксомотора, — сказал Курт и последовал примеру Карла, который присел на край панели. — Эта ночь кончится, — уверенно сказал он и добавил, взглянув на небо: — Как они кружатся». «Звезды», — объяснил Карл, и оба некоторое время неподвижно глядели ввысь, где в чудесной бледно-сизой бездне дугообразно текли звезды. «Пульвермахер тоже смотрит», — после молчания сказал Курт. «Нет, спит», — возразил Карл, взглянув на полное неподвижное лицо. «Спит», — согласился Курт.

Скользнул по асфальту свет, и тот же добродушный таксомотор, отвезший Гюнтера куда-то, мягко пристал к панели. «Еще один? — засмеялся шофер. — Можно было и сразу». «Куда же?» — сонно спросил Карл у Курта. «Какой-нибудь адрес... в кармане», — туманно ответил тот. Пошатываясь и непроизвольно кивая, они нагнулись над неподвижным человеком, и то, что пальто его было растегнуто, облегчило им дальнейшие изыскания. «Бархатный жилет, — сказал Курт. — Бедняга, бедняга...» В первом же кармане они нашли сложенную вдвое открытку, которая расплзлась у них в руках, и одна половинка с адресом получателя выскользнула и бесследно пропала. На оставшейся половинке нашелся, однако, еще другой адрес, написанный поперек открытки и жирно подчеркнутый. На обороте была всего одна ровная строчка, слева прерванная, но даже если б и удалось приставить отвалившуюся и потерянную половинку, то вряд ли смысл этой строчки стал бы яснее. «Бак берепом», — прочел Курт по системе «реникса», что было простительно. Адрес, найденный на открытке, был сказан шоферу, и затем пришлось втаскивать безжизненное, тяжелое тело в автомобиль, и опять шофер пришел на помощь. На дверце, при свете фонаря, мелькнули крупные шахматные квадраты, — гербовые цвета таксомоторов. Наконец плотно наполненный автомобиль двинулся.

Карл по дороге уснул. Тело его, и тело неизвестного, и тело Курта, сидевшего на полу, приходили в мягкие, безвольные соприкосновения при каждом повороте, и затем Курт оказался на сиденье, а Карл и большая часть неизвестного — на полу. Когда автомобиль остановился и шофер открыл дверцу, то не мог первое время разобрать, сколько людей в автомобиле. Карл проснулся сразу, но человек без шляпы был по-прежнему неподвижен. «Интересно, что вы теперь будете делать с вашим другом», — сказал шофер. «Его, вероятно, ждут», — сказал Курт. Шофер, полагая, что свое дело он выполнил и достаточно за ночь поносил всяких тяжестей, поднял флажок и объявил сумму. «Я заплачу», — сказал Карл. «Нет, я, — сказал Курт. — Я его первый нашел». Этот довод Карла убедил. С трудом опорожненный автомобиль отъехал. Трое людей остались на панели: один из них лежал, приставленный затылком к каменной ступени.

Пошатываясь и вздыхая, Курт и Карл стали посреди мостовой и затем, обратившись к единственному освещенному в доме окну, хрипло крикнули, и тотчас, с неожиданной отзывчивостью, жалюзи, прорезанное светом, дрогнуло и взвилось. Из окна выглянула молодая дама. Не зная, как начать, Курт ухмыльнулся, потом, собравшись с силами, бодро и громко сказал: «Сударыня, мы привезли Пульвермахера». Дама ничего не ответила, и жалюзи с треском опустилось. Было видно, однако, что она осталась у окна. «Мы его нашли на улице», — неуверенно сказал Карл, обращаясь к окну. Жалюзи опять поднялось. «Бархатный жилет», — счел нужным пояснить Курт. Окно опустело, но через минуту темнота за парадной дверью распалась, сквозь стекло появилась освещенная лестница, мраморная до первой площадки, и, не успела эта новорожденная лестница полностью окаменеть, как уже на ступенях появились быстрые женские ноги. Ключ заиграл в замке, дверь открылась. На панели, спиной к ступеням, лежал полный человек в черном.

Между тем лестница продолжала рожать людей... Появился господин в ночных туфлях, в черных штанах и крахмальной рубашке без воротничка, за ним коренастая бледная горничная в шлепанцах на босу ногу. Все наклонились над Лужиным, и виновато улыбаясь, совершенно пьяные незнакомцы что-то объясняли, и один из них все совал, как визитную карточку, половинку почтовой открытки. Лужина впятером понесли вверх по лестнице, и его невеста, поддерживавшая тяжелую драгоценную го-

лову, ахнула, когда внезапно свет на лестнице потух. В темноте все качнулось куда-то, был стук, и шарканье, и пыхтение, кто-то оступился и помянул по-немецки бога, и, когда свет зажегся опять, один из незнакомцев сидел на ступеньке, другой был придавлен телом Лужина, а повыше, на площадке, стояла мать в ярко расшитом капоте и, выпучив блестящие глаза, смотрела на бездыханное тело, которое, крихтя и приговаривая, подпирал ее муж, на большую страшную голову, которая лежала на плече у дочери. Лужина внесли в гостиную. Молодые незнакомцы щелкали каблуками, пытаясь кому-то представиться, и шарахались от столиков, уставленных фарфором. Их видели сразу во всех комнатах. Они, вероятно, хотели уйти и не могли дорваться до передней. Находили их на всех диванах, и в ванной комнате, и на сундуке в коридоре, и не было возможности от них отделаться. Число их было неизвестно — колеблющееся, туманное число. А через некоторое время они исчезли, и горничная сказала, что двоих выпустила и что остальные, должно быть, еще где-нибудь валяются, и что пьянство губит мужчин, и что жених ее сестры тоже пьет.

«Поздравляю, налимонился, — сказала хозяйка дома, глядя на Лужина, который, полураздетый и прикрытый пледом, лежал, как мертвый, на кушетке в гостиной. — Поздравляю. До положения риз». И странное дело: то, что Лужин напился до положения риз, понравилось ей, возбудило в ней по отношению к Лужину теплое чувство. В таком дебоше она усматривала что-то человеческое, естественное и, пожалуй, некоторую удасть, размах души. В подобном положении бывали люди, которых она знала, хорошие люди, веселые люди. (И то сказать, рассуждала она, наше лихолетье сбивает с панталыку, и понятно, что время от времени русопят обращается к зеленому утешителю...) Когда же оказалось, что от Лужина не пахнет вином и что спит-то он странно, вовсе не как пьяный, она испытала разочарование и обиделась на самое себя, что могла в Лужине предположить хоть одну естественную склонность.

Пока врач, приехавший на рассвете, осматривал его, в лице у Лужина произошла перемена, веки поднялись, из-под них выглянули мутные глаза. И только тогда его невеста вышла из того душевного оцепенения, в котором находилась с тех пор, как увидела тело, лежавшее у подъезда. Правда, она с вечера ожидала чего-то страшного, но такого именно ужаса представить себе не могла. Когда вечером Лужин не явился, она позвонила в шахматное кафе,



и ей сказали, что уже давно игра кончилась. Тогда она позвонила в гостиницу, и оттуда ей ответили, что Лужин еще не вернулся. Она выходила на улицу, думая, что, быть может, Лужин ждет у запертой двери, и опять звонила в гостиницу, и советовалась с отцом, не известить ли полицию. «Ерунда, — решительно сказал отец. — Мало ли какие у него есть знакомые. Пошел в гости человек». Но она отлично знала, что никаких знакомых у Лужина нет и что чем-то бессмысленно его отсутствие.

И теперь, глядя на большое бледное лицо Лужина, она так вся исполнилась мучительной, нежной жалости, что, казалось, не будь в ней этой жалости, не было бы и жизни. Невозможно было думать о том, как валялся на улице этот безобидный человек, как тискали его мягкое тело пьяные люди; невозможно было думать о том, что все приняли его таинственный обморок за рыхлый и грубый сон бражника и что ждали бравурного храпа от его беспомощной тишины. Такая жалость, такая мука. И этот старенький чудак-коватый жилет, на который нельзя смотреть без слез, и бедная кудря, и белая голая шея, вся в детских складках... И все это произошло по ее вине, — не досмотрела, не досмотрела. Надо было все время быть рядом с ним, не давать ему слишком много играть, — и как это он до сих пор не попал под автомобиль, и как она не догадалась, что вот он может от шахматной усталости так грохнуться, так онеметь? «Лужин, — сказала она, улыбаясь, словно он мог видеть ее улыбку, — Лужин, все хорошо. Лужин, вы слышите?»

Как только его перевезли в больницу, она поехала в гостиницу за его вещами, и сначала ее не пускали в его номер, и пришлось долго объяснять, и вместе с довольно наглым отельным служащим звонить в санаторию, и потом платить за последнюю неделю пребывания Лужина в номере, и не хватило денег, и надо было опять объяснять, и при этом ей все казалось, что продолжается измывание над Лужиным, и трудно было сдерживать слезы. Когда же, отказавшись от грубой помощи отельной горничной, она стала собирать лужинские вещи, то чувство жалости дошло до крайней остроты. Среди его вещей были такие, которые он, должно быть, возил с собой давно-давно, не замечая их и не выбрасывая, — ненужные, неожиданные вещи: холщовый кушак с металлической пряжкой в виде буквы S и с кожаным карманчиком сбоку, ножичек-брелок, отделанный перламутром, пачка итальянских открыток, — все синева, да мадонны, да сиреневый дымок над Везу-

вием; и несомненно петербургские вещи: маленькие счета с красными и белыми костяшками, настольный календарь с перекидными листочками от совершенно некалендарного года — 1918. Все это почему-то валялось в шкапу, среди чистых, но смятых рубашек, цветные полосы и крахмальные манжеты которых вызывали представление о каких-то давно минувших годах. Там же нашелся шапокляк, купленный в Лондоне, и в нем визитная карточка какого-то Валентинова... Туалетные принадлежности были в таком виде, что она решила их оставить, — купить ему резиновую губку взамен невероятной мочалки. Шахматы, картонную коробку, полную записей и диаграмм, кипу шахматных журналов она завернула в отдельный пакет: это ему было теперь не нужно. Когда чемодан и сундучок были наполнены и заперты, она еще раз заглянула во все углы и достала из-под постели пару удивительно старых, рваных, потерявших шнурки желтых башмаков, которые Лужину служили вместо ночных туфель. Она осторожно сунула их обратно под постель.

Из гостиницы она поехала в шахматное кафе, вспомнив, что Лужин был без трости и шляпы, и думая, что, быть может, он их там оставил. В турнирном зале было много народу, и, стоя у вешалки, бодро снимал пальто итальянец Турати. Она сообразила, что попала как раз к началу шахматного сеанса и что, по-видимому, никто не знает о болезни Лужина. «Будь что будет, — подумала она с некоторым злорадством. — Пусть ждут». Трость она нашла, но шляпы не было. И с ненавистью посмотрев на столик, где уже были расставлены фигуры, и на широкоплечего Турати, который потирал руки и, как бас перед выступлением, густо прочищал голос, она быстро вышла из кафе, села опять в таксомотор, на котором трогательно зеленел клетчатый лужинский сундучок, и вернулась в санаторию.

Ее не было дома, когда явились вчерашние молодые люди. Они пришли извиниться за бурное ночное вторжение. Были они прекрасно одеты, всё кланялись и шаркали и спрашивали, как себя чувствует господин, которого ночью привезли. Их благодарили за доставку, и было им для приличия сказано, что господин прекрасно выспался после дружеской пирушки, на которой его чествовали сослуживцы по случаю его обручения. Посидев десять минут, молодые люди встали и очень довольные ушли. Приблизительно в это же время явился в санаторию растерянный маленький человек, имевший отношение к уст-

ройству турнира. К Лужину его не пустили; спокойная молодая дама, говорившая с ним, холодно ему сказала, что Лужин переутомился и неизвестно когда возобновит шахматную деятельность. «Это ужасно, неслыханно, — несколько раз жалобно повторил маленький человек. — Неоконченная партия! И какая хорошая партия! Передайте маэстро... Передайте маэстро мое волнение, мои пожелания...» Он безнадежно махнул ручкой и поплелся к выходу, качая головой.

И в газетах появилось сообщение, что Лужин заболел нервным переутомлением, не доиграв решительной партии, и что, по словам Турати, черные несомненно проигрывали вследствие слабости пешки на эф-четыре. И во всех шахматных клубах знатоки долго изучали положение фигур, прослеживали возможные продолжения, отмечали слабый пункт у белых на дэ-три, но никто не мог найти ключ к бесспорной победе.

## 10

В один из ближайших вечеров произошел давно назревший, давно рокотавший и наконец тяжело грянувший, напрасный, безобразно громкий, но неизбежный разговор. Она только что вернулась из санатории, жадно ела гречневую кашу и рассказывала, что Лужину лучше. Родители переглянулись, и тут-то и началось.

«Я надеюсь, — звучно сказала мать, — что ты отказалась от своего безумного намерения». «Еще, пожалуйста», — попросила она, протягивая тарелку. «Из известного чувства деликатности...» — продолжала мать, и тут отец быстро перехватил эстафету. «Да, — сказал он, — из деликатности твоя мать ничего тебе не говорила эти дни, — пока не выяснилось положение твоего знакомого. Но теперь ты должна нас выслушать. Ты знаешь сама, главное наше желание, и забота, и цель, и вообще... желание — это то, чтоб тебе было хорошо; чтоб ты была счастлива и так далее. А для этого...» «В мое время просто бы запретили, — вставила мать, — и все тут». «Нет, нет, при чем тут запрет. Ты вот послушай, душенька. Тебе не восемнадцать лет, а двадцать пять, и вообще я не вижу во всем, что случилось, какого-нибудь увлечения, поэзии». «Ей просто нравится делать все наперекор, — опять перебила мать. — Это такой сплошной кошмар...» «О чем вы, собственно, говорите?» — наконец спросила дочь и улыбнулась исподлобья, мягко облокотившись на стол и переводя глаза с отца на мать. «О том, что пора выбросить дурь из голо-

вы, — крикнула мать. — О том, что брак с полунормальным нищим совершенная ересь». «Ох», — сказала дочь и, протянув по столу руку, опустила на нее голову. «Вот что, — снова заговорил отец. — Мы тебе предлагаем поехать на Итальянские озера. Поехать с мамой на Итальянские озера. Ты не можешь себе представить, какие там райские места. Я помню, что когда я впервые увидел Изола Белла...» У нее запрыгали плечи от мелкого смеха; затем она подняла голову и продолжала тихо смеяться, не открывая глаз. «Объясни, чего же ты хочешь», — спросила мать и хлопнула по столу. «Во-первых, — ответила она, — чтобы не было такого крика. Во-вторых, чтобы Лужин совсем поправился». «Изола Белла это значит Прекрасный Остров, — торопливо продолжал отец, стараясь многозначительной ужимкой показать жене, что он один справится. — Ты не можешь себе представить... Синяя лазурь, и жара, и магнолии, и превосходные гостиницы в Стрезе, — ну, конечно, теннис, танцы... И особенно я помню, — как это называется, — такие светящиеся мухи...» «Ну, а потом что? — с хищным любопытством спросила мать. — Ну, а потом, когда твой друг, — если не окочурится...» «Это зависит от него, — по возможности спокойно сказала дочь. — Я этого человека не могу бросить на произвол судьбы. И не брошу. Точка». — «Будешь с ним в желтом доме, — живи, живи, матушка!» «В желтом или синем...» — начала с дрожащей улыбкой дочь. «Не соблазняет Италия?» — бодро крикнул отец. «Сумасшедшая... Я поседела из-за тебя! Ты не выйдешь за этого шахматного обормота!» — «Сама обормот. Если захочу, выйду. Ограниченная и нехорошая женщина...» «Ну-ну-ну, будет, будет», — бубнил отец. «Я его больше сюда не впущу, — задыхалась мать. — Вот тебе крест». Дочь беззвучно расплакалась и вышла из столовой, стукнувшись мимоходом об угол буфета и жалобно сказав «черт возьми!». Буфет долго и обиженно звенел.

«Не надо было так», — шепотом сказал отец. «Заступайся, заступайся, голубчик...» — «Да нет, я ничего. Только мало ли что бывает. Человек переутомился, сдал, как говорится. Может быть — бог его знает! — может быть, действительно после такой встряски он изменится к лучшему... Я, знаешь, пойду посмотреть, что она делает».

А на следующий день он долго беседовал со знаменитым психиатром, в санатории которого лежал Лужин. У психиатра была черная ассирийская борода и влажные, нежные глаза, которые чудесно переливались, пока он

слушал собеседника. Он сказал, что Лужин не эпилептик и не страдает прогрессивным параличом, что его состояние есть последствие длительного напряжения и что, как только с Лужиным можно будет столкнуться, придется ему внушить, что слепая страсть к шахматам для него губельна и что на долгое время ему нужно от своей профессии отказаться и вести совершенно нормальный образ жизни. «Ну, а жениться такому человеку можно?» «Что же, — если он не импотент... — нежно улыбнулся профессор. — Да и в супружестве есть для него плюс. Нашему пациенту нужен уход, внимание, развлечения. Это временное помутнение сознания, которое теперь постепенно проходит. Насколько можно судить — наступает полное прояснение».

Слова психиатра произвели дома легкую сенсацию. «Значит, шахматам капут? — с удовлетворением отметила мать. — Что же это от него останется, — одно голое сумасшествие?» «Нет-нет, — сказал отец. — О сумасшествии нет никакой речи. Человек будет здоров. Не так страшен черт, как его малютки. Я сказал «малютки», — ты слышишь, душенька?» Но дочь не улыбнулась, только вздохнула. По правде сказать, она чувствовала себя очень усталой. Большую часть дня она проводила в санатории, и было что-то невероятно утомительное в преувеличенной белизне всего окружающего и в бесшумных белых движениях сестер. Все еще очень бледный, обросший щетиной, в чистой рубашке, Лужин лежал неподвижно. Правда, бывали минуты, когда он поднимал под простыней колено или мягко двигал рукой, да и в лице проходили легкие теневые перемены, и в раскрытых глазах бывал иногда почти осмысленный свет, — но все же только и можно было о нем сказать, что он неподвижен, — тягостная неподвижность, изнурительная для взгляда, искавшего в ней намек на сознательную жизнь. И взгляд нельзя было отвести, — так хотелось проникнуть под этот желтовато-бледный лоб, который изредка сморщивался от неведомого внутреннего движения, проникнуть в неведомый туман, трудно шевелящийся, пытающийся, быть может, распутаться, сгуститься в отдельные земные мысли. Да, было движение, было. Безобразный туман жаждал очертаний, воплощений, и однажды во мраке появилось как бы зеркальное пятнышко, и в этом тусклом луче явилось Лужину лицо с черной курчавой бородой, знакомый образ, обитатель детских кошмаров. Лицо в тусклом зеркальце наклонилось, и сразу просвет затянулся, опять

был туманный мрак и медленно рассеивавшийся ужас. И по истечении многих темных веков — одной земной ночи — опять зародился свет, и вдруг что-то лучисто лопнуло, мрак разорвался и остался только в виде тающей теневой рамы, посреди которой было сияющее голубое окно. В этой голубизне блестела мелкая желтая листва, бросая пятнистую тень на белый ствол, скрытый пониже темно-зеленой лапшой елки; и сразу это видение наполнилось жизнью, затрепетали листья, поползли пятна по стволу, колыхнулась зеленая лапа, и Лужин, не выдержав, прикрыл глаза, но светлое колыхание осталось под веками. «Там, в роще, я что-то зарыл», — блаженно подумал он. И только хотел вспомнить, что именно, как услышал над собой шелест и два спокойных голоса. Он стал вслушиваться, стараясь понять, где он и почему на лоб легло что-то мягкое и холодное. Погодя он снова открыл глаза. Толстая белая женщина держала ладонь у него на лбу, — а там, в окне, было все то же счастливое сияние. Он подумал, что сказать, и увидев на ее груди приколотые часики, облизал губы и спросил, который час. Сразу кругом произошло движение, женщины зашептались, и с удивлением Лужин заметил, что понимает их язык, сам может на нем говорить. «Который час?» — повторил он. «Девять часов утра, — сказала одна из женщин. — Как вы себя чувствуете?» В окно, если чуть приподняться, был виден забор, тоже в пятнах теней. «По-видимому, я попал домой», — в раздумии проговорил Лужин и опять опустил пустую, легкую голову на подушку. Он слышал некоторое время шепот, легкий звон стекла... Ему показалось, что нелепость всего происходящего чем-то приятна и что удивительно хорошо лежать не двигаясь. Так он незаметно заснул и, когда проснулся, увидел опять голубой блеск русской осени. Но что-то изменилось, кто-то незнакомый появился рядом с его постелью. Лужин повернул голову: на стуле справа сидел господин в белом, с черной бородой и внимательно смотрел улыбающимися глазами. Лужин смутно подумал, что он похож на мужика с мельницы, но сходство сразу пропало, когда господин заговорил. «Карашо?» — дружелюбно осведомился он. «Кто вы?» — спросил Лужин по-немецки. «Друг, — ответил господин, — верный друг. Вы были больны, но теперь здоровы. Слышите, — совершенно здоровы». Лужин стал думать над этими словами, но господин не дал ему додуматься и ласково сказал: «Вы должны лежать тихо. Отдыхайте. Побольше спите».

Так Лужин вернулся обратно из долгого путешествия, растеряв по дороге большую часть багажа, и лень было восстанавливать пропажу. Эти первые дни выздоровления были тихи и плавны; женщины в белом вкусно кормили его; приходил обворожительный бородач, и говорил приятные вещи, и смотрел агатовым взглядом, который теплом разливался по телу. Вскоре Лужин стал замечать, что в комнате бывает еще кто-то — трепетное, неуловимое присутствие. Раз, когда он проснулся, кто-то беззвучно и торопливо уходил, как бы знакомый шепот возник рядом и сразу погас. И в разговоре бородатого друга стали мелькать намеки на что-то таинственное и счастливое; оно было в воздухе вокруг него, и в осенней прелести окна, и дрожало где-то за дверью, загадочное, увертливое счастье. И Лужин постепенно стал понимать, что райская пустота, в которой витают его прозрачные мысли, со всех сторон заполняется. Но ему повезло: первым явилось наиболее счастливое видение его жизни.

Предупрежденный о близости прекрасного события, он смотрел сквозь решетку изголовья на белую дверь и ждал, что вот сейчас она откроется и сбудется наконец предсказание. Но дверь не открывалась. Вдруг сбоку, вне поля его зрения, что-то шелохнулось. Под прикрытием большой ширмы кто-то стоял и смеялся. «Иду, иду, один момент», — забормотал Лужин, высвобождая ноги из-под простыни и вытаращенными глазами ища под стулом, рядом с постелью, какой-нибудь обуви. «Никуда вы не пойдете», — сказал голос, и розовое платье мгновенно заполнило пустоту.

То, что его жизнь прежде всего озарилась именно с этой стороны, облегчило его возвращение. Некоторое еще время оставались в тени жестокие громады, боги его бытия. Произошел нежный оптический обман: он вернулся в жизнь не с той стороны, откуда вышел, и работу по распределению его воспоминаний взяло на себя то удивительное счастье, которое первым встретило его. И когда, наконец, эта область жизни была полностью восстановлена, и вдруг, с грохотом обрушившейся стены, появился Турати, турнир и все предыдущие турниры, — этому же счастью удалось увести сопротивлявшийся образ Турати и положить обратно в ящик зашевелившиеся было шахматные фигуры. Как только опять они оживали, их твердо захлопывали снова, — и борьба продолжалась недолго. Помогал доктор, дорогие камни его глаз переливались и таяли; он говорил о том, что кругом свободный и свет-

лый мир, что игра в шахматы — холодная забава, которая сушит и развращает мысль, и что страстный шахматист так же нелеп, как сумасшедший, изобретающий перпетуум мобиле или считающий камушки на пустынном берегу океана. «Я вас перестану любить, — говорила невеста, — если вы будете вспоминать о шахматах, — а я вижу каждую мысль, так что держитесь». «Ужас, страдание, уныние, — тихо говорил доктор, — вот что порождает эта изнурительная игра». И он доказывал Лужину, что сам Лужин хорошо это знает, что Лужин не может подумать о шахматах без отвращения, и, таинственным образом тая, переливаясь и блаженно успокаиваясь, Лужин соглашался с его доводами. И по огромному, прекрасно пахнувшему санаторскому саду Лужин прогуливался в новеньких ночных туфлях из мягкой кожи и одобрительно отзывался о георгинах, и рядом шла его невеста и почему-то думала о читанной в детстве книжке, где все неприятности в жизни одного гимназиста, бежавшего из дома со спасенной им собакой, разрешались удобной для автора горячкой (не тифом, не скарлатиной, а просто горячкой), и нелюбимая дотоле молодая мачеха так ухаживала за ним, что он ее вдруг начинал ценить и звать мамой, и теплая слезинка скатывалась по щеке, и все было очень хорошо. «Лужин здоров», — сказала она, с улыбкой глядя на его тяжелый профиль (профиль обрюзгшего Наполеона), опасливо склоненный над цветком, который — бог его знает — мог укусить. «Лужин здоров. Лужин гуляет. Лужин очень милый». — «Не пахнет», — баском сказал Лужин. «И не должно пахнуть», — ответила она, взяв его под руку. — Это у георгина не принято. А вон тот белый господин — табак. Он здорово пахнет ночью. Когда я была маленькая, я всегда высасывала сок из серединки. Теперь уже невкусно». — «У нас в саду... — начал Лужин и задумался, щурясь на клумбы. — Имелись вот эти цветочки, — сказал он. — Сад был вполне презентабельный». — «Астры, — пояснила она. — Я их не люблю. Они жесткие. А в нашем саду...»

Вообще много говорилось о детстве. Говорил и профессор, спрашивал Лужина: «У вашего отца была земля? Не правда ли?» Лужин кивал. «Земля, деревня — это превосходно, — продолжал профессор. — У вас были, верно, лошади, коровы?» Кивок. «Дайте мне представить ваш дом... Кругом вековые деревья... Дом большой, светлый. Ваш отец возвращается с охоты...» Лужин вспомнил, как однажды отец принес толстого, неприятного птенчика,



найденного в канаве. «Да», — неуверенно ответил Лужин. «Какие-нибудь подробности, — мягко попросил профессор. — Пожалуйста. Прошу вас. Меня интересует, чем вы занимались в детстве, как играли. У вас были, наверное, солдатики...»

Но Лужин при этих беседах оживлялся редко. Зато мысль его, беспрестанно подгалкиваемая такими расспросами, возвращалась снова и снова к области его детства. То, что он вспоминал, невозможно было выразить в словах, — просто не было взрослых слов для его детских впечатлений, — а если он и рассказывал что-нибудь, то отрывисто и неохотно, бегло намечая очертания, буквой и цифрой обозначая сложный, богатый возможностями ход. Дошкольное, дошахматное детство, о котором он прежде никогда не думал, отстраняя его с легким содроганием, чтобы не найти в нем дремлющих ужасов, унижительных обид, оказывалось ныне удивительно безопасным местом, где можно было совершить приятные, не лишённые пронзительной прелести экскурсии. Лужин сам не мог понять, откуда волнение, — почему образ толстой француженки с тремя костяными пуговицами сбоку на юбке, которые сближались, когда ее огромный круп опускался в кресло, — почему образ, так его раздражавший в то время, теперь вызывает чувство нежного ущемления в груди. Он вспоминал, как в петербургском доме ее астматическая тучность предпочитала лестнице старомодный, водой движимый лифт, который швейцар пускал в ход при помощи рычага на стенке вестибюля. «В путь-дорогу», — неизменно говорил швейцар, закрывая за ней дверные половинки, и тяжкий, отдувающийся, вздрагивающий лифт медленно полз вверх по толстому бархатному шнуру, и мимо лифта, по облупленной стене, видной сквозь стекло, медленно спускались темные географические пятна, те пятна сырости и старости, среди которых, как и среди небесных облаков, господствует мода на очертания Черного моря и Австралии. Иногда маленький Лужин поднимался вместе с ней, но чаще оставался внизу и слушал, как в вышине, за стеной, трудно взбирается лифт, — и он всегда надеялся, маленький Лужин, что лифт на полпути застрянет. Частенько так и случалось. Шум прекращался, из неизвестного междустенного пространства доносился вопль о помощи; швейцар внизу двигал, гакая, рычагом, и открывал дверь в черноту, и, глядя вверх, деловито спрашивал: «Поехали?» Наконец что-то содрогалось, приходило в движение, и через некоторый срок спускался лифт — уже

пустой. Пустой. Бог весть, что случилось с ней, — быть может, доехала она уже до небес и там осталась со своей астмой, лакричными конфетами и пенсне на черном шнурке. Пустым вернулось воспоминание, и в первый раз, быть может, за всю свою жизнь Лужин задался вопросом, — куда же, собственно говоря, все это девается; что стало с его детством, куда уплыла веранда, куда уползли, шелестя в кустах, знакомые тропинки?

Непроизвольным движением души он этих тропинок искал в санаторском саду, но у клумб был другой очерк, и березы были размещены иначе, и просветы в их рыжей листве, налитые осенней синевой, никак не соответствовали рисунку тех памятных березовых просветов, на которые он эти вырезанные части лазури так и этак накладывал. Неповторим как будто был тот далекий мир, в нем бродили уже вполне терпимые, смягченные дымкой расстояния образы его родителей, и заводной поезд с жестяным вагоном, выкрашенным под фанеру, уходил, жужжа, под воланы кресла, и бог знает, что думал при этом кукольный машинист, слишком большой для паровоза и потому помещенный в тендер.

Таково было детство, охотно посещаемое теперь мыслю Лужина. Затем шла другая пора, долгая шахматная пора, о которой и доктор и невеста говорили, что это были потерянные годы, темная пора духовной слепоты, опасное заблуждение, — потерянные, потерянные годы. О них не следовало вспоминать. Там таился, как злой дух, чем-то страшный образ Валентинова. Ладно, согласимся, довольно, — потерянные годы, — долой их, — забыто, — вычеркнуто из жизни. И если так исключить их, свет детства непосредственно соединялся с нынешним светом, выливался в образ его невесты. Она выражала собой все то ласковое и обольстительное, что можно было извлечь из воспоминаний детства, — словно пятна света, рассеянные по тропинкам сада на мызе, срослись теперь в одно теплое цельное сияние.

«Радуешься? — уныло спросила мать, глядя на ее оживленное лицо. — Скоро сыграем свадьбу?» «Скоро, — ответила она и бросила свою кругленькую серую шляпу на диван. — Во всяком случае он на днях оставит санаторию». «Здорово твоему отцу влетит, — марок тысяча». «Я сейчас по всем книжным магазинам рыскала, — вздохнула дочь. — Он непременно требовал Жюль Верна и Шерлока Холмса. И оказывается, что он никогда не читал Толстого». «Конечно, он мужик, — пробормотала мать. —

Я всегда это говорила». «Слушай, мама, — сказала она, слегка хлопая перчаткой по пакету с книгами, — давай условимся. С сегодняшнего дня больше никаких таких милых замечаний. Это глупо, унизительно для тебя и, главное, совершенно ни к чему». «Не выходи ты за него замуж, — изменившись в лице, проговорила мать. — Не выходи. Умоляю тебя. Ну, хочешь, я бухнусь перед тобой на колени...» И, опираясь одной рукой о кресло, она стала с трудом сгибать ногу, медленно опуская свое большое, слегка похрустывавшее тело. «Пол продавишь», — сказала дочь и, захватив книги, вышла из комнаты.

Путешествие Фогга и мемуары Холмса Лужин прочел в два дня и, прочитав, сказал, что это не то, что он хотел, — неполное, что ли, издание. Из других книг ему понравилась «Анна Каренина» — особенно страницы о земских выборах и обед, заказанный Облонским. Некоторое впечатление произвели на него и «Мертвые души», причем он в одном месте неожиданно узнал целый кусок, однажды в детстве долго и мучительно писанный им под диктовку. Кроме так называемых классиков, невеста ему приносила и всякие случайные книжонки легкого поведения — труды галльских новеллистов. Все, что только могло развлечь Лужина, было хорошо, — даже эти сомнительные новеллы, которые он со смущением, но с интересом читал. Зато стихи (например, томик Рильке, который она купила по совету приказчика) приводили его в состояние тяжелого недоумения и печали. Соответственно с этим профессор запретил давать Лужину читать Достоевского, который, по словам профессора, производит гнетущее действие на психику современного человека, ибо, как в страшном зеркале, — — —

«Ах, господин Лужин не задумывается над книгой, — весело сказала она. — А стихи он плохо понимает из-за рифм, рифмы ему в тягость».

И странная вещь: несмотря на то, что Лужин прочел в жизни еще меньше книг, чем она, гимназии не кончил, ничем другим не интересовался, кроме шахмат, — она чувствовала в нем призрак какой-то просвещенности, недостающей ей самой. Были заглавия книг и имена героев, которые почему-то были Лужину по-домашнему знакомы, хотя самих книг он никогда не читал. Речь его была неуклюжа, полна безобразных, нелепых слов, но иногда вздрагивала в ней интонация неведомая, намекающая на какие-то другие слова, живые, насыщенные тонким смыслом, которые он выговорить не мог. Несмотря на невежествен-

ность, несмотря на скудность слов, Лужин таил в себе едва уловимую вибрацию, тень звуков, когда-то слышанных им.

Ни об его некультурности, ни о прочих его недостатках мать больше не говорила после того дня, когда, оставшись одна в коленапреклоненном положении, она всласть нарыдалась, щекой приложившись к ручке кресла. «Я бы все поняла, — сказала она потом мужу, — все поняла и простила бы, если бы она действительно любила его. Но в том-то и ужас...» «Нет, это не совсем так, — прервал муж. — Мне тоже сперва казалось, что все это чисто головное. Но ее отношение к его болезни меня убеждает в обратном. Конечно, такой союз опасен, да и она могла бы лучше выбрать... Хотя он из старой дворянской семьи, но его узкая профессия наложила на него некоторый отпечаток. Вспомни Ирину, которая стала актрисой, — вспомни, какой она потом приехала к нам. Все же, невзирая на эти все дефекты, я считаю, что он человек хороший. Вот ты увидишь, он займется теперь каким-нибудь полезным делом. Я не знаю, как ты, но я просто не решаюсь больше ее отговаривать. По-моему, если уж хочешь знать мое мнение, — следует скрепя сердце принять неизбежное».

Он говорил долго и бодро, держась очень прямо и стуча крышечкой портсигара.

«Я только одно чувствую, — повторяла жена, — она его не любит».

## 11

В зачаточном пиджаке без одного рукава стоял обновляемый Лужин боком к трюмо, и лысый портной то проводил мелом по его плечам и спине, то втыкал в него булавки, с поразительной ловкостью вынимая их изо рта, где, по-видимому, они естественно росли. Из всех образцов сукна, аккуратно, по тонам, расположенных в альбоме, Лужин выбрал квадрат темно-серый, и невеста долго щипала соответствующее сукно, которое портной бросил с глухим стуком на прилавок, молниеносно развернул и, выпятившись, прижал к груди, словно прикрывая наготу. Она нашла, что сукно склонно мяться, и тогда лавина плотных свертков стала заносить прилавок, и портной, моча палец о нижнюю губу, разворачивал, разворачивал. Выбрано было наконец сукно, тоже темно-серое, но гибкое

и нежное, даже как будто чуть мохнатое, и теперь Лужин, распределенный в трюмо по частям, по разрезам, словно для наглядного обучения (...вот чисто выбритое полное лицо, вот то же лицо в профиль, а вот редко самим субъектом выдаемый затылок, довольно коротко подстриженный, со складочками на шее и слегка оттопыренными, розовым светом пронизанными ушами...), поглядывал на себя и на материю, не узнавая в ней прежней гладкой и щедрой целины. «Я думаю, что нужно спереди чуточку уже», — сказала невеста, и портной, отойдя на шаг, прищурился на лужинскую фигуру, промурлыкал с вежливым смешком, что господин несколько в теле, а потом взялся за новорожденные отвороты, что-то подтянул, что-то подколол, меж тем как Лужин, с жестом, свойственным всем людям в его положении, слегка отводил руку или сгибал ее в локте, глядя себе на кисть и стараясь свыкнуться с рукавом. Мимоходом портной полоснул его мелом по сердцу, намечая карманчик, после чего безжалостно сорвал уже как будто готовый рукав и стал проворно вынимать булавки из лужинского живота.

Кроме хорошего костюма, Лужину был сделан и фрак; старомодный же смокинг, найденный на дне его сундучка, был тем же портным изменен к лучшему. Его невеста не смела спросить, боясь возбудить шахматные воспоминания, зачем нужны были Лужину в прежние дни смокинг и шапокляк, и поэтому никогда не узнала о некоем большом обеде в Бирмингеме, на котором, между прочим, Валентинов... Ну да бог с ним.

Обновление лужинской оболочки этим не ограничилось. Появились рубашки, галстуки, носки, — и Лужин все это принимал с беззаботным интересом. Из санатории он переехал в небольшую, с веселыми обоями комнату, снятую во втором этаже невестиного дома, и когда он переезжал, у него было точь-в-точь такое же чувство, как когда в детстве возвращался из деревни в город. Всегда странно это городское новоселье. Спать ляжешь, и все так ново: в тишине плетущимся цоканием оживают на несколько мгновений ночные торцы, окна завешены плотнее и пышнее, чем в усадьбе; во мраке, едва облегченном светлой чертой неплотно закрытой двери, выжидательно застыли предметы, еще не совсем потеплевшие, не до конца возобновившие знакомство после долгого летнего перерыва. А проснешься, — трезвый серый свет за окнами, в молочной мути неба скользит солнце, похожее на луну, и вдруг в отдалении — наплыв военной музыки: она приближается оран-

жевыми волнами, прерывается торопливой дробью барабана, и вскоре все смолкает, и, вместо щекастых трубных звуков, опять невозмутимый стук копыт, легкое дребезжание петербургского утра.

«Вы забываете тушить свет в коридоре, — с улыбкой сказала пожилая немка, сдававшая ему комнату. — Вы забываете закрывать вашу дверь на ночь». И невесте его она тоже пожаловалась — рассеян, мол, как старый профессор.

«Вам уютно, Лужин? — спрашивала невеста. — Вы спите хорошо, Лужин? Нет, я знаю, что неудобно, но ведь это скоро все изменится». «Не надо больше откладывать, — бормотал Лужин, обняв ее и скрестив пальцы у нее на бедре. — Садитесь, садитесь, не надо откладывать, Давайте завтра вступим. Завтра. В самый законный брак». «Да, скоро, скоро, — отвечала она. — Но нельзя же в один день. Есть еще одно учреждение. Там мы с вами будем висеть на стене в продолжение двух недель, и ваша жена тем временем придет из Палермо, посмотрит на имена и скажет: нельзя, Лужин — мой».

«Затеряла, — ответила мать, когда она к ней обратилась за своей метрикой. — Засунула и затеряла. Не знаю, ничего не знаю». Бумага, однако, быстрехонько нашлась. Да и поздно было теперь предупреждать, запрещать, придумывать трудности. С роковой гладкостью подкатывала свадьба, которую было невозможно задержать, словно стоишь на льду, скользко, нет упора. Ей пришлось смириться и подумать о том, чем украсить и как подать дочернего жениха, чтобы не стыдно было перед людьми, и как собраться с силами, чтобы на свадьбе улыбаться, играть довольную мать, хвалить честность и доброту Лужина. Думала она и о том, сколько уже ушло денег на Лужина и сколько еще уйдет, и старалась изгнать из воображения страшную картину: Лужин в дезабилье, пышущий макаковой страстью, и ее из упрямства покорная, холодная, холодная дочь. Меж тем и рама для этой картины была готова. Была снята поблизости не очень дорогая, но недурно обставленная квартира, правда — в пятом этаже, но что же делать, для лужинской одышки есть лифт, да и лестница не крута, со стульчиком на каждой площадке, под расписным окном. Из просторной прихожей, условно оживленной силуэтными рисунками в черных рамках, дверь налево открывалась в спальню, а дверь направо — в кабинет. Далее, по правой же стороне прихожей, находилась дверь в гостиную; смежная с нею столовая была несколько длиннее, за счет прихожей, которая в этом месте

благополучно превращалась в коридор, — превращение, целомудренно скрытое плюшевой портьерой на кольцах. Налево от коридора была ванная, за нею людская, а в конце — дверь в кухню.

Будущей обитательнице этой квартиры понравилось расположение комнат; их обстановка пришлась ей менее по вкусу. В кабинете стояли коричневые бархатные кресла, книжный шкаф, увенчанный плечистым востролицым Данте в купальном шлеме, и большой пустоватый письменный стол с неизвестным прошлым и неизвестным будущим. Валкая лампа на черном витом столбе под оранжевым абажуром высилась подле оттоманки, на которой были забыты светлошерстый медвежонок и толстомордая собака с широкими розовыми подошвами и пятном на глазу. Над оттоманкой висел фальшивый гобелен, изображавший пляшущих поселян.

Из кабинета — ежели легонько толкнуть раздвижные двери — открывался сквозной вид: паркет гостиной и дальше столовая с буфетом, уменьшенным перспективой. В гостиной зеленым лоском отливала пальма, по паркету были рассеяны коврики. Наконец — столовая с выросшим теперь до естественной величины буфетом и с тарелками по стенам. Над столом одинокий пушистый чертик повисал с низкой лампы. Окно было фонарем, и оттуда можно было видеть сквер с фонтаном в конце улицы. Вернувшись к столу, она поглядела через гостиную в даль кабинета, на гобелен, в свою очередь уменьшившийся, затем вышла из столовой в коридор и направилась через прихожую в спальню. Там стояли, тесно прижавшись друг к другу, две пухлые постели. Лампа оказалась в мавританском стиле, занавески на окнах были желтые, что сулило по утрам обманный солнечный свет, — и в простенке висела гравюра: вундеркинд в ночной рубашонке до пят играет на огромном рояле и отец, в сером халате, со свечой в руке, замер, приоткрыв дверь.

Кое-что пришлось добавить, кое-что изъять. Из гостиной был убран портрет хозяйского дедушки, а из кабинета поспешно изгнали восточного вида столик с перламутровой шахматной доской. Окно в ванной комнате, снизу голубовато-искристое, будто подернутое морозом, оказалось надтреснутым в своей верхней прозрачной части, и пришлось вставить новое стекло. В кухне и в людской побелили потолки. Под сенью салонной пальмы вырос граммофон. Вообще же говоря, осматривая и подправляя эту «картину на барскую ногу, снятую на скорую руку», — как шутил

отец, — она не могла отделаться от мысли, что все это только временное, придется, вероятно, увезти Лужина из Берлина, развлекать его другими странами. Всякое будущее неизвестно, — но иногда оно приобретает особую туманность, словно на подмогу естественной скрытности судьбы приходит какая-то другая сила, распространяющая этот упругий туман, от которого отскакивает мысль.

Но как Лужин был мягок и мил в эти дни... Как он уютно сидел, одетый в новый костюм и украшенный дымчатый галстуком, за чайным столом и вежливо, если и не совсем впопад, поддакивал собеседнику. Его будущая теща рассказала знакомым, что Лужин решил бросить шахматную игру, которая слишком много отнимала времени, но что он об этом не любит говорить, — и теперь Олег Сергеевич Смирновский уже не требовал партии, а с огоньком в глазах раскрывал ему таинственные махинации масонов и даже обещал дать прочесть замечательную брошюру.

В учреждениях, куда они ходили сообщать чиновникам о намерении вступить в брак, Лужин вел себя как взрослый, все бумаги нес сам, благоговейно, бережно, и заполнял бланки с любовью, отчетливо выводя каждую букву. Почерк у него был кругленький, необыкновенно аккуратный, и немало времени уходило на осторожное развинчивание новой самопишущей ручки, которую он несколько жеманно отряхивал в сторону, прежде чем приступить к писанию, а потом, насладившись скольжением золотого пера, так же осторожно совал обратно в сердечный карманчик блестящей зацепкой наружу. И с удовольствием он сопровождал невесту по магазинам и ждал, как интересного сюрприза, квартиры, которой она решила до свадьбы ему не показывать.

В течение тех двух недель, пока их имена были вывешены напоказ, — то на адрес жениха, то на адрес невесты стали приходиться предложения разных недремлющих фирм: экипажи для свадеб и похорон (с изображением кареты, запряженной парой галопирующих лошадей), фраки напрокат, цилиндры, мебель, вино, наемные залы, аптекарские принадлежности. Лужин добросовестно рассматривал иллюстрированные прейскуранты и складывал их у себя, удивляясь, почему невеста так презрительно относится ко всем этим любопытным предложениям. Были предложения другого рода. Было то, что Лужин называл «небольшое апарте», с будущим тестем, приятный разговор, во время которого тот предложил устроить его в коммерческое предприятие, — конечно, погодя, не сейчас, пускай пожи-



вут спокойно несколько месяцев. «Жизнь, мой друг, так устроена, — говорилось в этой беседе, — что за каждую секунду человек должен платить, по самому минимальному расчету,  $1/432$  часть пфеннига, и это будет жизнь нищенская; вам же нужно содержать жену, привыкшую к известной роскоши». «Да-да», — сказал Лужин, радостно улыбаясь и стараясь вывернуть в уме сложное вычисление, проделанное с такой нежной ловкостью его собеседником. «Для этого требуется несколько больше денег», — продолжал тот, и Лужин затаил дыхание в ожидании нового фокуса. «Секунда будет обходиться... дороже. Повторяю, я готов первое время — первый год, скажем, — щедро приходить вам на помощь. Но со временем... Вот вы побываете у меня как-нибудь в конторе, я вам покажу интересные вещи».

Так приятнейшим образом все кругом старалось расцветить пустоту лужинской жизни. Он давал себя укачивать, баловать, щекотать, принимал с зажмуренной душой ласковую жизнь, обволакивавшую его со всех сторон. Будущее смутно представлялось ему как молчаливое объятие, длящееся без конца, в счастливой полутемноте, где проходят, попадают в луч и скрываются опять, смеясь и покачиваясь, разнообразные игрушки мира сего. Но в неизбежные минуты жениховского одиночества, поздним вечером, ранним утром, бывало ощущение странной пустоты, как будто в красочной складной картине, составленной на скатерти, оказались незаполненные, вычурного очерка, проблемы. И однажды во сне он увидел Турати, сидящего к нему спиной. Турати глубоко задумался, опираясь на руку, но из-за его широкой спины не видать было того, над чем он в раздумии поник. Лужин не хотел этого увидеть, боялся увидеть, но все же осторожно стал заглядывать через черное плечо. И тогда он увидел, что перед Турати стоит тарелка супа и что не опирается он на руку, а просто затыкает за воротник салфетку. И в ноябрьский день, которому этот сон предшествовал, Лужин женился.

Олег Сергеевич Смирновский и некий балтийский барон были свидетелями того, как Лужина и его невесту провели в большую комнату и усадили за длинный стол, покрытый сукном. Чиновник переменял пиджак на поношенный сюртук и прочел брачный приговор. При этом все встали. После чего, с профессиональной улыбкой, чиновник почтил новобрачных сырым рукопожатием, и все было кончено. У выхода толстый швейцар, мечтая о полтиннике, поклонился, поздравляя, и Лужин добродушно сунул ему руку,

которую тот принял на ладонь, не сразу сообразив, что это человеческая рука, а не подачка.

В тот же день было и церковное венчание. Последний раз Лужин побывал в церкви много лет назад, на панихиде по матери. Пятясь дальше в глубину прошлого, он помнил ночные вербные возвращения со свечечкой, метавшейся в руках, ошалевшей от того, что вынесли ее из теплой церкви в неизвестную ночь, и наконец умиравшей от разрыва сердца, когда на углу улицы налетал ветер с Невы. Были исповеди в домово́й церкви на Почтамтской, и особенно стучали сапоги в ее темноватой пустыне, передвигались, словно откашливаясь, стулья, на которых друг за другом сидели ожидавшие, и порой из таинственно завешенного угла вырывался шепот. И пасхальные ночи он помнил: дьякон читал рыдающим басом и, все еще всхлипывая, широким движением закрывал огромное Евангелие... И он помнил, как легко и пронзительно, вызывая сосущее чувство под ложечкой, звучало нато́шак слово «фасха» в устах изможденного священника; и помнил, как было всегда трудно уловить то мгновение, когда кадило плавно метит в тебя, именно в тебя, а не в соседа, и так поклониться, чтобы в точности поклон пришелся на кадильный взмах. Был запах ладана, и горячее падение восковой капли на костяшки руки, и темный медовый лоск образа, ожидавшего лобзания. Томные воспоминания, смуглота, поблескиванья, вкусный церковный воздух и мурашки в ногах. И ко всему этому теперь прибавились дымчатая невеста и венец, который вздрагивал в воздухе, над самой головой, и мог того и гляди упасть. Он осторожно косился на него, и ему показалось раза два, что чья-то незримая рука, державшая венец, передает его другой, тоже незримой руке. «Да-да», — поспешно ответил он на вопрос священника и еще хотел прибавить, как все это хорошо, и странно, и мягко для души, но только взволнованно прочистил горло, и свет в глазах стал расплывчато лучиться.

А затем, когда все сидели за большим столом, у него было такое же чувство, как когда приходишь домой после заутрени и ждет тебя масляный баран с золотыми рогами, окорок, девственно ровная пасха, за которую хочется приняться раньше всего, минуя ветчину и яйца. Было жарко и шумно, за столом сидело много людей, бывших, вероятно, в церкви, — ничего, ничего, пусть побудут до поры до времени... Лужина глядела на мужа, на кудрю, на прекрасно сшитый фрак, на кривую полуулыбку, с которой он приветствовал блюда. Ее мать, щедро напудренная, в очень

открытом спереди платье, показывавшем, как в старые времена, тесную выемку между ее приподнятых, екатеринских грудей, держалась молодцом и даже говорила зятю «ты», так что Лужин некоторое время не понимал, к кому она обращается. Он выпил всего два бокала шампанского, и волнами стала находить на него приятная солидность. Вышли на улицу. Черная ветряная ночь мягко ударила его в грудь, не защищенную недоразвитым фрачным жилетом, и жена попросила запахнуть пальто. Ее отец, весь вечер улыбавшийся и поднимавший бокал каким-то особенным образом — молча, до уровня глаз, — манера, перенятая у одного дипломата, говорившего очень изящно «скоуль», — теперь, все так же улыбаясь одними глазами, поднимал в знак прощания блестящую при свете фонаря связку дверных ключей. Мать, придерживая на плече горностаевую накидку, старалась не смотреть на спину Лужина, влезавшего в автомобиль. Гости, все немного пьяные, прощались с хозяевами и друг с другом и, деликатно посмеиваясь, окружили автомобиль, который наконец тронулся, и тогда кто-то заорал «ура», и поздний прохожий, обратившись к спутнице, одобрительно заметил: «Землячки шумят».

Лужин в автомобиле тотчас уснул, и при случайных, веером раскрывавшихся отблесках белесым светом оживало его лицо, и мягкая тень от носа совершала медленный круг по щеке и затем над губой, и опять было в автомобиле темно, пока не проходил новый свет, мимоходом поглаживая лужинскую руку, которая словно скользила в темный карман, как только опять наплывал сумрак. И потом пошла череда ярких огней, и каждый выгонял из-под белого галстука тeneвую бабочку, и тогда жена осторожно поправила ему кашне, так как даже в закрытый автомобиль проникал холод ноябрьской ночи. Он очнулся и прищурился от взмаха уличного луча и не сразу понял, где он, но в это мгновение автомобиль остановился, и жена тихо сказала: «Лужин, мы дома». В лифте он стоял, улыбаясь и мигая, несколько осовевший, но ничуть не пьяный, и глядел на ряд кнопок, одну из которых нажала жена. «На известной высоте», — сказал он и посмотрел на потолок лифта, точно ожидая там увидеть вершину пути. Лифт остановился. «Ек», — сказал Лужин и тихо рассыпался смехом.

Их встретила в прихожей новая прислуга — кругленькая девица, сразу протянувшая им красную, непропорционально большую руку. «Ах, зачем вы нас ждали», — сказа-

ла жена. Горничная поздравляла, что-то быстро говорила и с благоговением приняла лужинский шапокляк. Лужин с тонкой улыбкой показал, как он захлопывается. «Удивительно», — воскликнула горничная. «Идите, идите спать, — беспокойно повторяла жена. — Мы сами все запрем».

Чередой озарилась кабинет, гостиная, столовая. «Открывается телескопом», — сонно пробормотал Лужин. Ничего он толком не рассмотрел, — слишком слипались глаза. Уже входя в столовую, он заметил, что несет в руках большую плюшевую собаку с розовыми подошвами. Он ее положил на стол, и сразу к ней спустился, как паук, пушистый чертик, повисший с лампы. Комнаты потухли, словно сдвинулись части телескопа, и Лужин оказался в светлом коридоре. «Идите спать», — кому-то опять крикнула жена, и что-то в глубине шуркнуло и пожелало доброй ночи. «Вон там людская, — сказала жена. — А тут, слева, ванная». «Где уединение? — шепнул Лужин. — Где самая маленькая комната?» — «В ванной, все в ванной», — ответила она, и Лужин осторожно приоткрыл дверь и, убедившись в чем-то, проворно заперся. Его жена прошла в спальню и села в кресло, оглядывая упоительно пухлые постели. «Ох, я устала», — улыбнулась она и долго следила глазами за крупной вялой мухой, которая, безнадежно жужжа, летала вокруг мавританской лампы, а потом куда-то исчезла. «Сюда, сюда», — крикнула она, услышав в коридоре неуверенно шаркающий шаг Лужина. «Спальня», — сказал он одобрительно и, заложив руки за спину, некоторое время посматривал по сторонам. Она открыла шкаф, куда накануне сложила вещи, подумала и обернулась к мужу. «Я ванну приму, — сказала она. — Ваши вещи здесь».

«Подождите минуточку», — проговорил Лужин и вдруг во весь рот зевнул. «Подождите», — нёбным голосом повторил он, запихивая между слогами упругие части зевка. Но, захватив пижаму и ночные туфли, она быстро вышла из комнаты.

Голубой толстой струей полилась из крана вода и стала заполнять белую ванну, нежно дымясь и меняя тон журчания по мере того, как поднимался ее уровень. Глядя на льющийся блеск, она с некоторой тревогой думала о том, что наступает предел ее женской расторопности и что есть область, в которой не ей путеводительствовать. Сидя затем в ванне, она смотрела, как собираются мелкие водяные пузырьки на коже и на погружающейся пористой губке. Опустившись в воду по шею, она видела себя сквозь уже слегка помутившуюся от мыльной пены воду тонкотелой,

почти прозрачной, и когда колено чуть-чуть поднималось из воды, этот круглый, блестящий розовый остров был как-то неожиданен своей несомненной телесностью. «В конце концов это вовсе не мое дело», — сказала она, высвободив из воды сверкающую руку и отодвигая волосы со лба. Она напустила еще горячей воды, наслаждаясь тугими волнами тепла, проходившими по животу, и наконец, вызвав легкую бурю в ванне, вышла и не спеша принялась вытираться. «Прекрасная турчанка», — сказала она, стоя в одних шелковых пижамных штанах перед зеркалом, слегка запотевшим от пара. «В общем, довольно благоустроено», — сказала она погодя. Продолжая смотреться в зеркало, она стала медленно натягивать пижамную кофточку. «Бока полноваты», — сказала она. Вода в ванне, стекавшая с легким урчанием, вдруг пискнула, и все смолкло: ванна была пуста и только в дырке еще был маленький мыльный водоворот. И вдруг она поняла, что нарочно медлит, стоя в пижаме перед зеркалом, — и холодок прошел в груди, как когда перелистываешь прошлогодний журнал, зная, что сейчас, сейчас дверь откроется и встанет дантист на пороге.

Громко посвистывая, она пошла в спальню, и сразу свист осекся. Лужин, прикрытый до пояса пуховиком, в расстегнутой топорщившейся крахмальной рубашке, лежал в постели, подогнув руки под голову, и с мурлыкающим звуком храпел. Воротничок висел на изножье, штаны валялись на полу, раскинув помочи, фрак, криво надетый на плечики вешалки, лежал на кушетке, подвернув под себя один хвост. Все это она тихо собрала, сложила. Перед тем как лечь, она отодвинула штору окна, чтоб посмотреть, спущено ли жалюзи. Оно не было спущено. В темной глубине двора ночной ветер трепал какие-то кусты, и при тусклом свете, неведомо откуда лившемся, что-то блесело, быть может, лужа на каменной панели вдоль газона, и в другом месте то появлялась, то скрывалась тень какой-то решетки. И вдруг все погасло и была только черная пропасть.

Она думала, что уснет, как только бухнет в постель, но вышло иначе. Воркующий храп подле нее, и странная грусть, и эта темнота в незнакомой комнате держали ее на весу, не давали соскользнуть в сон. И почему-то слово «партия» все проплывало в мозгу — «хорошая партия», «найти себе хорошую партию», «партия», «партия», «недоигранная, прерванная партия», «такая хорошая партия». «Передайте маэстро мое волнение, волнение...» «Она могла

бы сделать блестящую партию», — отчетливо сказала мать, проплывая во мраке. «Чокнемся», — шепнул нежный голос, и отцовские глаза показались из-за края бокала, и пена поднималась, поднималась, и новые туфли слегка жали, и в церкви было так жарко.

## 12

Большая поездка куда-нибудь за границу была отложена до весны — единственная уступка, которую Лужина сделала родителям, желавшим хоть первые несколько месяцев быть поблизости. Сама Лужина немного боялась для мужа жизни в Берлине, опутанном шахматными воспоминаниями; впрочем, оказалось, что Лужина в Берлине нетрудно развлекать.

Большая поездка куда-нибудь за границу, разговоры о ней, путевые замыслы. В кабинете, очень Лужину полюбившемся, нашелся в книжном шкапу великолепный атлас. Мир, сперва показываемый как плотный шар, туго обтянутый сеткой долгот и широт, разворачивался плоско, разрезался на две половины и затем подавался по частям. Когда он разворачивался, какая-нибудь Гренландия, бывшая сначала небольшим придатком, простым аппендиксом, внезапно разбухала почти до размеров ближайшего материка. На полюсах были белые проплешины. Ровной лазурью простирались океаны. Даже на этой карте было бы достаточно воды, чтобы, скажем, вымыть руки, — что же это такое на самом деле, — сколько воды, глубина, ширина... Лужин показал жене все очертания, которые любил в детстве, — Балтийское море, похожее на коленопреклоненную женщину, ботфорту Италии, каплю Цейлона, упавшую с носа Индии. Он считал, что экватору не везет, — все больше идет по морю, — правда, перерезает два континента, но не поладил с Азией, подтянувшейся вверх: слишком нажал и раздавил то, что ему перепало, — кой-какие кончики, неаккуратные острова. Он знал самую высокую гору и самое маленькое государство и, глядя на взаимное расположение обеих Америк, находил в их позе что-то акробатическое. «Но в общем все это можно было бы устроить пикантнее, — говорил он, показывая на карту мира. — Нет тут идеи, нет пуанты». И он даже немного сердился, что не может найти значения всех этих сложных очертаний, и долго искал возможность, как искал ее в детстве, пройти из Северного моря в Средиземное по лаби-

ринтам рек или проследить какой-нибудь разумный узор в распределении горных цепей.

«Куда же мы поедем?» — говорила жена и слегка причмокивала, как делают взрослые, когда, начиная игру с ребенком, изображают приятное предвкушение. И затем она громко называла романтические страны. «...Вот сперва на Ривьеру, — предлагала она. — Монте-Карло, Ницца. Или, скажем, Альпы». «А потом немножко сюда, — сказал Лужин. — В Крыму есть очень дешевый виноград». «Что вы, Лужин, господь с вами, в Россию нам нельзя». «Почему? — спросил Лужин. — Меня туда звали». «Глупости, замолчите, пожалуйста», — сказала она, рассердившись не столько на то, что Лужин говорит о невозможном, сколько на то, что косвенно вспомнил нечто, связанное с шахматами. «Смотрите сюда, — сказала она, и Лужин покорно перевел глаза на другое место карты. — Вот тут, например, Египет, пирамиды. А вот Испания, где делают ужасные вещи с бычками...»

Она знала, что во многих городах, которые они могли бы посетить, Лужин, вероятно, не раз уже побывал, и потому, во избежание вредных реминисценций, больших городов не называла. Напрасная предосторожность. Тот мир, по которому Лужин в свое время разъезжал, не был изображен на карте, и если бы она назвала ему Рим или Лондон, то, по звуку этих названий в ее устах и по полной ноте на карте, он представил бы себе что-то совсем новое, невиданное, а ни в коем случае не смутное шахматное кафе, которое всегда было одинаково, находись оно в Риме, Лондоне или в той же невинной Ницце, доверчиво названной ею. Когда же она принесла из железнодорожного бюро многочисленные проспекты, то еще резче как будто отделился мир шахматных путешествий от этого нового мира, где прогуливается турист в белом костюме с биноклем на перевязи. Были черные силуэты пальм на розовом закате и опрокинутые силуэты этих же пальм в розовом, как закат, Ниле. Было до непристойности синее море, сахарно белая гостиница с пестрым флагом, веющим в другую сторону, чем дымок парохода на горизонте, были снеговые вершины и висячие мосты, и лагуны с гондолами, и в бесконечном количестве старинные церкви, и какой-нибудь узенький переулок, и ослик с двумя толстыми тюками на боках... Все было красиво, все было забавно, перед всем неведомый автор проспектов приходил в восторг, захлебывался похвалами... Звонкие названия, миллион святых, воды, излечивающие от всех болезней,

возраст городского вала, гостиницы первого, второго, третьего разряда — от всего этого рябило в глазах, и все было хорошо, всюду ждали Лужина, звали громовыми голосами, безумели от собственного радушия и, не спрашивая хозяина, раздаривали солнце.

В эти же первые дни супружества Лужин посетил контору тестя. Тесть что-то диктовал, а пишущая машинка твердила свое, — скороговоркой повторяла слово «то» приблизительно со следующей интонацией: «то ты пишешь не то, Тото, то — то то, то это мешает писать вообще», — и что-то с треском передвигалось. Тесть ему показал стопки бланков, бухгалтерские книги с зетоподобными линиями на страницах, книги с оконцами на корешках, чудовищно толстые тома коммерческой Германии, счетную машину, очень умную, совершенно ручную. Однако больше всего Лужину понравился Тото, пишущий не то, слова, быстро посыпавшиеся на бумагу, чудесная ровность лиловых строк и сразу несколько копий. «Я бы тоже... Надо знать», — сказал он, и тесть одобрительно кивнул, и пишущая машинка появилась у Лужина в кабинете. Ему было предложено, что один из конторских служащих придет и ему все объяснит, но он отказался, ответив, что научится сам. И точно: он довольно быстро разобрался в устройстве, научился вставлять ленту, вкатывать листы, подружился со всеми рычажками. Труднее оказалось запомнить расположение букв, стукание шло чрезвычайно медленно; никакой тотовой скороговорки не получалось, и почему-то — с первого же дня — пристал восклицательный знак — выскакивал в самых неожиданных местах. Сперва он переписал полстолбца из немецкой газеты, а потом сам кое-что сочинил. Вышло короткое письмецо такого содержания: «Вы требуетесь по обвинению в убийстве. Сегодня 27 ноября. Убийство и поджог. Здравствуйте, милостивая государыня. Теперь, когда ты нужен, восклицательный знак, где ты? Тело найдено. Милостивая государыня!! Сегодня придет полиция!!!» Лужин перечел это несколько раз и, вставив обратно лист, подписал довольно криво, мучительно ища букв: «Аббат Бузони». Тут ему стало скучно, дело шло слишком медленно. И как-нибудь нужно было приспособить написанное письмо. Порывшись в телефонной книге, он выискал некую Луизу Альтман, рантьершу, написал от руки адрес и послал ей свое сочинение.

Некоторым развлечением служил и граммофон. Бархатным голосом пел шоколадного цвета шкапчик под



пальмой, и Лужин, обняв жену, сидел на диване, и слушал, и думал о том, что скоро ночь. Она вставала, меняла пластинку, держа диск к свету, и на нем был зыбкий сектор шелкового блеска, как лунная граница на море. И снова шкапчик источал музыку, и опять садилась рядом жена, опускала подбородок на скрещенные пальцы и слушала, моргая. Лужин запоминал мотивы и даже пытался их напевать. Были стонущие, трескучие, улюлюкающие танцы и нежнейший американец, поющий шепотом, и была целая опера в пятнадцать пластинок — «Борис Годунов» — с колокольным звоном в одном месте и с жутковатыми паузами.

Часто заходили родители жены, и было заведено, что три раза в неделю Лужины у них обедают. Мать не раз пробовала узнать у дочери кое-какие подробности брака и пытливо спрашивала: «Ты беременна? Я уверена, что уже беременна». «Да что ты, — отвечала дочь, — я давно родила». Была она все так же спокойна, и так же улыбалась исподлобья, и так же звала Лужина по фамилии и на «вы». «Мой бедный Лужин, — говорила она, нежно выдвигая губы, — мой бедный, бедный». И Лужин щекой терся об ее плечо, и она смутно думала, что, вероятно, бывают еще блаженства, кроме блаженства сострадания, но что до этого ей нет дела. Единственной ее заботой в жизни было ежеминутное старание возбуждать в Лужине любопытство к вещам, поддерживать его голову над темной водой, чтоб он мог спокойно дышать. Она спрашивала Лужина по утрам, что он видел во сне, веселила его утренний аппетит то котлеткой, то английским мармеладом, водила его гулять, подолгу останавливалась с ним перед витринами, читала ему вслух после обеда «Войну и мир», занималась с ним веселой географией, под ее диктовку он стучал на машинке. Несколько раз она повела его в музей, показала ему любимые свои картины и объяснила, что во Фландрии, где туманы и дождь, художники пишут ярко, а в Испании, стране солнца, родился самый сумрачный мастер. Говорила она еще, что вон у того есть чувство стеклянных вещей, а этот любит лилии и нежные лица, слегка припухшие от небесной простуды, и обращала его внимание на двух собак, по-домашнему ищущих крошек под узким, бедно убранном столом «Тайной Вечери». Лужин кивал, и прилежно шурился, и очень долго рассматривал огромное полотно, где художник изобразил все мучение грешников в аду, — очень подробно, очень любопытно. Побывали они и в театре, и в Зоологическом саду, и в кине-

матографе, причем оказалось, что Лужин никогда раньше в кинематографе не бывал. Белым блеском бежала картина, и, наконец, после многих приключений, дочь вернулась в родной дом знаменитой актрисой и остановилась в дверях, а в комнате, не видя ее, поседевший отец играет в шахматы с совершенно не изменившимся за эти годы доктором, верным другом семьи. В темноте раздался отрывистый смех Лужина. «Абсолютно невозможное положение фигур», — сказал он, но тут, к великому облегчению его жены, все переменялось, и отец, увеличиваясь, шел на зрительный зал и вовсю разыгрался, сперва расширились глаза, потом легкое дрожание, ресницы хлопнули, еще некоторое дрожание, и медленно размякли, подобрели морщины, медленная улыбка бесконечной нежности появилась на его лице, продолжавшем дрожать, — а ведь старик-то господа, в свое время проклинал дочь... Но доктор — доктор стоит в стороне, он помнит — бедный, скромный доктор, — как она, молоденькой девочкой, в самом начале картины бросала в него цветами через изгородь, пока он, лежа на траве, читал книгу; он тогда поднял голову: просто — изгородь, но вдруг из-за нее вырастает девический прѳбор, а потом пара большущих глаз — ах ты господи боже мой, какое лукавство, какая игривость! Вали, доктор, через изгородь, — вон бежит милая шалунья, прячется за стволы, — лови, лови, доктор! Но теперь все это прошло. Склонив голову, безвольно опустив руки, в одной — шляпа, стоит знаменитая актриса (ведь она падшая, падшая...). А отец, продолжая дрожание, принимается медленно открывать объѳтыя, и вдруг она опускается на колени перед ним. Лужин стал сморкаться. Когда же они вышли из кинематографа, у него были красные глаза и он покашливал и отрицал, что плакал. И на следующий день, за утренним кофе, он вдруг облокотился на стол и задумчиво сказал: «Очень, очень хорошо. — Он подумал еще и добавил: — Но играть они не умеют». «Как не умеют? — удивилась жена. — Это же первоклассные актеры». Лужин искоса взглянул на нее и сразу отвел глаза, и что-то ей не понравилось в этом. Внезапно она поняла, в чем дело, стала решать про себя вопрос, как заставить Лужина забыть эту несчастную игру в шахматы, которую дурак режиссер счел нужным ввести для настроения. Но Лужин, по-видимому, тотчас сам забыл — увлекся настоящим русским калачом, который прислала теща, и глаза у него были опять совсем ясные.

Так прошел месяц, другой. Зима была в тот год белая,

петербургская. Лужину сшили ватное пальто. Нищим русским были выданы некоторые старые лужинские вещи — между прочим, зеленое шерстяное кашне швейцарского происхождения. Нафталиновые шарики источали грустный шероховатый запах. В прихожей висел обреченный пиджак. «Он такой комфортабельный, — взмолился Лужин, — такой чрезвычайно комфортабельный». «Оставьте, — сказала жена из спальни. — Я его еще не осмотрела. Он, вероятно, кишит молю». Лужин снял смокинг, который примерял, чтобы посмотреть, не очень ли он располнел за последний месяц (располнел, располнел, — а завтра большой русский бал, благотворительное веселье), и с любовью влез в рукав обреченного. Милейший пиджак, никаких молей нет и в помине. Вот только в кармане дырка, но не насквозь, как иногда бывало. «Чудно», — крикнул он тонким голосом. Жена, с носком в руке, выглянула в прихожую. «Снимите, Лужин. Он же рваный, пыльный. Бог знает сколько лежал». «Нет, нет», — сказал Лужин. Она осмотрела его со всех сторон; Лужин стоял и хлопал себя по бедрам и, между прочим, почувствовал, что как будто есть что-то в кармане, сунул руку — нет, ничего, только дыра. «Он очень дряхлый, — проговорила жена, поморщившись, — но может быть как рабочая куртка...» «Умоляю», — сказал Лужин. «Ну, бог с вами, — только дайте потом горничной хорошенько выколотить». «Нет, он чистый», — сказал про себя Лужин и решил его вешать где-нибудь в кабинете, в какой-нибудь шкафчик, снимать и вешать, как это делают чиновники. Снимая его, он опять почувствовал, что как будто пиджак с левой стороны чуть тяжелее, но вспомнил, что карманы пусты, и причины тяжести не исследовал. А вот смокинг стал тесноват, прямо тесноват. «Бал», — произнес Лужин и представил себе много, много кружащихся пар.

Оказалось, что бал происходит в залах одной из лучших берлинских гостиниц. У вешалок было много народа, гардеробщицы принимали и уносили вещи, как спящих детей. Лужину выдали ладный металлический номерок. Он хватился жены, но сразу нашел ее: стояла перед зеркалом. Он приложил металлический кружок к нежной впадине ее гладкой напудренной спины. «Брр, холодно», — воскликнул она, поводя лопаткой. «Под руку, под руку, — сказал Лужин. — Мы должны войти под руку». Так они и вошли. Первое, что увидел Лужин, была его теща, помолодевшая, румяная, в великолепном сверкающем кокошнике. Она продавала крошон, и пожилой англичанин (просто спус-

тившийся из своего номера) быстро пьянел, облокотясь на ее стол. На другом столе, около разноцветно освещенной елки, было лотерейное нагромождение: представительный самовар в красно-синих бликах со стороны елки, куклы в сарафанах, граммофон, ликеры (дар Смирновского). На третьем были сандвичи, итальянский салат, икра, — и прекрасная белокурая дама кричала кому-то: «Марья Васильевна, Марья Васильевна, почему опять унесли... я же просила...» «Здравия желаю», — сказал кто-то рядом, и жена подняла выгнутую по-лебединому руку. А дальше, в другом зале, была уже музыка и в пространстве между столиками топтались и кружились танцующие; чья-то спина с размаху налетела на Лужина, и он крикнул и отступил. Жена его исчезла, и он, ища ее глазами, направился обратно, в первый зал. Тут томбола привлекла опять его внимание. Выплачивая каждый раз марку, он погружал руку в ящик и вытаскивал трубочкой свернутый билетик. Сопя носом и вытягивая губы, он долго разворачивал трубочку и, не найдя никакой цифры снутри, смотрел, нет ли ее на другой, внешней стороне, — бесполезное, но очень обычное искание. В конце концов он выиграл детскую книжку, какого-то «Кота-Мурлыку», и, не зная, что с ней делать, оставил ее на чьем-то столике, где два полных бокала ждали возвращения танцевавшей четы. Ему стало вдруг неприятно от тесноты и движения, от взрывов музыки, и некуда было деться, и все, вероятно, смотрели на него и удивлялись, почему он не пляшет. Жена в перерывах между танцами искала его в другом зале, и на каждом шагу ее останавливали знакомые. Было очень много народу на этом балу, — был с трудом добытый иностранный посланник, и знаменитый русский певец, и две кинематографические актрисы. Ей указали на их столик: дамы напоказ улыбались, и кавалеры их — трое раскормленных мужчин режиссерско-купеческого образа — цыкали, щелкали пальцами и ругали бледного потного лакея за медлительность и нерасторопность. Один из этих мужчин показался ей особенно противным: белозубый, с сияющими карими глазами; покончив с лакеем, он громко стал рассказывать что-то, вставляя в русскую речь самые истасканные немецкие словечки. И вдруг, ни с того ни с сего, ей стало грустно, что все смотрят на этих кинематографических дам, на певца, на посланника и никто как будто не знает, что на балу присутствует шахматный гений, чье имя было в миллионах газет, чьи партии уже названы бессмертными. «С вами удивительно легко танцу-

ется. Паркет тут хороший. Извините. Ужасно тесно. Сбор будет отличный. Вот этот — из французского посольства. С вами танцуетя удивительно легко». На этом обыкновенно разговор и прекращался, с ней любили танцевать, но не знали, о чем, собственно, разговаривать. Довольно красивая, но скучная молодая дама. И этот странный брак с каким-то неудачным музыкантом или что-то вроде этого. «Как вы сказали — бывший социалист? Игрок? Вы у них бываете, Олег Сергеевич?»

Тем временем Лужин нашел глубокое кресло недалеко от лестницы и глядел из-за колонны на толпу, куря тринадцатую папиросу. В другое кресло, рядом, предварительно осведомившись, не занято ли оно, сел смуглый господин с тончайшими усиками. Мимо все проходили люди, и Лужину постепенно становилось страшно. Некуда было взглянуть, чтобы не встретить любопытствующих глаз, и по проклятой необходимости глядеть куда-нибудь он устоялся на усики соседа, который, по-видимому, тоже был поражен и озадачен всем этим шумным и ненужным кавардаком. Господин, почувствовав взгляд Лужина, повернул к нему лицо. «Давно я не был на балу», — сказал он дружелюбно и усмехнулся, покачивая головой. «Главное, не надо смотреть», — глухо произнес Лужин, устроив из ладоней подобие шор. «Я издалика приехал, — деловито сказал господин. — Меня сюда затащил приятель. Я, по правде говоря, устал». «Усталость и тяжесть, — кивнул Лужин. — Неизвестно, что все это значит. Превосходит мою концепцию». «В особенности если, как я, работаешь на бразильской плантации», — сказал господин. «Плантации», — как эхо, повторил за ним Лужин. «Странно у вас тут живут, — продолжал господин. — Мир открыт со всех четырех сторон, а тут отбиваются чарльстончики на весьма ограниченном кусочке паркета». «Я тоже уеду, — сказал Лужин. — Я достал проспекты». «Чего моя нога хочет, — воскликнул господин. — Вольному страннику — попутный ветер. И какие чудесные страны.. Я встретил немецкого ботаника в лесах за Рио-Негро и жил с женою французского инженера на Мадагаскаре». «Нужно будет достать, — сказал Лужин. — Очень вообще привлекательная вещь — проспекты. Все крайне подробно»:

«Лужин, вот вы где», — вдруг окликнул его голос жены; она быстро проходила мимо под руку с отцом. «Я сейчас вернусь, только достану для нас столик», — крикнула она, оглядываясь, и исчезла. «Ваша фамилия — Лужин?» — с любопытством спросил господин. «Да-да, —

сказал Лужин, — но это не играет значения». «Лужина я одного знал, — медленно произнес господин, щурясь (ибо память человека близорука). — Я знал одного. Вы не учились случайно в Балашевском училище?» «Предположим», — ответил Лужин и, охваченный неприятным подозрением, стал вглядываться в лицо собеседника. «В таком случае мы одноклассники! — воскликнул тот. — Моя фамилия Петрищев. Помните меня? Ну, конечно, помните! Вот так случай. По лицу я вас никогда бы не узнал. Нет, не вас, — тебя. Позволь, Лужин... Твое имя-отчество... Ах, кажется, помню, — Антон... Антон... Как дальше?» «Ошибка, ошибка», — содрогнувшись, сказал Лужин. «Да, у меня память плоха, — продолжал Петрищев. — Я забыл многие имена. Вот, например, помните — был у нас такой тихий мальчик. Потом он потерял руку в бою у Врангеля, как раз перед эвакуацией. Я видел его в церкви в Париже. Ну, как его имя?» «Зачем это нужно? — сказал Лужин. — Зачем о нем столько говорить?» «Нет, не помню, — вздохнул Петрищев, оторвав ладонь ото лба. — Но вот, например, был у нас Громов: он тоже теперь в Париже; кажется, хорошо устроился. Но где другие? Где они все? Рассеялись, испарились. Странно об этом думать. Ну, а вы как живете, ты как живешь, Лужин?» «Благополучно», — сказал Лужин и отвел глаза от лица разошедшегося Петрищева, увидев его вдруг таким, как оно было тогда: маленькое, розовое, невыносимо насмешливое. «Прекрасные были времена, — крикнул Петрищев. — Помните, помнишь, Лужин, Валентина Иваныча? Как он с картой мира ураганом влетал в класс? А тот, старичок — ах, опять забыл фамилию, — помните, как он, трясаясь, говорил: «ну-те, тьфу, пустая голова... Позолотить бы, да и только!» Прекрасные времена. А как мы по лестнице шпарили вниз, во двор, помните? А как на вечеринке оказалось, что Арбузов умеет играть на рояле? Помните, как у него никогда опыты не выходили? И какую мы на «опыты» придумали рифму?» «...просто не реагировать», — быстро сказал про себя Лужин. «И все это рассеялось, — продолжал Петрищев. — Вот мы здесь на балу... Ах, кстати, я как будто помню... Ты чем-то таким занимался, когда ушел из школы. Что это было? Да, конечно, — шахматы!» «Нет-нет, — сказал Лужин. — Ради бога, зачем это вы...» «Ну, простите, — добродушно проговорил Петрищев. — Значит, я путаю. Да-да, дела... Бал в полном разгаре. А мы тут беседуем о прошлом. Я, знаете, объездил весь мир... Какие женщины на Кубе! Или вот, например, однажды в джунглях...»

«Он все врет, — раздался ленивый голос сзади. — Когда он ни в каких джунглях не бывал».

«Ну, зачем ты все портишь», — протянул Петрищев, оборачиваясь. «Вы его не слушайте, — продолжал лысый долговязый господин, обладатель ленивого голоса — Он как попал из России в Париж, так с тех пор только третьего дня и выехал». «Позволь, Лужин, тебе представить», — со смехом начал Петрищев; но Лужин поспешно удалялся, вобрав голову в плечи и от скорой ходьбы странно виляя и вздрагивая.

«Отваливает, — удивленно сказал Петрищев и добавил раздумчиво: — В конце концов я, может быть, принял его за другого».

Лужин, натываясь на людей и с плачущим звуком восклицая «пardon, pardon!», все натываясь на людей и стараясь не смотреть на их лица, искал жену и, когда внезапно увидел, схватил ее сзади за локоть, так что она, вздрогнув, обернулась; но сперва он ничего не мог сказать, слишком запыхался. «В чем дело?» — спросила она со страхом. «Уйдем, уйдем», — забормотал он, не отпуская ее локтя. «Успокойтесь, пожалуйста, Лужин, не надо так, — сказала она, слегка отесняя его в сторону, чтобы не слышали посторонние. — Почему вы хотите уехать?» «Там один человек, — проговорил Лужин, прерывисто дыша. — И такие неприятные разговоры». «...Которого вы прежде знали?» — спросила она тихо. «Да-да, — закивал Лужин. — Уедем. Я прошу».

Жмурясь, чтобы Петрищев не заметил его, он протиснулся в переднюю, стал шарить в карманах, отыскивая номер, нашел его после нескольких огромных секунд переполоха и отчаяния; топтался на месте от нетерпения, пока гардеробщица, как сомнамбула, искала вещи... Он первым оделся и первым вышел, и жена быстро следовала за ним, запахивая на ходу кротовую шубу. Только в автомобиле Лужин задышал спокойно, и выражение растерянной хмурости сменилось виноватой полуулыбочкой. «Милому Лужину было неприятно», — сказала жена, глядя его по руке. «Школьный товарищ, подозрительный субъект», — пояснил Лужин. «Но теперь милому Лужину хорошо», — прошептала жена и поцеловала его мягкую руку. «Теперь все прошло», — сказал Лужин.

Но это было не совсем так. Что-то осталось, — загадка, заноза. По ночам он стал задумываться над тем, почему так жутка была эта встреча. Конечно, были всякие отдельные неприятности — то, что Петрищев когда-то мучил его

в школе, а теперь вспомнил косвенным образом некую растерзанную книжку, и то, что целый мир, полный экзотических соблазнов, оказался обманом хлыща, и уже нельзя было впредь доверять проспектам. Но не сама встреча была страшна, а что-то другое — тайный смысл этой встречи, который следовало разгадать. Он стал по ночам напряженно думать, как, бывало, думал Шерлок над сигарным пеплом, — постепенно ему стало казаться, что комбинация еще сложнее, чем он думал сперва, что встреча с Петрищевым только продолжение чего-то и что нужно искать глубже, вернуться назад, переиграть все ходы жизни от болезни до бала.

### 13

На сизом катке (там, где летом площадки для тенниса), слегка припудренном сухим снежком, опасливо резвились горожане, и в ту минуту, как мимо, по тротуару, проходили Лужины, совершавшие утреннюю прогулку, самый бойкий из конькобежцев, молодец в свитере, изящно раскатился голландским шагом и с размаху сел на лед. Дальше, в небольшом сквере, трехлетний ребенок, весь в красном, шатко ступая шерстяными ножками, поплелся к тумбе, беспалой ладошкой загреб снег, лежавший аппетитной горкой, и поднес его ко рту, за что сразу был схвачен сзади и огрет. «Ах ты, беденький», — оглянувшись, сказала Лужина. По убеленной мостовой проехал автобус, оставив за собой две толстые черные полосы. Из магазина говорящих и играющих аппаратов раздалась зябкая музыка, и кто-то прикрыл дверь, чтобы музыка не простудилась. Такса в заплатанном синем пальтишке, с низко болтающимися ушами, остановилась, обнюхивая снег, и Лужина успела ее погладить. Что-то легкое, острое, белесое било в лицо, и, если посмотреть на пустое небо, светленькие точки плясали в глазах. Лужина поскользнулась и укоризненно взглянула на свои серые ботинки. Около русского гастрономического магазина встретили знакомых, чету Алферовых. «Холодина какая», — воскликнул Алферов, тряся желтой своей бородкой. «Не целуйте, перчатка грязная», — сказала Лужина и спросила у Алферовой, с улыбкой глядя на ее прелестное, всегда оживленное лицо, почему она никогда не зайдет. «А вы полнеете, сударь», — буркнул Алферов, игриво косясь на лужинский живот, преувеличенный ватным пальто. Лужин умоляюще по-



смотрел на жену. «Так что милости просим», — закивала она. «Постой, Машенька, телефон ты их знаешь? — спросил Алферов. — Знаешь? Ладно. Ну-с, пока, — как говорят по-советски. Нижайший поклон вашей матушке».

«Он какой-то несчастненький, — сказала Лужина, взяв мужа под руку и меняя шаг, чтобы идти с ним в ногу. — Но Машенька... Какая душенька, какие глаза... Не идите так скоро, милый Лужин, — скользко».

Снег сеять перестал, небо в одном месте бледно посветлело, и там проплыл плоский бескровный солнечный диск. «А знаете, мы сегодня пойдем так, направо, — предложила Лужина. — Мы, кажется, еще там не проходили». «Апельсины», — сказал Лужин, указывая тростью на лоток. «Хотите купить? — спросила жена. — Смотрите, мелом на доске: сладкие, как сахар». «Апельсины», — повторил со вкусом Лужин и вспомнил при этом, как его отец утверждал, что, когда произносишь «лимон», делаешь поневоле длинное лицо, а когда говоришь «апельсин», — широко улыбаешься. Торговка ловко расправила отверстие бумажного мешочка и насовала в него холодных щербато-красных шаров. Лужин на ходу стал чистить апельсин, морщась в предвидении того, что сок брызнет в глаза. Корки он положил в карман, так как они выглядели бы слишком ярко на снегу, да и, пожалуй, можно сделать из них варенье. «Вкусно?» — спросила жена. Он просмаковал последнюю дольку и с довольной улыбкой взял было жену опять под руку, но вдруг остановился, озираясь. Подумав, он пошел обратно к углу и посмотрел на название улицы. Потом быстро догнал жену и ткнул тростью по направлению ближайшего дома, обыкновенного серо-каменного дома, отделенного от улицы небольшим палисадником за чугунной решеткой. «Тут мой папаша обитал, — сказал Лужин. — Тридцать пять А». «Тридцать пять А», — повторила за ним жена, не зная, что сказать, и глядя вверх, на окна. Лужин тронулся, срезая тростью снег с решетки. Немного дальше он замер перед писчебумажным магазином, где в окне бюст воскового мужчины с двумя лицами, одним печальным, другим радостным, поочередно отпахивал то слева, то справа пиджак: самопишущее перо, воткнутое в левый карманчик белого жилета, окропило белизну чернилами, справа же было перо, которое не течет никогда. Лужину двуликий мужчина очень понравился, и он даже подумал, не купить ли его. «Послушайте, Лужин, — сказала жена, когда он насытился витриной. — Я давно хотела вас спросить, — ведь после смерти вашего отца остались,

должно быть, какие-нибудь вещи. Где все это?» Лужин пожал плечами. «Был такой Хрущенко», — пробормотал он погодя. «Не понимаю», — вопросительно сказала жена. «В Париж мне написал, — нехотя пояснил Лужин, — что вот, смерть и похороны и все такое и что у него сохраняются вещи, оставшиеся после покойника». «Ах, Лужин, — вздохнула жена. — Что вы делаете с русским языком». Она подумала и добавила: «Мне-то все равно, мне только казалось, что вам было бы приятно иметь эти вещи, — ну, как память». Лужин промолчал. Она представила себе эти никому не нужные вещи, — быть может, писательское перо старика Лужина, какие-нибудь бумаги, фотографии, — и ей стало грустно, она мысленно упрекнула мужа в жестокосердии. «Но одно нужно сделать непременно, — сказала она решительно. — Мы должны поехать на кладбище, посмотреть на могилу, посмотреть, не запущено ли». «Холодно и далеко», — сказал Лужин. «Мы это сделаем на днях, — решила она. — Погода должна перемениться. Пожалуйста, осторожно — автомобиль».

Погода ухудшилась, и Лужин, помня унылый пустырь и кладбищенский ветер, просил отложить поездку до будущей недели. Мороз, кстати сказать, был необыкновенный. Закрылся каток, которому вообще не везло: в прошлую зиму все оттепель да оттепель и лужа вместо льда, а в нынешнем такой холод, что и школьникам не до коньков. В парках, на снегу, лежали маленькие крутогрудые птицы с поднятыми лапками. Безвольная ртуть под влиянием среды падала все ниже. И даже полярные медведи в Зоологическом саду поеживались, находя, что дирекция переборщила.

Квартира Лужиных оказалась одной из тех благополучных квартир с героическим центральным отоплением, в которых не приходилось сидеть в шубах и пледах. Родители жены, обезумев от холода, чрезвычайно охотно приходили к центральному отоплению в гости. Лужин, в старом пиджаке, спасенном от гибели, сидел у письменного стола и старательно срисовывал белый куб, стоявший перед ним. Тесть ходил по кабинету и рассказывал длинные, совершенно приличные анекдоты или читал на диване газету, изредка набирая воздух и откашливаясь. Теща и жена оставались за чайным столом, и из кабинета, через темную гостиную, был виден яркий, желтый абажур в столовой, освещенный профиль жены на буром фоне буфета, ее голые руки, которые, далеко облокотившись на ска-

терть, она загнула к одному плечу, скрестив пальцы, или вдруг плавно вытягивала руку и трогала какой-нибудь блестящий предмет на скатерти. Лужин оставлял куб и, взяв чистый лист бумаги, приготовив жестяной ящик с пуговицами акварельной краски, спешил зарисовать эту даль, но покамест тщательно, при помощи линейки, он выводил линии перспективы, в глубине что-то менялось, жена исчезала из яркой проймы столовой, свет потухал и зажигался поближе, в гостиной, и уже никакой перспективы не было. До красок вообще доходило редко, да и, по правде сказать, Лужин предпочитал карандаш. От сырости акварели неприятно коробилась бумага, мокрые краски сливались; порой нельзя было отвязаться от какой-нибудь чрезвычайно живучей берлинской лазури, — наберешь ее только на самый кончик кисточки, а она уже расплзается по эмали, пожирая приготовленный тон, и вода в стаканчике ядовито-синяя. Были плотные трубочки с китайской тушью и белилами, но неизменно терялись колпачки, подсыхало горлышко, и при нажатии трубочка лопалась снизу, и оттуда вылезал, виясь, толстый червячок краски. Бесплодная выходила пачкотня, и самые простые вещи — ваза с цветами или закат, скопированный из проспекта Ривьеры, — получались пятнистые, болезненные, ужасные. Рисовать же было приятно. Он нарисовал тещу, и она обиделась; нарисовал в профиль жену, и она сказала, что если она такая, то нечего было на ней жениться; зато очень хорошо вышел высокий крахмальный воротник тестя. С удовольствием Лужин чинил карандаш, мерил что-то, прищурил глаз и подняв карандаш с прижатым к нему большим пальцем, и осторожно двигал по бумаге резинкой, придерживая лист ладонью, так как по опыту знал, что иначе лист с треском даст складку. И очень деликатно он сдувал атомы резины, боясь прикосновением руки загрязнить рисунок. Больше всего он любил то, с чего начал по совету жены, то, к чему постоянно возвращался, — белые кубы, пирамиды, цилиндры и кусок гипсового орнамента, напоминавший ему урок рисования в школе, — единственный приемлемый урок. Успокоительны были тонкие линии, которые он по сто раз перечерчивал, добиваясь предельной тонкости, точности, чистоты. И замечательно хорошо было тушевать, нежно и ровно, не слишком нажимая, правильно лежащимися штрихами.

«Готово», — сказал он, отстраняя от себя лист и сквозь ресницы глядя на дорисованный куб. Тесть надел пенсне и долго смотрел, кивая головой. Из гостиной пришли теща

и жена и стали смотреть тоже. «Он даже маленькую тень отбрасывает, — сказала жена. — Очень, очень симпатичный куб». «Здорово, прямо футуристика», — проговорила теща. Лужин, улыбаясь одной стороной рта, взял рисунок и оглядел стены кабинета. Около двери уже висело одно его произведение: поезд на мосту, перекинутом через пропасть. В гостиной тоже было кое-что: череп на телефонной книжке. В столовой были очень круглые апельсины, которые все почему-то принимали за томаты. А спальню украшал углем сделанный барельеф и конфиденциальный разговор конуса с пирамидой. Он ушел из кабинета, блуждая по стенам глазами, и жена сказала со вздохом: «Интересно, куда милый Лужин это повесит».

«Меня еще не сочли нужным уведомить», — начала мать, указывая подбородком на груду пестрых проспектов, лежавших на столе. «А я сама не знаю, — сказала Лужина. — Очень трудно решить, всюду красиво. Я думаю, мы сперва поедem в Ниццу». «Я бы посоветовал Итальянские озера», — заговорил отец, сложив газету и сняв пенсне, и стал рассказывать, как эти озера прекрасны. «Я боюсь, ему немного надоели разговоры о путешествии, — сказала Лужина. — Мы в один прекрасный день просто сядем в поезд и покатым». «Не раньше апреля, — умоляюще протянула мать. — Ты же мне обещала...»

Лужин вернулся в кабинет. «У меня значилась коробочка с кнопками», — сказал он, глядя на письменный стол и хлопая себя по карманам (при этом он опять, в третий или четвертый раз, почувствовал, что в левом кармане что-то есть — но не коробочка, — и некогда было расследовать). Кнопки нашлись в столе. Лужин взял их и поспешно вышел.

«Да, я совсем забыла тебе рассказать. Представь себе, вчера утром...» И она стала рассказывать дочери, что звонила ей одна дама, неожиданно приехавшая из России. Эта дама барышней часто бывала у них в Петербурге. Оказалось, что несколько лет тому назад она вышла замуж за советского купца или чиновника — точно нельзя было разобрать — и по пути на курорт, куда муж ехал набираться новых сил, остановилась недельки на две в Берлине. «Мне, знаешь, как-то неловко, чтобы она бывала у меня, но она такая навязчивая. Удивляюсь, что она не боится звонить ко мне. Ведь если у нее там, в Совдепии, узнают, что она ко мне звонила...» — «Ах, мама, это, вероятно, очень несчастная женщина, — вырвалась временно на свободу, хочется повидать кого-нибудь». «Ну, так я тебе ee

передам, — облегченно сказала мать, — благо у тебя теплее».

И как-то, через несколько дней, в полдень, появилась приезжая. Лужин еще почивал, так как ночью плохо выспался. Дважды с гортанным криком просыпался, душный кошмаром, и сейчас Лужиной было как-то не до гостей. Приезжая оказалась худощавой, живой, удачно покрашенной и остриженной дамой, одетой, как одевалась Лужина, с недешевой простотой. Громко, вперебивку, убеждая друг друга, что обе они ничуть не изменились, а разве только похорошели, они прошли в кабинет, где было уютней, чем в гостиной. Приезжая про себя отметила, что Лужина десять-двенадцать лет тому назад была довольно изящной подвижной девочкой, а теперь пополнела, побледнела, притихла, а Лужина нашла, что скромная, молчаливая барышня, некогда бывавшая у них и влюбленная в студента, впоследствии расстрелянного, превратилась в очень интересную уверенную даму. «Ну и ваш Берлин... благодарю покорно. Я чуть не сдохла от холода. У нас, в Ленинграде, теплее, ей-богу, теплее». «Какой он, Петербург? Наверно, очень изменился?» — спросила Лужина. «Конечно, изменился», — бойко ответила приезжая. «И тяжелая, тяжелая жизнь», — вдумчиво кивая, сказала Лужина. «Ах, глупости какие! Ничего подобного. Работают у нас, строят. Даже мой мальчуган, — как, вы не знали, что у меня есть мальчуган? — ну как же, как же, очаровательный карапуз, — так вот, даже мой Митька говорит, что у нас в Ленинграде ляботают, а в Беллине бульзуи ничего не делают. И вообще, он находит, что в Берлине куда хуже, ни на что даже не желает смотреть. Он такой, знаете, наблюдательный, чуткий... Нет, серьезно говоря, ребенок прав. Я сама чувствую, как мы опередили Европу. Возьмите наш театр. Ведь у вас, в Европе, театра нет, просто нет. Я, понимаете, ничуть, ничуть не хвалю коммунистов. Но приходится признать одно: они смотрят вперед, они строят. Интенсивное строительство». «Я ничего в политике не понимаю, — жалобно протянула Лужина. — Но только мне кажется...» «Я только говорю, что нужно широко мыслить, — поспешно продолжала приезжая. — Вот, например, я сразу, как приехала, купила эмигрантскую газетку. И еще муж говорит, так, в шутку, — зачем ты, матушка, деньги тратишь на такое дерьмо — он хуже выразился, но скажем так для приличия, — а я вот: нет, говорю, все нужно посмотреть, все узнать, совершенно беспристрастно. И представьте, — открываю газету, читаю, и такая там на-

печатана клевета, такая ложь, так все плоско». «Я русские газеты редко вижу, — виновато сказала Лужина. — Вот мама получает русскую газету, из Сербии, кажется...» «Круговая порука, — продолжала с разбегу приезжая. — Только ругать, и никто не смеет пикнуть что-нибудь за». «Право же, будем говорить о другом, — растерянно сказала Лужина. — Я не могу это выразить, вы плохо умею об этом говорить, но я чувствую, что вы ошибаетесь. Вот, если хотите поговорить об этом с моими родителями как-нибудь...» (и, говоря это, Лужина, не без некоторого удовольствия, представила себе выкаченные глаза матери и ее павлиньи возгласы). «Ну, вы еще маленькая, — снисходительно улыбнулась приезжая. — Расскажите мне, что вы делаете, чем занимается ваш муж, какой он». «Он играл в шахматы, — ответила Лужина. — Замечательно играл. Но потом переутомился и теперь отдыхает, и, пожалуйста, не нужно с ним говорить о шахматах». «Да-да, я знаю, что он шахматист, — сказала приезжая. — Но какой он? Реакционер? Белогвардеец?» «Право, не знаю», — рассмеялась Лужина. «Я о нем вообще кое-что слышала, — продолжала приезжая. — Когда мне ваша тата сказала, что вы вышли за Лужина, я сразу и подумала почему-то, что это он и есть. У меня была хорошая знакомая в Ленинграде, она и рассказывала мне — с такой, знаете, наивной гордостью, — как научила своего маленького племянника играть в шахматы и как он потом стал чрезвычайно...»

На этом месте разговора произошел в соседней гостиной странный шум, словно там кто-то ушибся и вскрикнул. «Одну минуточку», — сказала Лужина и, вскочив с дивана, хотела было раздвинуть дверь в гостиную, но, передумав, прошла в гостиную через прихожую. Там она увидела совершенно неожиданного Лужина. Он был в халате, в ночных туфлях, держал в одной руке кусок булки, — но, конечно, не это было удивительно, — удивительно было дрожащее волнение, искажавшее его лицо, широко открытые, блестящие глаза, и лоб у него словно разбух, жила вздулась, и, увидев жену, он как бы сразу не обратил на нее внимания, а продолжал стоять, глядя с разинутым ртом в сторону кабинета. В следующее мгновение оказалось, что волнение его радостно. Он как-то радостно щелкнул зубами на жену и потом тяжело закружился, чуть не опрокинул пальму, потерял одну туфлю, которая скользнула, как живая, в столовую, где дымилось какао, и он проворно последовал за ней. «Я ничего, ничего», — лукаво сказал Лужин и, как человек, наслаждающийся тайной

находкой, хлопнул себя по коленям и, жмурясь, замотал головой. «Эта дама из России, — пытливо сказала жена. — Она знает вашу тетку, которая, — ну, одним словом, одну вашу тетку». «Отлично, отлично», — проговорил Лужин и вдруг захлебнулся смехом. «Что я пугаюсь? — подумала она. — Ему просто весело, он проснулся в хорошем настроении, хотел, может быть — ».

«Есть какая-нибудь шуточка, Лужин?» «Да-да, — сказал Лужин и добавил, найдя выход: — Я хотел представиться в халате». «Ну вот нам весело, это хорошо, — сказала она с улыбкой. — Вы покушайте, а потом одевайтесь. Сегодня как будто теплее». И Лужина, оставив мужа в столовой, быстро вернулась в кабинет. Гостья сидела на диване и рассматривала виды Швейцарии на страницах путеводительной брошюрки. «Послушайте, — сказала она, увидя Лужину, — а я вас возьму в оборот. Мне нужно кое-что купить, и я абсолютно не знаю, где тут лучшие магазины. Вчера битый час простояла перед витриной, стою и думаю: может быть, есть магазины еще лучше. Да и по-немецки я что-то неважно...»

Лужин остался сидеть в столовой и продолжал изредка хлопать себя по коленям. Да и было чему радоваться. Комбинация, которую он со времени бала мучительно разгадывал, неожиданно ему открылась, благодаря случайной фразе, долетевшей из другой комнаты. В эти первые минуты он еще только успел почувствовать острую радость шахматного игрока, и гордость, и облегчение, и то физиологическое ощущение гармонии, которое так хорошо знакомо творцам. Он еще проделал много мелких движений, прежде чем понял сущность необыкновенного своего открытия, — допил какао, побрился, переставил запонки в свежую рубашку. И вдруг радость пропала и нахлынул на него мутный и тяжкий ужас. Как в живой игре на доске бывает, что неясно повторяется какая-нибудь задачная комбинация, теоретически известная, — так намечалось в его теперешней жизни последовательное повторение известной ему схемы. И как только прошла первая радость — что вот он установил самый факт повторения, — как только он стал тщательно проверять свое открытие, Лужин содрогнулся. Смутно любуясь и смутно ужасаясь, он прослеживал, как страшно, как изошренно, как гибко повторялись за это время, ход за ходом, образы его детства (и усадьба, и город, и школа, и петербургская тетя), но еще не совсем понимал, чем это комбинационное повторение так для его души ужасно. Одно он живо чувство-

вал: некоторую досаду, что так долго не замечал хитрого сочетания ходов, и теперь, вспоминая какую-нибудь мелочь — а их было так много и иногда так искусно поданных, что почти скрывалось повторение, — Лужин негодовал на себя, что не спохватился, не взял инициативы, а в доверчивой слепоте позволил комбинации развиваться. Теперь же он решил быть осмотрительнее, следить за дальнейшим развитием ходов, если таковое будет, — и, конечно, конечно, держать открытие свое в непроницаемой тайне, быть веселым, чрезвычайно веселым. Но с этого дня покоя для него не было — нужно было придумать, пожалуй, защиту против этой коварной комбинации, освободиться от нее, а для этого следовало предугадать ее конечную цель, роковое ее направление, но это еще не представлялось возможным. И мысль, что повторение будет, вероятно, продолжаться, была так страшна, что ему хотелось остановить часы жизни, прервать вообще игру, застыть, и при этом он замечал, что продолжает существовать, что-то подготавливается, ползет, развивается и он не властен прекратить движение.

Быть может, жена скорее бы заметила перемену в Лужине, его деревянную веселость в перерывах хмурости, если бы в эти дни больше бывала с ним. Но так случилось, что именно в эти дни ее взяла в оборот, как и обещала сделать, неотвязная дама из России — часами заставляла себя возить по магазинам, неторопливо примеряла шляпы, платья, туфли и подолгу засиживалась у Лужиных. Она по-прежнему говорила о том, что в Европе нет театра, и с холодной легкостью произносила «Ленинград», и Лужина почему-то жалела ее, сопровождала ее в кафе, покупала ее сынку, мрачному толстому мальчику, лишенному при чужих дара речи, игрушки, которые он нехотя и боязливо брал, причем его мать утверждала, что ничто ему тут не нравится и что он мечтает вернуться к своим маленьким пионерам. Встретилась она и с родителями Лужиной, но разговора о политике, к сожалению, не произошло, вспоминали прежних знакомых, а Лужин молча и сосредоточенно кормил Митьку шоколадными конфетами, и Митька их молча и сосредоточенно поглощал и потом сильно покраснел и был поспешно уведен из комнаты. Погода меж тем потеплела, и раза два Лужина говорила мужу, что вот когда уедет наконец эта несчастная женщина с несчастным своим ребенком и неудобопоказуемым мужем, надо будет в первый же день, не откладывая, побывать на кладбище, и Лужин кивал, старательно улыбаясь.



Пишущую машинку, географию, рисование он забросил, зная теперь, что все это входило в комбинацию, было замысловатым повторением зафиксированных в детстве ходов. Нелепые дни: Лужина чувствовала, что недостаточно внимательна к настроению мужа, ускользало что-то, но все же она продолжала вежливо слушать болтовню приезжей, переводить приказчикам ее требования, и особенно было приятно, когда какие-нибудь туфли, уже раз ношенные, оказывались почему-либо негодными и нужно было с ней идти в магазин, и раскрасневшаяся дама по-русски распекала фирму, требовала, чтобы переменили туфли, и нужно было ее успокаивать и очень вуалировать в немецкой передаче хлесткие ее словечки. Вечером, накануне своего отъезда, она пришла вместе с Митькой прощаться. Митьку она оставила в кабинете, а сама пошла в спальню с Лужиной, и та в сотый раз показывала ей свой гардероб. Митька сидел на диване и почесывал колено, стараясь не смотреть на Лужина, который тоже не знал, куда смотреть, и придумывал, чем занять рыхлое дитя. «Телефон!» — наконец тонким голосом воскликнул Лужин и, указывая пальцем на аппарат, с нарочитым удивлением захохотал. Но Митька, хмуро посмотрев по направлению лужинского пальца, отвел глаза, и нижняя губа у него чуть-чуть отвисла. «Поезд и пропасть!» — попробовал опять Лужин и простер другую руку, указывая на собственную картину на стене. У Митьки блестящей капелькой наполнилась левая ноздря, и он потянул носом, безучастно глядя перед собой. «Автор одной божественной комедии!» — рявкнул Лужин, подняв руку к бюсту Данте. Молчание, легкое сопение. Лужин устал от своих гимнастических движений и тоже замер. Он стал соображать, нет ли в столовой конфет, подумал, не пустить ли в гостиной граммофон, но мальчик на диване его гипнотизировал одним своим присутствием, и невозможно было выйти из комнаты. «Игрушку бы», — сказал он про себя, посмотрел на стол, примерил разрезательный нож к любопытству ребенка, нашел, что любопытство возбуждено им не будет, и в отчаянии стал рыться у себя в карманах. И тут снова, в который уже раз, он почувствовал, что левый карман хоть и пуст, но каким-то таинственным образом хранит в себе некоторое неосязаемое содержание. Лужин подумал, что такой феномен способен заинтересовать Митьку. Он сел с ним рядом на край дивана, хитро подмигнул. «Фокус, — сказал он и стал показывать, что карман пуст. — Эта дырка не имеет отношения к фокусу», — пояснил он. Вяло и недоброжелательно

Митька смотрел на его движения. «А все ж таки тут что-то имеется», — восторженно сказал Лужин и опять подмигнул. «За подкладкой», — выцедил из себя Митька и, пожав плечом, отвернулся. «Правильно!» — изображая восхищение, крикнул Лужин и стал совать руку в дырку, придерживая другой рукой полу пиджака. Сперва показался какой-то красный угол, потом и вся вещь — нечто вроде плоской кожаной записной книжки. Лужин посмотрел на нее, подняв брови, повертел в руках и, вынув клапанчик сбоку, осторожно ее открыл. Не книжечка, а маленькая складная шахматная доска из сафьяна. Лужин тотчас вспомнил, что ему подарили ее в парижском клубе — всем участникам тамошнего турнира роздали по такой вещице, — в виде рекламы, что ли, какой-то фирмы, а не то просто на память от клуба. В отделениях, по сторонам самой доски, были целлулоидовые штучки, похожие на ноготки, и на каждой — изображение шахматной фигуры. Эти штучки вставлялись так, что острая часть въезжала в тонкую щелку на нижнем крае каждого квадрата, а округленная часть с нарисованной фигурой ложилась плоско на квадрат. Получалось очень изящно и аккуратно — эта маленькая красно-белая доска, ладные целлулоидовые ноготки, да еще тисненные золотом буквы вдоль горизонтального края доски и золотые цифры вдоль вертикального. Лужин, разинув рот от удовольствия, стал всовывать ноготки — сперва просто ряд пешек на второй линии, — но потом передумал и, осторожно, кончиками пальцев, беря подвижные изображеньица, расставил то положение в его партии с Турати, на котором ее прервали. Эта расстановка произошла почти мгновенно, и сразу вся вещественная сторона дела отпала: маленькая доска, раскрытая у него на ладони, стала неосязаемой и невесомой, сафьян растаял розовой мутью, все исчезло, кроме самого шахматного положения, сложного, острого, насыщенного необыкновенными возможностями. Лужин, приложив палец к виску, так задумался, что не заметил, как Митька, от нечего делать, сполз с дивана и принялся раскачивать черный ствол стоячей лампы. Вдруг она накренилась, и потух свет. Лужин очнулся в полной темноте и в первое мгновение не понял, где он и что кругом происходит. Невидимое существо ерзало и покрякивало где-то рядом, и внезапно оранжевый абажур опять засиял прозрачным светом, и бледный, с обритой головой мальчик стоял на коленях и поправлял шнур. Лужин вздрогнул и захлопнул доску. Маленький страшный его двойник, маленький Лужин, для

которого расставлялись шахматы; прополз на коленках по ковру... Все это уже было раз... И опять он попался, не понял, как произойдет в живой игре повторение знакомой темы. И в следующий миг все пришло в равновесие: Митька, посапывая, всполз на диван; в легком сумраке вокруг оранжевой лампы плавал, покачиваясь, лужинский кабинет; красная сафьяновая книжечка невинно лежала на ковре, — но Лужин знал, что это все обман, комбинация еще не вся развилась и вскоре наметится новое роковое повторение. Быстро нагнувшись, он схватил и сунул в карман вещественный символ того, что так сладостно и ужасно завладело опять его воображением, и подумал, куда бы еще вернее спрятать, но тут послышались голоса, вошли жена и гостя, обе поплыли на него, как бы сквозь папиросный дым. «Митька, вставай, пора. Да-да, милая, мне еще столько нужно уложить», — говорила дама и потом подошла к Лужину и стала с ним прощаться. «Очень была рада познакомиться, — сказала она и промеж слов успела подумать, что уже думала не раз: «Ну и балда, ну и типчик!» — Очень была рада. Вот расскажу вашей тетушке, что видела ее маленького шахматиста, ставшего большим, известным...» «Вы должны непременно навестить нас на обратном пути», — поспешно и громко прервала Лужина, впервые взглянув с ненавистью на улыбающиеся красные, как сургуч, губы и беспощадно глупые глаза. «Ну еще бы, само собой разумеется. Митька, встань и попрощайся!» Митька с легким отвращением это исполнил, и все вышли в прихожую. «У вас тут в Берлине всегда возня с выпусканиями», — насмешливо сказала она, глядя, как Лужин берет с подзеркальника ключи. «Нет, у нас лифт», — невпопад ответила Лужина, в неистовом нетерпении мечтая об уходе дамы, и бровью сделала знак мужу, чтобы он подал котиковое пальто. Лужин снял с вешалки детское пальтишко... но в это мгновение, к счастью, подоспела горничная. «До свидания, до свидания», — кланялась Лужина, стоя в дверях, пока гости, сопровождаемые горничной, располагались в лифте. Из-за жениного плеча Лужин видел, как Митька взлезает на лавочку, а затем дверные половинки закрылись, и лифт в своей железной клетке погрузился и исчез. Лужина побежала в кабинет и упала ничком на диван. Он сел с ней рядом и стал в недрах своих с трудом вырабатывать, склеивать, сшивать улыбку, готовя ее для того мгновения, когда жена к нему повернется. Жена повернулась. Улыбка вышла вполне удачная. «Ух, — вздохнула Лужина, — наконец-то избавились», — и, быстро

обняв мужа, стала целовать его — в правый глаз, потом в подбородок, потом в левое ухо, — соблюдая строгую череду, им когда-то одобренную. «Ну, прояснитесь, прояснитесь, — повторяла она. — Ведь эта мадам уехала, исчезла». «Исчезла», — покорно сказал Лужин и, вздохнув, поцеловал руку, трепавшую его за шею. «Нежности-то какие, — шепнула жена, — ах, какие милые нежности...»

Пора было ложиться спать, она ушла раздеваться, а Лужин ходил по всем трем комнатам, отыскивая место, где бы спрятать карманные шахматы. Всюду было небезопасно. В самые неожиданные места совался по утрам хобот хищного пылесоса. Трудно, трудно спрятать вещь, — ревнивы и нерадушны другие вещи, крепко держащиеся своих мест, и не примут они ни в какую щель бездомного, спасающегося от погони предмета. В этот вечер он так и не спрятал сафьяновой книжечки, а затем решил ее не прятать вовсе, а просто отделаться от нее, но это тоже оказалось нелегко; так и осталась она у него за подкладкой, и только через несколько месяцев, когда всякая опасность давно, давно миновала, только тогда сафьяновая книжечка опять нашлась, и уже темно было ее происхождение.

## 14

Лужина призналась самой себе, что для нее не прошло бесследно трехнедельное пребывание дамы из России. В суждениях дамы была ложь и глупость, — но как это докажешь? Она ужаснулась тому, что в продолжение последних лет так мало занималась наукой изгнания, равнодушно принимая лаком и золотой вязью блестящие воззрения своих родителей и без внимания слушая речи на собраниях, которые одно время полагалось посещать. Ей пришло в голову, что и Лужин, быть может, найдет вкус в гражданственных изысканиях, быть может, увлечется, как, по-видимому, увлекаются этим миллионы умных людей. А новое занятие для Лужина было необходимо. Он стал странен, появилась знакомая ей хмурость, и бывало у него часто скользящее выражение глаз, будто он что-то от нее скрывает. Ее волновало, что еще ни к чему он понастоящему не пристрастился, и она корила себя, что по узости умственного зрения не может найти ту область, ту идею, тот предмет, которые дали бы работу и пищу бездействующим талантам Лужина. Она знала, что нужно

спешить, что каждая пустующая минута лужинской жизни — лазейка для призраков. До отъезда в живописные страны надобно было найти для Лужина занимательную игру, а уж потом обратиться к бальзаму путешествий, решительному средству, которым лечатся от хандры романтические миллионеры.

Началось с газет. Она стала выписывать «Знамя», «Россиянина», «Зарубежный голос», «Объединение», «Клич», купила последние номера эмигрантских журналов и, для сравнения, несколько советских журналов и газет. Было решено, что ежедневно после обеда они будут друг другу читать вслух. Заметив, что в некоторых газетах попадает шахматный отдел, она сперва подумала, не вырезать ли эти места, но побоялась этим обидеть Лужина. Раза два, как пример интересной игры, мелькнули старые лужинские партии. Это было неприятно и опасно. Прятать номера с шахматным отделом не удавалось, так как Лужин копил газеты, желая впоследствии их переплести в виде больших книг. Когда в газете, им открытой, оказывалась темная шахматная диаграмма, она следила за выражением его лица, но ее взгляд он чувствовал и на диаграмму смотрел только мимоходом. И она не знала, с каким грешным нетерпением он ожидал тех четвергов или понедельников, когда бывал шахматный отдел, и не знала, с каким любопытством он просматривал в ее отсутствие напечатанные партии. Задачи же он запоминал сразу, искоса взглянув на рисунок и схватив этим взглядом распределение фигур, и потом решал про себя, пока жена вслух читала ему передовую. «...Вся деятельность исчерпывается коренным изменением и дополнением, которые должны обеспечить...» — ровным голосом читала жена. «Построение любопытное, — думал Лужин. — Ферзь черных совершенно свободен». — «...проводит четкую грань между жизненными интересами, причем не лишним было бы отметить, что ахиллесова пята этой карающей длани...» «Против угрозы на аш-семь у черных есть очевидная защита», — думал Лужин и механически улыбнулся оттого, что жена, прервав на миг чтение, вдруг сказала вполголоса: «Не понимаю». «Если в этом плане, — продолжала она, — рассматривать их дальнейшие планы...» «Ах, какая роскошь», — мысленно воскликнул Лужин, найдя ключ к задаче — очаровательно изящную жертву. «...и катастрофа не за горами», — закончила статью жена и, окончив, вздохнула. Дело в том, что чем внимательнее она читала газеты, тем ей становилось скучнее, и туманом слов и метафор, предположений и вы-

водов заслонялась ясная истина, которую она всегда чувствовала и никогда не могла выразить. Когда же она обращалась к газетам потусторонним, советским, то уже скуке не было границ. От них веяло холодом гробовой бухгалтерии, мушиной канцелярской тоской, и чем-то они ей напоминали образ маленького чиновника с мертвым лицом в одном учреждении, куда пришлось зайти в те дни, когда ее и Лужина гнали из канцелярии в канцелярию ради какой-то бумажки. Чиновник был обидчивый и замученный, и ел диабетический хлебец, и, вероятно, получал мизерное жалованье, был женат, и у ребенка была сыпь по всему телу. Бумажке, которой у них не было и которую следовало достать, он придавал значение космическое, весь мир держался на этой бумажке и безнадежно рассыпался в прах, если человек был ее лишен. Мало того: оказывалось, что Лужины получить ее не могли, прежде чем не истекут чудовищные сроки, тысячелетия отчаяния и пустоты, и одним только писанием прошений было позволено облегчить себе эту мировую скорбь. Чиновник огрызнулся на бедного Лужина за курение в присутственном месте, и Лужин, вздрогнув, сунул окурочок в карман. В окно был виден строящийся дом в лесах, косой дождь; в углу комнаты висел черный пиджачок, который чиновник в часы работы менял на люстриновый, и от его стола было общее впечатление лиловых чернил и все того же трансцендентального уныния. Они ушли, ничего не получив, и Лужина чувствовала, словно ей пришлось повоевать с серой и слепой вечностью, которая и победила ее, брезгливо оттолкнув робкую земную мзду — три сигары. Бумажку они получили в другом учреждении мгновенно. Лужина потом с ужасом думала, что маленький чиновник, уславший их, представляет себе, вероятно, как они безутешными призраками бродят в безвоздушных пространствах, и, быть может, все ждет их покорного рыдающего возвращения. Ей было неясно, почему именно его образ мерещился ей, как только она принималась за московскую газету. Скука и жалость были, что ли, такого же свойства, но ей было мало этого, ум не был удовлетворен, — и вдруг она понимала, что тоже ищет формулу, официальное воплощение чувства, а дело совсем не в том. Уму была непостижима сложная борьба туманных мнений, высказываемых различными газетами изгнания; это разнообразие мнений особенно поразило ее, привыкшую равнодушно думать, что все, которые не мыслят так, как ее родители, мыслят так, как хромой забавник, говоривший о социологии толпе смешли-

вых девиц. Оказывалось, что были тончайшие оттенки мнений и ехиднейшая вражда, — и если все это было слишком сложно для ума, то душа одно начинала постигать совершенно отчетливо: и тут и там мучат или хотят мучить, но там муки и хотение причинить муку в стократ больше, чем тут, и потому тут лучше.

Когда пришла Лужину очередь читать вслух, она выбирала для него фельетон с шутливым названием или коротенький прочувствованный рассказ. Он читал, смешно запинаясь, странно произнося некоторые слова, переезжая иногда за точку или не доезжая до нее и бессмысленно повышая и понижая голос. Ей нетрудно было понять, что газеты его не занимают; когда же она затевала разговор, соответствовавший только что прочитанной статье, он поспешно соглашался со всеми ее заключениями, и когда, чтобы проверить его, она нарочно сказала, что эмигрантские газеты все врут, он согласился тоже.

Газеты одно, люди другое; хорошо бы послушать этих людей. Она представила себе, как у нее в квартире будут собираться люди разного толка — «всякая интеллигентщина», по выражению матери, — и как, слушая живые споры и беседы на новые темы, Лужин если не расцветет, то, по крайней мере, найдет временное развлечение. Из всех знакомых ее матери наиболее просвещенным и даже «левым», как с некоторым кокетством утверждала мать, считался Олег Сергеевич Смирновский — но когда Лужина к нему обратилась с просьбой привести к ней несколько интересных свободомыслящих людей, читающих не только «Знамя», но и «Объединение» и «Зарубежный голос», — Смирновский ответил, что он, мол, не вращается в таких кругах, и стал порицать подобное вращение и быстро объяснил, что вращается в других кругах, где вращение необходимо, и у Лужиной неприятно закружилась голова, как в Лунапарке на вращающемся диске. После этой неудачи она из разных келеек памяти стала извлекать людей, которых случайно встречала и которые могли ей теперь пособить. Она вспомнила русскую девицу, которая сидела с ней рядом в школе прикладных искусств, дочь политического деятеля из демократов; вспомнила и Алферова, который бывал всюду и охотно рассказывал, что однажды у него на руках умер старый поэт; вспомнила малоценного родственника, служившего в конторе русской газеты, название которой с гортанными руладами выкрикивала под вечер толстая газетчица на углу. Выбрала еще кое-кого и, кроме того, подумала, что многие, вероятно, помнят Лужина-пи-

сателя и знают о Лужине-шахматисте и с удовольствием будут посещать его дом.

И что было Лужину до всего этого? Единственное, что по-настоящему занимало его, была сложная лукавая игра, в которую он — непонятно как — был замещан. Беспомощно и хмуро он выискивал приметы шахматного повторения, продолжал недоумевать, куда оно клонится. Но всегда быть начеку, всегда напрягать внимание он тоже не мог: что-то временно ослабевало в нем, он беззаботно наслаждался партией, напечатанной в газете, и, вдруг спохватившись, с тоской отмечал, что опять недосмотрел и в его жизни только что был сделан тонкий ход, беспощадно продолжавший роковую комбинацию. Тогда он решил удвоить бдительность, следить за каждой секундой жизни, ибо всюду мог быть подвох. И больше всего его томила невозможность придумать разумную защиту, ибо цель противника была еще скрыта.

Слишком полный и дряблый для своих лет, он ходил между людей, придуманных его женой, старался найти тихое место и все время смотрел и слушал, не проскользнул ли где намек на следующий ход, не продолжается ли игра, не им затеянная, но с ужасной силой направленная против него. Случалось, что намек такой бывал, что-то подвигалось вперед, но общее значение комбинации от этого не становилось яснее. И тихое место трудно было отыскать, — к нему обращались с вопросами, которые ему приходилось несколько раз про себя повторить, прежде чем понять их простой смысл и найти простой ответ. Во всех трех, телескопом раскрывшихся, комнатах было очень светло — ни одной не пощадили лампочки, — люди сидели в столовой, и на неудобных стульях в гостиной, и в кабинете на оттоманке, а один, в бледных фланелевых штанах, все норовил устроиться на письменном столе, отстраняя для удобства коробку с красками и кучку нераспечатанных газет. Пожилой актер, с лицом, перещупанным многими ролями, весь мягкий, мягкоголосый, почему-то производивший впечатление, что лучше всего он играет в ночных туфлях, там, где требуется кряхтение, охание, ужимчивое похмелье, заковыристые, сдобные словечки, — сидел на оттоманке, рядом с добротной черноглазой женой журналиста Барса, бывшей актрисой, и вспоминал с ней, как они когда-то в Самаре вместе играли в «Мечте Любви». «Помните, какой вышел конфуз с цилиндром? И как я ловко нашелся?» — мягко говорил актер. «Бесконечные овации, — говорила черноглазая дама, — мне были устроены такие



окации, что никогда не забуду...» Так они перебивали друг друга, вспоминали каждый свое, а человек в бледных штанах уже третий раз просил у замечтавшегося Лужина «папиросу, папиросочку». Был он начинающий поэт, читал свои стихи с пафосом, с подпеванием, слегка вздрагивая головой и глядя в пространство. Вообще же держал он голову высоко, отчего был очень заметен крупный подвижный кадык. Папиросы он так и не получил, ибо Лужин задумчиво перешел в гостиную, и, глядя с благоговением на его толстый затылок, поэт думал о том, какой это чудесный шахматист, и предвкушал время, когда с отдохнувшим, поправившимся Лужиным можно будет поговорить о шахматах, до которых был большой охотник, а потом увидел в пройму двери жену Лужина и некоторое время решал про себя вопрос, стоит ли за ней поволочиться. Лужина, улыбаясь, слушала, что говорит высокого роста, со щербатым лицом журналист Барс, а сама думала, как трудно усаживать этих гостей за общий чайный стол и не лучше ли в будущем просто разносить чай по углам. Барс говорил с необычайной быстротой и всегда так, словно ему необходимо в кратчайший срок выразить очень извилистую мысль со всеми ее придатками, ускользящими хвостиками, захватить, подправить все это, и если слушатель попадался внимательный, то мало-помалу начинал понимать, что в лабиринте этой спешащей речи постепенно проступает удивительная гармония, и самая эта речь с неправильными подчас ударениями и газетными словами внезапно преображалась, как бы перенимая от высказанной мысли ее стройность и благородство. Лужина, увидев мужа, сунула ему в руку тарелочку с красиво очищенным апельсином и прошла мимо него в кабинет. «И заметьте, — сказал невзрачного вида человек, выслушав и оценив мысль журналиста, — заметьте, что тютчевская ночь прохладна, и звезды там круглые, влажные, с отливом, а не просто светлые точки». Он больше ничего не сказал, так как говорил вообще мало; не столько из скромности, сколько, казалось, из боязни расплескать что-то драгоценное, не ему принадлежащее, но порученное ему. Лужиной, кстати сказать, он очень нравился, именно невзрачностью, неприметностью черт, словно он был сам по себе только некий сосуд, наполненный чем-то таким священным и редким, что было бы даже кощунственно внешность сосуда расцветить. Его звали Петров, он ничем в жизни не был замечателен, ничего не писал, жил, кажется, по-нищенски, но об этом никогда не рассказывал. Единственным его

назначением в жизни было сосредоточенно и благоговейно нести то, что было ему поручено, то, что нужно было сохранить непременно, во всех подробностях, во всей чистоте, а потому и ходил он мелкими осторожными шажками, стараясь никого не толкнуть, и только очень редко, только когда улавливал в собеседнике родственную бережность, показывал на миг — из всего того огромного и таинственного, что он в себе нес, — какую-нибудь нежную бесценную мелочь, строку из Пушкина или простонародное название полевого цветка. «Я вспоминаю его отца, — сказал журналист, когда спина Лужина удалилась в столовую. — Лицом не похож, но есть что-то аналогичное в наклоне плеч. Милый, хороший был человек, но как писатель... Что? Вы разве находите, что эти олеографические повести для юношества...» «Пожалуйста, пожалуйста, в столовую, — заговорила Лужина, возвращаясь из кабинета с найденными там тремя гостями. — Чай подан. Ну, я прошу вас». Те, которые уже были за столом, сидели в одном конце, — в другом же одиноко сидел Лужин, мрачно нагнув голову, жевал апельсин и мешал чай в стакане. Был тут Алферов с женой, смуглая, ярко накрашенная барышня, чудесно рисовавшая жар-птиц, лысый молодой человек, с юмором называвший себя газетным работником, но втайне мечтавший быть коноводом в политике, две дамы — жены адвокатов... И еще сидел за столом милейший Василий Васильевич, застенчивый, благообразный, светлородый, в старческих штиблетах, кристальной души человек. В свое время его ссылали в Сибирь, потом за границу, оттуда он вернулся, успел одним глазком повидать революцию и был сослан опять. Он задушевно рассказывал о подпольной работе, о Каутском, о Женеве и не мог без умиления смотреть на Лужину, в которой находил сходство с какими-то ясноглазыми идеальными барышнями, работавшими вместе с ним на благо народа. И в этот раз, как и в предыдущие разы, Лужина заметила, что, когда наконец все гости были собраны и посажены все вместе за стол, наступило молчание. Молчание было такое, что ясно слышно было дыхание горничной, разносившей чай. Лужина несколько раз ловила себя на невозможной мысли, что хорошо бы спросить у горничной, почему она так громко дышит и не может ли она это делать тише. Была она вообще не очень расторопна, эта пухленькая девица, особенно — беда с телефонами. Лужина, прислушиваясь к дыханию, мельком вспомнила, что на днях горничная ей со смехом доложила: «Звонил господин Фа... Фа... Фати.

Вот, я записала номер». Лужина по номеру позвонила, но резкий голос ответил, что тут кинематографическая контора и никакого Фати нет. Какая-то безнадежная путаница. Она собралась было попенять на немецких горничных, чтобы вывести из молчания соседа, но тут заметила, что разговор уже вспыхнул, говорят о новой книге. Барс утверждал, что она написана изощренно и замысловато и в каждом слове чувствуется бессонная ночь; дамский голос сказал, что «ах нет, она так легко читается»; Петров нагнулся к Лужиной и шепнул ей цитату из Жуковского: «Лишь то, что писано с трудом, читать легко»; а поэт, кого-то перебив на полслове, запальчиво картавя, крикнул, что автор дурак; на что Василий Васильевич, не читавший книги, укоризненно покачал головой. Только уже в передней, когда все друг с другом прощались в виде пробного испытания, ибо потом все опять прощались друг с другом на улице, хотя всем было идти в одну сторону, — актер с перешупантым лицом вдруг хватил себя по лбу ладонью. «Чуть не забыл, голубушка, — сказал он, при каждом слове почему-то пожимая Лужиной руку. — На' днях у меня спрашивал ваш телефон один человек из кинематографического королевства». Тут он сделал удивленные глаза и отпустил руку Лужиной. «Как, вы не знаете, что я теперь снимаюсь? Как же, как же. Большие роли, и во всю морду». На этом месте его оттеснил поэт, и Лужина так и не узнала, о каком человеке хотел сказать актер.

Гости ушли. Лужин сидел боком к столу, на котором замерли в разных позах, как персонажи в заключительной сцене «Ревизора», остатки угощения, пустые и недопитые стаканы. Одна его рука была тяжело растопырена на ска-терти. Из-под полуопущенных, снова распухших век он смотрел на черный, свившийся от боли кончик спички, которая только что погасла у него в пальцах. Его большое лицо, с вялыми складками у'носа и рта, слегка лоснилось, и на щеках золотистой от света щетиной уже успел за день наметиться вечно сбываемый и вечно всходящий волос. Темно-серый, мохнатый на ощупь костюм облегал его теснее, чем прежде, хотя был задуман просторным. Так сидел Лужин, не шевелясь, и блстели стеклянные вазочки с конфетами; и какая-то ложечка застыла на скатерти, далеко от всякого прибора, и в полной неприкосновенности почему-то остался маленький, не прельщавший взгляда, но очень, очень вкусный пирог. «Что же это такое, — думала Лужина, глядя на мужа. — Господи, что же это такое?» И она почувствовала бессилие, безнадежность, мутную

тоску, словно взялась за дело, слишком для нее трудное. И все пропадало зря, как этот пирог, все пропадало зря, — незачем было стараться, придумывать развлечения, созывать занятных гостей. Она попробовала представить себе, как вот этого, опять слепого, опять хмурого Лужина станет возить по Ривьере, и всего только и увидела: Лужин сидит в номере гостиницы, уставившись в пол. С неприятным чувством, что подглядывает сквозь замочную скважину судьбы, она на миг нагнулась и увидела будущее — десять, двадцать, тридцать лет, — и все было то же самое, никакой перемены, все тот же хмурый согбенный Лужин, и молчание, и безнадежность. Дурная, недостойная мысль. Ее душа сразу разогнулась опять, и кругом были знакомые образы и заботы: пора спать, песочного пирога в следующий раз не нужно, какой милый Петров, завтра утром придется ехать насчет паспортных дел, опять откладывается кладбище. Казалось, чего проще — сесть им в таксомотор и покатить туда, за город, на маленькое, окруженное пустырем кладбище. Но все случилось так, что ехать нельзя было, то зубы у Лужина болели, то вот паспортные хлопоты, то еще что-нибудь — мелкие, незаметные помехи. И сколько теперь будет разных дел... Непременно нужно будет Лужина повести к дантисту. «Опять болит?» — спросила она и опустила ладонь на руку Лужина. «Да-да», — сказал он и, скривив лицо, вобрал одну щеку с чмокающим звуком. Зубную боль он придумал на днях, чтобы объяснить как-нибудь свою подавленность и молчание. «Завтра же позвоню дантисту», — решительно сказала она. «Не надо, — протяжно проговорил Лужин, — пожалуйста, не надо». Губы у него задрожали. Он почувствовал, что сейчас разрыдается, слишком уж становилось все это страшно. «Чего не надо?» — спросила она ласково и вопросительный знак выразила маленьким звуком, вроде «ым?» с закрытыми губами. Он потряс головой и на всякий случай опять пососал зуб. «К дантисту не надо? Нет, Лужина к дантисту поведут. Это нельзя запускать». Лужин встал со стула и, держась за щеку, ушел в спальню. «Я ему дам облатку, — сказала она. — Вот что».

Облатка не подействовала. Лужин долго еще бодрствовал после того, как заснула жена. По правде сказать, ночные часы, часы бессонницы, в темной, запертой комнате, были единственные, когда можно спокойно думать и не бояться пропустить новый ход в чудовищной комбинации. Ночью, особенно если лежать неподвижно, с закрытыми глазами, ничего произойти не могло. Тщательно и по воз-

возможности хладнокровно Лужин проверял уже сделанные против него ходы, но как только он начинал гадать, какие формы примет дальнейшее повторение схемы его прошлого, ему становилось смутно и страшно, будто надвигалась на него с беспощадной точностью неизбежная и немыслимая беда. В эту ночь он особенно остро почувствовал свое бессилие перед этой медленной изощренной атакой, и ему захотелось не спать вовсе, продлить как можно больше эту ночь, эту тихую темноту, остановить время на полночи. Жена спала совершенно безмолвно; вернее всего — ее не было вовсе. Только тиканье часов на ночном столике доказывало, что время продолжает жить. Лужин вслушивался в это мелкое сердцебиение и задумывался опять и вдруг вздрогнул, заметив, что тиканье часов прекратилось. Ему показалось, что ночь застыла навсегда, теперь уже не было ни единого звука, который бы отмечал ее прохождение, время умерло, все было хорошо, бархатная тишь. Этим счастьем и успокоением незаметно воспользовался сон, и уже во сне покоя не было, а простирались все те же шестьдесят четыре квадрата, великая доска, посреди которой, дрожащий и совершенно голый, стоял Лужин, ростом с пешку, и вглядывался в неясное расположение огромных фигур, горбатых, головастых, венценосных.

Он проснулся оттого, что жена, уже одетая, наклонилась над ним и поцеловала в переносицу. «Здравствуйте, милый Лужин, — сказала она. — Уже десять часов. Что мы сегодня делаем — дантист или виза?» Лужин посмотрел на нее светлыми растерянными глазами и сразу прикрыл веки опять. «А кто забыл на ночь часы завести? — засмеялась жена, слегка тормоша его за полную белую шею. — Так можно проспять всю жизнь». Она наклонила голову набок, глядя на профиль мужа, окруженный вздутием подушки, и, заметив, что он снова заснул, улыбнулась и вышла из комнаты. В кабинете она постояла перед окном, глядя на зеленовато-голубое небо, по-зимнему безоблачное, и подумала, что сегодня, должно быть, очень холодно и Лужину надо приготовить шерстяной жилет. На письменном столе зазвонил телефон, это, очевидно, мать спрашивала, будут ли они сегодня у нее обедать. «Алло?» — сказала Лужина, присев на край стола. «Аллё, аллё», — взволнованно и сердито закричал в телефон неизвестный голос. «Да-да, я слушаю», — сказала Лужина и пересела в кресло. «Кто там?» — по-немецки, но с русской растяжкой спросил недовольный голос. «А кто говорит?» — понаведальась Лужина. «Господин Лужин дома?» — спросил голос по-русски.

«Кто говорит?» — с улыбкой повторила Лужина. Молчание. Голос как будто решал про себя вопрос, открыться или нет. «Я хочу говорить с господином Лужиным, — начал он опять, вернувшись к немецкому языку. — Очень спешное и важное дело». «Минуточку», — сказала Лужина и прошлась раза два по комнате. Нет, Лужина будить не стоило. Она вернулась к телефону. «Еще спит, — сказала она. — Но если хотите ему что-нибудь передать...» «Ах, это очень досадно, — заговорил голос, окончательно усвоив русскую речь. — Я звоню уже второй раз. Я прошлый раз оставил свой телефон. Дело для него крайне важное и не терпящее отлагательства». «Я — его жена, — сказала Лужина. — Если что нужно...» «Очень рад познакомиться, — деловито перебил голос. — Моя фамилия — Валентинов. Ваш супруг, конечно, рассказывал вам обо мне. Так вот: скажите ему, как только он проснется, чтобы он сел в автомобиль и ехал бы ко мне. Киноконцерн «Веритас», Рабенштрассе, 82. Дело очень спешное и для него очень важное», — продолжал голос, опять перейдя на немецкий язык, потому ли что этого требовала важность дела, или потому просто, что немецкий адрес увлек его в соответствующую речь, — неизвестно. Лужина сделала вид, что записывает адрес, и потом сказала: «Может быть, вы мне все-таки скажете сперва, в чем дело». Голос неприятно взволновался: «Я старый друг вашего мужа. Каждая секунда дорога. Я его жду сегодня ровно в двенадцать. Пожалуйста, передайте ему. Каждая секунда». «Хорошо, — сказала Лужина. — Я ему передам, но только не знаю, — может быть, ему сегодня неудобно». «Шепните ему одно: Валентинов тебя ждет», — засмеялся голос и, пропев немецкое «до свидания», провалился в щелкнувший люк. Несколько мгновений Лужина просидела в раздумье, потом она назвала себя душой. Надо было прежде всего объяснить, что Лужин перестал заниматься шахматами. Валентинов... Тут только она вспомнила визитную карточку, найденную в шапокляке. Валентинов, конечно, знакомый Лужина по шахматным делам. Других у него не было. Ни о каком старом друге он никогда не рассказывал. Тон у этого господина совершенно невозможный. Нужно было потребовать, чтобы он объяснил, в чем дело. Дура. Что же теперь делать? Спросить у Лужина? — Нет. Кто такой Валентинов? Старый друг... Граальский говорил, что у него справлялись... Ага, очень просто. Она пошла в спальню, убедилась, что Лужин еще спит — а спал он по утрам удивительно крепко, — и вернулась к телефону. Актер, к счастью,

оказался дома и сразу принялся рассказывать длинную историю о легкомысленных и подловатых поступках, совершенных когда-то его вчерашней собеседницей. Лужина, нетерпеливо дослушав, спросила, кто такой Валентинов. Актер ахнул и стал говорить, что «представьте себе, вот я какой забывчивый, без суфлера не могу жить»; и наконец, подробно рассказав о своих отношениях с Валентиновым, мельком упомянул, что Валентинов, по его, валентиновским, словам, был шахматным опекуном Лужина и сделал из него великого игрока. Затем актер вернулся ко вчерашней даме и, рассказав еще одну ее подлость, стал многоречиво с Лужиной прощаться, причем последние его слова были: «Целую в ладошку».

«Вот оно что, — проговорила Лужина, повесив трубку. — Ну, хорошо». Тут она спохватилась, что в разговоре раза два произнесла фамилию Валентинова и что муж мог случайно слышать, если выходил из спальни в прихожую. У нее екнуло сердце, и она побежала проверить, спит ли он еще. Он проснулся и курил в постели. «Мы сегодня никуда не поедем, — сказала она. — Очень все поздно вышло. А обедать будем у мамы. Полежите еще, вам полезно, вы толстый». Крепко прикрыв дверь спальни и затем дверь кабинета, она торопливо выискала в телефонной книге номер «Веритаса» и, прислушавшись, не ходит ли поблизости Лужин, позвонила. Оказалось, что Валентинова не так-то легко добиться. Трое разных людей, сменяясь, подходили к телефону, отвечали, что сейчас позовут, а потом барышня разъединяла, и надо было начинать сызнова. При этом она старалась говорить по возможности тише, и приходилось повторять, и это было очень неприятно. Наконец желтенький, худенький голос уныло сообщил ей, что Валентинова нет, но что он непременно будет в половине первого. Она попросила передать, что Лужин не может приехать, так как болен, будет болеть долго и убедительно просит, чтобы его больше не беспокоили. Опустив трубку на вилку, она опять прислушалась, услышала только стук своего сердца и тогда вздохнула и с безмерным облегчением сказала «уф». С Валентиновым было покончено. Слава богу, что она оказалась одна у телефона. Теперь это миновало. А скоро отъезд. Еще нужно позвонить матери и дантисту. А с Валентиновым покончено. Какое слащавое имя. И на минуту она задумалась, совершив за одну минуту, как это иногда бывает, долгое и неторопливое путешествие: направилась она в лужинское прошлое, таща за собой Валентинова, которого по голосу представила себе

в черепаховых очках, длинноногого, и, путешествуя в легком тумане, она искала место, где бы опустить наземь Валентинова, скользкого, отвратительно ерзавшего, но места она не находила, так как о юности Лужина не знала почти ничего. Пробираясь еще дальше, вглубь, она, через призрачный курорт с призрачной гостиницей, где жил четырнадцатилетний вундеркинд, попала в детство Лужина, где было как-то светлее, — но и тут Валентинова не удалось пристроить. Тогда она вернулась вспять со своей все мерзостнее становившейся ношей, и кое-где, в тумане лужинской юности, были острова: он уезжает за границу играть в шахматы, покупает открытки в Палермо, держит в руках визитную карточку с таинственной фамилией... Пришлось возвратиться восвояси с пыхтящим, торжествующим Валентиновым и вернуть его фирме «Веритас», как заказной пакет, посланный по ненайденному адресу. Пускай же он и останется там, неведомый, но несомненно вредный, со страшным своим прозвищем: шахматный опекун.

По дороге к родителям она, идя под руку с Лужиным по солнечной, морозцем тронутой улице, стала говорить о том, что через неделю, самое позднее, они должны уехать, а до этого непременно посетить всеми забытую могилу. Тут же она наметила план этой недели — паспорта, дантист, покупки, прощальный прием и — в пятницу — поездка на кладбище. В квартире у матери было холодно, не так, как месяц тому назад, но все-таки холодно, и мать куталась в замечательную шаль с пионами по зелени и, кутаясь, зябко поводила плечами. Отец приехал во время обеда, и требовал водочки, и с сухим шелестом потирал руки. И Лужина в первый раз заметила, как грустно и пусто в этих звонких комнатах, и заметила, что веселость отца такая же притворная, как улыбка матери, и что оба они уже старые и очень одинокие, и бедного Лужина не любят, и стараются не упоминать о предстоящем отъезде. Она вспомнила все то ужасное, что о женихе говорилось, зловещие предостережения и крик матери: «На куски разрубит, в печке тебя сожжет»... А из всего этого вышло теперь что-то очень мирное и невеселое, и все улыбалось мертвой улыбкой: фальшиво разудалые бабы на картинах, овальные зеркала, берлинский самовар, четверо людей за столом. «Затишье, — думал Лужин в этот день. — Затишье, но скрытые препараты. Оно желает меня взять врасплох. Концентрироваться и наблюдать».

Все мысли его за последнее время были шахматного порядка, но он еще держался — о прерванной партии с



Турати запрещал себе думать, заветных номеров газет не раскрывал, — и все-таки мог мыслить только шахматными образами, и мысли его работали так, словно он сидит за доской. Иногда, во сне, он клялся доктору с агазовыми глазами, что в шахматы не играет, — вот только однажды расставил фигуры на карманной доске да просмотрел две-три партии, приведенные в газете, — просто так, от нечего делать. Да и эти падения случались не по его вине, а являлись серией ходов в общей комбинации, которая искусно повторяла некую загадочную тему. Трудно, очень трудно заранее предвидеть следующее повторение, но еще немного — и все станет ясным, и, быть может, найдется защита...

Но следующий ход готовился очень медленно. Два-три дня продолжалось затишье; Лужин снимался для паспорта, и фотограф брал его за подбородок, поворачивал ему чуть-чуть лицо, просил открыть рот пошире и сверлил ему зуб с напряженным жужжанием. Жужжание прекращалось, дантист искал на стеклянной полочке что-то, и, найдя, ставил штампель на паспорте, и писал, быстро-быстро двигая пером. «Пожалуйста», — говорил он, подавая бумагу, где были нарисованы зубы в два ряда, и на двух зубах стояли чернилом сделанные крестики. Во всем этом ничего подозрительного не было, и это лукавое затишье продолжалось до четверга. И в четверг Лужин все понял.

Еще накануне ему пришел в голову любопытный прием, которым, пожалуй, можно было обмануть козни таинственного противника. Прием состоял в том, чтобы по своей воле совершить какое-нибудь нелепое, но неожиданное действие, которое бы выпадало из общей планомерности жизни и таким образом путало бы дальнейшее сочетание ходов, задуманных противником. Защита была пробная, защита, так сказать, наудачу, — но Лужин, шалея от ужаса перед неизбежностью следующего повторения, ничего не мог найти лучшего. В четверг днем, сопровождая жену и тещу по магазинам, он вдруг остановился и воскликнул: «Дантист. Я забыл дантиста». «Какие глупости, Лужин, — сказала жена. — Ведь вчера же он сказал, что все сделано», «Нажимать, — проговорил Лужин и поднял палец. — Если будет нажимать пломба. Говорилось, что если будет нажимать, чтобы я приехал пунктуально в четыре. Нажимает. Без десяти четыре». «Вы что-то спутали, — улыбнулась жена. — Но, конечно, если болит, поезжайте. А потом возвращайтесь домой, я буду

дома к шести». «Пужинайте у нас», — сказала с мольбой в голосе мать. «Нет, у нас вечером гости, — гости, которых ты не любишь». Лужин махнул тростью в знак прощания и влез в таксомотор, кругло согнув спину. «Маленький маневр», — усмехнулся он и, почувствовав, что ему жарко, расстегнул пальто. После первого же поворота он остановил таксомотор, заплатил и не торопясь пошел домой. И тут ему вдруг показалось, что когда-то он все это уже раз проделал, и он так испугался, что завернул в первый попавшийся магазин, решив новой неожиданностью перехитрить противника. Магазин оказался парикмахерской, да притом дамской. Лужин, озираясь, остановился, и улыбающаяся женщина спросила у него, что ему надо. «Купить...» — сказал Лужин, продолжая озираясь. Тут он увидел восковой бюст и указал на него тростью (неожиданный ход, великолепный ход). «Это не для продажи», — сказала женщина. «Двадцать марок», — сказал Лужин и вынул бумажник. «Вы хотите купить эту куклу?» — недоверчиво спросила женщина, и подошел еще кто-то. «Да», — сказал Лужин и стал разглядывать восковое лицо. «Осторожно, — шепнул он вдруг самому себе, — я, кажется, попадаюсь». Взгляд восковой дамы, ее розовые ноздри — это тоже было когда-то. «Шутка», — сказал Лужин и поспешно вышел из парикмахерской. Ему стало отвратительно неприятно, он прибавил шагу, хотя некуда было спешить. «Домой, домой, — бормотал он, — хорошенько все скомбинирую». Подходя к дому, он заметил, что у подъезда остановился большой зеркально-черный автомобиль. Господин в котелке что-то спрашивал у швейцара. Швейцар, увидев Лужина, вдруг протянул палец и крикнул: «Вот, он!» Господин обернулся.

...Слегка посмуглевший, отчего белки глаз казались светлее, все такой же нарядный, в пальто с котиковым воротником шалью, в большом белом шелковом кашне, Валентинов шагнул к Лужину с обаятельной улыбкой, — озарил Лужина, словно из прожектора, и при свете, которым он обдал его, увидел полное бледное лужинское лицо, моргающие веки, и в следующий миг это лицо потеряло всякое выражение, и рука, которую Валентинов сжал в обеих ладонях, была совершенно безвольная. «Дорогой мой, — просиял словами Валентинов, — счастлив тебя увидеть. Мне говорили, что ты в постели, болен, дорогой. Но ведь это какая-то путаница»... И, при ударе на «путаница», Валентинов выпятил красные мокрые губы и сладко сузил глаза. «Однако нежности отложим на

потом, — перебил он себя и со стуком надел котелок. — Едем. Дело исключительной важности, и промедление было бы... губительно», — закончил он, отпахнув дверцу автомобиля; после чего, обняв Лужина за спину, как будто поднял его с земли, и увлек, и усадил, упав с ним рядом на низкое мягкое сиденье. На стульчике, спереди, сидел боком небольшой востроносый человечек, с поднятым воротником пальто. Валентинов, как только откинулся и скрестил ноги, стал продолжать разговор с этим человечком, разговор, прерванный на запятой и теперь ускоряющийся по мере того как расходился автомобиль. Язвительно и чрезвычайно обстоятельно он распекал его, не обращая никакого внимания на Лужина, который сидел, как бережно прислоненная к чему-то статуя, совершенно оцепеневший и слышавший как бы сквозь тяжелую завесу смутное отдаленное рокотание Валентинова. Для востроносого это было не рокотание, а очень хлесткие, обидные слова, — но сила была на стороне Валентинова, и обижаемый только вздыхал да ковырял с несчастным видом сальное пятно на черном своем пальтишке, а иногда, при особенно метком словце, поднимал брови и смотрел на Валентинова, но, не выдержав этого сверкания, сразу жмурился и тихо мотал головой. Распекание продолжалось до самого конца поездки, и когда Валентинов мягко вытолкнул Лужина на панель и захлопнул за собой дверцу, добитый человечек продолжал сидеть внутри, и автомобиль сразу повез его дальше, и хотя места было теперь много, он остался, уныло сгорбленный, на переднем стульчике. Лужин меж тем уставился неподвижным и бессмысленным взглядом на белую, как яичная скорлупа, дощечку с черной надписью «Веритас», но Валентинов сразу увлек его дальше и опустил в кожаное кресло из породы клубных, которое было еще более цепким и вязким, чем сиденье автомобиля. В этот миг кто-то взволнованным голосом позвал Валентинова, и он, вдвинув в ограниченное поле лужинского зрения открытую коробку сигар, извинился и исчез. Звук его голоса остался дрожать в комнате, и для Лужина, медленно выходявшего из оцепенения, он стал постепенно и вкрадчиво превращаться в некий обольстительный образ. При звуке этого голоса, при музыке шахматного соблазна, Лужин вспомнил с восхитительной, влажной печалью, свойственной воспоминаниям о любви, тысячу партий, сыгранных им когда-то. Он не знал, какую выбрать, чтобы со слезами насладиться ею, все привлекало и ласкало воображение, и он летал от одной к дру-

гой, перебирая на миг раздирающие душу комбинации. Были комбинации чистые и стройные, где мысль восходила к победе по мраморным ступеням; были нежные содрогания в уголке доски, и страстный взрыв, и фанфара ферзя, идущего на жертвенную гибель... Все было прекрасно, все переливы любви, все излучины и таинственные тропы, избранные ею. И эта любовь была гибельна. Ключ найден. Цель атаки ясна. Неумолимым повторением ходов она приводит опять к той же страсти, разрушающей жизненный сон. Опустошение, ужас, безумие.

«Ах, не надо», — громко сказал Лужин и попробовал встать. Но он был слаб и тучен, и вязкое кресло не отпустило его. Да и что он мог предпринять теперь? Его защита оказалась ошибочной. Эту ошибку предвидел противник, и неумолимый ход, подготавливаемый давно, был теперь сделан. Лужин застонал и откашлялся, растерянно озираясь. Спереди был круглый стол, на нем альбомы, журналы, отдельные листы, фотографии испуганных женщин и хищно прищуренных мужчин. А на одной был бледный человечек с безжизненным лицом в больших американских очках, который на руках повис с карниза небоскреба, — вот-вот сорвется в пропасть. И опять раздался невыносимо знакомый голос: Валентинов, чтобы не терять времени, заговорил с Лужиным, еще только подходя к двери, и когда дверь открыл, то продолжал начатую фразу: «...крутить новый фильм. Манускрипт сочинен мной. Представь себе, дорогой, молодую девушку, красивую, страстную, в купе экспресса. На одной из станций входит молодой мужчина. Из хорошей семьи. И вот ночь в вагоне. Она засыпает и во сне раскинулась. Роскошная молодая девушка. Мужчина — знаешь, такой, полный соку, — совершенно чистый, неискушенный юнец, начинает буквально терять голову. Он в каком-то трансе набрасывается на нее (...и Валентинов, вскочив, сделал вид, что тяжело дышит и набрасывается...). Он чувствует запах духов, кружевное белье, роскошное молодое тело... Она просыпается, отбрасывает его, кричит (...Валентинов прижал кулак ко рту и выкатил глаза...), вбегает кондуктор, пассажиры. Его судят, посылают на каторгу. Старуха мать приходит к молодой девушке умолять, чтобы спасла сына. Драма девушки. Дело в том, что с первого же момента — там, в экспрессе, — она им увлеклась, увлеклась, увлеклась, вся дышит страстью, а он, из-за нее — понимаешь, вот в чем напряжение, — из-за нее отправлен на каторгу».

Валентинов передохнул и продолжал более спокойно: «Дальше следует его бегство. Приключения. Он меняет фамилию и становится знаменитым шахматистом, и вот тут-то, мой дорогой, мне нужно твое содействие. У меня явилась блестящая мысль. Я хочу заснять как бы настоящий турнир, чтобы с моим героем играли настоящие, живые шахматисты. Турати уже согласился, Мозер тоже. Необходим еще гроссмейстер Лужин...»

«Я полагаю, — продолжал Валентинов после некоторой паузы, во время которой он глядел на совершенно бесстрастное лицо Лужина, — я полагаю, что он согласится. Он многим обязан мне. Он получит некоторую сумму за это коротенькое выступление. Он вспомнит при этом, что, когда отец бросил его на произвол судьбы, я щедро раскошелился. Я думал тогда, что свои — сочтемся. Я продолжаю так думать».

В это мгновение дверь с размаху открылась, и кудрявый господин без пиджака крикнул по-немецки с тревожной мольбой в голосе: «Ах, пожалуйста, господин Валентинов, на одну минуточку!» «Прости, дорогой, — сказал Валентинов и пошел к двери, но, не доходя, круто повернулся, порывшись в бумажнике и выбросил на стол перед Лужиным какой-то листок. — Недавно сочинил, — сказал он. — Ты реши покамест. Я через десять минут вернусь». Он исчез. Лужин осторожно поднял веки. Машинально взял листок. Вырезка из шахматного журнала, диаграмма задачи. В три хода мат. Композиция доктора Валентинова. Задача была холодна и хитра, и, зная Валентинова, Лужин мгновенно нашел ключ. В этом замысловатом шахматном фокусе он, как воочию, увидел все коварство его автора. Из темных слов, только что в таком обилии сказанных Валентиновым, он понял одно: никакого кинематографа нет, кинематограф только предлог... ловушка... Вовлечение в шахматную игру, и затем следующий ход ясен. Но этот ход сделан не будет.

Лужин рванулся и, мучительно оскалившись, вылез из кресла. Им овладела жажда движений. Играя тростью, щелкая пальцами свободной руки, он вышел в коридор, зашагал наугад, попал в какой-то двор и оттуда на улицу. Трамвай со знакомым номером остановился перед ним. Он вошел, сел, но тотчас встал опять и, преувеличенно двигая плечами, хватаясь за кожаные ремни, перешел на другое место, около окна. Вагон был пустой. Кондуктору он дал марку и сильно затряс головой, отказываясь от сдачи. Невозможно было сидеть на месте. Он вскочил снова, чуть

не упал, оттого что трамвай заворачивал, и пересел поближе к двери. Но и тут он не усидел, — и когда вдруг ни с того ни с сего вагон наполнился оравой школьников, десятью старухами, пятьюдесятью толстяками, Лужин продолжал двигаться, наступая на чужие ноги, и потом протиснулся к площадке. Увидев свой дом, он покинул трамвай на ходу, асфальт промчался под левым каблучком и, обернувшись, ударил его в спину, и трость, запутавшись в ногах, вдруг выскочила, как освобожденная пружина, взлетела к небу и упала рядом с ним. Две дамы подбежали к нему и помогли ему встать. Он ладонью стал сбивать пыль с пальто, надел шляпу и не оглядываясь зашагал к дому. Лифт оказался испорченным, и Лужин на это не попенял. Жажда движений еще не была утолена. Он стал подниматься по лестнице, а так как жил он очень высоко, это восхождение продолжалось долго, ему казалось, что он влезает на небоскреб. Наконец он добрался до последней площадки, передохнул и, хрустнув ключом в замке, вошел в прихожую. Из кабинета вышла ему навстречу жена. Она была очень красная, глаза блестели. «Лужин, — сказала она, — где вы были?» Он снял пальто, повесил его, перевесил на другой крюк, хотел еще повозиться; но жена подошла к нему вплотную, и, дугообразно ее миновав, он вошел в кабинет, и она за ним. «Я хочу, чтобы вы сказали, где вы были. Отчего у вас руки в таком виде? Лужин!» Он зашагал по кабинету, а потом кашлянул и через прихожую пошел в спальню, где принялся тщательно мыть руки в большой бело-зеленой чашке, облепленной фарфоровым плющом. «Лужин, — растерянно крикнула жена, — я же знаю, что вы не были у дантиста. Я только что звонила к нему. Ну, ответьте мне что-нибудь». Вытирая руки полотенцем, он обошел спальню и, все по-прежнему неподвижно глядя перед собой, вернулся в кабинет. Она схватила его за плечо, но он не остановился, подошел к окну, отстранил штору, увидел в синей вечерней бездне бегущие огни и, пожевав губами, пошел дальше. И тут началась странная прогулка, — по трем смежным комнатам взад и вперед ходил Лужин словно с определенной целью, и жена то шла рядом с ним, то садилась куда-нибудь, растерянно на него глядя, и иногда Лужин направлялся в коридор, заглядывал в комнаты, выходящие окнами во двор, и опять появлялся в кабинете. Минутами ей казалось, что, может быть, все это одна из тяжелых лужинских шуток, но было в лице у Лужина выражение, которого она не видела никогда, выражение...

торжественное, что ли... трудно было определить словами, но почему-то, глядя на это лицо, она чувствовала наплыв неизъяснимого страха. И он все продолжал, откашливаясь и с трудом переводя дыхание, ровной поступью ходить по комнатам. «Ради Христа, садитесь, Лужин, — тихо говорила она, не сводя с него глаз. — Ну, поговорим о чем-нибудь. Лужин! Я купила вам несессер. Ах, садитесь, пожалуйста! Вы умрете, если будете так много гулять. Завтра мы поедем на кладбище. Завтра еще нужно многое сделать. Несессер из крокодиловой кожи. Лужин, пожалуйста!»

Но он не останавливался и только изредка замедлял шаг у окон, поднимал руку, но, пораздумав, шел дальше. В столовой было накрыто на восемь человек. Она спохватилась, что вот, сейчас-сейчас, придут гости — поздно уже отзванивать, — а тут... этот ужас. «Лужин, — крикнула она, — ведь сейчас будут люди. Я не знаю, что делать... Скажите мне что-нибудь. Может быть, у вас несчастье, может быть, вы кого-нибудь встретили из неприятных знакомых? Скажите мне. Я так вас прошу, больше не могу просить...»

И вдруг Лужин остановился. Это было так, словно остановился весь мир. Случилось же это в гостиной, около граммофона.

«Стоп-машина», — тихо сказала она и вдруг расплакалась. Лужин стал вынимать вещи из карманов — сперва самопишущую ручку, потом смятый платок, еще платок, аккуратно сложенный, выданный ему утром; после этого он вынул портсигар с тройкой на крышке, подарок тещи, затем пустую красную коробочку из-под папирос, две отдельные папиросы, слегка подшибленные; бумажник и золотые часы — подарок тестя — были вынуты особенно бережно. Кроме всего этого оказалась еще крупная персиковая косточка. Все эти предметы он положил на граммофонный шкафчик, проверил, нет ли еще чего-нибудь. «Кажется, все», — сказал он и застегнул на животе пиджак. Его жена подняла мокрое от слез лицо и с удивлением уставилась на маленькую коллекцию вещей, разложенных Лужиным. Он подошел к жене и слегка поклонился. Она перевела взгляд на его лицо, смутно надеясь, что увидит знакомую кривую полуулыбку, — и точно: Лужин улыбался. «Единственный выход, — сказал он. — Нужно выпасть из игры» «Игра? Мы будем играть?» — ласково спросила она и одновременно подумала, что нужно напудриться, сейчас гости придут. Лужин протянул руки. Она

уронила платок на колени и поспешно подала ему пальцы. «Было хорошо», — сказал Лужин и поцеловал ей одну руку, потом другую, как она его учила. «Вы что, Лужин, как будто прощаетесь?»

«Да-да», — сказал он, притворяясь рассеянным. Потом повернулся и, кашлянув, вышел в коридор. В это мгновение раздался звонок из прихожей — простосердечный звонок аккуратного гостя. Она поймала мужа в коридоре, схватила его за рукав. Лужин обернулся и, не зная, что сказать, смотрел ей на ноги. Из глубины выбежала горничная, и, так как коридор был довольно узкий, произошло легкое, торопливое столкновение: Лужин слегка отступил, потом шагнул вперед, его жена тоже двинулась туда-сюда, бессознательно приглаживая волосы, а горничная, приговаривая что-то и нагибая голову, старалась найти лазейку, где бы проскочить. Когда она наконец проскочила и исчезла за портьерой, отделявшей от коридора прихожую, Лужин, как давеча, поклонился и быстро открыл дверь, у которой стоял. Сама не зная почему, его жена схватилась за ручку двери, которую он уже закрывал за собой; Лужин нажал, она схватилась крепче и стала судорожно смеяться, пытаясь просунуть колено в еще довольно широкую щель, — но тут Лужин навалился всем телом, и дверь закрылась, щелкнула задвижка, да еще ключ повернулся дважды в замке. Меж тем в прихожей уже были голоса, кто-то отдувался, кто-то с кем-то здоровался.

Лужин, заперев дверь, первым делом включил свет. Белым блеском раскрылась эмалевая ванная у левой стены. На правой висел рисунок карандашом: куб, отбрасывающий тень. В глубине, у окна, стоял невысокий комод. Нижняя часть окна была как будто подернута ровным морозом, искристо-голубая, непрозрачная. В верхней части чернела квадратная ночь с зеркальным отливом. Лужин дернул за ручку нижнюю раму, но что-то прилипло или зацепилось, она не хотела открыться. Он на мгновение задумался, потом взялся за спинку стула, стоявшего подле ванны, и перевел взгляд с этого крепкого белого стула на плотный мороз стекла. Решившись наконец, он поднял стул за ножки и краем спинки, как тараном, ударил. Что-то хрустнуло, он двинул еще раз, и вдруг в морозном стекле появилась черная звездообразная дыра. Был миг выжидательной тишины. Затем глубоко-глубоко внизу что-то нежно зазвенело и рассыпалось. Стараясь расширить дыру, он ударил еще раз, и клинообразный кусок



стекла разбился у его ног. Тут он замер. За дверью были голоса. Кто-то постучал. Кто-то громко позвал его по имени. Потом тишина, и совершенно ясно голос жены: «Милый Лужин, отойдите, пожалуйста». С трудом сдерживая тяжелое свое дыхание, Лужин опустил на пол стул и попробовал высунуться в окно. Большие клинья и углы еще торчали в раме. Что-то полоснуло его по шее, он быстро втянул голову обратно — нет, не пролезть. В дверь забухал кулак. Два мужских голоса спорили, и среди этого грома извивался шепот жены. Лужин решил больше не бить стекла, слишком оно звонко. Он поднял глаза. Верхняя оконница. Но как до нее дотянуться? Стараясь не шуметь и ничего не разбить, он стал снимать с комода предметы: зеркало, какую-то бутылочку, стакан. Делал он все медленно и хорошо, напрасно его так торопил грохот за дверью. Сняв также и скатерть, он попытался влезть на комод, приходившийся ему по пояс, и это удалось не сразу. Стало душно, он скинул пиджак и тут заметил, что и руки у него в крови, и перед рубашки в красных пятнах. Наконец он оказался на комоде, комод трещал под его тяжестью. Он быстро потянулся к верхней раме и уже чувствовал, что буханье и голоса подталкивают его и он не может не торопиться. Подняв руку, он рванул раму, и она отпахнулась. Черное небо. Оттуда, из этой холодной тьмы, донесся голос жены, тихо сказал: «Лужин, Лужин». Он вспомнил, что подальше, полее, находится окно спальни, из него-то и высунулся этот шепот. За дверью меж тем голоса и грохот росли, было там человек двадцать, должно быть, — Валентинов, Турати, старик с цветами, сопевший, крикавший, и еще, и еще, и все вместе чем-то били в дрожащую дверь. Квадратная ночь, однако, была еще слишком высоко. Пригнув колено, Лужин втянул стул на комод. Стул стоял нетвердо, трудно было балансировать, все же Лужин долез. Теперь можно было свободно облокотиться о нижний край черной ночи. Он дышал так громко, что себя самого оглушал, и уже далеко, далеко были крики за дверью, но зато яснее был пронзительный голос, вырывавшийся из окна спальни. После многих усилий он оказался в странном и мучительном положении: одна нога висела снаружи, где была другая — неизвестно, а тело никак не хотело протиснуться. Рубашка на плече порвалась, все лицо было мокрое. Уцепившись рукой за что-то сверху, он боком полез в пройму окна. Теперь обе ноги висели наружу, и надо было только отпустить то, за что он держался, — и спасен. Прежде чем отпустить, он глянул

вниз. Там шло какое-то торопливое приготовление: собирались, выравнивались отражения окон, вся бездна распалась на бледные и темные квадраты, и в тот миг, что Лужин разжал руки, в тот миг, что хлынул в рот стремительный ледяной воздух, он увидел, какая именно вечность угодливо и неумолимо раскинулась перед ним.

Дверь выбили. «Александр Иванович, Александр Иванович!» — заревело несколько голосов.

Но никакого Александра Ивановича не было.

# **РАССКАЗЫ**

## ЗВОНОК

---

Семь лет прошло с тех пор, как он с нею расстался. Господи, какая сутолока на Николаевском вокзале! Не стой так близко, сейчас поезд трогается. Ну вот — прощай, моя хорошая... Она пошла рядом, высокая, худощавая, в макинтоше, с черно-белым шарфом вокруг шеи, — и медленным течением ее уносило назад. Затем он повоевал, нехотя и беспорядочно. Затем, в одну прекрасную ночь, под восторженное стрекотание кузнечиков, перешел к белым. Затем, — уже через год, — незадолго до выхода на чужбину, — на крутой и каменистой Чайной улице в Ялте, он встретил своего дядю, московского адвоката. Как же, как же, сведения есть — два письма. Собирается в Германию и разрешение уже получила. А ты — молодцом. И, наконец, Россия дала ему отпуск, по мнению иных — бессрочный. Россия долго держала его, он медленно соскальзывал вниз с севера на юг, и Россия все старалась удержать его — Тверью, Харьковом, Белгородом, — всякими занимательными деревушками... не помогло. Был у нее в запасе еще один соблазн, еще один последний подарок, — Таврида, — но и это не помогло. Уехал. И на пароходе он познакомился с молодым англичанином, весельчаком и спортсменом, который отправлялся в Африку.

Николай Степаныч побывал и в Африке, и в Италии, и почему-то на Канарских островах, и опять в Африке, где некоторое время служил в иностранном легионе. Он сперва вспоминал ее часто, потом — редко, потом снова — все чаще и чаще. Ее второй муж немец, умер во время войны. Ему принадлежали в Берлине два дома. Николай Степаныч рассчитывал, что она в Берлине бедствовать не будет. Но как время идет! Прямо поразительно... Неужто целых семь лет?

За эти годы он окреп, огрубел, лишился указательного пальца, изучил два языка — итальянский и английский. Его глаза стали еще простодушнее и светлее, оттого что ровным мужицким загаром покрылось лицо. Он курил трубку. Походка его — крепкая, как у большинства коротконогих людей, — стала удивительно мерною. Одно совер-

щенно не изменилось в нем: его смех — с прищуриной, с прибауткой.

Он долго посмеивался, качал головой, когда наконец решил все бросить и потихоньку перебраться в Берлин. Как-то раз — в Италии, кажется, — он заметил на лотке русскую газету, издававшуюся в Берлине. Он написал туда, просил поместить объявление, что он, мол, разыскивает... Вскоре после этого он покатил дальше, так и не узнав ничего. Из Каира уезжал в Берлин старичок журналист Грушевский. «Вы там наведите справки. Может быть, найдете. Скажите, что я жив, здоров...» Но и тут никаких вестей он не получил. А теперь пора... Нагрязнать. Там, на месте, уже легче будет разыскать. Возня с визами, денег не ахти как много. Ну, да уж как-нибудь доедем...

И он доехал. В желтом пальто с большими пуговицами, в клетчатом картузе, короткий и широкоплечий, с трубкой в зубах и с чемоданом в руке, он вышел на площадь перед вокзалом, усмехнулся, полюбовался бриллиантовой рекламой, проедающей темноту. Ночь в затхлом номере дешевой гостиницы он провел плохо — все придумывал, как начать розыски. Адресный стол, редакция русской газеты... Семь лет. Она, должно быть, здорово постарела. Свинство было так долго ждать — мог раньше приехать. Но эти годы, это великолепное шатание по свету, волнение свободы, свобода, о которой мечталось в детстве!.. Сплошной Майн Рид... И вот опять — новый город, подозрительная перина и скрежет трамвая. Он нащупал спички, обрубком пальца привычным движением стал вдавливать в трубку мягкий табачок.

Во время путешествия забываешь названия дней: их заменяют города. Когда утром Николай Степаныч вышел на улицу с намерением отправиться в полицию, то увидел на всех лавках решетки. Оказалось — воскресенье. Адресный стол, редакция полетели к черту (не дай бог попасть в воскресенье в чужой город!). Дело было осенью: ветер, астры в скверах, сплошь белое небо, желтые трамваи, трубный рев простуженных таксомоторов. Его несколько знобило от волнения, от мысли, что вот он в том же городе, как и она. За германский полтинник ему дали стакан портвейна в шоферском кабаке, и вино натошак подействовало приятно. На улицах там и сям накрапывала русская речь: «...Сколько раз я тебя просила...» И через несколько туземных прохожих: «...Он мне предлагает их купить, но я, по правде сказать...» От волнения он посмеивался и гораздо скорее, чем обычно, выкуривал трубку. «...Казалось,

прошло, — а теперь и Гриша слег...» Опять русские! Он подумал, не подойти ли к ним, не спросить ли поучтивее: «Вы, может быть, знаете такую-то?» В этой заблудившейся русской провинции, наверное, все друг друга знают.

Уже вечерело, и очаровательным мандариновым светом налились в сумерках стеклянные ярусы огромного универсального магазина, — когда Николай Степаныч, проходя мимо какого-то дома, случайно заметил на плоской серой колонке фронтона, у дверей, небольшую белую вывеску: «Зубной врач И. С. Вайнер. Из Петрограда». Неожиданное воспоминание так и ошпарило его. Этот, милостивый государь, подгнил, придется удалить. В окне — прямо против кресла пыток — стеклянные снимки, швейцарские виды... Окно выходило на Мойку. Теперь прополощите. И доктор Вайнер, толстый спокойный старик в белом халате, в проныцательных очках, перебирал инструментики. Она ходила к нему, и двоюродные братья ходили, — и еще говорили, когда случалась между ними какая-нибудь обида: «А хочешь Вайнера (т. е. в зубы)?» Николай Степаныч постоял перед дверью, хотел было позвонить, — да вспомнил, что нынче воскресенье, подумал — и все-таки позвонил. Что-то зажужжало в замке, и дверь поддалась. Он поднялся на первый этаж. Открыла горничная. «Нет, господин доктор сегодня не принимает». «У меня зубы не болят, — возразил Николай Степаныч на прескверном немецком языке. — Доктор Вайнер — мой старый знакомый... Моя фамилия — Галатов, он, вероятно, помнит...» «Я доложу», — сказала горничная.

Через минуту вышел в прихожую пожилой человек, в домашней куртке с бранденбургками, рыжеватый, удивительно с виду приветливый, и, весело отрекомендовавшись, добавил: «Я вас, однако, не помню, тут, вероятно, произошла ошибочка». Николай Степаныч посмотрел на него и извинился: «Да. И я вас тоже не помню. Я думал найти того доктора Вайнера, который жил до революции на Мойке. Промахнулся, — простите». «Ах, это однофамилец, — сказал дантист. — Однофамилец. Это однофамилец. Я жил на Загородном». «Мы у него все лечились, — пояснил Николай Степаныч. — Вот я и думал... Дело в том, что я разыскиваю одну даму — госпожу Неллис...» Вайнер прикусил губу, напряженно посмотрел в сторону, потом снова обратился к нему: «Позвольте... Если я не ошибаюсь... По-моему... По-моему, какая-то госпожа Неллис была у меня не так давно... Это мы сейчас установим. Будьте любезны пройти ко мне в кабинет». В кабинете Ни-

колай Степаныч ничего не разглядел. Он не сводил глаз с безукоризненной лысины Вайнера, который наклонился над своим журналом. «Это мы сейчас установим, — говорил Вайнер, водя пальцем по страницам. — Это мы сейчас установим. Это мы сейчас... Вот, пожалуйста, — Неллис. Золотая пломба и еще что-то, — не вижу, тут клякса». «А как имя и отчество?» — спросил Николай Степаныч, подойдя к столу, и обшлагом чуть не сбил пепельницу. «И это отмечено. Ольга Кирилловна». «Да, правильно», — облегченно вздохнул Николай Степаныч. «Адрес: Планнерштрассе, 59, бай Баб, — чмокнул Вайнер и быстро переписал адрес на отдельный листок. — Вторая улица отсюда. Пожалуйста. Очень рад услужить. Это ваша родственница?» «Моя мать», — сказал Николай Степаныч.

Выйдя от дантиста, он пошел несколько ускоренным шагом. То, что он так скоро ее отыскал, поразило его, как карточный фокус. Едучи в Берлин, он ни минуты не думал о том, что, может быть, она давно умерла или переехала в другой город, в другую страну, — и все-таки фокус удался. Вайнер оказался не тем Вайнером, — и все-таки судьба вышла из положения. Прекрасный город, прекрасный дождь! (Бисерный осенний дождь моросил как бы шепотом, и на улицах было темно.) Как она встретит его? Нежно? Или грустно? Или совсем спокойно? Она не баловала его в детстве. Ты не смеешь тут бегать, когда я играю на рояле. Потом, когда он вырос, ему часто казалось, что он мало нужен ей. Теперь он старался вообразить ее лицо, но мысли упорно не скрашивались, и он никак не мог собрать в живой зрительный образ то, что знал умом: ее худую, высокую, как бы некрепко свинченную фигуру, темные волосы с налетом седины у висков, большой бледный рот, потрепанный макинтош, в котором она была в последний раз, и усталое, горькое, уже старческое выражение, которое появилось на ее увядшем лице в те бедственные годы. Пятьдесят первый номер. Еще восемь домов.

Он спохватился вдруг, что волнуется нестерпимо, до неприличия, — куда больше, чем в тот миг, например, когда лежал, страшно потея, уткнувшись боком в скалу, и целился в налетающий вихрь — в белое чучело на чудесной арабской лошади. Не доходя до пятьдесят девятого номера, он остановился, вынул трубку и резиновый мешочек с табаком, набил трубку медленно, тщательно, не выронив ни одной табачной стружки, — поднес спичку, потянул, посмотрел, как взбухает огненный холмик, набрал полный рот сладковатого, щиплющего язык дыма, осторожно вы-

пустил его — и не спеша, крепкими шагами, подошел к дому.

На лестнице было так темно, что раза два он споткнулся. Добравшись в густом мраке до первой площадки, он чиркнул спичкой и осветил золотистую дощечку подле двери. Не та фамилия. Странное имя «Баб» он нашел только гораздо выше. Огонек обжег ему пальцы и потух. Фу ты, как сердце стучит... Он в темноте нащупал кнопку и позвонил. Затем вынул трубку из зубов и стал ждать, чувствуя, как мучительная улыбка разрывает ему рот.

И вот — что-то звякнуло за дверью, раз, еще раз — и, как ветер, качнулась дверь. В передней было так же темно, как на лестнице, и из этой темноты к нему вылетел звучный и веселый голос. «У нас во всем доме погасло электричество, — прямо ужас», — и он мгновенно узнал это долгое, тягучее «у» в «ужасе» и мгновенно по этому звуку восстановил до малейших черт ту, которая, скрытая тьмой, стала в дверях.

— Правда, — ни зги не видать, — усмехнулся он и шагнул к ней.

Она так ахнула, будто кто-то с размаху ударил ее. Он отыскал в темноте ее руки, плечи, толкнул что-то (вероятно, подставку для зонтиков). «Нет-нет-нет — это невозможно, это невозможно...» — быстро-быстро повторяла она и куда-то пятилась. «Да постой же, мама, постой же», — сказал он, и опять стукнулся (на этот раз о полуоткрытую дверь, которая со звоном захлопнулась). «Это с ума можно сойти... Коленька, Коль — — — ». Он целовал ее в щеки, в волосы, куда попало, — ничего не видя в темноте, но каким-то внутренним взором узнавал ее всю, с головы до пят, — и только одно было в ней новое (но и это новое неожиданно напоминало самую глубину детства, — когда она играла на рояле) — сильный, нарядный запах духов — словно не было тех промежуточных лет, когда он мужал, а она старела, и не душилась больше, и потом так горько увядала, — в те бедственные годы, — словно всего этого не было и он из далекого изгнания попал прямо в детство... «Вот — ты. Это — ты. Ну, вот — ты... — лепетала она, мягкими губами прижимаясь к нему. — Это хорошо... Это так надо...»

— Да неужели нигде нет света? — рассмеялся Николай Степаныч.

Она толкнула какую-то дверь и проговорила взволнованным голосом: «Да. Пойдем. У меня там свечи горят».

— Ну, покажись... — сказал он, входя в оранжевое



мерцание свеч, и жадно взглянул на мать. У нее волосы были совсем светлые, выкрашенные в цвет соломы.

— Ну, что же, узнаешь? — сказала она, тяжело дыша, и поспешно добавила: — Да не смотри так. Рассказывай, рассказывай! Как ты загорел... Боже мой! Да ну же, рассказывай!

Белокурые подстриженные волосы... А лицо было раскрашено с какой-то мучительной тщательностью. Но мокрая полоска слезы разъела розовый слой, но дрожали густые от краски ресницы, но полиловела пудра на крыльях носа... Она была в синем лоснящемся платье с высоким воротником. И все было в ней чужое, и беспокойное, и страшное.

— У тебя, мама, вероятно, сегодня визиты, — заметил Николай Степаныч, не зная, что сказать, и энергично скинул пальто.

Она пошла от него к столу, где что-то было нагромождено и блестело, — потом к нему опять, посмотрелась в зеркало, — словно не знала, что делать.

— Сколько лет... Боже мой! Я прямо не верю глазам. Да-да, у меня должны быть гости. Я их отменю. Я позволю. Я что-нибудь сделаю. Надо отменить... Ах ты. Боже мой...

Она прижалась к нему, теребила ему рукава.

— Да успокойся, мама, что с тобой, нельзя же так. Сядем куда-нибудь. Скажи, как у тебя все? Как ты поживаешь? — И почему-то боясь ответов на свои вопросы, он стал рассказывать о себе, ладно прищелкивая слово к слову, попыхивая трубкой, стараясь заговорить, обкурить свое изумление. Оказалось, что-и объявление она видела, и со стареньким журналистом встретилась, и несколько раз писала сыну в Италию, в Каир... Теперь, после того как он рассмотрел ее искаженное краской лицо, ее искусственно желтые волосы, — ему казалось, что и голос ее уже не тот. И рассказывая о своих приключениях, не останавливаясь ни на мгновение, он оглядывал наполовину освещенную, дрожащую комнату, с плюшевой кошкой на камине, с ширмой, из-за которой выступало изножье кровати, с Фридрихом, играющим на флейте, с вазочками на полке, в которых прыгало, как ртуть, отражение огней... Странствуя глазами по комнате, он рассмотрел и то, что раньше мельком заметил, — накрытый на двоих стол, пузатую бутылку ликера, две высокие рюмки и огромный розовый пирог в разноцветном кольце еще не зажженных восковых свечек. «...Я, конечно, сразу выскочил, — и что же, ты ду-

маешь, оказалось? Ну-ка, угадай!» Она как бы очнулась, испуганно посмотрела на него (а сидела она рядом, на диване, слегка откинувшись, сжав руками виски, — и ее ноги отливали незнакомым блеском). «Да ты разве не слушаешь, мама?»

— Нет, что ты — я слушаю, я слушаю...

И теперь он подметил еще одно: она была странно рассеянна, словно прислушивалась не к его словам, а к чему-то постороннему, грозящему и неизбежному... Он продолжал свой рассказ, — но опять остановился, спросил: «Это в честь кого же — пирог? Очень аппетитный». Его мать растерянно улыбнулась. «Ах, это просто так... Я говорю же тебе, что у меня сегодня визиты».

— Мне ужасно напомнило Петербург, — сказал Николай Степаныч. — И, помнишь, ты раз ошиблась, забыла одну свечу. Мне стукнуло десять, а свеч было только девять. Фукнула мой день рождения. Вот был рев. А тут сколько штук?

— Да не все ли равно!.. — крикнула она и встала, будто хотела ему загородить стол. — Скажи мне лучше, который час? Мне нужно отменить, позвонить, что-нибудь сделать.

— Четверть восьмого, — сказал Николай Степаныч.

— Ах, это слишком поздно! — снова крикнула она. — Все равно! Теперь уж все равно...

Оба замолчали. Она опять села. А Николай Степаныч старался себя заставить обнять ее, приласкаться к ней, спросить: «Послушай, мама, — да что с тобой случилось? Да расскажи мне наконец...» Он опять посмотрел на блестящий стол, сосчитал свечки вокруг пирога. Их было двадцать пять штук. Двадцать пять! А ему-то уж двадцать восемь...

— Да не осматривай так мою комнату! — сказала мать. — Прямо сыщик! Ужасающая комната, я хочу переехать, — быстро продолжала она — и вдруг легко ахнула: «Постой... Что это такое? Это ты стукнул?» «Да, — ответил Николай Степаныч, — трубку выбиваю. А скажи мне — у тебя есть деньги? Ты не нуждаешься?»

Она стала поправлять какую-то ленточку на рукаве и заговорила, на него не глядя. «Да... Ведь ты знаешь, кое-что после Генриха осталось... Но я должна тебя предупредить — мне только как раз хватает на жизнь. Ради бога, не стучи трубкой. Я должна тебя предупредить, что я... Что тебя... Ну, ты понимаешь, Коля, мне будет трудно тебя содержать...»

— Эх, мамахен, куда ты загнула, — воскликнул Нико-

лай Степаныч (и в это мгновение, как солнце из-за облака, ударил с потолка электрический свет). — Ну вот — можно свечи тушить, — а то сидим прямо как в склепе. Видишь ли, у меня небольшой запасец деньжат есть, — да и вообще я — вольная птица... Садись же, что ты бегаешь по комнате?

Высокая, худая, ярко-синяя, она остановилась перед ним, и теперь, при полном свете, он увидел, как она постарела, как упорно выступают сквозь восковой слой красок морщины на щеках и на лбу. И эти ужасные желтые волосы!..

— Ты так нагрязнул, — сказала она и, кусая губы, взглянула в лицо маленьким часам, стоявшим на полке. — Как снег на голову... Они спешат. Нет, остановились. У меня сегодня визиты, — а вот ты приехал... С ума сойти...

— Глупости, мама. Придут, увидят, что сын приехал, и очень скоро испарятся. А мы еще с тобой сегодня вечером на какой-нибудь мюзик-холл махнем, где-нибудь поужинаем... Я вот помню, видал африканский театр, — удивительная штука, прямо номер! Представь себе, человек пятьдесят негров, и такое, довольно большое, ну примерно как —

Громкий звонок затрещал с парадной. Ольга Кирилловна, присевшая было на ручку кресла, встрепенулась и выпрямилась.

— Постой, я открою, — сказал Николай Степаныч и поднялся.

Она поймала его за рукав. Лицо у нее дергалось. Звонок осекся — ждал.

— Это же, вероятно, твои визиты, — сказал Николай Степаныч. — Надо открыть.

Его мать резко мотнула головой, прислушиваясь.

— Как же так... — начал Николай Степаныч.

Она потянула его за рукав, шепотом проговорила: «Не смей! Я не хочу... Не смей...»

Звонок засверлил опять, на этот раз настойчиво и раздраженно. И сверлил долго.

— Пусти меня, — сказал Николай Степаныч. — Это глупо... Если звонят, надо открыть. Чего ты боишься?

— Не смей... Слышишь, не смей... — повторяла она, судорожно лоя его руки. — Я тебя умоляю... Коля, Коля, Коля!.. Не надо!

Звонок опять осекся. Его сменил крепкий стук, — производимый набалдашником трости, что ли.

Николай Степаныч решительно направился в пе-

реднюю. Но на пороге комнаты мать поймала его и все шептала: «Не смей... Не смей... Ради бога!..»

Еще раз грянул звонок, коротко и гневно.

— Твое дело, — усмехнулся Николай Степаныч и, заложив руки в карманы, прошелся вдоль комнаты. «Кошмар — да и только», — подумал он и усмехнулся опять.

Звон прекратился. Все было тихо. Звонившему, видимо, надоело, и он ушел. Николай Степаныч приблизился к столу, осмотрел великолепный, облитый блестящим кремом пирог, двадцать пять праздничных свечечек, две тоненьких рюмки. Рядом, словно притаясь в тени бутылки, лежала белая картонная коробочка. Он поднял ее, снял крышку. Внутри был новенький, довольно безвкусный серебряный портсигар.

— Так, — сказал Николай Степаныч.

Он обернулся — и только тогда заметил, что его мать, полулежа на кушетке и уткнувшись лицом в подушку, вздрагивает от рыданий. В прежние годы он часто видал ее плачущей, — но тогда она плакала совсем иначе — сидела за столом, что ли, и, плача, не отворачивала лица, громко сморкалась и говорила, говорила, — а тут она рыдала так молодо, так свободно лежала... и было что-то изящное в повороте ее спины, в том, что одна нога в бархатном башмачке касается пола... Прямо можно было подумать, что это плачет молодая белокурая женщина... И платочек ее, как полагается, лежал комочком на ковре.

Николай Степаныч, крикнув, подошел, сел рядом на край кушетки. Крикнул опять. Его мать, скрывая лицо, заговорила в подушку: «Ах, зачем ты не приехал раньше! Ну хотя бы на год раньше... Только на год...»

— Сам не знаю, — сказал Николай Степаныч.

— Теперь все кончено... — всхлипнула она, и ее светлые волосы дрогнули. — Все кончено. Мне в мае будет пятьдесят лет. Взрослый сын приехал к старушке-матери. И зачем ты приехал... именно теперь... именно сегодня...

Николай Степаныч надел пальто (которое, не по-европейски, бросил просто в угол), вынул из кармана картуз и опять присел рядом.

— Завтра утром я покачу дальше, — сказал он, поглаживая мать по плечу, по синему блестящему шелку. — Мне хочется теперь на север — в Норвегию, что ли. А то на море, китов бить. Я тебе буду писать. Так, через годок, снова встретимся, тогда, может быть, дольше останусь. Уж ты не пеняй на меня — кататься хочется!

Она быстро обхватила его, прижалась мокрой щекой

к его шее. Потом сжала ему руку и вдруг удивленно вскрикнула.

— Пуля оттяпала, — рассмеялся Николай Степаныч. — Прощай, моя хорошая.

Она потрогала гладкий обрубок пальца и осторожно его поцеловала. Потом обняла сына, проводила его до дверей.

— Пиши, пожалуйста, почаще... Что ты смеешься? У меня, верно, вся пудра сошла.

И как только дверь за ним захлопнулась, она, шумя синим платьем, кинулась к телефону.

Проклятый день, в который Антон Петрович познакомился с Бергом, существовал только теоретически: память не прилепила к нему вовремя календарной наклейки, и теперь найти этот день было невозможно. Грубо говоря, случилось это прошлой зимой: Берг поднялся из небытия, поклонился и опустился опять, — но уже не в прежнее небытие, а в кресло. Было это у Курдюмовых, и жили они на улице св. Марка, черт знает где, в Моабит, что ли. Курдюмовы так и остались бедняками, а он и Берг с тех пор несколько разбогатели; теперь, когда в витрине магазина мужских вещей появился галстук, дымно цветистый, — скажем, как закатное облако, — сразу в дюжине экземпляров, и точь-в-точь таких же цветов платки, — тоже в дюжине экземпляров, — то Антон Петрович покупал этот модный галстук и модный платок и каждое утро, по дороге в банк, имел удовольствие встречать тот же галстук и тот же платок у двух-трех господ, как и он: спешащих на службу. С Бергом одно время у него были дела. Берг был необходим. Берг звонил ему по телефону раз пять в день. Берг стал бывать у них — и острил, острил. Боже мой, как он любил острить. При первом его посещении Таня, жена Антона Петровича, нашла, что он похож на англичанина и очень забавен. «Антон, здравствуй!» — рявкнул Берг, топыря пальцы и сверху, с размаху, по русскому обычаю, коршуном налетая на его руку и крепко пожимая ее. Был Берг плечист, строен, чисто выбрит и сам про себя говорил, что похож на мускулистого ангела. Антону Петровичу он однажды показал старую, черную записную книжку: страницы были сплошь покрыты крестиками и таких крестиков было ровным счетом пятьсот двадцать три. «Времен Деникина и покоренья Крыма, — усмехнулся Берг и спокойно добавил: — Я считал, конечно, только тех, которых бил наповал». И то, что Берг бывший офицер, вызывало в Антоне Петровиче зависть, и он не любил, когда Берг при Тане рассказывал о конных разведках и ночных атаках. Сам он был коротконог, кругловат и носил монокль, который в свободное время, когда не был ввинчен в глазницу, висел на чер-

ной ленточке, а когда Антон Петрович сидел развалясь, блестел, как глупый глаз, у него на брюшке. Фурункул, вырезанный два года тому назад, оставил на левой щеке шрам, и этот шрам, и жесткие подстриженные усы, и пухлый расейский нос напряженно шевелились, когда Антон Петрович вдавливал стеклышко себе под бровь. «Напрасно ты пыжишься, — говорил Берг, — краше не станешь».

В стаканах легкий пар млеет над поверхностью чая: жирный шоколадный эклер, раздавленный ложкой, выпускал свое кремовое нутро; Таня, положив голые локти на стол и упирая подбородок в скрещенные пальцы, смотрела вверх на то, как плывет дымок ее папиросы, и Берг ей доказывал, что надо остричь волосы, что все женщины спокон веков стригли волосы, что Венера Милосская стриженная, и Антон Петрович жарко и обстоятельно возражал, а Таня только пожимала плечом, ударом ногтя стряхивая пепел.

И все это прошло. В конце июля, в среду, Антон Петрович уехал по делу в Кассель и оттуда послал жене телеграмму, что возвращается в пятницу. В пятницу оказалось, что ему придется остаться по крайней мере еще на неделю, и он послал новую телеграмму. Но на следующий день утром дело провалилось, и Антон Петрович, уже не предупреждая жены, покатиł обратно в Берлин. Он приехал около десяти, усталый и раздраженный. С улицы он увидел, что окна спальни освещены. Приятно, что жена дома. Он поднялся на пятый этаж, привычным движением повернул ключ в трех замках и пошел. Проходя по передней, он услышал, как в ванной комнате ровно шумит вода. «Танька моется», — с любовью подумал Антон Петрович и прошел в спальню. В спальне, перед зеркалом, стоял Берг и завязывал галстук.

Антон Петрович машинально опустил на пол свой чемоданчик, не отводя глаз от Берга, который, чуть откинув свое бесстрастное лицо, перебросил пеструю лопасть галстука и пропустил ее сквозь узел.

— Главное, не волнуйся, — сказал Берг, осторожно затягивая узел, — пожалуйста, не волнуйся. Будь совершенно спокоен.

Как поступить? Скорей.. По ногам проходит дрожь. Ног уже нет, есть только холодная ноющая дрожь. Скорей... Он стал стаскивать с руки перчатку. Перчатки были новые и сидели плотно. Он дергал головой и сам не замечал, как бормочет: «Уходите немедленно прочь. Какое безобразие. Уходите прочь...»

— Ухожу, Антон, ухожу, — сказал Берг и, широко и покойно двигая плечами, надел пиджак.

«Если я его ударю, он меня ударит тоже», — быстро подумал Антон Петрович. Последним рывком он стянул перчатку и неловко бросил ее в Берга. Перчатка хлопнулась об стену и упала в кувшин с водой.

— Метко, — сказал Берг.

Он взял шляпу, трость и направился мимо Антона Петровича к двери. «Однако тебе придется меня выпустить, — обернулся он на ходу, — дверь внизу заперта».

Антон Петрович, едва соображая, что делает, за ним последовал. Когда они начали спускаться по лестнице, Берг, шедший впереди, вдруг стал смеяться. «Прости, — сказал он не оглядываясь, — но это ужасно смешно: выгоняют со всеми удобствами». Через несколько ступеней он засмеялся опять и пошел быстрее. Антон Петрович тоже ускорил шаг. Эта поспешность безобразна. Берг нарочно заставляет его сбегать вприпрыжку. Какая пытка... Третий этаж... второй... Когда эта лестница кончится? Берг взял махом последние ступени и, постукивая об пол тростью, ждал Антона Петровича. Антон Петрович тяжело дышал, не мог попасть в замок, руки тряслись. Наконец дверь открылась.

— Не поминай лихом, — сказал Берг, уже стоя на панели, — будь ты на моем месте...

Антон Петрович захлопнул дверь. У него с самого начала зрела потребность хлопнуть какой-нибудь дверью. От грохота зазвенело в ушах. Только теперь, поднимаясь по лестнице, он заметил, что лицо мокро от слез и что остановить слезы нет никакой возможности, но нужно было торопиться. Он бегом добрался до верху и, проходя через переднюю, опять услышал шум воды. Вместе с этим шумом доносился голос Тани. Она в ванной громко пела. Она еще ничего не знала. Антон Петрович выпустил дыхание и вернулся в спальню. Обе постели были открыты, и на жениной розовела ночная сорочка, а на диване были разложены вечернее платье и шелковые чулки — она, очевидно, собралась идти танцевать с Бергом. Антон Петрович вынул из грудного карманчика великолепное самопишущее перо. «Я не могу тебя видеть. Если я тебя увижу, то не ручаюсь за себя». Он писал стоя, неловко согнувшись над туалетным столом. Монокль помутился от крупной слезы... буквы плясали... «Пожалуйста, уходи. Я тебе оставляю пока сто марок. Переговорю завтра с Наташей. Переночуй у нее или в гостинице, — только, пожалуйста, не оставайся



больше здесь». Он кончил писать и приставил лист к зеркалу, на видном месте. Рядом положил стомарковый билет. И снова, проходя через переднюю, он услышал голос жены. Она в ванной пела — голос у нее был цыганского пошиба, милый голос, счастье, летний вечер, гитара... она поет, щурясь, на подушке посреди комнаты... и Антон Петрович со вчерашнего дня жених, счастье, летний вечер, ночная бабочка на потолке, я тебя бесконечно люблю, для тебя я отдаю свою душу... «Какое безобразие!» — все повторял он, идя по улице. Было очень тепло и звездисто. Все разное, куда идти. Теперь, вероятно, она уже вышла из ванны и все поняла. Антона Петровича передернуло: перчатка. В кувшине плавают коричневым комочком совсем новая перчатка. Он пошел быстрее и на ходу крикнул, так что вздрогнул прохожий. Увидев огромные смутные тополя и площадь, он подумал: где-то тут живет Митюшин. Антон Петрович позвонил ему по телефону из кабака, который обступил его, как сон, и снова отошел, удаляясь, как задний огонь поезда. Митюшин впустил его, но так как был сильно навеселе, сначала не обратил внимания на его искаженное лицо. В туманной комнатке находился неизвестный Антону Петровичу господин, а на диване, спиной к столу, лежала черноволосая дама в красном платье и, по видимому, спала. На столе блестели бутылки. Антон Петрович попал на именины, но он так и не понял, чьи это были именины — Митюшина ли, спящей дамы или неизвестного господина, оказавшегося русским немцем со странной фамилией Гнушке. Митюшин, сияя необыкновенно розовым лицом, познакомил его с Гнушке и, указав кивком на полную спину спящей дамы, сказал в воздух: «Позвольте, Анна Никаноровна, вам представить моего большого друга». Дама не шелохнулась, чему, впрочем, Митюшин ничуть не удивился, словно он и не ожидал, что она проснется. Вообще, все это было слегка нелепо, как бывает во сне: пустая бутылка из-под водки с воткнутой в горлышко розой, доска с начатой шахматной партией, спящая дама, пьяный Митюшин, пьяный, но совершенно спокойный Гнушке...

— Пей, — сказал Митюшин и вдруг поднял брови. — Что с тобой, Антон Петрович? Морда у тебя, как мел.

— Да, пейте, — с какой-то глупой серьезностью проговорил Гнушке, длиннолицый человек в высоком воротнике, похожий на черную таксу.

Антон Петрович залпом выпил полчашки водки и сел.

— Теперь рассказывай, что случилось, — сказал Ми-

тюшин. — Не стесняйся Генриха — он самый честный человек на свете. Мой ход, Генрих, и знай, что, если ты сейчас хлопнешь моего слона, я тебе дам мат в три хода. Ну, валяй, Антон Петрович.

— Это мы сейчас посмотрим, — сказал Гнушке, направляя манжету. — Ты забыл пешку на аш пять.

— Сам ты аш пять, — сказал Митюшин. — Антон Петрович сейчас будет рассказывать.

От водки все вокруг заходило ходуном: шахматная доска тихо полезла на бутылки, бутылки поехали вместе со столом по направлению к дивану, диван со спящей дамой двинулся к окну, окно тоже куда-то поехало. И это проклятое движение было как-то связано с Бергом, и нужно было положить этому конец, покончить с этим безобразием, растоптать, разорвать, убить.

— Я пришел к тебе, чтобы ты был моим секундантом, — начал Антон Петрович и смутно почувствовал, что в его словах есть безграмотность, но не был в силах это поправить.

— Понимаю, — сказал Митюшин, косясь на шахматную доску, над которой нависла, шевеля пальцами, рука Гнушке.

— Нет, ты слушай меня, — с тоской воскликнул Антон Петрович, — нет, ты слушай! Не будем больше пить. Это серьезно, серьезно.

Митюшин уставился на него блестящими голубыми глазами. «Брось шахматы, Генрих, — сказал он, не глядя на Гнушке, — тут идет серьезный разговор».

— Я собираюсь драться, — прошептал Антон Петрович, стараясь взглядом удержать стол, который все плыл, все плыл куда-то. — Я хочу убить одного человека. Его зовут Берг, ты, кажется, встречал его у меня. Не стану объяснять причину...

— Секунданту можно, — сказал Митюшин.

— Простите, что вмешиваюсь, — заговорил вдруг Гнушке и поднял указательный палец. — Вспомните, что сказано: не убий!

— Этого человека зовут Берг, — произнес Антон Петрович. — Ты, кажется, знаешь его. И вот, мне нужно двух секундантов.

— Дуэль, — сказал Гнушке.

Митюшин толкнул его локтем: «Не перебивай, Генрих».

— Вот и все, — шепотом закончил Антон Петрович и, опустив глаза, слабо потербил ленточку моногля.

Молчание. Ровно посапывала дама на диване. По улице пронесся гудок автомобиля.

— Я пьян, и Генрих пьян, — пробормотал Митюшин, — но, по-видимому, случилось что-то серьезное. — Он покусал костяшки руки и оглянулся на Гнушке. «Как ты считаешь, Генрих?» Гнушке вздохнул.

— Вот вы оба завтра пойдете к нему, — заговорил опять Антон Петрович. — Условьтесь о месте и так дальше. Он мне не дал своей карточки. По закону он должен был мне дать свою карточку. Я ему бросил перчатку.

— Вы поступаете как благородный и смелый человек, — вдруг оживился Гнушке. — По странному совпадению я несколько знаком с этим делом. Один мой кузен был тоже убит на дуэли.

«Почему — тоже? — тоскливо подумал Антон Петрович. — Неужели это предзнаменование?»

Митюшин отпил из чашки и бодро сказал:

— Как другу — не могу отказать. Утром пойдем к господину Бергу.

— Насчет германских законов, — сказал Гнушке. — Если вы его убьете, то вас посадят на несколько лет в тюрьму; если же вы будете убиты, то вас не тронут.

— Я все это учел, — кивнул Антон Петрович.

И потом появилась опять прекрасная самопишущая ручка, черная блестящая ручка с золотым нежным пером, которое в обычное время как бархатное скользило по бумаге, но теперь рука у Антона Петровича дрожала, теперь, как палуба, ходил стол... На листе почтовой бумаги, данном ему Митюшиным, Антон Петрович написал Бергу письмо, трижды назвал Берга подlicoм и кончил бессильной фразой: «Один из нас должен погибнуть».

И потом он зарыдал, и Гнушке, цокая языком, вытирал ему лицо большим платком в красных квадратах, и Митюшин показывал на шахматную доску, глубокомысленно повторяя: «Вот ты его, как этого короля — мат в три хода и никаких гвоздей». И Антон Петрович всхлипывал, слабо отклоняясь от дружеских Гнушкиных рук, и повторял с детскими интонациями: «Я ее так любил, так любил».

— Значит, в девять часов вы будете у него, — сказал Антон Петрович и пошатываясь встал со стула.

— Через пять часов мы будем у него, — как эхо, отозвался Гнушке.

— Успеем выспаться, — сказал Митюшин.

Антон Петрович разгладил свою шляпу, на которой все

время сидел, поймал руку Митюшина, подержал ее, поднял и почему-то прижал ее к своей щеке.

— Ну что ты, ну что ты, — забормотал Митюшин и, как давеча, обратился к спящей даме: — Наш друг уходит, Анна Никаноровна.

На этот раз она шелохнулась, вздрогнула спросонья, тяжеломерно повернулась. У нее было полное мятое лицо с раскосыми, чересчур подведенными глазами. «Вы бы, господа, больше не пили», — спокойно сказала она и опять повернулась к стене.

Антон Петрович нашел на углу сонный таксомотор, который, как дух, понес его через пустыни светящегося города, и уснул у ее двери. В передней он встретил горничную Эльсбет: она, разинув рот, недобрыми глазами посмотрела на него, хотела что-то сказать, но раздумала и, шлепая ночными туфлями, пошла по коридору.

— Пойдите, — сказал Антон Петрович. — Моя жена уехала?

— Это стыд, — внушительно проговорила горничная, — это сумасшедший дом. Тащить ночью сундуки, все перевернуть...

— Я вас спрашиваю, уехала ли моя жена? — тонким голосом закричал Антон Петрович.

— Уехала, — угрюмо ответила Эльсбет.

Антон Петрович прошел в гостиную. Он решил спать там. В спальне, конечно, нельзя. Он зажег свет, лег на кушетку и накрылся пальто. Почему-то было неуютно кисти левой руки. Ах, конечно, часы. Он снял их, завел да еще при этом подумал: «Удивительная вещь, этот человек сохраняет полное хладнокровие. Он даже не забывает завести часы. Это хорошо». И сразу, так как он был еще пьян, огромные ровные волны закачали его, ухнуло, поднялось, ухнуло, поднялось, и стало сильнее тошнить. Он привстал... большая медная пепельница... скорей... И так скинуло с души, что в паху закололо... и все мимо, мимо. Он заснул тотчас: одна нога в сером гетре свисала с кушетки, и свет (который он совсем забыл выключить) бледным лоском обливал его потный лоб.

## 2

Митюшин был скандалист и пьяница. Он черт знает что мог натворить — этак с бухты-барахты. Бесстрашный человек. И, помнится, рассказывали о каком-то его приятеле,

что он, в пику почтовому ведомству, бросал зажженные спички в почтовый ящик. И говорили, что у этого приятеля прегнусная фамилия. Так что вполне возможно, что это был Гнушке. А, собственно говоря, Антон Петрович зашел к Митюшину просто так, чтобы спокойно посидеть, может быть, даже поспать у него, а то дома было слишком тошно. И ни с того ни с сего... Нет, конечно, Берга полагается убить, но сначала нужно было хорошенько все продумать, и если выбирать секундантов, то уж во всяком случае порядочных людей. В общем, вышло безобразия. Все вышло безобразно. Начиная с перчатки и кончая пепельницей. Но теперь, конечно, ничего не поделаешь, нужно эту чашу испить до дна...

Он пошарил под диваном, куда закатились часы. Одиннадцать. Митюшин и Гнушке уже побывали у Берга. Вдруг какая-то приятная мысль проскользнула среди других, растолкала их, пропала опять. Что это было? Ага, конечно! Ведь они были пьяны вчера, и он был пьян. Они, вероятно, проспали, а потом очухались, подумали: вздор, так спяну болтал. Но приятная мысль скользнула и исчезла. Все равно, дело начато, вчерашнее придется им повторить. Странно все же, что они до сих пор не показались. Дуэль. Здорово это звучит: дуэль. У меня дуэль. Я стреляюсь. Поединок. Дуэль. «Дуэль» — лучше. Он встал, заметил, что штаны страшно измяты. Пепельница была убрана. Очевидно, Эльсбет заходила, пока он спал. Как это неловко. Нужно пойти посмотреть, что делается в спальне. О жене он забыл, он должен забыть. Жены нет. Жены никогда не было. Все это прошло. Антон Петрович глубоко вздохнул и открыл дверь спальни. В углу стояла горничная и совала мятую газетную бумагу в мусорную корзину.

— Принесите мне, пожалуйста, кофе, — сказал он и подошел к туалетному столу. На нем лежал конверт: его имя, почерк Тани. Рядом валялись его щетка, гребенка, кисточка для бритья, безобразная жохлая перчатка. Антон Петрович вскрыл конверт. Сто марок и больше ничего. Он повертел бумажку в руке, не знал, что с ней делать.

— Эльсбет...

Горничная подошла, подозрительно на него поглядывая.

— Вот возьмите. Вас так беспокоили ночью, и потом всякие другие неприятности... Возьмите же.

— Сто марок? — шепнула горничная и вдруг побагровела. Бог весть что пронеслось у нее в голове, но она грох-

нула корзиной об пол и крикнула: — Нет! Меня подкупить нельзя, я честная. Подождите, я еще всем скажу, что вы хотели меня подкупить. Нет! В этом сумасшедшем доме... — И она вышла, стукнув дверью.

— Что с ней? Господи, что с ней? — растерянно залепетал Антон Петрович и, быстро шагнув к двери, завопил горничной вслед: — Убирайтесь вон сию минуту, убирайтесь из дому!..

«Третьего человека выгоняю, — подумал он, дрожа всем телом. — И кофе теперь никто мне не даст».

Затем он долго мылся, переодевался, долго сидел в кафе напротив, посматривая в окно, не идут ли Митюшин и Гнушке. В городе у него была уйма дел, но делами он не мог заниматься. Дуэль. Красивое слово.

Около четырех к нему зашла Наташа, Танина сестра. Она едва могла говорить от волнения, и Антон Петрович похаживал туда-сюда и поглаживал мебель. Таня к ней ночью приехала в страшном состоянии. В невообразимом состоянии. Антону Петровичу вдруг показалось странным, что он с Наташей на «ты». Ведь он больше теперь не женат на ее сестре. «Я буду выдавать ей столько-то и столько-то», — говорил он, стараясь так, чтобы голос не срывался. «Дело не в деньгах, — отвечала Наташа, сидя в кресле и раскачивая ногою в блестящем чулке. — Дело в том, что это все сплошной ужас. Это ад какой-то». «Спасибо, что зашла, как-нибудь еще поговорим, но сейчас я очень занят», — сказал Антон Петрович. Провожая ее до двери, он уронил (ему казалось, по крайней мере, что он «уронил»): «У меня с ним дуэль». Наташины губы задрожали, она быстро поцеловала его в щеку и вышла. Странно, что она не стала его умолять не драться. Собственно говоря, она должна была бы умолять его не драться. В наши дни никто не дерется. У нее те же духи, как... У кого? Нет, он никогда не был женат.

А еще через некоторое время, так около семи, явились Митюшин и Гнушке. Они были мрачны. Гнушке сдержанно поклонился и протянул запечатанный конверт конторского вида. «Я получил твое глупейшее послание...» У Антона Петровича выпал монокль, он вдавил его снова. «Мне тебя очень жаль, но раз уже ты взял такой тон, то я не могу не принять вызова. Секунданты у тебя довольно дрянные. Берг».

У Антона Петровича появилась неприятная сухость во рту — и опять эта дурацкая дрожь в ногах...

— Ах, садитесь же, — сказал он и сам сел первый.

Гнушке утонул в кресле, спохватился и сел на кончик.

— Он пренахальный господин, — с чувством проговорил Митюшин. — Представь себе, он все время смеялся, так что я ему чуть не заехал в зубы.

Гнушке кашлянул и сказал:

— Одно могу вам посоветовать: целтесь хорошо, потому что он тоже будет хорошо целиться.

Перед глазами у Антона Петровича мелькнула страничка в записной книжке, исписанная крестиками, а еще кроме этого: картонная фигура, которая вырывает у другой картонной фигуры зуб.

— Он опасная личность, — сказал Гнушке, и откинулся в кресле, и опять утонул, и опять сел на кончик.

— Кто будет докладывать, Генрих, ты или я? — спросил Митюшин, жуя папиросу и большим пальцем дергая колесико зажигалки.

— Лучше уж ты, — сказал Гнушке.

— У нас был очень оживленный день, — начал Митюшин, тараща голубые свои глаза на Антона Петровича. — Ровно в половину девятого мы с Генрихом, который был еще вдрызг пьян...

— Я протестую, — сказал Гнушке.

— ...направились к господину Бергу. Он попивал кофе. Мы ему — раз! всучили твое письмецо. Которое он прочел. И что он тут сделал, Генрих? Да, рассмеялся. Мы подождали, пока он кончит ржать, и Генрих спросил, какие у него планы.

— Нет, не планы, а как он намерен реагировать, — поправил Гнушке.

— ...реагировать. На это господин Берг ответил, что он согласен драться и что выбирает пистолет. Дальнейшие условия такие: двадцать шагов, никакого барьера и просто стреляют по команде: раз, два, три. Засим... Что еще, Генрих?

— Если нельзя достать дуэльные пистолеты, то стреляют из браунингов, — сказал Гнушке.

— Из браунингов. Выяснив это, мы спросили у господина Берга, как снести с его секундантами. Он вышел телефонировать. Потом написал вот это письмо. Между прочим, он все время острил. Далее было вот что: мы пошли в кафе встретиться с его господами. Я купил Гнушке гвоздику в петлицу. По гвоздике они и узнали нас. Представились, ну, одним словом, все честь честью. Зовут их Малинин и Буренин.

— Не совсем точно, — вставил Гнушке. — Буренин и полковник Магеровский.

— Это неважно, — сказал Митюшин и продолжал: — Тут начинается эпопея. С этими господами мы поехали за город отыскивать место. Знаешь Вайсдорф — это за Ваннзее. Ну вот. Мы там погуляли по лесу и нашли прогалину, где, оказывается, эти господа со своими дамами устраивали на днях пикничок. Прогалина небольшая, кругом лес да лес. Словом, место идеальное. Видишь, какие у меня сапоги — совсем белые от пыли.

— У меня тоже, — сказал Гнушке. — Вообще прогулка была утомительная.

— Сегодня жарко, — сказал Митюшин. — Еще жарче, чем вчера.

— Значительно жарче, — сказал Гнушке.

Митюшин с чрезмерной тщательностью стал давить папиросу в пепельнице. Молчание. У Антона Петровича сердце билось в пищеводе. Он попробовал его проглотить, но оно застучало еще сильнее. Когда же дуэль? Завтра? Почему они не говорят? Может быть, послезавтра? Лучше было бы послезавтра...

Митюшин и Гнушке переглянулись и встали.

— Завтра в половину седьмого мы будем у тебя, — сказал Митюшин. — Раньше ехать незачем. Все равно там ни пса нет.

Антон Петрович тоже встал. Что сделать? Поблагодарить?

— Ну вот, спасибо, господа... Спасибо, господа... Значит, все устроено. Значит, так.

Те поклонились. «Мы еще должны найти доктора и пистолеты», — сказал Гнушке. В передней Антон Петрович взял Митюшина за локоть и пробормотал: «Ужасно, знаешь, глупо, — но дело в том, что я, так сказать, не умею стрелять. То есть умею, но очень плохо...»

Митюшин хмыкнул. «Н-да. Не повезло. Сегодня воскресенье, а то можно было бы тебе взять урок. Не повезло».

— Полковник Магеровский дает частные уроки стрельбы, — вставил Гнушке.

— Да, — сказал Митюшин, — ты у меня умный. Но все-таки как же нам быть, Антон Петрович? Знаешь что, — новичкам везет. Положись на господа Бога и ахни.

Они ушли. Вечерело. Никто не спустил штор. В буфете есть, кажется, сыр и грахамский хлеб. Пусто в комнатах и неподвижно, как будто было время, что вся мебель ды-



шала, двигалась, — а теперь замерла. Картонный зубной врач с хищным лицом склонялся над обезумевшим пациентом: это было так недавно, в синий, разноцветный фейерверочный вечер, в Луна-парке. Берг долго целился, хлопало духовое ружье, и пулька, попав в цель, освобождала пружину, и картонный дантист выдергивал огромный зуб о четырех корнях. Таня была в ладоши, Антон Петрович улыбался, и Берг стрелял снова, и с треском вращались картонные диски, разлетались на осколки трубки, исчезал шарик, плясавший на тонкой струе фонтана. Ужасно... И ужасней всего, что Таня тогда сказала так, в шутку: «А с вами неприятно было бы драться на дуэли». Эта дуэль будет без барьера. Антон Петрович твердо был убежден, что барьер это ограда — из досок, что ли, — стоя за которой, палит дуэлянт. А теперь барьера не будет, — никакой защиты. Двадцать шагов. Антон Петрович, считая шаги, прошел от двери до окна. Одиннадцать. Он вставил монокль, прикинул на глаз расстояние: две такие, совсем небольшие комнаты. Ах, если б удалось сразу пальнуть, сразу повалить Берга. Но он же не умеет целиться. Промех неизбежен. Вот, скажем, разрезательный нож. Или нет, возьмем лучше это пресс-папье. Нужно его держать так и целиться. А может быть, так, у самого лица, этак как будто лучше видно. И в это мгновенье, держа перед собой пресс-папье, изображавшее попугая, и поводя им туда-сюда, в это мгновенье Антон Петрович понял, что будет убит.

Около десяти он решил лечь. Но спальня была табу. С большим трудом он отыскал в комодe чистое постельное белье, передел подушку, обтянул простыней кожаную кушетку в гостиной. Раздеваясь, он подумал: «Я в последний раз в жизни ложусь спать». «Пустяки!» — слабо пискнула какая-то маленькая часть души Антона Петровича, та часть его души, которая заставила его бросить перчатку, хлопнуть дверью, назвать Берга подлецом. «Пустяки!» — тонким голосом сказал Антон Петрович и спохватился: нехорошо так говорить. Если я буду думать, что со мной ничего не случится, то со мной случится самое худшее. Все в жизни всегда случается наоборот. Хорошо бы что-нибудь на ночь почитать — в последний раз.

«Вот опять, — застонал он мысленно. — Почему последний раз? Я в ужасном состоянии. Нужно взять себя в руки. Ах, если бы какие-нибудь были приметы. Карты».

На столике рядом с кушеткой лежала колода карт, Антон Петрович взял верхнюю: тройка бубен. Что значит тройка бубен? Неизвестно. Дальше он вытащил по поряд-

ку: даму бубен, восьмерку треф, туз пик. А! Вот это нехорошо. Туз пик это — кажется — смерть. Но, впрочем, глупости, суеверные глупости... Полночь. Пять минут первого. Завтра стало сегодня. У меня сегодня дуэль.

Он вновь и вновь пробовал успокоиться. Но происходили странные вещи: книга, которую он держал, называлась «Волшебная гора», а гора по-немецки — Берг; он решил, что, если досчитает до трех и на три пройдет трамвай, он будет убит, — и так оно и случилось: прошел трамвай. И тогда Антон Петрович сделал самое скверное, что мог сделать человек в его положении: он решил уяснить себе, что такое смерть. Спустя минуту такого раздумья все потеряло смысл. Ему стало трудно дышать. Он встал, прошелся по комнате, поглядел в окно на чистое страшное ночное небо. «Надо завещанье написать», — подумал Антон Петрович. Но писать завещанье было, так сказать, играть с огнем; это значило мысленно похоронить себя. «Лучше всего выспаться», — сказал он вслух. Но как только он опускал веки, перед ним являлось злое веселое лицо Берга и щурило один глаз. Тогда он опять зажигал свет, пытался читать, курил, хотя курильщиком не был. Мгновениями он вспоминал мелочь из прошлой жизни — детский пистолетик, тропинку в парке или что-нибудь такое — и сразу пресекал свои воспоминания, подумав: умирающие всегда вспоминают мелочи прошлой жизни. Этого не нужно делать. И тогда обратное пугало его: он замечал, что о Тане не думал, что он как бы охлажден наркотиком, нечувствителен к ее отсутствию. И сама собой являлась мысль: я бессознательно уже простился с жизнью, мне теперь все безразлично, раз я буду убит. И ночь уже шла на убыль.

Около четырех он прошаркал в столовую и выпил стакан сельтерской воды. Проходя мимо зеркала, он поглядел на свою полосатую пижаму, на жидкие растрепанные волосы. «У меня будет безобразный вид, стыдно... — подумал он. — Но как выспаться, как выспаться?»

Он завернулся в плед, так как заметил, что у него говорят зубы, и сел в кресло посреди смутной, медленно бледневшей комнаты. Как это все будет? Нужно надеть что-нибудь строгое, но элегантное. Может быть, смокинг? Нет, это глупо. Тогда — черный костюм... и, пожалуй, черный галстук. Черный костюм совсем новый. Но если будет рана — скажем, рана в плечо. Костюм будет испорчен... Кровь, дырка, будут еще резать рукав. Пустяки, ничего не будет. Надо надеть новый черный костюм. И, когда начнется дуэль, он поднимет воротник пиджака, так, кажется,

полагается, — чтобы не белела рубашка, что ли, или просто потому, что по утрам сыро. Так было в одном фильме. Затем нужно будет сохранять полное хладнокровие, говорить со всеми вежливо и спокойно: «Спасибо, я уже стрелял. Теперь ваша очередь. Если вы не вынете папиросу изо рта, то я стрелять не стану. Я готов продолжать. Спасибо, я уже стрелял». «Спасибо, я уже смеялся», — анекдот какой-то. Чепуха, не то... Значит, все-таки как же будем? Они приедут — он, Митюшин и Гнушке, — на автомобиле, оставят автомобиль на шоссе, пройдут в лес. Там уже, вероятно, будет ждать Берг и его секунданты. Вот тут неизвестно — нужно поклониться или нет. Может быть, хорошо выйдет, если так, издали, сдержанно, приподнять шляпу. Потом, вероятно, будут мерить шаги и заряжать пистолеты, — как в «Евгении Онегине». Что он будет делать тем временем? Да, конечно, он где-нибудь в стороне поставит ногу на пень и будет так — непринужденно — ждать. Но что — если Берг станет тоже так — ногой на пень? Берг на это способен... Передразнить его. И выйдет опять безобразие. Еще можно прислониться к стволу или просто на траву сесть. Ну, там видно будет. Что-нибудь достойное и небрежное. Теперь дальше: они оба станут на отмеченные места. Тут-то он поднимет воротник. Пистолет возьмет так. Секунданты начнут считать. И тогда вдруг произойдет самое страшное, самое дикое, то, что представить себе нельзя, — хоть думай об этом ночи напролет, хоть живи до ста лет... Какое это чувство, когда пуля попадает в сердце или в лоб? Боль? Тошнота? Или просто — бац! — и полная тьма? А что, если какая-нибудь отвратительная рана — в глаз, в живот? Нет, Берг убьет его наповал. «Тут, конечно, сосчитаны только те, которых я бил наповал». Еще один крестик в записной книжке. Немыслимо...

В столовой часы прозвонили пять раз. Антон Петрович с огромным трудом, дрожа и кутаясь в клетчатый плед, поднялся — и опять задумался, и вдруг топнул ногой, как топнул Людовик, когда сказали ему, что пора ехать на эшафот. Ничего не поделаешь. Казнь неизбежна. Нужно пойти мыться, одеваться. Чистое белье и новый черный костюм. И, вставляя запонки в манжеты рубашки, Антон Петрович подумал, что вот, через два-три часа, эта рубашка будет вся в крови и вот тут будет дырка. Он погладил себя по блестящим волоскам, которые спускались тропинкой по теплой груди, и стало так страшно, что он прикрыл ладонью глаза. С какой-то трогательной самостоятель-

ностью все сейчас в нем движется, пульсирует сердце, надуваются легкие, бежит кровь, сокращаются кишки, — и это внутреннее, мягкое, беззащитное существо, живущее так слепо, так доверчиво, это нежное анатомическое существо он ведет на убой... На убой! Он крикнул, влезая в холодную белую темноту рубашки, — и потом уже старался не думать ни о чем, выбирал носки, галстук, замшевым лоскутком неловко чистил башмаки. Ища чистый платок, он набрел на палочку румян. И, взглянув в зеркало, на свое ужасное, бледное лицо, он осторожно повел липкой этой палочкой по щеке. Вышло сперва еще гаже. Он лизнул палец, потер щеку, пожалел, что никогда не посмотрел хорошенько, как мажутся дамы. На щеках появился легкий кирпичный налет, — ему показалось, что так хорошо... «Ну вот, я и готов», — сказал он, обращаясь к зеркалу, и мучительно зевнул, зеркало залилось слезами. Быстро двигая руками, он надушился, разложил по карманам бумаги, платок, ключи, самопишущее перо, нацепил монокль. Жалко, что нет хороших перчаток. Такая была новенькая пара, но левая овдовела. Он сел в гостиной, перед письменным столом, положил локти на стол и стал ждать, глядя то в окно, то на часы в складной кожаной раме.

А утро было чудесное. В высокой липе, под окном, беговались воробьи. Голубая бархатная тень сплошь покрывала улицу, а крыши там и сям загорались серебром. Антону Петровичу было холодно, и невыносимо болела голова. Хорошо бы хватить коньяку. Коньяку в доме нет. Дом уже нежилой, хозяин уезжал навеки. Ах, пустяки. Мы требуем спокойствия. Сейчас раздастся с парадной звонок. Нужно быть совершенно спокойным. Вот-вот — сейчас грянет звонок. Они уже опоздали на три минуты. Может быть, не придут? Такое дивное летнее утро... Да, они не придут. Это хорошо. Он подождет еще полчаса, а потом завалится спать. Антон Петрович широко разинул рот, приготовился выдавить цельный ком зевоты, — хрустнуло в ушах, вздулось под небом, — и в этот миг загредел звонок. И судорожно проглотив недовершенный зев, Антон Петрович прошел в переднюю, отпер дверь, и Митюшин и Гнушке переступили порог.

— Пора ехать, — сказал Митюшин, глядя в упор на Антона Петровича. Он был в своем всегдашнем фиштаксового цвета костюме, а Гнушке надел сюртук.

— Да, я готов, — сказал Антон Петрович, — я сейчас... Он оставил их стоять в передней, метнулся в спальню,

и, чтобы выиграть время, стал мыть руки, и все повторял про себя: «Что же это такое, боже мой, что же это такое?» Еще только пять минут тому назад была надежда, что случится землетрясение, что Берг умрет от разрыва сердца, что судьба вмешается, приостановит, спасет.

— Антон Петрович, поторопись, — позвал Митюшин из передней. Он быстро вытер руки и вышел к ним.

— Да-да, я готов, идемте.

— Нам придется поездом ехать, — сказал Митюшин, когда они вышли на улицу. — А то прикатим на такси в глухой лес, да еще в такую рань, — может показаться подозрительным, шофер донесет. Антон Петрович, пожалуйста, не трусь.

— Я не трушу, какие пустяки, — ответил Антон Петрович и беспомощно улыбнулся.

Гнушке, который до тех пор все молчал, шумно высморкался и деловито проговорил:

— Доктора привезет наш противник. А дуэльных пистолетов мы не нашли. Зато достали два одинаковых браунинга.

В таксомоторе, который должен был их везти на вокзал, они сели так: Антон Петрович и Митюшин сзади. Гнушке спереди на стульчике, поджав ноги. Антона Петровича одолела нервная зевота. Ему, вероятно, мстил тот зевок, который был им проглочен. Вот опять — до слез. Митюшин и Гнушке были очень серьезны, но вместе с тем казались чрезвычайно довольны собой.

— А я превосходно выпался, — вдруг сказал Антон Петрович, сжав зубы и зевнув только ноздрями. Он подумал, что бы еще сказать — что-нибудь непринужденное, небрежное...

— На улицах уже много народу, — сказал он и добавил: — Хотя еще так рано. — Митюшин и Гнушке молчали. Опять зевота. Господи...

На вокзал они прикатили скоро. Антону Петровичу показалось, что никогда он так скоро не ездил. Гнушке взял билеты и, держа их веером, пошел вперед. Вдруг он оглянулся на Митюшина и значительно кашлянул. У будки, где продаются папиросы и пиво, стоял Берг. Он доставал мелочь из кармана штанов, левую руку глубоко запустив в карман, а правой рукой карман придерживая, как это делают англичане. Он выбрал монету на ладони и, передавая ее продавщице, сказал что-то, от чего та засмеялась. Берг засмеялся тоже. Он стоял слегка расставя ноги, по-

качиваясь с каблучков на носки. Он был в сером фланелевом костюме.

— Пройдем так, — сказал Митюшин, — а то неловко проходить рядом.

Какое-то оцепенение нашло на Антона Петровича. Ничего не сознавая, он влез в вагон, сел у окна, снял шляпу, надел ее опять. Только когда поезд дернул и двинулся, он пришел в себя, — и в это мгновение его охватило то чувство, какое бывает во сне, когда, летя в поезде легкого кошмара, вдруг замечаешь, что уехал в одном нижнем белье.

— Они сели в следующий вагон, — сказал Митюшин и вынул портсигар. — Да что это ты все зеваешь, Антон Петрович? Прямо жутко смотреть.

— Это я всегда по утрам, — машинально ответил Антон Петрович.

Сосны, сосны, сосны. Песчаный склон. Опять сосны. Такое дивное утро...

— Тебе сюртук не идет, Генрих, — опять заговорил Митюшин. — Прямо скажу: не идет.

— Это мое дело, — сказал Гнушке.

Прелестные сосны. А вот сверкнула вода. Опять лес. Какая жалость, какая слабость... Только бы опять не зевнуть, ноют челюсти. Если удерживаться, выступают слезы. Он сидел, повернувшись лицом к окну, и слушал, как колеса выстукивают: на у-бой, на у-бой, на у-бой...

— Советую вам вот что, — вдруг обратился к нему Гнушке. — Стреляйте сразу. Целиться я вам советую в центр его фигуры — больше шансов.

— Все дело в счастии, — сказал Митюшин. — Попадешь — хорошо, не попадешь — ничего, он тоже может промахнуться. Настоящая дуэль, собственно говоря, начинается после первого обмена. Тут уже, так сказать, начинается самый интерес.

Станция. Опять тронулись. Почему они его так мучат? Сегодня невыносимо умереть. Совершенно невыносимо. Что, если упасть в обморок? Нужно быть хорошим актером... Что предпринять? Что делать? Такое дивное утро...

— Антон Петрович, прости, что я спрашиваю, — сказал Митюшин, — но это важно. У тебя ничего нет нам передать? В смысле бумаг? Письма, что ли, завещания? Это всегда так делается.

Антон Петрович покачал головой.

— Напрасно, — сказал Митюшин. — Мало ли что может быть. Вот мы с Генрихом уже приготовились к тому, чтобы пожить в тюрьме. Дела у тебя в порядке?

Антон Петрович кивнул. Он говорить больше не мог. Единственный способ удержаться от крика было смотреть на мелькающие сосны.

— Нам сейчас вылезать, — сказал Гнушке и встал. Митюшин встал тоже. Антон Петрович, стиснув зубы, наполовину поднялся, но от толчка поезда снова присел.

— Выходить, — сказал Митюшин и повернул рукоятку двери.

Только тогда Антону Петровичу удалось отделиться от лавки. Вдавнив в глазницу монокуляр, он осторожно сошел на платформу. Солнце, теплынь...

— Они идут сзади, — сказал Гнушке. Антон Петрович слегка согнулся, как будто что-то ему напирало в спину. Нет, это немыслимо, надо проснуться.

Оставив вокзал, они пошли по шоссе мимо крохотных кирпичных домов с петуньями в окнах. На углу шоссе и мягкой белой дороги, уходящей в лес, был трактир. Антон Петрович вдруг остановился.

— Ужасно пить хочется, — сказал он глухо. — Я бы чего-нибудь такого выпил.

— Да, не мешает, — протянул Митюшин. Гнушке оглянулся и сказал:

— Они уже свернули в лес.

— Успеем, — сказал Митюшин.

Втроем они вошли в трактир. Тучная женщина тряпкой вытирала стойку. Она хмуро поглядела на них и налила им три кружки пива.

Антон Петрович глотнул, как бы немножко задохнулся и сказал:

— Подождите минуточку. Я сейчас.

— Только поторопись, — сказал Митюшин, ставя кружку обратно на стойку.

Антон Петрович прошел в коридор, куда метила стрелка, быстро прошел мимо уборной, мимо кухни, вздрогнул от того, что кошка шмыгнула под ногами, ускорил шаг, дошел до конца коридора, толкнул дверь, и в лицо брызнуло солнце. Он оказался в зеленом дворике, где прогуливались куры и сидел на полене мальчик в полинялом купальном костюме. Антон Петрович быстро махнул мимо него, мимо кустов бузины, сбежал по каким-то деревянным ступеням, опять попал в кусты и вдруг поскользнулся, так как почва шла под уклон. Кусты хлестали по лицу, он неловко раздвинул их, нырнул, скользил, — склон, густо заросший бузиной, спускался все круче. Наконец стремление его стало неуправляемым. Он съезжал вниз на напряженных

растопыренных ногах, отбиваясь от гибких веток. Потом он на полном ходу обнял неожиданный ствол дерева и стал продвигаться наискось. Кусты поредели. Впереди высокий забор. В заборе он сразу нашел лазейку, прошуршал сквозь крышу и оказался в сосновой роще, где между стволами развешено было пестрое от теней белье и стояли какие-то дощатые строения. Все так же решительно он прошел рощу и опять заметил, что скользит вниз по склону. Впереди между деревьев засияла вода. Он споткнулся, чуть не упал, увидел справа тропинку и перешел на нее. Тропинка привела его к озеру.

Загорелый, цвета копченой камбалы, старик рыболов в соломенной шляпе указал ему дорогу на станцию Ваннзее. Дорога шла сперва вдоль озера, потом свернула в лес, и около двух часов он плутал в лесу, пока наконец не вышел на полотно. Он добрал до ближайшей станции, и в это мгновение подошел поезд. С опаской он влез в вагон, втиснулся между двух пассажиров, которые не без удивления взглянули на этого странного, не то подкрашенного, не то запыленного человека, теребящего ленту монокля.

И только в Берлине, на площади, он остановился: по крайней мере, у него было такое чувство, точно он до сих пор непрерывно бежал и вот только сейчас остановился, передохнул, огляделся. Рядом старая цветочница с огромной шерстяной грудью продавала гвоздики. Человек в панцире из газет выкрикивал название берлинского листка. Чистильщик сапог подобострастно посмотрел на Антона Петровича. И, облегченно вздохнув, Антон Петрович твердо опустил ногу на подставку, и чистильщик сразу стал быстро-быстро работать локтями.

«Все, конечно, ужасно, — думал он, глядя, как постепенно разгорается носок башмака. — Но я жив, а это пока главное. Митюшин и Гнушке, вероятно, сторожат у дома, так что нужно переждать. С ними нельзя встретиться ни в каком случае. Ночью он зайдет за вещами. Нужно будет в эту же ночь покинуть Берлин. Он еще обдумает, как это сделать...»

— Здравствуйте, Антон Петрович, — раздался мягкий голос над самым его ухом.

Он так вздрогнул, что нога соскользнула с подставки. Нет, ничего, ложная тревога. Это был некий Леонтьев, человек, которого он встречал раза три-четыре, журналист, кажется, или что-то вроде этого. Болтливый, но безобидный человек. Говорят, что ему жена изменяет с кем попало.



— Гуляете? — спросил Леонтьев, меланхолично пожимая ему руку.

— Да. Нет, у меня всякие дела, — ответил Антон Петрович и подумал: если он сейчас не поклонится и не уйдет, это будет безобразно.

Леонтьев посмотрел в одну сторону, потом в другую и сказал, просясь, словно сделал счастливое открытие:

— Прекрасная погода!

Вообще же он был пессимист и, как всякий пессимист, человек до смешного не наблюдательный. Лицо у него было плохо выбритое, желтоватое, длинное, и весь он был какой-то неладный, тощий и унылый, словно у природы ныли зубы, когда она создавала его.

Чистильщик с молодецким стуком сложил щетки. Антон Петрович посмотрел на повеселевшие свои башмаки.

— Вам в какую сторону? — спросил Леонтьев.

— А вам? — спросил Антон Петрович.

— Да мне все равно. Я сейчас свободен. Могу вас немного проводить, — он кашлянул и вкрадчиво добавил: — Конечно, если вы разрешите.

— Ну что вы, пожалуйста, — пробурчал Антон Петрович. Прилип. Нужно пойти по каким-нибудь другим улицам. А то наберутся еще знакомые. Только не встретить тех двоих. Ради бога.

— Ну как вы живете? — спросил Леонтьев. Он был из породы тех людей, которые спрашивают, как вы живете, только для того, чтобы обстоятельно рассказать, как они сами живут.

— Х-м... Так... Ничего, — невнятно ответил Антон Петрович. А потом он, конечно, все узнает. Господи, какая ерунда. — Мне направо, — сказал он вслух и резко повернул.

Леонтьев, грустно улыбаясь своим мыслям, длинными ногами въехал в него и легко откачнулся. «Направо так направо, мне все равно».

«Что делать? — подумал Антон Петрович. — Не могу же я с ним просто так гулять. Нужно так много обдумать, решить... И я страшно устал, мозоли болят».

А Леонтьев уже рассказывал. Он рассказывал пространно. Он рассказывал о том, сколько он платит за комнату, как трудно платить, как трудно вообще жить, как редко бывает, что попадаете хорошая квартирная хозяйка, что у них хозяйка так себе.

— Моя жена, Анна Никаноровна, с ней не ладит, — рассказывал Леонтьев и вкрадчиво усмехался.

Они шли по совершенно незнакомой улице, где двое потных рабочих, один с татуированной грудью, чинили мостовую. Антон Петрович вытер платком лоб и сказал:

— У меня тут поблизости есть дело. Меня ждут. Деловое свидание.

— Да я вас провожу, — грустно улыбнулся Леонтьев.

Антон Петрович окинул улицу отчаянным взглядом. Вывеска: отель. Убогий отель. Дом черноватый, плоский.

— Мне сюда, — сказал Антон Петрович. — Да, в эту гостиницу. Деловое свидание.

Леонтьев снял рваную перчатку, мягко пожал ему руку. «А знаете что, — я вас, пожалуй, немного подожду. Вы ведь будете недолго?»

— Нет, долго, — сказал Антон Петрович.

— Жаль. А то мне хотелось кое о чем с вами потолковать, совета у вас попросить. Ну, всего хорошего. Я на всякий случай еще послоняюсь тут. Может быть, вы освободитесь раньше.

Антон Петрович вошел в отель. Ничего не поделаешь. Было пусто и темно. Из-за какого-то прилавка выросла взъерошенная личность и спросила, что ему нужно. «Комнату», — тихо сказал Антон Петрович. Личность задумалась, почесала себя за ухом и потребовала задаток. Антон Петрович дал десять марок. Рыжая горничная, быстро виляя задом, провела его по длинному коридору, отперла дверь. Он вошел, глубоко вздохнул и сел в низкое плюшевое кресло. Он был один. Мебель, постель, умывальник проснулись, посмотрели на него исподлобья и задремали опять. В этом сонном, ничем неприметном номере Антон Петрович был наконец один.

И, сгорбившись, прикрыв ладонью глаза, он задумался, и перед ним поскакало что-то зеленое, желтое, мальчишка на полене, рыболов, Леонтьев, Берг, Таня. И, подумав о Тане, он застонал и сгорбился еще напряженнее. Ее голос, ее милый голос. Быстроглазая, легкая, прыгала на диван и сразу поджимала ноги, и юбка кругом вздымалась шелковым куполом и спадала опять. А не то сидела у стола, так неподвижно, только изредка мигала и, подняв лицо, выпускала папиросный дым. Бессмысленно... Зачем ты врала? Ведь ты врала. Что я буду без тебя делать? Танька!.. Понимаешь — ты врала. Моя радость — ну почему? Почему? Танька!

И, постанывая и хрустя пальцами, он зашагал по номеру, стучаясь о мебель, не замечая, что стучается. Случайно он остановился у окна, взглянул на улицу. Сперва

улицы не было видно из-за тумана в глазах, но туман рассеялся. Появилась улица, какой-то фургон, велосипедист, старушка, осторожно покидающая тротуар. И по тротуару медленно брел Леонтьев, читая на ходу газету; прошел, свернул за угол. И почему-то при виде Леонтьева Антон Петрович осознал всю безнадежность — да, именно, безнадежность, другого слова нет, — всю безнадежность своего положения. Еще вчера он был совершенно порядочным человеком, уважаем друзьями, знакомыми, сослуживцами. Служба! Какая там служба! Теперь все изменилось: он сбежал по скользкому склону — и теперь он внизу.

— Но как же так? Нужно на что-то решиться, — тонким голосом сказал Антон Петрович. Может быть, есть какой-нибудь выход? Помучили его, и довольно. Да, нужно решиться. Подозрительный взгляд взъерошенной личности. Что сказать ей? Ну да, ясно: я иду за вещами, они остались на вокзале. Так. С этой гостиницей он рассчитался навеки. Улица, слава богу, свободна — Леонтьев подождал и ушел. Как мне пройти на ближайшую остановку трамвая? Ах, идите прямо и вы дойдете до ближайшей остановки трамвая. Нет, лучше автомобиль. Поехали. Улицы становятся опять знакомыми. Спокойно, совсем спокойно он вылез из автомобиля. Он — дома. Пять этажей. Спокойно, совсем спокойно он вошел в переднюю. Но все-таки страшно. Он быстро открыл дверь в гостиную. Ах, какое удивление!

В гостиной, у круглого стола, сидят Митюшин, Гнушке... Таня. На столе — бутылки, чашки. Митюшин весь мокрый и розовый, глаза блестят, пьян как стелька. Гнушке тоже пьян, улыбается и потирает руки. Таня сидит, положив голые локти на стол, неподвижно на него уставилась...

Митюшин ахнул, подбежал к нему, схватил за руку. «Наконец-то объявился!» И шепотом, лукаво подмигнув: «Ну и фрукт».

Антон Петрович сел, выпил водки. Митюшин и Гнушке все так же лукаво, но добродушно поглядывали на него. Таня говорит: «Ты, вероятно, голоден. Я принесу тебе бутерброд». Да, большой бутерброд с ветчиной, так чтобы торчало сальце. И вот, как только она вышла, Митюшин и Гнушке бросились к нему, заговорили, перебивая друг друга: «Ну и повезло тебе, Антон Петрович! Представь себе — господин Берг тоже струсил. Нет, не тоже струсил, а просто: струсил. Пока мы ждали тебя в трактире, вошли его секунданты, сообщили, что Берг передумал. Эти широкоплечие нахалы всегда оказываются трусами. Мы просим

вас, господа, извинить нас, что мы согласились быть секундантами этого подлеца. Вот как тебе повезло, Антон Петрович! Все, значит, шито-крыто. И ты вышел с честью, а он опозорен навсегда. А главное — твоя жена, узнав об этом, сразу бросила Берга и вернулась к тебе. И ты должен простить ее».

Антон Петрович, широко улыбнувшись, встал, заиграл ленточкой моногля. И медленно исчезла улыбка. Таких вещей в жизни не бывает.

Он посмотрел на плюшевое кресло, на пухлую постель, на умывальник, и этот жалкий номер в этом жалком отеле показался ему той комнатой, где отныне ему придется жить всегда. Присев на постель, он снял башмаки, облегченно пошевелил пальцами ног, заметил, что натер пятку и что левый носок порвался. Потом он позвонил, заказал бутерброд с ветчиной. И когда горничная поставила на стол тарелку, он замер и, как только закрылась дверь, обеими руками схватил хлеб, засопел, сразу измазал пальцы и подбородок в сале и стал жадно жевать.

Шум водопада становился все глуше, все глуше, — наконец он смолк, — и вот мы продвинулись дальше в дикую, лесистую, еще никем не исследованную область, шли, шли давно, — впереди Грегсон и я, за нами, гуськом, восемь туземных носильщиков, а позади всех — ноющий, возражающий против каждой пяди пути Кук. Я знал, что Грегсон завербовал его по совету знакомого охотника: Кук уверял, что готов на все, лишь бы не маяться в Зонраки, где полгода варят «вонго», а другие полгода «вонго» пьют, но осталось неясным, или уже я многое начинал забывать, пока мы шли, шли, — кто он такой, Кук (быть может, беглый матрос).

Грегсон шагал рядом со мной, жилистый, голенастый, с костлявыми голыми коленями. Он держал, как знамя, зеленую сетку на длинном древке. Носильщики, тоже набранные в Зонраки, рослые бадонцы глянцевиной коричневой масти, с густыми гривами, с кобальтовой росписью между глаз, шли легким и ровным ходом. Позади всех, рыжий и одутловатый, с отвислой губой, плелся Кук, держа руки в карманах, не нагруженный ничем. Смутно мне помнилось, что в начале экспедиции он много болтал и темно шутил, повадкой своей, смесью наглости и подострастия, смахивая на шекспировского шута, — но вскоре он сдал, насупился, перестал исполнять свои обязанности, в которые, между прочим, входило толмачество, ибо Грегсон плохо еще понимал бадонское наречие.

Томная жара, бархатная жара. Душно пахли перламутровые, похожие на грозди мыльных пузырей, соцветья *Valeria mirifica*, перекинутые через высохшее узкое русло, по которому мы с шелестом шли. Ветви порфиринозного дерева, ветви чернолистой лимии сплетались над нашими головами, образуя туннель, там и сям прорезанный дымным лучом; наверху, в растительной гуще, среди каких-то ярких свешивающихся локонов и причудливых темных клубьев, щелкали и клокотали седые как лунь обезьянки, и мелькала, подобно бенгальскому огню, птица-комета, кричавшая пронзительным голосом. Я говорил себе, что голова у меня такая тяжелая от долгой ходьбы, от жары, пестроты и лесного гомона, но втайне знал, что я заболел,

догадывался, что это местная горячка, — однако решил скрыть свое состояние от Грегсона и принял бодрый, даже веселый вид, когда случилась беда.

«Моя вина, — сказал Грегсон, — напрасно я с ним связался».

Мы были теперь одни. Кук и все восемь туземцев, — с палаткой, складной лодкой, припасами, коллекциями, — бросили нас, бесшумно скрывшись, пока мы возились в зарослях, где собирали прелестнейших насекомых. Кажется, мы попытались догнать беглецов, — я плохо помню, во всяком случае нам это не удалось. Надо было решить, возвращаться ли в Зонраки или продолжать намеченный нами путь через еще неведомую местность к холмам Гурано. Неведомое перевесило. Мы двинулись вперед — я, уже весь дрожащий, оглушенный хинином, но все-таки собирающий безыменные растения, и Грегсон, вполне понимающий опасность нашего положения и все-таки с прежней жадностью ловящий бабочек и мух.

И вот, не успели мы пройти и полмили, как внезапно нагнал нас Кук, — рубашка на нем была разорвана, — он хрипел, он задыхался. Грегсон молча вынул револьвер и приготовился застрелить негодяя, но тот, валяясь у него в ногах и обеими руками защищая темя, стал клясться, что туземцы увели его насильно и хотели его съесть, — ложь, бадонцы не людоеды. Думаю, что он без труда подговорил их, глупых и опасливых, прервать сомнительное путешествие, но не учел, что ему не поспеть за могучим их шагом, и, безнадежно отстав, воротился. Из-за него пропали бесценные коллекции. Его надо было убить. Но Грегсон спрятал револьвер, и мы двинулись дальше, а за нами — тяжело дышащий, спотыкающийся Кук.

Лес понемногу редел. Меня мучили странные галлюцинации. Я глядел на диковинные древесные стволы, из коих некоторые обвиты были толстыми, телесного цвета, змеями, и вдруг, будто сквозь пальцы, мне померещился между стволами полуоткрытый зеркальный шкаф с туманными отражениями, но я встряхнулся и посмотрел внимательным взглядом, и оказалось, что это обманчиво поблескивает куст акреаны — кудрявое растение с большими ягодами, похожими на жирный чернослив. Через некоторое время деревья расступились совсем, и небо выросло перед нами плотной синей стеной. Мы очутились на вершине крутого склона. Внизу мрело и дымилось огромное болото, и далеко за ним виднелась дрожащая гряда мутно-лиловых холмов.

«Клянусь Богом, мы должны вернуться! — рыдающим голосом произнес Кук. — Клянусь Богом, мы пропадем в этих топях, у меня дома семь дочерей и собака. Вернемся, мы знаем дорогу назад...»

Он ломал руки, по его толстому лицу с рыжими треугольниками бровей катился пот. «Назад, назад, — повторял он. — Вы достаточно наловили мух. Вернемся!»

Мы с Грегсоном принялись спускаться по каменистому склону. Кук остался было стоять наверху — маленькая белая фигура на чудовищно зеленом фоне леса, — но вдруг взмахнул руками, крикнул, начал боком спускаться за нами.

Склон как бы заострился, образуя каменный гребень, который длинным мысом уходил в сверкающие сквозь пар топи. Полдненное небо, освобожденное теперь от лиственных завес, тяготело над нами ослепительной тьмой — да, ослепительной тьмой, иначе не скажешь. Я старался не поднимать глаз, — но в этом небе, на самой границе поля моего зрения плыли, не отставая от меня, белесые штукатурные призраки, лепные дуги и розетки, какими в Европе украшают потолки, — однако стоило мне посмотреть на них прямо, и они исчезали, мгновенно куда-то запав, — и снова ровной и густой синевой гремело тропическое небо. Мы еще шли по каменному мысу, но он не суживался, изменял нам. Кругом рос золотой болотный камыш, подобный миллиону обнаженных, горящих на солнце сабель. Там и сям вспыхивали продолговатые озерки, над ними темными облачками висела мошкара. Вот пушистой вывороченной губой, будто испачканной яичным желтком, потянулся ко мне крупный болотный цветок, родственник орхидее. Грегсон взмахивал сачком, проваливался по бедра в парчовую жижу, и громадная бабочка, хлопнув атласным крылом, уплывала от него через камыши, туда, где в мерцании бледных испарений туманными складками ниспадала как бы оконная занавеска. Не надо, не надо, — я отводил глаза, я шел дальше за Грегсоном, то по камню, то по шипящей и чмокающей почве. Меня знобило, несмотря на оранжерейную жару. Я предвидел, что сейчас совсем обессилю, что бредовые рисунки и выпуклости, просвечивающие сквозь небо и сквозь золотые камыши, сейчас овладевают моим сознанием полностью. Мне порою казалось, что Грегсон и Кук становятся прозрачны и что сквозь них видны бумажные обои в камышеобразных, вечно повторяющихся узорах. Я превозмогал себя, тарасил глаза и продвигался дальше. Кук уже полз на карачках, кричал и хватал Грегсона за ноги, но тот стряхивал его и продол-

жал путь. Я смотрел на Грегсона, на его упрямый профиль, — и с ужасом чувствовал, что забываю, кто такой Грегсон и почему я с ним вместе.

Между тем мы проваливались все чаще, все глубже, трясину сосали нас, не могли насосаться, мы извивались и выскальзывали. Кук падал и полз, искусанный, опухший, весь мокрый, — и боже мой, как он взвизгивал, когда принимались нас догонять, напрягаясь и пружинисто пролетая сажень и опять сажень, отвратительные стайки мелких ярко-зеленых гидротиковых змей, привлеченных нашим потом. Меня же гораздо больше пугало другое: слева от меня, — всегда почему-то слева, — время от времени поднималось из болота, кренясь среди повторяющихся камышей, как бы подобие большого кресла, а в действительности — странная, неповоротливая, серая амфибия, название которой Грегсон отказывался мне сообщить.

«Привал, — сказал он внезапно, — привал». Мы чудом выбрались на плоский каменный островок, со всех сторон окруженный болотными растениями. Грегсон снял заплечный мешок и выдал нам туземных лепешек, пахнущих ипекакуаной, и дюжину акреановых плодов. Как мне хотелось пить, как мало мне было скудного вяжущего сока акреаны...

«Посмотри, это странно, — обратился ко мне Грегсон, но не по-английски, а на каком-то другом языке, дабы не понял Кук. — Мы должны пробраться к холмам, но странно, — неужели холмы были миражем, — смотри, их теперь не видно».

Я приподнялся с подушки, облокотился на мягкую поверхность камня, — да, действительно, холмов больше не было, — дрожал пар над болотом... И вот опять все кругом стало двусмысленно сквозить, я откинулся и тихо сказал Грегсону: «Ты, вероятно, не видишь, что-то такое все хочет проступить...» «О чем ты?» — спросил Грегсон.

Я спохватился, что говорю глупости, и замолчал. Голова у меня кружилась, в ушах было жужжание. Грегсон, опустившись на одно колено, рылся в мешке, но лекарств там не было, а мой запас весь вышел. Кук сидел молча, угрюмо ковыряя камень. Разорванный, висящий рукав рубашки обнаружил его предплечье и странную на коже татуировку: граненый стакан с блестящей ложечкой, — очень хорошо сделанный.

«Вальер болен, у тебя должны быть облатки», — обратился к нему Грегсон. Я, правда, слов не слышал, но угадывал общий смысл разговоров, которые становились неле-



пыми и какими-то сферическими, когда я вслушивался в них.

Кук медленно повернулся, и стеклянистая татуировка соскользнула с его кожи в сторону, повисла в воздухе и поплыла, поплыла, и я ее догонял испуганным взглядом, но она смешалась с болотным паром и слегка лишь блеснула, как только я отвернулся.

«Поделом, — пробормотал Кук. — Пускай... Мы с вами тоже, — пускай...»

Он за последние минуты, то есть, вероятно, с тех пор, как мы расположились на каменном островке, стал как-то больше, раздулся, в нем появилось что-то издевательское и опасное. Грегсон снял шлем, отер грязным платком лоб — оранжевый над бровями, а повыше белый, — надел шлем снова, — наклонился ко мне и сказал: «Подтянись, я прошу тебя» (или тому подобные слова). «Мы попытаемся двинуться дальше. Испарения скрывают их, но они там... Я уверен, что около половины болота уже пройдено» (все это очень приблизительно).

«Убийца», — вполголоса проговорил Кук. Татуировка оказалась снова на его предплечье, — впрочем, не весь стакан, а один бок, другая часть не поместилась и, отсвечивая, дрожала в пустоте. «Убийца, — с удовлетворением повторил Кук и поднял воспаленные глаза. — Я говорил, что мы здесь застрянем. Черная собака объедается падалью. Мире-фа-соль».

«Он шут, — тихо сообщил я Грегсону, — шекспировский шут».

«Шу-шу-шу, — ответил мне Грегсон, — шу-шу, шо-шо-шо... Ты слышишь, — продолжал он, крича мне в ухо, — надо встать. Надо двинуться дальше...»

Камень был бел и мягок, как постель. Я привстал, но тотчас снова упал на подушку.

«Придется его нести, — сказал Грегсон далеким голосом. — Помоги...»

«Ну, знаете, это дудки, — ответил Кук (или так мне показалось), — дудки. Предлагаю поживиться его мясом, пока он не высох. Фа-соль-ми-ре».

«Он заболел, он тоже заболел, — вскричал я. — Ты здесь с двумя сумасшедшими. Уходи один. Ты дойдешь, — уходи...»

«Так мы его и отпустим», — проговорил Кук.

Между тем бредовые видения, пользуясь общим замешательством, тихо и прочно становились на свои места. По небу тянулись и скрещивались линии туманного потолка. Из болота поднималось, будто подпираемое снизу, боль-

шое кресло. Какие-то блистающие птицы летали в болотном тумане и, садясь, обращались мгновенно: та — в деревянную шишку кровати, эта — в графин. Собрав всю свою волю, я пристальным взглядом согнал эту опасную ерунду. Над камышами летали настоящие птицы с длинными огненными хвостами. Грегсон отмахивался от пестрой мухи и одновременно старался выяснить, к какому она принадлежит виду. Наконец он не выдержал и поймал ее в сачок. Движения его странно менялись, точно их кто-то тасовал, я его за раз видел в разных позах, он снимал себя с себя, как будто состоял из многих стеклянных Грегсонов, не совпадающих очертаниями, — но вот он снова уплотнился, крепко встал: он тряс Кука за плечо.

«Ты мне поможешь его нести, — отчетливо говорил Грегсон. — Если бы ты не был предателем, мы бы не оказались в таком положении».

Кук молчал, медленно багровея.

«Смотри, Кук, — будет худо, — сказал Грегсон. — Я тебе говорю в последний раз...»

И тут случилось то, что назревало давно. Кук, как бык, въехал головой Грегсону в живот, оба упали, Грегсон успел вытащить револьвер, но Куку удалось выбить револьвер из его рук, — и тогда они обнялись и стали кататься в обнимку, оглушительно дыша. Я бессильно смотрел на них. Широкая спина Кука напрягалась, позвонки просвечивали сквозь рубашку, но вдруг, вместо спины, оказывалась на виду его же нога, с синей жилой вдоль рыжей голени, и сверху наваливался Грегсон, шлем его слетел и покатился, переваливаясь, как половина огромного картонного яйца. Откуда-то, из телесных лабиринтов, выюлили пальцы Кука, в них был зажат ржавый, но острый нож, нож вошел в спину Грегсона, как в глину, но Грегсон только крикнул, и оба несколько раз перевернулись, и когда опять показалась спина моего друга, там торчала рукоятка и верхняя половина лезвия, а сам он вцепился в толстую шею Кука и с треском давил, а Кук сучил ногами... В последний раз перевалились они полным оборотом, и уже виднелась лишь четверть лезвия — нет, пятая доля, — нет, даже и этого не было видно: оно вошло до конца. Грегсон замер, навалившись на Кука, который затих тоже.

Я смотрел и думал почему-то (болезненный туман чувств...), что все это безвредная игра, что они сейчас встанут и, отдышавшись, мирно понесут меня через топи к синим прохладным холмам, в тенистое место, где будет журчать вода. Но внезапно, на этом последнем перегоне

смертельной моей болезни, — ибо я знал, что через несколько минут умру, — так вот, в эти последние минуты на меня нашло полное прояснение, — я понял, что все происходящее вокруг меня не игра воспаленного воображения, вовсе не вуаль бреда, сквозь которую нежелательными просветами пробивается моя будто бы настоящая жизнь в далекой европейской столице, — обои, кресло, стакан с лимонадом, — я понял, что назойливая комната — фальсификация, ибо все, что за смертью, есть в лучшем случае фальсификация, наспех склеенное подобие жизни, меблированные комнаты небытия. Я понял, что подлинное — вот оно: вот это дивное и страшное тропическое небо, эти блистательные сабли камышей, этот пар над ними и толстогубые цветы, льнущие к плоскому островку, где рядом со мной лежат два сцепившихся трупа. И, поняв это, я нашел в себе силы подползти к ним, вытащить нож из спины Грегсона, моего вождя, моего товарища. Он был мертв, он был совсем мертв, и все баночки в его карманах были разбиты, раздавлены. Мертв был и Кук, из его рта вылезал чернильно-синий язык. Я разжал пальцы Грегсона, я, обливаясь потом, перевернул его тело, — губы были полуоткрыты и в крови, лицо, уже твердое с виду, казалось плохо выбритым, голубые белки сквозили между век. В последний раз я видел все это ясно, воочию, с печатью подлинности на всем, видел их ободренные колени, цветных мух, выющихся над ними, самок этих мух, уже примеряющихся к яйцекладке. Неуклюже орудуя ослабевшими руками, я вынул из грудного карманчика моей рубашки толстую записную книжку, — но тут меня охватила слабость, я сел, я поник головой... и все-таки превозмог этот нетерпеливый туман смерти и огляделся. Синева, зной, одиночество, — и как мне жаль было Грегсона, который никогда не вернется домой, — я даже вспомнил его жену, и старуху-кухарку, и попугаев, и еще многое... а затем я подумал о наших открытиях, о драгоценных находках, о редких, еще не описанных растениях и тварях, которым уже не мы дадим названия. Я был один. Туманнее сверкали камыши, бледнее пылало небо. Я последил глазами за восхитительным жучком, который полз по камню, но у меня уже не было сил его поймать. Все линяло кругом, обнажая декорации смерти, — правдоподобную мебель и четыре стены. Последним моим движением было раскрыть сырую от пота книжку, — надо было кое-что записать непременно, — увы, она выскользнула у меня из рук, я пошарил по одеялу — но ее уже не было.

## ПИЛЬГРАМ

---

Улица, увлекая в сторону один из номеров трамвая, началась с угла людного проспекта, долго тянулась в темноте, без витрин, без всяких радостей, и, как бы решив зажить по-новому, меняла имя после круглого сквера, который трамвай обходил с неодобрительным скрежетом; далее она становилась значительно оживленнее; по правой руке появлялись: фруктовая лавка с пирамидами ярко освещенных апельсинов, табачная с фигурой арапчонка в чалме, колбасная, полная жирных коричневых удавов, аптека, москательная и вдруг — магазин бабочек. Ночью, особенно дождливой ночью, когда асфальт подернут тюленьим лоском, редко кто не останавливался на мгновение перед этим символом прекрасной погоды. Бабочки, выставленные напоказ, были огромные, яркие. Прохожий думал про себя: «Какие краски, — невероятно!» — и шел своей дорогой. Бабочки на короткое время задерживались у него в памяти. Крылья с большими удивленными глазами, лазурные крылья, черные крылья с изумрудной искрой плыли перед ним до тех пор, пока не приходилось перевести внимание на приближавшийся к остановке трамвай. И еще запомнились мельком: глобус, какие-то инструменты и череп на пьедестале из толстых книг.

Затем шли опять обыкновенные лавки — галантерейная, угольный склад, булочная, — а на углу был небольшой трактир. Хозяин, тощий человек с ущемленной дряблой кожей между углами воротничка, очень ловко умел выплескивать в рюмки из клювастой бутылки дешевый коньяк и был большой мастер на остроумные реплики. За круглым столом у окна почти каждый вечер фруктовщик, булочник, монтер и двоюродный брат хозяина дулись в карты: выигравший очередную ставку тотчас заказывал четыре пива, так что в конце концов никто не мог особенно разбогатеть. По субботам к другому столу рядом садился грузный розовый человек с седоватыми усами, неровно подстриженными, заказывал ром, набивал трубку и равнодушными слезящимися глазами, из которых правый был открыт чуть пошире левого, глядел на игроков. Когда он

входил, они приветствовали его, не сводя взгляда с карт. Монтер слюнил палец и ходил. «Раз, два и три», — приговаривал булочник, высоко поднимая карту за картой и с размаху хлопая каждой об стол. После чего появлялась новая партия пива.

Иногда кто-нибудь обращался к грузному человеку, спрашивал, как торгует его лавочка; тот медлил прежде, чем ответить, и часто не отвечал вовсе. Если близко проходила хозяйская дочь, крупная девица в клетчатом шерстяном платье, он норовил хлопнуть ее по увертливому бедру, совершенно не меняя при этом своего угрюмого выражения, а только наливаясь кровью. Острик-хозяин называл его «господин профессор», присаживался, бывало, к его столу, говорил: «Ну-с, как поживает господин профессор?» — и тот, пыхтя трубкой, долго смотрел на него прежде, чем ответить, и затем, выпятив из-под мундштука мокрую губу лодочкой — вроде слона, собирающегося вобрать то, что несет ему хобот, — говорил что-нибудь грубое и несмешное, хозяин бойко возражал, и тогда люди рядом, глядя в карты, тряско гоготали.

На нем был просторный серый костюм с большим преобладанием жилетной части, и когда кукушка на миг покидала недра трактирных часов, он медленным жестом, морщась от дыма, вынимал из жилетного кармана серебряную луковицу и глядел на нее, держа на ладони и ладонь слегка отставя. Ровно в полночь он выбивал трубку в пепельницу, расплачивался и, сунув бескостную руку поочередно хозяину, дочке его и четверем игрокам, молча уходил.

Шел он по панели чуть прихрамывая, неловко двигая ногами, слишком слабыми и худыми для его тяжелого тела, и, миновав витрину своей лавки, сворачивал сразу за ней в подворотню, где в правой стене была дверь с латунной дощечкой, прикрепленной посредине: «Пильграм». Квартира была маленькая, тусклая, с невеселыми окнами во двор; днем можно было выходить на улицу через магазин, куда вел — прямо из тесной гостиной с буро-малиновым диваном и старой швейной машиной, украшенной инкрустациями, — темный проход, полный хлама. Когда, в субботнюю ночь, Пильграм входил к себе в спальню, где над широкой постелью было несколько увядших фотографий одного и того же корабля, Элеонора обыкновенно уже почивала. Он бормотал себе под нос, шаркал куда-то с зажженной свечой, возвращался, громко запирал дверь, кряхтел, снимая сапоги, и потом долго сидел на краю по-

стели, и жена, проснувшись, начинала стонать в подушку, предлагая ему помочь раздеться, и тогда он, с урчащей угрозой в голосе, велел ей утихнуть и повторял слово «тихо» несколько раз сряду, все более свирепо. После удара, когда он чуть не умер от удушья и долго не мог говорить, — удара, случившегося с ним в прошлом году, как раз когда он снимал сапоги, — Пильграм ложился спать нехотя, с опаской, и потом, уже лежа под периной, рядом с женой, приходил в бешенство, если в соседней кухне капал кран. Он будил жену, и она шлепала в кухню — низенькая, в унылой ночной рубашке, с толстыми волосатыми икрами, с маленьким лицом, лоснившимся от перинного тепла. Они были женаты уже четверть века и были бездетны. Детей Пильграм никогда не хотел, дети служили бы только лишней помехой к воплощению той страстной, неизменной, изнурительной и блаженной мечты, которой он болел с тех пор, как себя помнил.

Он спал всегда на спине, низко надвинув на лоб ночной колпак, — это был сон по шаблону, прочный и шумный сон лавочника, доброго бургера, и, глядя на него, можно было предположить, что сон с такой пристойной внешностью лишен видений. На самом же деле этот сорокапятилетний тяжелый, грубый человек, питавшийся гороховой колбасой да вареным картофелем, мирно доверявший своей газете, благополучно невежественный во всем, что не касалось его одинокой бессмысленной страсти, видел — без ведома жены и соседей — необыкновенные сны. По воскресеньям он вставал поздно, в несколько приемов пил кофе, потом выходил гулять с женой — молчаливая медленная прогулка, которую Элеонора всю неделю прилежно предвкушала. В будни же он открывал лавку как можно пораньше, рассчитывая на детей, мимо идущих в школу, — ибо последнее время он держал в придачу к основному товару кое-какие школьные принадлежности. Бывало, мальчик лениво плетется в школу, раскачивая сумкой и жуя на ходу, — мимо табачной, где в папиросных коробочках некоторых фирм имеются цветные картиночки, которые очень выгодно собирать, мимо колбасной, напоминавшей, что слишком рано съеден бутерброд, мимо аптеки, мимо москательной, — и, вспомнив, что нужно купить резинку, входит в следующий магазин. Пильграм мычал, выдвинув нижнюю губу из-под мундштука трубки, и, вяло порывшись, выкладывал на прилавок открытую картонку, после чего безучастно глядел перед собой, пуская частые струйки дешевого дыма. Мальчик шупал бледные аккуратные резинки, не находил из-

любленного сорта и удалялся, ничего не купив. Главный товар в магазине оставался незамеченным, — такие уж пошли дети, с горечью думал Пильграм и мельком вспоминал собственное детство. Его покойный отец — моряк, шатун, пройдоха — женился, уже под старость, на желтой светлоглазой голландке, которую он вывез с Борнео, и, покончив со странствиями, открыл лавку экзотических вещей. Жена вскоре умерла, сын ходил в школу, а потом стал помогать в лавке. Он теперь не помнил точно, как и когда стали появляться в ней ящики с бабочками, но помнил, что любил бабочек с тех пор, как существует. Очень постепенно бабочки стали вытеснять сушеных морских коньков, чучела колибри, дикарские талисманы, веер с драконами и прочую пыльную дрянь. Когда умер отец, бабочки окончательно завладели магазином, хотя еще долго доживали свой век, там и сям, парчовые туфли, бумеранг, коралловое ожерелье, — потом и эти остатки исчезли, бабочки царствовали самодержавно, и только очень недавно они в свою очередь начали сдавать: пришлось пойти на уступки, появились учебные пособия, естественным переходом к которым служил стеклянный ящичек с наглядной биографией тутового шелкопряда. Торговля шла все хуже и хуже. Учебные пособия, а из бабочек все то, что могло прийтись по вкусу обывателю, — наиболее крупные, привлекательные виды, да яркие крылья на гипсе в багетовых рамочках, украшение для комнаты, а не гордость ученого, — выставлены были в витрине, меж тем как в самой лавке, пропитанной миндальным запахом глоболя, хранились драгоценнейшие коллекции, все было заставлено разнообразными ящиками, картонками, коробками из-под сигар с торфяными подстилками, — стеклянные ящики стояли на полках, лежали на прилавке или же были вставлены в высокие темные шкапы, — и все они были наполнены ровными рядами безупречно свежих, безупречно расправленных бабочек. Иногда появлялась живность: тяжелые коричневые куколки, с симметрично сходящимися бороздками на грудке, показывающими, как упакованы зачаточные крылья, лапки, сяжки, хоботок между ними, и с членистым остроконечным брюшком, которое вдруг начинало судорожно сгибаться вправо и влево, если такую куколку тронуть. Лежали они во мху и стоили недорого, — и со временем из них вылуплялась сморщенная, чудесно растущая бабочка. А иногда появлялись для продажи другие, случайные, твари — маленькие черепахи ювелирного образа или дюжина ящериц, уроженок Майорки, холодных,

черных, синебрюхих, которых Пильграм кормил мучными личинками на жаркое и виноградинами на сладкое.

Всю жизнь он прожил в Пруссии, всю жизнь, безвыездно. Энтомолог он был превосходный, венец Ребель назвал его именем одну редкую бабочку, да и сам он кое-что открыл, описал. В его ящиках были все страны мира, но сам он нигде не побывал и только иногда, по воскресеньям, летом, уезжал за город, в скучные песчано-сосновые окрестности Берлина, вспоминал детство, поимки, казавшиеся тогда такими необыкновенными, и с грустью смотрел на бабочек, все виды которых ему были давным-давно известны, прочно, безнадежно соответствовали пейзажу, — или же на ивовом кусте отыскивал большую голубовато-зеленую, шероховатую на ощупь гусеницу с маленьким фарфоровым рогом на задке. Он держал ее, оцепеневшую, на ладони, вспоминал такую же находку в детстве, — замирание, приговорки восторга, — и, как вещь, ставил ее обратно на сучок. Да, всю жизнь он прожил на родине, и, хотя два-три раза подвернулась возможность начать более выгодное дело — торговать сукном, — он крепко держался за свою лавку как за единственную связь между его берлинским прозябанием и призраком пронзительного счастья: счастье заключалось в том, чтобы самому, вот этими руками, вот этим светлым кисейным мешком, натянутым на обруч, самому ловить редчайших бабочек далеких стран, собственными глазами видеть их полет, взмахивать сачком, стоя по пояс в траве, ощущать бурное биение сквозь кисею. Деньги на это счастье он собирал, как человек, который подставляет чашу под драгоценную, скупую капающую влагу и всякий раз, когда хоть немного собрано, роняет ее, и все выливается, и нужно начать сначала. Он женился, сильно рассчитывая на приданое, но тесть через неделю помер, оставив наследство из одних долгов. Затем, накануне войны, после упорного труда все у него было готово к отъезду, — он даже приобрел тропический шлем; когда же это рухнуло, его еще некоторое время утешала надежда, что теперь-то он попадет кое-куда, — как попадали прежде на восток или в колонии молодые лейтенанты, которые, томясь походной скукой, принимались составлять коллекции бабочек и жуков, чтобы потом на всю жизнь пристраститься к ним. Слабый, рыхлый, больной, он был оставлен в тылу и иностранных чешуекрылых не увидел. Но самое странное — то, что случается только в кошмарах, — произошло через несколько лет после войны: сумма денег, которую он держал в руках, — эта вполне ре-



альная сгущенная возможность счастья вдруг превратилась в бессмысленные бумажки. Он чуть не погиб, до сих пор не оправился...

Покупатели были сравнительно нередки, но приобретали только мелочь, скупались, жаловались на бедность. Последние годы, чтобы слишком не волноваться, он избегал посещать энтомологический клуб, членом которого давно состоял. Иногда к нему заходил коллега, и Пильграма бесило, когда тот, любуясь ценной бабочкой, рассказывал, где и при каких обстоятельствах он ее ловил; Пильграму казалось, что рассказчик совершенно равнодушен, пресыщен дальними странствиями и, должно быть, не испытывал ничего, когда утром, в первый день приезда, выходил с сачком в степь. В магазине тускло пахло миндалем, ящики, над которыми он и знакомый тихо наклонялись, постепенно занимали весь прилавок, трубка в сосущих губах Пильграма издавала грустный писк. Задумчиво он глядел на тесные ряды маленьких бабочек, совершенно одинаковых для непосвященных, и иногда, молча, стучал толстым пальцем по стеклу, указывая редкость, или, мучительно сопя трубкой, поднимал ящик к свету, опять опускал на прилавок и, вонзая ногтями под тугие края крышки, расшатывал ее легким рывком и плавно снимал. «Да, это самочка», — говорил коллега, наклонясь тоже над открытым ящиком. Пильграм, мыча, брался двумя пальцами за головку черной булавки, на которой было распято крохотное бархатное существо, и долго смотрел на крылья, на тельце, поворачивал, глядел на испод и, выдохнув вместе с дымом латинское название, втыкал бабочку обратно. Его движения были как будто небрежны, но это была особая безошибочная небрежность опытного хирурга. Хрупкую бабочку, чьи сухие сяжки отломались бы при малейшем толчке, — или так, по крайней мере, казалось, — и которая легко могла выскользнуть, когда он ее вертел, держа за булавку, эту много стоящую бабочку, этот, быть может, единственный экземпляр, Пильграм брал так же просто, как если бы его пальцы и булавки были согласованные части одной и той же непогрешимой машины. Но случилось, что какая-нибудь открытая коробка, тронутая обшлагом увлекшегося коллеги, начинала съезжать с прилавка, Пильграм, заметив, вовремя останавливал ее и, только через несколько минут, занимаясь другим, издавал страдальческий стон.

Погодя коллега, подняв шляпу со стола, уходил, но Пильграм, бормоча, еще долго возился с ящиками,

отыскивал что-то. Его огромное знание в области чешуекрылых тяготило, дразнило его, искало выхода. Всякая чужая страна представлялась ему исключительно как родина той или иной бабочки, — и томление, которое он при этом испытывал, можно только сравнить с тоской по родине. Мир он знал совершенно по-своему, в особом разрезе, удивительно отчетливым и другим недоступном. Если бы он побывал в какой-нибудь прославленной местности, Пильграм заметил бы только то, что относилось к его добыче, служило для нее естественным фоном, — и только тогда запомнил бы Эректеон, если бы с листа оливы, растущей в глубине святилища, слетела и была подхвачена свистящим сачком греческая достопримечательность, которую лишь он, специалист, мог оценить. Географический образ мира, подробнейший путеводитель (где игорные дома и старые церкви отсутствовали) он бессознательно составил себе из всего того, что нашел в энтомологических трудах, в ученых журналах и книгах, — а прочел он необыкновенно много и обладал отличной памятью. Динь в южной Франции, Рагуза в Далмации, Сарепта на Волге — знаменитые, всякому энтомологу дорогие места, где ловили мелкую нечисть, на удивление и страх аборигенам, странные люди, приехавшие издалека, — эти места, славные своей фауной, Пильграм видел столь же ясно, словно сам туда съездил, словно сам в поздний час пугал содержателя скверной гостиницы грохотом, топотом, прыжками по комнате, в открытое окно которой, из черной щедрой ночи, влетела и стремительно закружилась, стучаясь в потолок, серенькая бабочка. Он посещал Тенериффу, окрестности Оротавы, где в жарких цветущих овражках, которыми изрезаны нижние склоны гор, поросших каштаном и лавром, летает диковинная разновидность капустницы, и тот другой остров — давнюю любовь охотников, — где на железнодорожном скате, около Виццавоны, и выше, в сосновых лесах, водится смуглый коренастый корсиканский махаон. Он посещал и север — болота Лапландии, где мох, гонобобель и карликовая ива, богатый мохнатыми бабочками полярный край, — и высокие альпийские пастбища, с плоскими камнями, лежащими там и сям среди старой скользкой колтунной травы, — и кажется, нет большего наслаждения, чем приподнять такой камень, под которым и муравьи, и синий скарабей, и толстенькая сонная ночница, еще, быть может, никем не названная, и там же, в горах, он видел полупрозрачных красноглазых аполлонов, которые плывут по ветру через

горный тракт, идущий вдоль отвесной скалы и отделенный широкой каменной оградой от пропасти, где бурно белеет вода. В итальянских садах летним вечером гравий таинственно скрипел под ногой, и Пильграм долго смотрел сквозь смутную темноту на цветущий куст, и вот появлялся, неизвестно откуда, с жужжением на низкой ноте, олеандровый бражник, переходил от цветка к цветку, останавливаясь в воздухе перед венчиком и так быстро трепеща на месте, что виден был только призрачный ореол вокруг торпедообразного тела. Он знал белые вересковые холмы под Мадридом, долины Андалузии, скалы и солнце, большие горы, плодородный и лесистый Альбарацин, куда довозил его по винтовой дороге маленький автобус. Забирался он и на восток, в волшебный Уссурийский край, и далеко на юг, в Алжир, в кедровые леса, и через пасеки в оазис, орошенный горячим источником, где пустыня кругом тверда, плотна, в мелких левкоях и в лиловых ирисах.

Занимаясь преимущественно палеарктической фауной, он с трудом воображал тропики, — и попытка туда проникнуть мечтой вызывала сердцебиение и чувство, почти нестерпимое, сладкое, обморочное. Он ловил сапфирных амазонских бабочек, таких сияющих, что от их просторных крыльев ложился на руку или на бумагу голубой отсвет. В Конго на жирной, черной земле плотно сидели, сложив крылья, желтые и оранжевые бабочки, будто воткнутые в грязь, — и взлетали яркой тучей, когда он приближался, и опускались опять на то же место. И на Суматре, в саду, среди джунглей, апельсиновые деревья в цвету привлекали одну из крупнейших денниц, с великолепными тюлевыми крыльями, с пятнистым загнутым брюшком толщиной в палец.

«Да, да, да», — бормотал он, держа перед собой, как картину, драгоценный ящик. Тренькал звоночек над дверью, входила жена с мокрым зонтиком, с сеткой для провизии, — и он медленно, как на шарнирах, поворачивался к ней спиной, вдвигая ящик в один из шкапов. И вот однажды, в серый и сырой апрельский день, когда он размечтался и вдруг дернулся звоночек, пахнуло дождем, вошла Элеонора и деловито просеменила в комнаты, — Пильграм ясно почувствовал, что он никогда никуда не уедет, подумал, что ему скоро пятьдесят, что он должен всем соседям, что нечем платить налог, — и ему показалось дикой выдумкой, невозможным бредом, что сейчас,

вот в этот миг, садится южная бабочка на базальтовый осколок и дышит крыльями.

Уже больше года хранилась у него отданная ему на комиссию вдовой собирателя, с которым он прежде имел дела, превосходная, очень представительная коллекция мелких стекляннстых видов замечательной породы, раздражающей комарам; осам, наездникам. Вдове он сразу сказал, что больше семидесяти пяти марок не выручит, на самом же деле отлично знал, что ценность коллекции составляет несколько тысяч и что любитель, которому он уступит ее тысячи за две, почтет, что купил дешево. Любитель, однако, не появлялся, на письма, разосланные трем-четырем известным коллекционерам, он получил уклончивые ответы, и тогда Пильграм запер шкаф с коллекцией и перестал о ней думать. И вот, в апреле, — как раз в те дни, когда он впал в вялое отчаяние, мычал на жену, много пил и ел и страдал от головокружений, — явился в лавку господин, очень по моде одетый, и, бегая глазами по лавке, попросил почтовую марку в восемь пфеннигов. Мелкие монеты, которыми он заплатил, Пильграм сунул в глиняную копилку, стоявшую на полке, и уставился в пустоту, сося трубку. Господин же с рассеянным видом оглянул ящики с бабочками и, кивнув по направлению изумрудной со многими хвостиками, сказал, что она очень красива. Пильграм промямлил что-то о Мадагаскаре и вышел из-за прилавка. «А вот эти, — неужели тоже бабочки?» — спросил господин, ткнув пальцем в другой ящик. Пильграм меж тем вынул изумрудную с хвостиками и, поворачивая ее так и сяк, смотрел на этикетку, наколотую на булавку под самой грудкой. Господин повторил свой вопрос, Пильграм взглянул по направлению его пальца, пробормотал, что у него есть целая коллекция таких — пять тысяч экземпляров, — и, воткнув мадагаскарскую обратно, закрыл ящик. «Вроде комаров», — сказал господин. Пильграм почесал небритый подбородок и, подумав, удалился в глубину лавки. Он вернулся с ящиком, который, крикнув, положил на прилавок. Господин стал разглядывать стекляннстых мотыльков с цветными тельцами. Пильграм указал концом трубки на один из рядов, и одновременно господин произнес «rolagis», чем и выдал себя. Пильграм принес еще ящик, потом третий, четвертый, и постепенно ему становилось ясно, что господин отлично знал о существовании этой коллекции, нарочно за этим и пришел, и, наконец, когда был произнесен небрежный вопрос: «Сколько же это все стоит — вероятно, недорого?» — Пильграм по-

жал плечами и усмехнулся. И на следующий день господин явился опять, и выяснилось, что Пильграм ему писал, что фамилия его Зоммер — да-да, знаменитый Зоммер... И тогда он понял, что совершится сделка.

Последний раз, что он одним махом заработал крупную сумму, было накануне инфляции, когда удалось продать тоже шкаф с определенным родом, — видам которого, пушистым, с яркими задними крыльями, даны названия, относящиеся к любви: избранница, нареченная, супруга, прелюбодейка... И теперь, тонко торгуясь с Зоммером, он ощущал волнение, тяжесть в висках, черные пятна плыли перед глазами, — и предчувствие счастья, предчувствие отъезда было едва выносимо. Он знал отлично, что это безумие, знал, что оставляет нищую жену, долги, магазин, который и продать нельзя, знал, что две-три тысячи, которые он выручит за коллекцию, позволят ему странствовать не больше года, — и все же он шел на это, как человек, чувствующий, что завтра — старость и что счастье, пославшее за ним, уже больше никогда не повторит приглашения.

Когда наконец Зоммер сказал, что через три дня даст окончательный ответ, Пильграм решил, что мечта вот сейчас, сейчас из куколки вылупится. Он подолгу разглядывал карту, висевшую на стене в лавке, выбирал маршрут, прикидывал, в каком месяце водится тот или иной вид, куда поехать весной и куда летом, — и вдруг увидел что-то зеленое, ослепительное и грузно присел на табурет. Наступил третий день, Зоммер должен был явиться ровно в одиннадцать, — и Пильграм напрасно прождал его до позднего вечера, — и затем, волоча ногу, багровый, с перекошенным ртом, пошел к себе в спальню и лег на скрипнувшую постель. Он отказался от ужина и очень долго, закрыв глаза, брюзжал на жену, думая, что она стоит у постели, но потом, прислушавшись, услышал, как она тихо плачет в кухне, и стал думать о том, что хорошо бы взять топор и шмякнуть ее по темени. Утром он не встал, и Элеонора за него торговала: продала коробку акварельных красок и чету недорогих бабочек. И еще через день, когда воспоминание о покупателе стало уже совсем призрачно, как нечто, случившееся давным-давно или даже не бывшее вообще, а так, погостившее случайно в мозгу, — вдруг рано утром вошел в лавку Зоммер. «Ладно, бог с вами, — сказал он, — доставьте ко мне нынче же...» И когда, вынув конверт, он зашуршал тысячными бумажками, у Пильграма сильно пошла кровь носом.

Перевозка шкапа и визит к доверчивой старухе, которой он скрепя сердце отдал пятьдесят марок, были его последние берлинские дела. Покупка билета, в виде тетрадки с разноцветными отрывными листами, относилась уже к бабочкам. Элеонора не замечала ничего, улыбалась, была счастлива, чуя, что он хорошо заработал, но боясь спросить, сколько именно. Стояла прекрасная погода, Пильграм ни разу за день не повысил голоса, а вечером зашла госпожа Фангер, владелица прачечной, чтобы напомнить, что завтра свадьба ее дочери. Утром на следующий день Элеонора кое-что выгладила, кое-что вычистила и хорошенько осмотрела мужнин сюртук. Она рассчитывала, что отправится к пяти, а муж придет погодя, после закрытия магазина. Когда он, с недоумением на нее взглянув, отказался пойти вообще, — это ее не удивило, так как она давно привыкла ко всякого рода разочарованиям. «Шампанское», — сказала она, уже стоя в дверях. Муж, возившийся в глубине с ящиками, ничего не ответил, она задумчиво посмотрела на свои руки в чистых перчатках и вышла. Пильграм привел в порядок наиболее ценные коллекции, стараясь все делать аккуратно, хотя волновался ужасно, — и, посмотрев на часы, увидел, что пора укладываться: скорый на Кельн отходил в восемь двадцать. Он запер лавку, приволок старый клетчатый чемодан, принадлежавший отцу, и прежде всего уложил охотничьи принадлежности — складной сачок, морилки с цианистым калием в гипсе, целлулоидовые коробочки, фонарь для ночной ловли в лесу и несколько пачек булавок, — хотя вообще он предполагал поимок не расправлять, а держать сложенными в конвертиках, как это всегда делается во время путешествий. Упаковав это все в чемодан, он перенес его в спальню и стал думать, что взять из носильных вещей. Побольше плотных носков и нательных фуфаек, — остальное неважно. Порывшись в комодах, он уложил и некоторые предметы, которые в крайнем случае можно было продать, — как, например, серебряный подстаканник и бронзовую медаль в футляре, оставшуюся от тестя. Затем он с ног до головы переоделся, сунул в карман трубку, посмотрел в десятый раз на часы и решил, что пора собираться на вокзал. «Элеонора», — позвал он громко, влезая в пальто. Она не откликнулась, он заглянул в кухню, ее там не было, и он смутно вспомнил про какую-то свадьбу. Тогда он достал клочок бумаги и написал для нее карандашом несколько слов. Записку и ключи он оставил на видном месте и, чувствуя озноб от волнения, журчащую

пустоту в животе, в последний раз проверил, все ли деньги в бумажнике. «Пора, — сказал Пильграм, — пора», и, подхватив чемодан, на ватных ногах направился к двери. Но, как человек, пускающийся впервые в дальний путь, он мучительно соображал, все ли он взял, все ли сделал, — и тут он спохватился, что совершенно нет у него мелочи, и, вспомнив копилку, пошел в лавку, крихтя от тяжести чемодана. В полутьме лавки со всех сторон его обступили душные бабочки, и Пильграму показалось, что есть даже что-то страшное в его счастья, — это изумительное счастье наваливалось, как тяжелая гора, и, взглянув в прелестные, что-то знающие глаза, которыми на него глядели бесчисленные крылья, он затряс головой и, стараясь не поддаться напору счастья, снял шляпу, вытер лоб и, увидев копилку, быстро к ней потянулся. Копилка выскочила из его руки и разбилась на полу, монеты рассыпались, и Пильграм нагнулся, чтобы их собрать.

Подошла ночь, скользкая, отполированная луна без малейшего терпения неслась промеж облаков, и Элеонора, возвращаясь за полночь со свадебного ужина домой, чуть-чуть пьяная от вина, от ядерных шуточек, от блеска сервиза, подаренного молодоженам, шла не спеша и вспоминала со щемящей нежностью то платье невесты, то далекий день собственной свадьбы, — и ей казалось, что, будь жизнь немного подешевле, все было бы в мире хорошо и можно было бы прикупить малиновый молочник к малиновым чашкам. Звон вина в висках, и теплая ночь с бегущей луной, и разнообразные мысли, которые все норовили повернуться так, чтобы показать привлекательную, лицевую сторону, все это смутно веселило ее, — и когда она вошла в подворотню и отперла дверь, Элеонора подумала, что все-таки это большое счастье иметь квартиру, хоть тесную, темную, да свою. Она, улыбаясь, зажгла свет в спальне и сразу увидела, что все ящики открыты, вещи разбросаны, но едва ли успела в ней возникнуть мысль о грабеже, ибо она заметила на столе ключи и прислоненную к будильнику записку. Записка была очень краткая: «Я уехал в Испанию. Ящиков с алжирскими не трогать. Кормить ящериц».

На кухне капал кран. Она открыла глаза, подняла сумку и опять присела на постель, держа руки на коленях, как у фотографа. Изредка вяло проплывала мысль, что нужно что-то сделать, разбудить соседей, спросить совета, быть может, поехать вдогонку... Кто-то встал, прошелся по комнате, открыл окно, закрыл его опять, и она равнодушно

наблюдала, не понимая, что это она сама делает. На кухне капал кран, — и, прислушавшись к шлепанию капель, она почувствовала ужас, что одна, что нет в доме мужчины... Мысль, что муж действительно уехал, не умещалась у нее в мозгу, ей все сдавалось, что он сейчас войдет, мучительно закричит, снимая сапоги, ляжет, будет сердиться на кран. Она стала качать головой и, постепенно разгоняясь, тихо всхлипывать. Случилось нечто невероятное, непоправимое — человек, которого она любила за солидную грубость, за положительность, за молчаливое упорство в труде, бросил ее, забрал деньги, укатил бог знает куда. Ей захотелось кричать, бежать в полицию, показывать брачное свидетельство, требовать, умолять, но она все продолжала сидеть неподвижно, — растрепанная, в светлых перчатках.

Да, Пильграм уехал далеко. Он, вероятно, посетил и Гренаду, и Мурцию, и Альбарацин, — вероятно, увидел, как вокруг высоких, ослепительно белых фонарей на севильском бульваре кружатся бледные ночные бабочки; вероятно, он попал и в Конго, и в Суринам и увидел всех тех бабочек, которых мечтал увидеть, — бархатно-черных с пурпурными пятнами между крепких жилок, густо-синих и маленьких слюдяных с сяжками, как черные перья. И в некотором смысле совершенно неважно, что утром, войдя в лавку, Элеонора увидела чемодан, а затем мужа, сидящего на полу, среди рассыпанных монет, спиной к прилавку, с посиневшим кривым лицом, давно мертвого.



## СОДЕРЖАНИЕ

---

Другие берега	3
Защита Лужина	179
Рассказы	329
Звонок	330
Подлец	340
Terra incognita	363
Пильграм	370

Литературно-художественное издание

**Владимир Набоков**

**ДРУГИЕ БЕРЕГА**

Редактор *Л. В. Вержникова*

Оформление художника *В. И. Терещенко*

Художественный редактор *С. С. Водчиц*

Технический редактор *Е. Б. Николаева*

Н/К

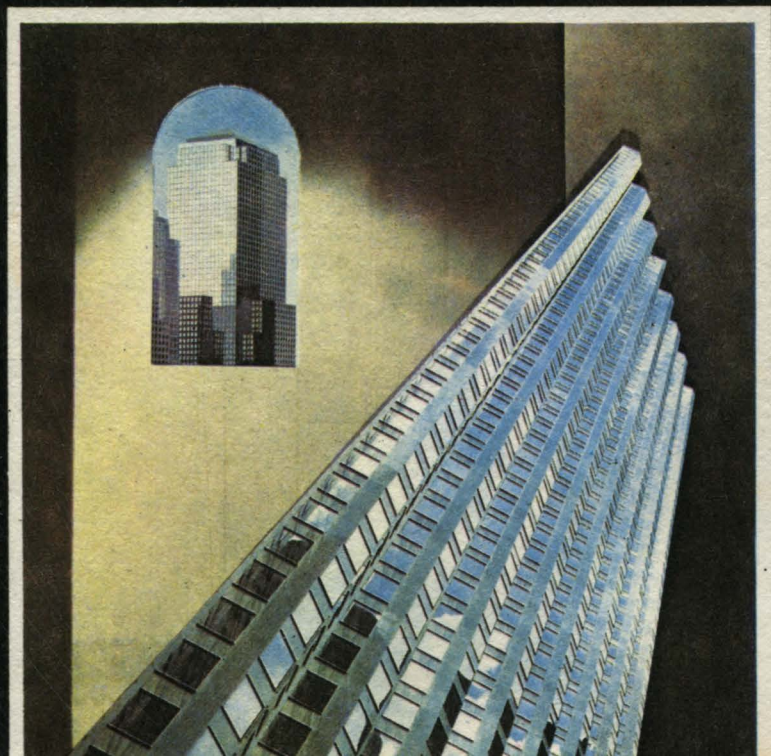
Сдано в набор 26.03.90. Подписано в печать 04.07.90. Формат 80 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 20,16. Усл. кр.-отт. 20,58. Уч.-изд. л. 21,75. Тираж 30 0000 экз. Заказ № 969. Цена 7 р. Изд. № ДЭМ-26.

Издательство советско-французского совместного предприятия «ДЭМ»  
117049, Москва, Крымский вал, 9.

Ярославский полиграфкомбинат Госкомпечати СССР.  
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.



7 p.



Владимир Набоков **TERRA INCOGNITA**

